

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

12

Н О В Ы Й
М И Р

1979

12



1979



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 12

Декабрь, 1979 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Из книги «Поздние яблоки», стихи	3
ИОСИФ ГЕРАСИМОВ — Предел возможного, роман. Окончание	7
АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ — Одиннадцатиметровый штрафной удар, стихи	66
МАРИНА ЦВЕТАЕВА — Повесть о Сонечке. Часть вторая. Публикация и предисловие Анны Саакянц	68
ЕВГ. ВИНОКУРОВ — Из цикла «Мифы»	119
СТИХИ ВАСИЛИЯ КОВАЛЕВА. Вступление Василия Федорова	121
АНТАЛ ГИДАШ — Друзья-поэты, стихи. Перевели с венгерского Л. Мар- тынов и Натэлла Горская	124
ГЕРМАН КАНТ — Остановка в пути, роман. Окончание. Перевели с не- мецкого И. Каринцева и С. Шлапоберская	127
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
В. И. ЧУЙКОВ — Миссия в Китае. Записки военного советника. Окон- чание	179
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Ю. КУЗЬМЕНКО — Меж городом и селом	227
М. ЭПШТЕЙН, Е. ЮКИНА — Образы детства	242
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
И. Гринберг. Взлетные площадки стиха.— Виктор Широков. «Тихо сказано громкое слово».	258
<i>Политика и наука</i>	
Григорий Резниченко. «Бог моторов».— Игорь Мотышов. Рожденные под одним солнцем.— В. Бугаев. Народные истоки утопического социализма в России.	266

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ: Д. Панков.— Ополчение на защите Москвы. ♦ Вл. Карпеко.— Александр Лесин. Узел. Стихи. ♦ Т. Николаева.— Людмила Олзоева. Серебряная гроза. Стихи. ♦ Владимир Кунцын.— Константин Щербаков. Проверка на деле. ♦ С. Рыбак.— Виктор Романенко. Тревожная радость. Очерки. ♦ Д. Биленкин.— Дж. Хокинс. Кроме Стоунхенджа. ♦ Е. Мельникова.— Е. А. Рыдзевская. Древняя Русь и Скандинавия в IX—XIV вв. (Материалы и исследования). ♦ А. Лук.— Б. И. Додонов. Эмоция как ценность. ♦ А. Смольников.— П. А. Голуб. Большевики и армия в трех революциях.	275
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	282
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1979 ГОД	283

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

ИЗ КНИГИ «ПОЗДНИЕ ЯБЛОКИ»

СТАРИК СОЛДАТ

Старик солдат на скверике,
Повернутом к Москве-реке,

Средь этих деток маленьких
Сидит почти как памятник.

Дружки его потеряны.
Пути его измерены

Привалами короткими,
Бинтами да обмотками.

А время рвется далями —
Звенеть его медалями.

* * *

Блестит огонь, слепя.
Бьет в душу канонада.
Живите за себя,
Жить за других не надо.

На праздничных пирах,
В благополучной доле
Зря не тревожьте прах
Полеглих в чистом поле.

Давно тот бой затих.
Герои спят в могиле.
Не тщитесь жить за них —
Они свое свершили.

СЕСТРА

Медицинская сестра,
Милосердная сестрица,
При дороге, у костра
Дай, пожалуйста, напитокся.

Кто придумал так назвать,
Так позвать, зайдясь от боли,

Не жену, не дочь, не мать,
А сестру в широком поле?

Подойди ко мне, сестра,
В душной стонущей палате,
Среди ночи и с утра,
В снегом пахнущем халате...

Если ж все идет к добру
И другие ждут задачи,
На вчерашнюю сестру
Смотрят чуточку иначе.

ВСТРЕЧА

Воды поздние светят сурово.
Среди сизого красный закал.
И доносится: — Миша, здорово!
Я не сразу тебя и узнал.

Как ты молод! За смертной оградой
Ты таким представляешься мне
В снежном мареве, с Колей Отрадой,
На короткой на зимней войне.

Ты вовсю бороздишь эти воды.
Голос твой хрипловатый не молк.
Есть в бортах твоих признаки моды —
Что ж, и раньше ты знал в этом толк.

Ты такой же в походке, в повадке.
Вновь с тобой повидаться я рад.
Ты, по-моему, Миша, в порядке,
Как мальчишки сейчас говорят...

Воды поздние светят сурово.
Луч уставился в рубку, слепя.
— Извини меня. Здравствуй, Серега!
Я не думал здесь встретить тебя.

Подойди на минуту поближе,
Подрули поскорее сюда.
Бороды твоей рыжей не вижу.
От ожогов твоих ни следа.

Мы вставали под страшным ударом.
Мы единых корней и кровей.
Да и в детстве, наверно, недаром
Нас приметил Чуковский Корней.

Гаснут знаки деталей капризных,
Телеграфные меркнут столбы.
Остается единственный признак —
Одинаковость нашей судьбы.

И с улыбкою — правда, не с прежней, —
Где в глазах эти блики рябят,

Мы, возможно, на ветреном стрежне
И других повстречаем ребят...

...Рулевые стояли, не слыша
На ответственной вахте своей
Тихих слов: — До свидания, Миша...—
И ответных: — До встречи, Сергей...

ТРОФЕЙНЫЕ ЧАСЫ

Отраженный в классике
Фирменный трофей.
Крохотные часики
Западных кровей.

Золото на кобальте —
На старинный лад,
Но в пыли и в копоти
Этот циферблат.

Но в дыму и в пламени
Этот небосвод,
И едва ли правилен
Их неслышный ход.

* * *

Опустелая обитель,
И, затерянный в полях,
С чадами автолюбитель
На зеленых «Жигулях».

Сумеречная погода.
Глушь. Темнеет на глазах.
И по краю небосвода
Белой молнии зигзаг.

* * *

В неясном сне, судьбою данном,
А может быть, и наяву —
Солдат с мешком и с чемоданом,
Опущенными на траву.

А на него глядит от входа
Под провожающий напев
Та, что ждала четыре года
И вот глядит, оторопев.

Соседний сад в туман закован.
Окно. Вечерняя звезда.
И старичок такой знакомый
Торчит — как птенчик из гнезда.

МОСКОВСКИЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ

Не горец, не из сакли,
Где облако в дверях.
Но годы не иссякли
И кое-чем дарят.

Те годы так гудели,
Что звон в крови возник.
И как он, в самом деле,
Протиснулся сквозь них?

Сквозь горе и отраду.
Да так вот — не робей!
Он скачет по Арбату,
Московский воробей.

Московский долгожитель —
Сквозь дождь и снежный дым.
А вы им дорожите ль?..
Так дорожите им.



ИОСИФ ГЕРАСИМОВ



ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО*

Роман

Глава седьмая

Ох, как мы работали в тот месяц! Много было в моей инженерной жизни: тяжкие дни и ночи авралов, когда жили одним — хоть в лепешку разбейся, а дай план, иначе не оберешься выволочек и проработок и вызовешь глухое недовольство рабочих, оставленных без премиальных, были аварии, грозившие сорвать выполнение какого-нибудь срочного заказа, и тогда тоже приходилось не вылезать из цеха сутками, да мало ли что случалось. И все же тот мой первый месяц в Ярске ни на что не был похож.

На Ярск обрушилась жара, тяжелая, сухая, словно долетала сюда от каменных гор вместе с угарным запахом сторевших мхов и лишаяев, воздух был звонкий и пыльный.

С первых дней выяснилось множество недоделок в цехе, и я с утра до вечера занимался с наладчиками и механиками. Я понимал, все сразу не возьмешь, тут доделок на год, уж когда цех будет всю работу, многое доведем, упростим, улучшим, а сейчас надо было браться за главное.

Ремез в цех приезжал с утра и сразу же созывал планерку. Он не сидел за столом Бортова, расхаживал от окна к стене, ничего не записывал, все держал в голове. Честно говоря, мне никогда таких планерок видеть не приходилось: вопросы, ответы, короткий вывод... Всего двадцать минут, и все, кто был в кабинете, четко знали, что предстоит сделать и как. Мы расходились по участкам, а Ремез еще оставался в кабинете с Бортовым и Самариным.

Мне казалось, все настолько заняты поисками вариантов прокатки, что ни Бортову, ни Ремезу не до меня — никто не дает мне повседневных команд, никто на меня не насаждает, поставили с самого начала задачу довести оборудование за двадцать дней, и все, но очень скоро я оценил, как важна эта свобода действий, это отсутствие мелочного принудительного контроля со стороны. Утром на планерке я сжато говорил, что сделано, что надо еще сделать и какая нужна помощь. Ремез слушал, спрашивал, тут же все решал. И затем меня уже никто не отрывал от дела. А жара стояла невыносимая, и в цехе воздух был густой, с запахом кислоты, масла, металлической пыли. Вытяжки еще работали плохо. К середине дня голова начинала гудеть, словно по ней били деревянным молотком, я бежал в душ, это ненадолго помогало. Когда проходил пролетом станов, я видел группу

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

Самарина и невольно заглядывал в клеть, там по-прежнему лежали рваные, искореженные полосы.

В один из наиболее жарких и душных дней к концу смены у нас произошло несчастье. Мальчишка лет семнадцати, ученик наладчиков, видимо, совсем очумев, сунул руку в резак, и у него мгновенно отхватило указательный палец. Он работал от меня метрах в пяти, от дикого крика я рванулся к нему, когда он, корчась, повалился на пол. Кто-то из наладчиков догадался жгутом перетянуть ему руку, и парнишку отнесли в цеховую санчасть. А через полчаса меня вызвали в кабинет Бортова.

Ремез сидел за рабочим столом, а Бортов рядом в кресле. Игнат Матвеевич не встал, как обычно, чтобы протянуть руку, он взглянул на меня сузившимися, ставшими почти черными глазами, кивнул на стул, приглашая садиться, и бросил жестко:

— Докладывайте, как произошла травма.

Я рассказал, как было дело, он выслушал с невозмутимым лицом, потом, помедлив, спросил:

— Как его фамилия?

Фамилии этого ученика я не знал, правда, мне запомнилось его имя, потому что наладчики частенько его окликали: «Эй, Котька!»

— Его зовут Котька. А фамилия... я еще не успел узнать всех рабочих...

— Разве для этого нужно много времени? — спросил Ремез. — Я полагаю, что инженер должен начинать со знакомства с людьми. Или у вас другая точка зрения?

— Мне пришлось сразу круто окунуться в работу...

— Простите, Голиков, но это шаткий довод. Ни у кого здесь легкой работы нет. Парню семнадцать лет, а он остался без пальца на всю жизнь. Считайте, инвалид... Даже при самой авральной работе должна соблюдаться техника безопасности. Это азбука.

Я хотел ему сказать, что техника безопасности у нас хорошо отлажена, несчастный случай произошел по вине самого ученика, да и от такого вообще не застрахуешься, но тут же понял, что говорить этого не надо, Ремез и сам это должен был хорошо понимать. Я сумел лишь сказать:

— Жара... А вытяжки у нас работают скверно. Люди устают.

— Вы должны были об этом бить тревогу в первый же день вашей работы. За травму вы будете лишены месячной премии. Бортову я поручаю подробное расследование обстоятельств. Все, — сказал он твердо и снова посмотрел на меня непримиримо сухими, темными глазами.

И в это мгновение я вспомнил, как он отправил на песчаный карьер Семена Куликова... Конечно же, в истории с учеником я не был виновен и мог бы найти множество доказательств этой невинности, да ведь и Куликов выпил стопку спирта, предназначенного для работающих на морозе, потому что и ему часто приходилось выбегать в лютую стужу — он был начальником цеха. Но Ремез тогда твердо определил его вину, как сейчас он определил мою.

Посчитав, что разговор закончен, я поднялся и направился к двери, но он остановил меня:

— Обождите, Голиков.

Я сразу уловил, что голос его стал мягче, хотя в нем по-прежнему еще звучали непримиримые нотки. Он встал, машинально одернул свой пиджак и подошел ко мне.

— Я несколько удивлен, что вы не внесли еще ни одного предложения по прокатке электротехнической. Я понимаю, что вы заняты наладкой. Но... Мне как-то попала ваша статья о прокатных станах.

Там были любопытные мысли о степени обжати́я. Я считаю вас думающим инженером, и поэтому...— он не договорил, что же «позтому»: то ли пригласил меня на завод, то ли этим выражал надежду.— Надо думать... думать, Голиков,— и, сухо кивнув, быстро вышел из кабинета.

Дверь за ним закрылась. Я кипел от злости. Э, черт возьми, работаешь тут с утра до ночи, выкладываешься весь, а с тобой еще разговаривают, как с провинившимся мальчишкой! На прежнем заводе никто бы не посмел со мной так говорить, там знали мне цену. Конечно, парня жаль, но ведь не нянька я тут для каждого. И словно подслушав мои мысли, от стола хмыкнул Бортов:

— Га! Да ты не надувайся, как пузырь. Я ж говорил тебе: он, если завернет, то круто.

— Что значит «завернет»? Не те времена, чтоб заворачивать. Это в войну он мог. А сейчас...

— Что сейчас? По-твоему, и дисциплины сейчас не должно быть? Валяй каждый, дуй в свою дудку. Так?— Он вздохнул, потер щеку.— Ты зря заносишься. Он такой... Так уж сконструирован. Он и себе бы не простил, если бы у его ученика палец отхватило. Я ведь тоже мог бы надуться. Начальник я цеха или кто? А он вроде бы меня отстранил, сам пришел в мой кабинет, сел и начал командовать. А ведь у него свое кресло есть, свои заботы. И он вроде бы меня унизил... На любого другого я бы обиделся, а на него — не могу. Понимаю, надо дать эту электротехническую. Надо, хоть разбейся. Ты вот говоришь, времена другие. Ну, другие. А задачки иной раз возникают не проще прежних. На одном энтузиазме не вытянешь. А он, между прочим, вон какие премиальные выделил, чтобы все в цехе мозговали, как найти способ прокатки... Он интерес внушил — раз, стимул дал — два. Вот чему, дорогой мой, у него учиться надо. Ну ладно,— Бортов почесал голову и неожиданно спросил:— У тебя дел еще много?... А то шабаш сегодня. Я сейчас жене звякну, поедем ко мне, посидим. Когда еще придется?

Через час мы отъехали от цеха на дежурной машине, и вскоре я убедился, как много еще осталось от старого Ярска. Мы миновали кварталы новых домов и оказались на старой центральной площади, где по-прежнему поднималась дряхлая церквушка, а в приземистом здании с колоннами, судя по многочисленным вывескам у входа, вместо райкома разместились какие-то организации. От площади разбежались кривые улочки с одноэтажными домами, заборами, с них свешивались ветви с потемневшей от жары, запыленной листвой. Машина остановилась у крепких, сбитых из хороших досок ворот, окрашенных в зеленое, а рядом, окруженный штакетником, за которым поднимались мальвы, стоял добротный каменный дом под железной крышей.

— Прошу к нашему шалашу,— весело сказал Бортов, открывая передо мной калитку.

— Когда же это ты себе такую домину отгрохал? — спросил я, заходя во двор.

— Га! — хмыкнул Бортов.— Да разве это я? Тесть у меня будь здоров какой застройщик! — И тут же горячо зашептал:— Скоро мы с тобой на одной лестничной площадке жить будем. Не позднее, однако, как через месячишко.— И подмигнул мне.— Тесть-то еще не знает.— И уже громко произнес:— Прошу, прошу...

По перемене его тона я почувствовал — нас кто-то встречает. И верно, на крыльцо вышла полная женщина, с молодым, гладким лицом и ямочками на щеках и подбородке, она была в легкой кофточке без

рукавов, медленно сошла с крыльца, приветливо улыбнулась нам, протянула мне руку, сказала тягуче:

— Очень приятно... Зовите меня Клава. А про вас Степан мне все по телефону объяснил.

Пахло от нее печным жаром и сдобой. Она взяла меня под руку и повела в дом, при этом словно припевая:

— Ну, идемте, идемте, обед уже на столе. А то ведь вы холостякуете и по настоящей еде соскучились.

Так все вместе мы вошли в просторную комнату, и я сразу же остановился, удивленный. Навстречу мне, отирая красное, потное лицо, поднимался Долголобов.

— А, студент! — тут же воскликнул он. — Ай да гость!

— Вы что же, знакомы? — тотчас спросил Бортов.

— Да ведь много годков, — с охотой отозвался Долголобов.

— Так какой же он тебе сейчас студент? Когда это мы с ним студентами были. А нынче инженеры среднего, а стало быть, основного звена. На среднем командире и армия всегда держалась и завод держится. Так что вы, папаня, поуважительней... Ну, тянуть не будем. Давай сразу и к столу...

— Конечно, милости прошу, — пропела Клава.

На столе, покрытом крахмальной скатертью, дышал лоснящейся корочкой пирог, блестел холодец, темнели большие куски жаркого, и в центре на блюде среди зеленого лука лежали свежие помидоры один в один, в июне их и не увидишь в наших краях. Я не удержался, воскликнул:

— Сильно живете!

— По мере возможности, — хмыкнул Долголобов.

— А ты не будь впечатлительным, — улыбнулся мне Бортов. — Давай-ка лучше врежем для начала.

Он разлил водку из высокой бутылки, каждому по тонкому стакану, приподнял стакан, отставив в сторону мизинец, кивнул Долголобову:

— Давайте, папаня, тост, вы по этой части мастер.

— Это верно, — тотчас согласился Долголобов, пригладив обеими руками редкие седые волосы, сквозь которые просвечивала красная кожа, кашлянул и тоже торжественно поднял стакан. — Вот мы тут разные мужики за столом. Я старый, вы молодые. Однако же если разобраться, то можно считать, что мы есть побратимы, потому что как вы, так и я свою кровь на войне пролили... Вот за наше побратимство давайте и стукнемся.

— Отлично, папаня! — воскликнул Бортов и не спеша, спокойно выпил всю водку, лицо его покраснело, глаза заблестели, он фыркнул и, легко подцепив вилкой капусту, кинул ее в рот.

— Матрос, он матрос и есть! — глядя на него восхищенными глазами, воскликнул Долголобов. — Ну, а ты чего, студент?

— Нет, — рассмеялся я. — Столько не могу.

— Ну, ничего, постепенно уберешь, — успокоил меня Долголобов. — Бери вон помидор, а то такого нынче и за тыщу километров не сыщешь.

— Откуда они у вас?

— Га! — воскликнул Бортов. — Давай, давай, Костя, потряси его. Я ему давно говорю: посадят тебя, папаня, за твои огороды-овощи.

— А ни хрена меня не посадят! — вдруг взвился Долголобов. — Ну, скажи, студент, какой вред, кроме пользы, принести может мой продукт? Нет, ты послушай! Вот в Германии — по-разному народ был. Я же сам наблюдал. Одни шнапс лакали, другие к их жизни приглядывались... Возьми мой дом. Я его сам кирпич к кирпичу ставил

как индивидуальный застройщик. А план откуда взял? Так я тебе скажу, я этих планов в Германии десятка два себе в тетрадь зарисовал. И имел потом из чего выбрать. Так же и про овощи... Если интересуешься — покажу. Я этот немецкий оранжерея и парник будь здоров как облазил. Всю систему ихнюю изучил. Вот возле дома и прилепил. Результат на столе... Ну, ты скажи мне, что будет, если каждый ярский житель в нашем суровом крае себе такой оранжерея пристроит? Земли-то ему надо на это чуть. Я ведь не таю... Вон Михеевы ко мне заехали. Покажи, говорят. Я не только показал, а начертил, как трубы класть, чтоб тепло дать, да под каким углом раму ставить. Сделали они, однако, и хорошо... А вот Степан на меня кидается. Сам помидоры эти страсть как любит, а кидается: не положено. Где это сказано, что не положено людей кормить? Ну, бывало... Да сам, студент, знаешь. Но нынче-то другой уклад. Шевели мозгой, только чтоб на столе было. Верно?.. Я, студент, ничего недозволенного не делаю. Вон, говорят, Долголов шоферил, накальмил тут. А я людей возил. Государство не возило, а я возил. А то, что денгу за это имел, так опять же там, где государство ее не брало. Стало брать, я тут же отступился... Резон говорю, студент?

Он смотрел на меня, ожидая, видимо, возражений, но мне не хотелось с ним спорить, его слова почему-то вызвали во мне вроде бы и не связанные с его рассказом воспоминания о том, как жили мы с Леной и маленькой Асей в избе у Натальи Михайловны, как прощпался я от ее возни возле печи и запаха теплого хлеба, шанжек, и я вдруг остро почувствовал, как мне не хватает сейчас Лены и Натальи Михайловны и длинноногой своей костлявой дочери. Почему-то все эти дни в Ярске я не очень тревожился за них, чувство свободы и раскованности, видимо, было так сильно, что даже отодвинуло от меня тревогу за семью, и я подумал: «Скорее бы уж получить квартиру... Вон Бортов говорит, вроде через месяц».

— Эй, чего, Костя, загрузил? — услышал я оклик Степана.

Пока я размышлял о своем, он взял гитару; Клава нежно опустила голову ему на плечо, а он, перебирая струны большими пальцами, настраивал их, рубаху он снял и остался в тельняшке, она плотно облегла его крепкую грудь...

— Папаня тебя заговорил, — подмигнул он мне. — Не обращай внимания. Он кого хочешь обкрутит. Ну, споем...

Он откинул голову на короткой шее и, прикрыв глаза, запел низким, приятным голосом: «Я встретил вас, и все былое...», и тут же Клава вступила... В избе у Натальи Михайловны тоже любили петь, когда гуляли, она скажет, бывало: «Какая же гулянка без песни», и могли весь вечер сидеть, медленно раскачиваясь из стороны в сторону под звуки тягучих мелодий... Как-то неправильно стали мы жить с Леной в последние годы, каждый уходил в свои дела и порой так яростно, что, когда встречались, уже не хватало сил на нежность и ласку, но она скапливалась в душе и нет-нет да бурно прорывалась, когда мы оставались одни. Тогда я чувствовал, как дорога она мне, и все то, что было в потоке будней между нами: резкие слова, обиды, несогласия, споры из-за Аси или нехватки денег, — все это отступало, и мы задыхались от близости, убеждали себя, что вот-вот начнем жить иначе, и для этого нам не так уж много надо, ну, хотя бы нормальное жилье. А потом все начиналось сызнова. «Но сейчас-то, сейчас этого не будет, — думал я, слушая пение Бортова и Клавы. — Должны же начаться у нас настоящие дни...» И корил себя, что, наверное, во многом не понимал Лену, не знал по-настоящему, как тяжок ее труд, как она мечется в бесконечных поездках, чтобы разобраться в запутанных делах и незнакомых людях, корил себя за то, что осуждал ее

резкость... «Да она ведь иначе и не может, она должна быть такой при ее-то работе... Ко мне она добра и нежна...»

— Ну,— сказал Бортов,— еще по одной — и будем шабашить.

Он разлил водку и опять, оставив мизинец, выпил целый стакан, кинув в рот капусты, с хрустом разжевал ее, став совсем красным. И тут же сказал Клаве и Долголобову:

— Ну, родичи, оставьте нас с дружкой вдвоем, у нас разговор есть.

Ни Клава, ни Долголобов не обиделись, покорно поднялись и вышли, затворив за собой дверь.

Бортов размял в пальцах папироску, закурил и повернулся ко мне.

— Ну вот, Костя, я тебе сейчас кое-что по цеху обрисую, чтоб тебе самому до этого не доходить. Раньше бы надо было, да видишь, как получилось. Сначала по технике, потом по людям, чтоб знал, на кого опереться...

И он заговорил спокойно и ясно, и я удивлялся, он не был пьян, но не только этому удивлялся: Бортов говорил о линиях и установках точно и толково, со знанием тех тонкостей, которые доступны только серьезно думающему инженеру. Да сейчас он и был таким! И это не вязалось с обликом, который сложился в моем представлении, и чем больше я его слушал, тем яснее понимал, почему Ремез назначил его начальником цеха — у Бортова было отличное видение перспективы.

— И давай так, Костя,— тронул он меня за колено,— я терпеть не могу разных там склок да подсидок. Если я тебе где на ногу наступил, иди ко мне и выкладывай, а не таи. Хуже нет заржавелой обиды. Как считаешь?

— Так и считаю.

— Ну, если так считаешь, будет работа,— кивнул он.— Мы, брат, с тобой солдаты. Скажут «надо», сделаем,— повторил он свое любимое.

В обеденный перерыв в цеховой столовой я с подносом в руках чуть не столкнулся с Галей. Она рассмеялась, сказала:

— Я поела, но посижу с тобой немного.

Мы сели за столик, я принялся за еду, а она смотрела на меня весело, я чувствовал, что-то в ней изменилось в эти дни, и, рассматривая ее, вдруг понял: исчез налет унылой усталости, она вся словно бы собралась, ее скуластенькое лицо порозовело и даже глаза изменились — прежде они казались мне темными, а сейчас в них засветились зеленые крапинки.

— Хорошее настроение? — спросил я.

— Угадал.

— Получила хорошие известия?

— Нет. Влюбилась.

— Ого! И в кого же, если не секрет?

— Не секрет. В Ремеза.

Я рассмеялся. Она удивленно вскинула брови:

— Считаешь это невозможным?

Я не сомневался, что она шутит, но вдруг представил их рядом: двадцатисемилетнюю хрупкую женщину и его, пятидесятилетнего мужика.

— Нет, считаю, что возможно,— ответил я серьезно.— К тому же он до сих пор еще холост.

— Прекрасно! — воскликнула она.— И, ей-богу, я бы им занялась, будь он в моем вкусе... Но он мне нравится иначе. Я в восторге, как он легко сдул пену с нашего шефа. Самарин забурел — к нему не

подступишься. Мы все у него вроде мальчиков на побегушках. То подай, то сделай. А идеями снабжает только он. Ты и не смей шевелить извилинами. Вот и топчемся...

— А сейчас?

— Сейчас думаем,— снова засмеялась она.— А это, Костя, огромное удовольствие.

— Надеетесь, сейчас найдете?

— Сейчас найдем,— подтвердила она.— Очень многие этого хотят. Да и дух соревнования не последнее дело... Ведь два месяца никаких результатов. У половины группы диссертации горят. Престиж института прахом может развеяться.

— Ну, в первую очередь не вам по шее дадут, а заводу. С него главный спрос...

— Так,— кивнула она.— Но завод устоит, а Самарин вряд ли.

— Ну,— недоверчиво покачал я головой.— Такой знаменитый профессор, сколько книг у него. Авторитет. Да что ему делается?

— Ни черта ты, Костя, в этом не смыслишь,— сказала она.— В науке ведь так: сегодня авторитет, а завтра ретроград. И вся наша лаборатория никому не нужна... Знал бы, сколько у Самарина врагов. Ни у одного производственника столько врагов быть не может.

— Это почему же?

— Да потому... Ты небось думаешь, наука — святилище. Поле, где пышно расцветают идеи, их холят и нежат. А наука — это совсем другое, это скорее бранное поле. И там кости трещат, головы летят. А если бьют, то прямо в сердце... Вот так,— она зябко передернула плечами.

Галя была права: в цехе и в самом деле все бурлило. Однажды я услышал, как мои наладчики горячо спорят о структуре электротехнической стали, это было совсем не их делом, но они спорили серьезно: почему при черном обжиге, когда стараются свести до минимума углерод в стали, чтобы повысить ее магнитные свойства, растет зерно и сталь становится хрупкой. Они решили спросить об этом меня, и я объяснил им, выводя мелом на стальной полосе формулы. Они сбились тесной кучкой, тяжело дышали мне в затылок, поддакивали, спрашивали. Только закончив объяснения, я сообразил: их тоже захватила волна поисков. Вот что наделал Ремез своим приказом! С этого мгновения я и задумался: а в чем же загадка? Поздно вечером я пришел в кабинет Бортова, попросил:

— Степан, дай-ка мне анализы по всем вариантам электротехнической. Я тут посижу ночку.

Бортов не удивился, вынул папку, положил передо мной. Я просидел до рассвета.

С этого дня понеслось. Днем я в цехе. Не вспомнить всего, не передать, из каких только неожиданностей складывается в такое подготовительное время рабочий день. А вечером бежал в кабинет Бортова и занимался исследованием. Анализы заводской лаборатории, расчеты инженеров группы... Я искал всюду. И внезапно сообразил: да ведь группа Самарина проверила все варианты. Других быть не может. Начинается повторение. И они сами не замечают, как идут по замкнутому кругу. Это могло значить только одно: надо искать разгадку не в структуре металла, как ищут они, а во внешних воздействиях на него. Что-то неверное в способе прокатки. Но и тут они вроде бы все проверяли: меняли степень обжатия валков, режим работы. Ничего не помогало. Сталь крошилась...

Сколько раз я потом пытался сам себе объяснить, как пришла мне эта простая мысль в голову, и не мог. Но она пришла, и было это часа в четыре утра, когда за окном кабинета Бортова стало светло. Я решил

поспать хотя бы здесь на диване, встал, сложил руки в замок, отжал затекшие пальцы и внезапно понял: крупное зерно в малоуглеродистой стали надо разбить ударом, тогда сталь станет пластичной. Вот чего никто никогда не делал. Удар! Но чем? Прокатный стан не молот. И тут же догадался: первыми валками. Дать им максимальную степень обжатия, и это будет равно удару. Так еще никогда не работал ни один прокатный стан. Я остановился, ошеломленный этой мыслью. «Проверить,— бешено заработало у меня в голове.— Немедленно проверить». Я знал, сегодня у стана работают наладчики— мои ребята.

А через час я бежал от завода к гостинице, бежал легко по пустынным в утреннем солнце улицам Ярска, не дожидаясь лифта, взлетел по лестнице на четвертый этаж и застучал в двери Галиного номера. Кто? — тревожно выдохнули за ней, и тут же щелкнула задвижка. Растрепанная, еще не отошедшая от сна, беззащитно сжимая на груди ситцевый халатик, Галя непонимающе смотрела на меня, а я крикнул:

— Есть!

Она отступила и, как молитву, произнесла:

— Боже мой...

Потом она уверяла, что с первого взгляда поняла, что произошло в эту ночь, но, честно говоря, я ей не очень верил, так как запомнил ее растерянность... Тут же на столике я вычертил график обжатия и принялся объяснять новый принцип работы стана и видел, как вспыхивали зеленые искры в ее глазах.

А потом мы бежали с ней обратно в цех, чтобы успеть до начала смены. Галя ощупывала, осматривала, чуть не обнюхивала прокатанный мною лист и потом, внезапно оторвавшись от него, повернулась ко мне, стремительно обняла и поцеловала в губы. Но тут же отстранилась, сделалась серьезной, заговорила с беспокойством:

— Ты сейчас же пойдешь и все изложишь письменно. Отпечатай в двух экземплярах, Костя, и подай на имя Ремеза.

— Да зачем эта писанина?

— Я знаю, что говорю,— строго прикрикнула она.— Ты же не хочешь, чтобы твою догадку присвоили другие. Иди! — теперь уж приказала она.

Я написал эту бумагу и отнес ее Бортову, а сам занялся своими делами. Я совсем загонял наладчиков и сам удивлялся, как они легко остаются на сверхурочные. Изнуренный работой и жарой, я добирался к ночи до своего гостиничного номера и засыпал, мне начинал сниться один и тот же сон: синяя, с червонными жилками, широкая стальная лента ползла под большие круглые валки, они нежно прижимали ее, и лента становилась податливой, мягкой, будто сделана была не из металла, а какого-то иного, прочного и вязкого, вещества; сон этот был длинный, неторопливый и почему-то, когда я просыпался, оставлял мутное чувство беспокойства.

На третий день меня вызвал Ремез. Я поспешил туда, не вымыв рук, на ходу обтирая их паклей, да так эту паклю и не выбросил, переступив порог кабинета. Ремез, завидев меня, быстро вышел из-за стола, взял меня за плечи, сжал их, сказал:

— Я рад, Костя, что не ошибся в вас. То, что вы нам нарисовали,— замечательная идея.

— Прекрасная,— раскатисто раздалось от окна.

Там сидел профессор Самарин, белые волосы воинственно поднимались над его головой, грубой лепки черты лица были красны и лоснились довольством.

— Прошу вас, молодой человек,— указал он на стул против себя. Я сел, Самарин пододвинул к себе пачку с бумагами, графиками,

аккуратненькими схемками и сразу же начал рассказывать, как происходит деформация стали, если вести ее тем способом, который я предложил; он ничего не пропускал и подробно объяснял, и каково будет абсолютное обжатие и уширение металла, и при каком угле захвата лучше всего будет происходить давление валков на металл... И я понимал, что за эти дни они всё проверили, отыскиали режим работы стана, и чем дольше я слушал, тем яснее становилось: я как практик лишь подтолкнул их к открытию, а уж они, то есть группа Самарина, все как следует разработали и придали идее законченную форму, и только теперь о ней можно говорить как о подлинно научной... Рemez пристроился в уголке и тоже внимательно слушал, постукивая мундштуком трубки по губам, он не курил, и я видел, как озорно и насмешливо вспыхивали огни в его угольных глазах.

— Вот так,— сказал Самарин, захлопывая папку. Он, видимо, устал, вынул чистый, аккуратно сложенный платок из кармана пиджака, прикоснулся им ко лбу и шее.— Совсем дышать нечем...

В это-то время и раздался смех Ремеза.

— Великолепно! — воскликнул он и, вскочив на ноги, быстро прошелся по кабинету, потом ловко взял из закрытой папки Самарина какой-то листок и, ткнув в него пальцем, сказал:— Великолепно поработали, Любомир Сергеевич. Спасибо, спасибо... Но хочу вас сразу предостеречь — мы своего товарища, я имею в виду Голикова, в обиду не дадим.

— Да помилуйте,— улыбнулся Самарин,— кто же его обижать собирается?

— Никто, никто,— сразу же согласился Рemez,— и потому я бы вас попросил указать Голикова первым автором. То, что он вас с этого местечка потеснит — не беда, у вас и так имя знаменитое. А Голикову это еще сгодится. Ну, договорились?

— Конечно, конечно,— поспешно согласился Самарин.

— Вот и хорошо.— Рemez, положив листок на стол, сказал:— Тогда вот тут и поправьте, Любомир Сергеевич.

Самарин, все так же приятно улыбаясь, что-то исправил на листке и снова вложил его в папочку; он не дал себе опуститься до возражений или обиды, а старался выглядеть широким и великодушным.

Я и предполагать не мог, насколько важным окажется для меня это настойчивое требование Ремеза. Он верно предвидел на несколько ходов вперед.

— Вот теперь я готов подписать документы,— сказал Рemez, быстро прошел к письменному столу и, не садясь, поставил на нескольких бумагах подпись, протянул их Самарину и, вежливо улыбаясь, сказал:— Еще раз моя благодарность...

Самарин подошел к столу, взял из рук Ремеза бумажки, склонился в полупоклоне, потом, все так же приятно улыбаясь, кивнул мне и неторопливо, сохраняя чувство достоинства, пошел к двери. Едва она закрылась за ним, как Рemez неожиданно, совсем по-мальчишески подпрыгнул, стукнул ногой об ногу и тут же присел и неудержимо расхохотался. Смех у него был рассыпчатый, звонкий, с какой-то даже повизгивающей нотой, я не знал его причины, но, глядя на Ремеза, тоже начал посмеиваться. Он выпрямился, смахнул со щеки выступившие слезы, быстро налил из графина в стакан воды, но, сделав несколько глотков, снова фыркнул и раскатился смехом. На этот раз он быстро взял себя в руки, сказал:

— Извините, ради бога, Костя, но, ей-богу, этот гусь...— он махнул рукой, не закончив фразы.

Мне хотелось выяснить, что так его развеселило.

— Он — величина. Главный авторитет у прокатчиков. Я его книги читал...

— Да, да, книги, — подтвердил Ремез, в черных глазах его все еще держался смех. — А все же вы — рядовой инженер — ему фитиль вставили. Да еще какой! Эх, Костя, у нас до черта этих авторитетов. А разглядишь — один фасад, одна вывеска... Вот и ссылаемся на авторитеты. А сами думать ни-ни. Авторитет сказал, и все. Это — закон. Это — правильно. А вы вот сами одним ударом все концепции самаринские разрушили. Двигались бы мы его путем, слепо, не думая, — черта с два нашли бы способ прокатки.

Он быстро прошелся по кабинету, повернул стул спинкой от себя, сел на него верхом, положил на спинку локти и улыбнулся мне:

— Рвануть бы, Костя, на рассвете на рыбалку. Костерок. Ушица... Хо-о-рошо. Как бывало! — подмигнул он. — Вот пустим холодный прокат. Теперь уж обязательно пустим и смотаемся. А то что же это за жизнь?

Честно говоря, мне все меньше и меньше нравилось то, что происходило в кабинете: если Игнат Матвеевич думал о профессоре так, как только что сказал, зачем нужно было играть с ним, благодарить, приятно улыбаться. Ведь когда я впервые увидел их вместе — профессора и Ремеза, Игнат Матвеевич повел себя открыто и спокойно и все легко расставил на свои места. Теперь он улыбался ему в глаза, а стояло Самарину покинуть кабинет, как он заговорил о нем с намешкой. Что-то тут было не так, и этот его смех, его мальчишеское подпрыгивание...

— О чем задумались, Костя?

Я решил выложить ему все. Он не удивился, выслушал внимательно, вынул из кармана трубку, набил ее, раскурил.

— Может быть, вы и правы, — сказал он. — Но все дело в том, что Самарин вчера дал телеграмму министру и все приписал себе. А меня поставили в дурацкое положение. О том, что знаю об этой телеграмме, я говорить не должен, а бумаги его исправить необходимо... Вот и пришлось с такими ужимками, — и он опять расхохотался. — Тут вся штука в том, что он сразу понял: я о телеграмме знаю. Вот у нас и начался диалог с подтекстом. Если бы вы были на моем месте, ей-богу, и вам было бы весело. А вы, однако, строги. Как Лена. Смотрите не переборщите со строгостью, — подмигнул он и встал.

При чем тут Лена? — подумал я.

— А на рыбалку все же мы сходим, — сказал он, пожимая мне руку, ладонь у него была теплая и сухая...

А вечером, едва я пришел к себе в номер, принял душ и переоделся, позвонила Галя и сообщила, что уезжает рано утром, а нынче вся группа Самарина собирается на прощальный ужин, и сейчас она звонит по поручению профессора, чтобы через полчаса я спустился вниз в ресторан, они меня приглашают.

— Они меня приглашают, а ты нет? — спросил я, чтобы подразнить ее.

Но она ответила серьезно:

— А я тебя приглашаю удрать с этого ужина и немножко побродить у реки.

— Тогда давай вообще не пойдем к столу.

— Нельзя. Обидятся... Но мы удерем, как только можно будет.

Стол накрыт был в том же углу, где я впервые увидел всю самаринскую группу, теперь же и руководитель сидел во главе, в темном костюме, белой рубашке, при галстукке; он выглядел празднично и внушительно, да и все остальные приоделись, были оживлены, веселы, предупредительны друг к другу. Чувствовалось, они закончили рабо-

ту и радовались этому, много говорили о Москве и мыслями скорее всего были дома. И мне тоже было хорошо с ними за столом, я с удовольствием слушал их шутки, их жаргончик, который еще не перекочевал в полную силу в наши провинциальные места, мне нравилось, как они называют друг друга «старик», «старуха», как вставляют в речь презрительные словечки «бодяга», «лабуда» и удивленно произносят «ну и подонок»... Мне нравилась их раскованность, их простецкое обращение к Самарину — «шеф», которое он принимал, видимо, с удовольствием, их нехитрые шутки, цитаты из свежих стихов гремевших тогда молодых поэтов, подчеркнутое безразличие к поступкам товарищей и вместе с тем готовность мгновенно оградить их от неприятностей. Они не обижались на шутки даже злые, они были терпеливы друг к другу, и это-то больше всего мне нравилось. Что-то было в них для меня незнакомое, а может быть, недобранное в юности и потому притягательное. Я представлял, что они там, у себя в Москве живут особой жизнью, о которой я слышал, но не знал ни ее вкусов, ни ее запахов, в той жизни был театр «Современник» с его смелой молодостью, остроумием и свойскими ребятами — актерами, были вечера поэзии и диспуты в Политехническом, беспечные ресторанские истории, ипподромные скачки, туристские поездки за рубеж или дальние походы с рюкзаками на спине, там были физики и лирики, загадочный городок Дубна... Ох как много там было всего, и та жизнь текла в стороне от меня, от моих дел, тяжких будней, лишь слабым ветром доносило раскаты веселых и бурных событий. Иногда я слышал о них от Лены — все же она бывала в Москве, иногда от своих товарищей по заводу.

Самарин был хорош за столом, он потребовал с самого начала отмены всех тостов, заявив, что тосты дисциплинируют, а лучший порядок застолья — дисгармония. Выпив, он начал показывать фокусы, он глотал яблоко, вынимал его из волос Гали, вилки и ложки исчезали под его ладонью, а потом, прикрыв глаза, читал из Цветаевой и Ахматовой, и ему бурно аплодировали. Он весь лучился весельем и добротой и становился мне все симпатичнее, седая шевелюра его пылала над крепким красным лбом, тяжелые черты лица смягчились.

— Он похож на доброго льва, — сказал я Гале.

Она радостно рассмеялась и даже захопала в ладоши. Потом Самарин пригласил ее танцевать и легко повел среди пар, величественно откинув назад тяжелую голову, во всех его движениях чувствовалась уверенность, изящество. Он ушел из-за стола внезапно, когда, казалось, веселье было в самом разгаре, взглянул на часы, извинился, объяснил, что у него бурно назначена встреча, попрощался со всеми кивком головы, а меня взял под руку и вывел из ресторана.

Мы остановились с ним в гостиничном холле, и он, улыбаясь, стал говорить, что рад был встретиться со мной, надеется, что судьба еще сведет нас, и тут же, как бы между прочим, заметил: если появится желание попробовать силы в науке... милости просим. Едва протянул он мне руку, чтобы попрощаться, как за моей спиной раздался голос Ремеза:

— Я здесь, Любомир Сергеевич!

Самарин вздрогнул, лохматые седые брови его вскинулись вверх.

— Добрый вечер, Игнат Матвеевич. Признаться...

— Что, не ждали? — насмешливо спросил Ремез. — Но вы же сами пригласили меня. Насколько я понял, у вас серьезный разговор.

— Да-да, пригласил. Но не был уверен... Впрочем, и разговор-то короткий и необязательный. Но если уж вы сочли нужным...

Ремез неожиданно рассмеялся коротким своим смешком, тронул за руку Самарина, ответил:

— Не надо, Любомир Сергеевич, мы-то с вами знаем, самые «необязательные» разговоры более всего обязательны.— Он огляделся и кивнул в угол, где стоял низенький стол под пальмой в кадке и четыре черных кресла:— Если коротко, можно и здесь...

Я хотел было вернуться в компанию, но Ремез сразу же решительно взял меня под руку, сказал:

— Идемте, идемте с нами, Любомир Сергеевич, вы не возражаете?

Самарин покосился на меня, но ничего не ответил, первым двинулся к столику у пальмы; он тяжело опустился в кресло, и лицо его потеряло добродушную мягкость, сделалось тяжелым и резким. Он молчал, пока Ремез набивал трубку, и мне становилось не по себе от его утрюмого посапывания и от налившегося металлом взгляда, а Ремез словно и не замечал ничего этого, с лица его не сходило то озорно-насмешливое выражение, которое я уловил еще в кабинете Бортова, когда он разговаривал с Самариным.

Ремез раскурил трубку, сказал:

— Я слушаю, Любомир Сергеевич...

— Вот что, Игнат Матвеевич,— прозвучало твердо, даже резко.— Я бы хотел попроситься с вами вовсе не так, как нынче на заводе. Мы люди тертые, всякого нахлебались, навидались да и наелись. И нам бы с вами в открытую... А мы дешевенькие фанты разыграли. Ушел я от вас, а сам чувствовал, как вы мне в спину смеетесь. А это совсем ни к чему, Игнат Матвеевич, особенно по нынешним временам ни к чему... Я ведь от вас не скрывал, что в задачке мы увязли. В науке и не так бывает, на то она и наука. Не скрывал я, что решение это мне позарез нужно. И не в престиже дело. Есть еще у нас эдакие, кто убежден: если хочешь, чтоб тебя признали,— съешь противника. А едоков нынче на Самарина из молодых да железных не так уж мало набралось. Мне эта прокатка сейчас пуще жизни нужна. Спасибо Голикову, он подсказал... Но это еще не все. Тут и разработка технологическая нужна и даже, если хотите, теория да и много другого. Так что упрощать не надо, и из меня посмешище делать тоже не стоит, дорогой Игнат Матвеевич. Утром я не сумел это все напрямую, а нынче решил...

Он хмуро замолчал, видимо ожидая, что ответит Ремез, а тот молчал, попыхивая трубкой, только насмешливое выражение исчезло с его лица и глаза смотрели печально.

— Что, не согласны со мной? — открыто спросил Самарин.

— Электротехническая и вправду вам была нужна,— начал было Ремез,— именно в ам, а заводу...

Но Самарин не дал ему договорить, махнул тяжелой рукой:

— Да бросьте, Игнат Матвеевич, и в ам, в ам она тоже была нужна. Да если напрямую говорить: чины да почести вещь полезная, благодаря им кое-кто не мешал мне делать в науке то, что задумано. Не в тщеславии дело. Ни один ученый, коль он на самом деле ученый, на умственной диете сидеть не может, ему и разносолы подавай. А насколько я к вам пригляделся, вы тоже не из диетчиков.

— И все же мне непонятно: к чему этот разговор?— помолчав, сказал Ремез.

— Понятно,— убежденно кивнул Самарин.— Очень даже понятно. Если хотите, чтобы я высказался до конца,— извольте. Дело у нас все же сделано. И не только открыт способ прокатки, но и разработано много побочного. Даже часть ложных идей отвергнута. А это немало. Ложные идеи, они тоже живучи, иногда даже поболее, чем истинные. Ну, а коль дело сделано, я бы не хотел, чтобы на него

падала хоть какая-либо тень. Особенно с вашей стороны. Вот о чем у нас разговор.

— Я вовсе не собирался принижать значение вашей работы,— сказал Ремез.

— Может быть, может быть,— согласно кивнул головой Самарин,— но вы нынче вели на заводе разговор в такой интонации, что я предпочел поставить точку над «и».

Ремез посидел, по привычке постукивая мундштуком трубки по губам, сказал участливо:

— Однако ж вас крепко, видно, попугали.

— Было,— тотчас согласился Самарин.— Но и я себя в обиду не давал. Я признаю один лишь метод — метод авторитета. Что бы нынче ни говорили, как было — каков поп, таков приход,— так и будет.

— Странно,— задумчиво сказал Ремез.— Как раз в науке такого быть не должно... Авторитет, самоочевидные принципы — это же как бревно поперек дороги. Теперь понятно, почему вы так и не приняли нашей идеи, чтобы все участвовали в поисках варианта прокатки.

— Не о том говорим,— покачал головой Самарин.— Поиск поиском, сомнения сомнениями. Все тут ясно. Но в того, кто во главе направления, должны верить... Так было, так будет. Уж кого-кого, а Эйнштейна в стремлении подавлять своим авторитетом не обвинишь. Реальный прогресс начинается, когда кто-нибудь удачно находит объединяющую идею — это мысль Эйнштейна. Не с потолка она берется. Кто-то ее находит. Этот кто-то и есть авторитет... Вот я о чем. И не доказывайте мне, что вы думаете иначе. Не поверю. Какие бы вы тут на заводе пресобразования ни делали, как бы ни старались вовлечь во всякие обсуждения побольше людей и прочее, прочее, а не только авторитет свой будете оберегать — и жить не сможете без ощущения власти. А иначе какой же вы директор? Может быть, пройдет время и люди найдут иную форму управления производством и наукой, но мы-то с вами на этой воспитаны. Ну, теперь я вроде бы все выложил.

Он сидел, откинувшись на спинку кресла, и говорил свысока, будто компенсировал этим свое унижение, когда сорвался, пригрозил покинуть завод и тут же покорно смирился под насмешливым взглядом Ремеза.

Игнат Матвеевич пригладил жесткий ежик рыжих волос и мягко кивнул:

— Спасибо, Любомир Сергеевич... Откровенность — великий дар. Я еще раз могу вам твердо обещать, что сделаю все, чтобы укрепить ваше положение.

— Ну и на этом спасибо,— сказал Самарин, проворно для грузного своего тела встал и, кивнув, твердо пошел к лифту.

Ремез все еще сидел, посасывая мундштук потухшей трубки; мне показалось, он настолько ушел в свои мысли, что и забыл обо мне. Он побарабанил пальцем по черной полированной крышке стола и тихо сказал:

— Да, в любопытное время живем... Любопытное. Техника и наука как вперед рванули. Можно сказать, почти сверхчеловеческое время. А, Костя?

Я не знал, что ответить. И тогда он ответил сам:

— Люди становятся мельче своих дел... Вот бы о чем думать надо.

И он встал, протянул мне руку на прощание и пошел из гостиной, и едва он вышел, где-то совсем близко рванула фиолетово-розовым светом молния, тяжело раскатился гром, струи воды потекли по широким стеклам.

Столько дней стояла тяжкая жара, и дождь сейчас был великим благом.

— Вот это да! — услышал я рядом с собой восхищенное и увидел Галю.

— А я тебя совсем заждалась, — объяснила она. — Знаешь, тут есть одно место... А ну, пошли!

Не отпуская моей руки, она быстро повела меня к выходу; мы выскочили под сильные струи дождя, пробежали вдоль стены и оказались на небольшой бетонной веранде, где стояли садовые скамейки.

— Хорошо. Верно? — спросила она, темные глаза ее светились.

Мы сели на скамью, я обнял ее за мокрые плечи. Дождь беспокойно плескался от нас совсем близко, струи его иногда ударялись о барьер, и тогда мелкие капли падали на лицо, но отстраняться не хотелось. Я возбужденно рассказывал о сцене между Ремезом и Самаринным.

— Знаешь... Это очень серьезно, — сразу же отозвалась Галя. — Самарин не просто ученый, это целая эпоха. Мне то жаль его, то я им восхищаюсь, то он кажется волк волком... Всего в нем накручено, наверчено. Он привык жить все время настороже. Никому не верит и считает, ему не верят тоже... И все-таки он ученый, мы еще об этом узнаем. Я в это верю... А знаешь, ты ему пришелся. Он ведь тебя к нам пригласил. Ты понял?.. Ну вот. А это у него высший вид доверия. Ох, устала я от этого. Помолчим лучше.

— Нет, — сказал я. — Ты уезжаешь. А я не знаю куда. В какую жизнь. Вообще я о тебе ничего не знаю.

— И не надо обо мне ничего знать.

— Как ты живешь?

— По-разному. Но больше плохо. Хотя делаю вид, что хорошо. Мы ведь с тобой еще увидимся.

Дождь лил сплошной стеной. А я как бы заново увидел Самарина и Ремеза, сидящими друг против друга в низких черных креслах, разделенных полированной крышкой стола, и понял отчетливо: было, конечно же было в этих людях нечто общее... И снова услышал слова Игната Матвеевича: «Люди становятся мельче своих дел...» Не относил ли он их и к себе самому?

Глава восьмая

Недели через две после отъезда группы Самарина мне выдали ордер на квартиру в доме прокатчиков. Пятиэтажный дом стоял у самой березовой рощи. Квартира оказалась большая: три комнаты, две из них выходили в рощу, кухня, ванная. Я, почти всю жизнь проживший в тесной комнате коммунальной квартиры, сразу же почувствовал себя богатым и уважаемым человеком, дал телеграмму своим, чтобы они немедленно перебирались ко мне, тут же получил ответную: прибудут через неделю. Благодаря Бортову, который тоже вселился в этот дом этажом выше и принял деятельное участие в моем устройстве, я добыл необходимую на первых порах мебель и стал ждать семью...

Мы весело и счастливо обживали новую квартиру, одну комнату отдали Наталье Михайловне, во вторую поселили Асю, а третью, самую большую, взяли себе — здесь была и спальня и гостиная, стоял телевизор и небольшой письменный столик, чтобы Лена могла работать, теперь она была собкором центральной газеты и ей не нужно было бегать каждый день на службу. Наталья Михайловна по приезде в Ярск расцвела, прошли ее многочисленные болячки, она

отыскивала старых знакомых, пропадала у них целыми днями, возвращалась деятельная, стряпала, наводила порядок в доме. Быт наш постепенно становился прочным. Я поднимался рано, уходил на завод, вторая очередь цеха еще не была пущена да еще шла возня с электротехнической. Здесь, как на прежнем заводе, возникали авральные дни и надо было оставаться на сверхурочные, но все же жизнь цеха не была такой суетливой и нервной.

Бортов вел дело уверенно, мне нравился его твердый, без дерганий и криков стиль. Впрочем, уверенное спокойствие, убеждение, что дело будет сделано, если им заниматься, не кивая на соседа, свойственно было всему заводу. И если случался сбой, опять же никто ни на кого не кивал. И не считались мы со временем, бежали в цех чуть свет, любили собираться в бортовском кабинете, спорить, было много шуток,— была работа! Как бы там ни было, но тогда работа была мне в радость.

Ремез появился у нас дома уже осенью. Я вернулся в сумерках из цеха, по запаху пирогов, по раскрасневшемуся лицу Натальи Михайловны и празднично одетой Лене понял — в доме что-то затевается.

— Праздник? — спросил я, снимая плащ в прихожей.

— Еще какой! — рассмеялась Лена. — Ждем гостя.

Они с Натальей Михайловной устроили разговор, заставили меня переодеться в новый костюм, к столу не пустили, хотя есть мне хотелось нестерпимо, и не говорили, кого ждут. Когда раздался звонок и я шагнул было в прихожую, Лена, опередив меня, проворно метнулась вперед. Ремез вошел сияющий, держа букет золотистых роз, редких в наших краях, он протянул их Лене, трижды поцеловал Наталью Михайловну, и она покраснела от радости и смущения.

Его торжественно повели в нашу большую комнату, где накрыт был стол и длинноногая Ася, не знавшая его прежде, кокетливо и с любопытством смотрела на него. Он входил в наш дом, будто приехал издалека к родным людям. Меня словно бы оттеснили в сторону, старались не замечать.

— Ой, и хорош же ты, Игнат Матвеевич, ой и хорош,— восклицала Наталья Михайловна.— Будто годков двадцать сбросил. На улице бы не узнала.

— Полно, Наталья Михайловна, вон уж седой стал.

— Не беда. Глаз-то молодой, а тогда грустный был. Вот что значит человек под собой землю почуял. А мы о тебе, Игнат Матвеевич, разного наслушались. Будто ты под взрыв попал?

— Да было что-то вроде этого. Старые трубы прорвало, вода в мартен хлынула. Ну, и рвануло...

— И тебе досталось?

— И мне... Я под стеной у цеха в яме вентиль перекрывал, меня в той яме и засыпало. Ничего, отлежался.

— А потом где же тебя, сердечного, носило? Я разное слыхала. Будто ты и по тайге ходил с геологами, и на пароходе плавал, и на автобазе слесарил. Врут, поди?

— Кое-что было, не все врут.

— Не жалеешь, что помытарился?

— Нет, Наталья Михайловна, не жалею. Разве можно о своей жизни жалеть.

— Ну, тогда хорошо, тогда злости в тебе не должно скопиться. Ешь, ешь пирог-то, Игнат Матвеевич, наш пирог, яркий. Ты такой любил. Вот кислушки нет. Была бы пасека своя, наварила бы. Да деревню нашу город как языком слизнул. Хорошо хоть погост уцелел, можно на родные могилки сходить, да опять же к Ивану Митро-

фановичу. Я тоже совсем старая стала. А ты выпей да закуси. Ну, и спасибо тебе, что ты добро помнишь, нас вот в Ярске позвал. Не все добро умеют помнить, нет, не все...

Он и вел себя за столом, как свой. А Лена затеяла серьезный разговор. Попыхивая сигареткой, распустив медовые волосы, смотрела на него задумчиво, говорила нетрогко об экономике завода — она хорошо в этом поднаторела за последние годы. И Ремез охотно отвечал ей, постукивая мундштуком трубки по губам. Я пытался раза два войти в разговор, но Лена меня отстранила, и я замолчал, поняв, что мне так и не дадут вставить слова. Я стал слушать Ремеза.

— Конечно, конечно, тот стиль, что сложился в войну, не годен. Тогда все держалось на жесткой необходимости... Беспрекословное подчинение. Железная воля руководителя. Однако же, — он мягко улыбнулся Лене, — кое-что было и такое, от чего и сейчас не откажешься. Вот, например, для нас тогда понятия вал не существовало. Нужно было дать армии столько-то танков, и баста; танков, а не столько-то тонн стали, проката. Все было откровенно конкретным. А потом, после войны, снова всплыла эта штуковина — вал. За общими понятиями легче спрятать промахи. Хозяйству нужны не проценты, а конкретные вещи: трубы, стальные листы, в общем реальная продукция. Вот по ней-то и надо оценивать результаты труда. Если будем прикрываться абстрактным понятием вал, то станем похожи на людей, которые вместо яблок, груш, вишен придумывают категорию плод. А это уж нечто такое, чего в природе не существует...

Он говорил весело и, видимо, нарочно упрощал, чтобы и Наталья Михайловне было понятно, и она понимала, согласно кивала.

— Честно говоря, я боюсь моды. Вот сейчас стали шуметь о научной организации труда. Газету раскроешь: «НОТ, НОТ...» Легче всего создать при управлении отдел «НОТ». Меня вот сверху каждый день запрашивают: «Есть у тебя такой?» А я отвечаю: «Нет, и пока создавать не собираюсь». Упрекают: «Все создают, а ты...» А я думаю: во имя чего? Смысл управления прост: принимать нужные решения быстро и без проволочек. А мне предлагают его усложнить всякими бюрократическими надстройками и при этом прикрываются наукообразностью. А в том-то и дело, что производство не просто должно встать на научную основу, а само должно быть наукой, такой же точной, как математика. Поэтому для управления нужно искать простые и гибкие формы...

Лена сидела, подперев кулаком подбородок, большие глаза ее были широко открыты, и, заглянув в них, я опешил — столько там было и тоски, и ласки. А я уж привык, что в последние годы глаза ее отливали стальным блеском непримиримости и лишь в редкие минуты теплели...

Ремез ушел поздно вечером, его шумно провожали в прихожей, Наталья Михайловна трижды с ним поцеловалась, Лена тоже его чмокнула в щеку, Ася в другую, приглашали его приходиться снова, он обещал и ушел, молча пожав мне руку.

Через две недели мне исполнилось тридцать восемь, я замотался в этот день на работе и, когда уж возвращался из цеха, заскочил вместе с Бортовым в гостиничный ресторан, выпили там с ним по рюмке и — домой. У меня все спали, час был поздний, еще утром на столе я нашел подарок — новую рубашку и галстук, вот и весь день рождения. Но отправляясь на смену в тесном автобусе, я вдруг задумался: ведь уже не молод, а мне казалось — все впереди.

Прошло несколько дней, и снова прозвучал для меня сигнал о скоротечности жизни, шел он на этот раз от моей дочери.

Я засиделся в этот вечер у Бортова за шахматами, потому что

знал, Лена ушла на какое-то собрание и пробудет там долго. Погода стояла скверная — шел мокрый, липкий снег с дождем. Выйдя от Бортова, я вспомнил, что не брал вечерней почты и стал спускаться к почтовому ящику. Внизу при тусклом свете лампочки я увидел Асю. Она стояла у самых ящиков, и ее целовал высокий худой парень, он был без шапки, и его черные волосы блестели от дождя. Я споткнулся и уронил ключи, они громко звякнули в тишине подъезда. Ася стремительно оттолкнула от себя парня и охнула:

— Папа!

А я в полной растерянности шарил рукой по ступеньке, чтобы найти эти проклятые ключи, и когда наконец наткнулся, выпрямился, парень мне вежливо поклонился, сказал:

— Здравсьте...

— Здравсьте, здравсьте,— ответил я и пошел назад к своей квартире.

Ася ворвалась ко мне в комнату минут через пять, щеки ее пылали, в глазах стояли слезы.

— Папка, папка,— сказала она, сев на диван, прижала ладошки к лицу и заплакала.

Мне стало ее жалко, и, не зная, как успокоить, я сказал:

— Что же ты, дурочка, плачешь?.. Я ничего не видел.

— Видел, видел! — воскликнула она сквозь слезы.

— Ну, видел, ну и что?

Она кулаком вытерла щеку, громко шмыгнула носом.

— Ты находишь, ничего особенного? — зло спросила она.

— Ну... да,— растерянно проговорил я.

И тут же она снова прижала ладони к лицу, бормоча сквозь слезы:

— Ничего... ничего ты не понимаешь!.. Я ведь первый раз... Девчонки все в классе давно перецеловались. А я первый. Пе-е-ервый. И то попа-а-а-алась.

— Да не реви ты! — рассердился я.— Кто он?

— Вовка Шундииков.

— Из вашего класса?

— Не-а, из параллельного... Он на скрипке играет.

— Понятно. Сказал, что любит?

— Сказал. А что?

— А ничего. Иди-ка спать.

Теперь она посмотрела на меня просящими глазами:

— А ты маме не скажешь?

— Не скажу.

— Клянешься?

— Клянусь!

Она еще раз шмыгнула носом и пошла в свою комнату.

Поначалу мне сделалось смешно, а потом я стал думать: вот уже моя дочь начала целоваться с мальчишками в подъезде, а я еще и сам недолюбил... Никого не было в моей жизни всерьез, только Лена. Она вошла в холодном, мрачном городе в мою судьбу как теплое дыхание надежды и веры, да так и осталась в ней; хоть все изменилось вокруг и она изменилась и я, все же во мне постоянно присутствовало то изначальное тепло, что связывало нас.

Лена вернулась поздно, вошла в комнату, потирая руки; на волосах ее еще не высохли капли от растаявшего снега, она удивилась, что я не сплю, встревоженно посмотрела на меня, спросила:

— Что случилось?

И вот тут я сделал то, чего долго не мог себе простить потом.

— Аська целовалась с мальчишкой в подъезде,— ответил я.

Лена некоторое время молча смотрела на меня, продолжая машинально потирать руки, видимо, пытаясь пережить эту новость, потом решительно повернулась к двери, я сообразил, что она готова немедленно ворваться в комнату Аси, разбудить ее, потребовать ответа, и метнулся наперерез, прикрыл спиной двери.

— Ты что... с ума сошла? — выдохнул я.

Наверное, у меня и вправду был грозный вид, она отступила, опустила руки и с подчеркнутым спокойствием сказала:

— Ну хорошо... Если мы сейчас этого не пресечем, что же будет? Ей ведь только двенадцать... Через год ей выходить замуж? Так?

— Почему замуж?.. Что ты говоришь?

— Тогда ответь мне: как ты мыслишь дальнейшее развитие их отношений с... Как зовут этого мальчика, ты знаешь?

— Вовка Шундилов,— ответил я.— Он играет на скрипке.

— На здоровье,— усмехнулась Лена.— Так как ты видишь дальнейшее развитие их отношений?

— Да ничего я не вижу! — взорвался я.— Все целуются в двенадцать лет. Надо же когда-то начинать. У них весь класс перецеловался... Да и ты сама в двенадцать лет целовалась со Степкой Бортовым.

Конечно же, это был недозволенный удар, но она приняла его спокойно.

— Но ведь со мной ничего не случилось!

— А кто тебе сказал, что с Асей случится?

— Сейчас другие нравы. Ты не знаешь, а я знаю.

Черт возьми! Вот ведь не глупая, серьезная женщина, пишет дельные статьи о производстве, но как только начинаются семейные нелады, происходит подмена и мы оба попадаем в трясину, из которой выбраться не так-то легко... Потом, махнув рукой, я попросил:

— Пожалуйста, только ничего ей не говори о том, что знаешь.

— Ну уж это я сама решу,— непримиримо сказала она.

— Я ей дал слово молчать.

— Вот и молчал бы...

— Я устал, пора спать.

«Господи, как глупо, до чего же глупо»,— думал я, ворочаясь в постели, и долго не мог уснуть...

А на другой день, когда я вернулся с работы, мне открыла Ася и, прищурив припухшие глаза, прошипела:

— Предатель! — и, гордо тряхнув тяжелыми волосами, показав мне прямую плоскую спину, ушла к себе в комнату.

С этого дня дочь со мной почти не разговаривала, она старалась не замечать меня, и если уж была крайняя нужда, отвечала коротко и небрежно. Я не стал об этом говорить с Леной, понимая, что такой разговор приведет нас к лишней ссоре. Несколько раз я поймал себя на том, что заискивал перед Асей, так хотелось мне восстановить наш мир, я ведь любил ее и тосковал по ней, когда долго не видел, и сейчас мучался от наших неладов, а она старалась уколоть меня побольнее. Как-то вечером я пошел в заводской клуб и увидел ее там, она стояла в танцевальном зале в кругу нескольких мальчиков и девочек, тот самый Вовка Шундилов что-то им рассказывал, и вся компания время от времени взрывалась смехом. Ася оглянулась, увидела меня, сердито прищурилась, и в это время Вовка снова что-то сказал смешное, все прыснули, а Ася подскочила к нему, поднялась на цыпочки и быстро чмокнула его, никто этого не ожидал, не ожидал и сам Шундилов, все примолкли, а он смущенно почесал щеку. Тогда Ася еще раз его чмокнула, и вся компания раскатилась

смехом, а она победно и зло снова посмотрела в мою сторону... Я поторопился уйти. Я и так устал от непримиримости и крайностей то на работе, то дома, когда Лена вдруг становилась похожей на фанатичку, а теперь вот и дочь демонстрировала передо мной волю... Распадалась моя семья, каждый отдалялся друг от друга, и ничего нельзя было поправить.

И понеслись мои дни, я старался как можно дольше пробыть в цехе, а когда оставалось время от чисто цеховых забот, я закрывался в кабинете и записывал наблюдения по прокатке. У меня собиралась книга о холодном прокате, я в ней рассказывал не только о том, какой путь проходит стальная лента с того момента, как поступает из горячего цеха, но и мечтал, каким путь этот может быть впереди, в будущем; это была смесь реального с фантастикой, и работа увлекала меня. Дом же встречал молчанием, только Наталья Михайловна, не понимавшая, что происходит, нет-нет да попрекала меня, что я совсем отбилсЯ от рук, пропадая на заводе и не хочу заниматься семьей.

— Одной работой даже скотина не живет,— ворчала она.

Но я ничего не мог ей объяснить... Так минула зима, прошумел бурный март, с паводком на Яроньке — снегу за зиму выпало много, и теплые ветры ворвались в наши места внезапно, погнаЛИ по полям и дорогам ручьи, к первому апреля обнажилась земля, в город доносило ее горьковатый, влажный запах, хотя еще по глухим овражкам и лежал твердый, ноздреватый снег. Первое апреля было солнечное, шумное от воробьиных базаров и бесконечных людских пересудов: в этот день произошла денежная реформа, заменили старые большие деньги на непривычные малого размера, появились из белого металла блестящие рубли, о реформе толковали всюду и поразному; в мартовском в этот день выдали зарплату, выдали ее новенькими, и многие бегали туда посмотреть на эти деньги или же выпросить до завтра займы.

Я вернулся в этот день домой рано, шел от проходной пешком, радуясь теплomu ветру, густевшему синему с фиолетовой глубиной небу, на фоне которого ярко выступали березовые ветви с набухающими почками. Я легко взбежал по лестнице, открыл двери и, втянув в себя вкусный запах жаркого, приготовленного Натальей Михайловной, с удовольствием умылся и только после этого, выйдя в коридор, весело крикнул:

— Эй, люди, есть тут кто-нибудь живой?

Тогда в дверях нашей комнаты возникла Лена, она стояла, обхватив ладонями локти, неестественно бледная, распущенные волосы неопрятно падали на плечи.

— Я тебя жду,— сказала она, и голос ее мне показался тоже неестественным, он пробивался с трудом, сухой, лишенный оттенков.

— Что-то случилось? — в тревоге спросил я, а у самого мелькнуло: Ася?.. Наталья Михайловна?

Она не отвечала, смотрела на меня, и вдруг я догадался, что она просто не может сказать то, что хочет, ее сковало, как при параличе. Я подбежал к ней, схватил за руки и невольно потряс:

— Что?.. Что? Ну что?

Она качнула головой, словно освобождаясь от наваждения, отстранилась и решительно пошла к столу, где в пепельнице истлевал дымок окурков сигареты, взяла его, торопливо затушила, сказала:

— Это касается нас двоих,— и опять я удивился ее голосу.

Мне сделалось легче, потому что я понял: ни с Асей, ни с Натальей Михайловной ничего не произошло. Я тоже достал сигареты,

закурил и с тоской подумал: наверное сейчас придется выслушать отповедь: я совсем забросил дом, пропадаю на работе, испортил отношения с дочерью, и пора этому положить конец.

— Костя,— произнесла она, и сразу же голос ее стал мягче,— мы с тобой расстаемся...

Я еще ничего не понимал, подумал, что она должна ехать в командировку, спросил:

— Надолго?

Она ответила сразу, словно хотела быстрее отделаться от давно уже заготовленных слов:

— К Игнату Матвеевичу...

Странно, но я опять ничего не понял и глупо спросил:

— Какому?

Она не удивилась.

— К Ремезу... Мы любим друг друга. Тут ничего нельзя поделать. И самое честное — нам быть с ним вместе. Я понимаю, для тебя это сложно и неожиданно. Конечно, это беда... Но иначе быть не может. У нас с тобой давно нелады. И семьи настоящей нет. Все формальности, Костя, потом. Я верю, ты все поймешь...

Она торопливо закурила, зажгла свет. Я ошалело смотрел на нее, смотрел, как она курит, складывая трубочкой губы, вышускает струйки дыма, и все мне бросалось в глаза: морщинки на ее шее, подсиненная кожа под глазами, тусклый румянец, внезапно вспыхнувший на щеках,— все это было нездоровым, казалось, где-то в глубине ее жила болезнь и Лена старалась победить ее. Было такое ощущение, будто ударили тупым и тяжелым по голове. До меня снова дошли ее слова:

— Чтобы нам не мучить друг друга, я уйду сегодня, сейчас же... Так лучше. Ты понял меня?

— Да, да,— машинально ответил я.

— Тогда позволь мне переодеться.

Я встал и пошел на кухню, увидел на столе кастрюлю, обернутую в старое одеяло — так всегда делала Наталья Михайловна, чтобы сохранить еду теплой к моему приходу. Я развернул эту кастрюлю и прямо из нее ложкой стал есть жаркое, я ел жадно, быстро пережевывая, и все не мог насытиться... На меня напал какой-то бесный приступ голода. Я ел без хлеба хорошо разваренное мясо, острое, с перцем и лавровым листом, перемешанное с картошкой, я весь сосредоточился на еде. Услышал, как щелкнула дверь, но и тут не оторвался от своего занятия, пока не выскреб все из кастрюли, потом напился холодной воды из-под крана. Подумал: «А где же другие? Где Наталья Михайловна? Где Ася?» Я вышел в коридор, зажег свет, подошел к комнате Натальи Михайловны и тоже щелкнул выключателем, все здесь стояло, как и прежде, на своих местах: кровать, шкаф, несколько стульев, комод, и все же чувствовалась в этой комнате пустота. Я заторопился к Асе, и там никого не было. Только тогда я понял: все было решено до моего прихода, все решено и обговорено. Все покинули меня. Здесь, в квартире, оставалась только Лена, чтобы сообщить мне об этом.

Мне стало страшно. Я крикнул. Эхо отозвалось из дальних углов... Мне показалось, сейчас что-то со мной произойдет, что-нибудь треснет и расколется в голове или груди, и сразу же стало нечем дышать, я схватил плащ с вешалки и выбежал на лестничную площадку.

Я вышел из подъезда в теплый весенний вечер, в разряженном воздухе сплетались детские голоса, отголоски музыки, шепот и дальнейшее гудение моторов. Люди сидели под фонарями на скамьях, играли

в домино, о чем-то говорили. Я медленно побрел улицей. Взгляд мой упал на освещенную витрину, кажется, это была аптечная витрина, потому что стояли какие-то банки с надписями, а над ними висел плакат: румяный человек на лыжах поднимал руку, к чему-то призывая, и улыбался, показывая яркие белые зубы... Я с отвращением отвернулся, почувствовав тошноту.

Сам не заметив, я ускорил шаг, все быстрее, быстрее, я почти бежал... Куда? И вспомнил: возле самой рощи недавно открыли кафе «Ветерок», круглую будку, похожую на маленький цирк шапито, всю из синей пластмассы. Я никогда не был в этом кафе и теперь перешагнул порог. Люди сидели тесно за небольшими синими пластмассовыми столиками, ели, пили, нещадно дымили. Я прошел через гудящую толпу к стойке, за которой стояла тяжелая тетка в белом, грязном халате, надетом поверх пальто. Я не успел ей ничего сказать, как она взяла с подноса запотевший, тусклый стакан, вопросительно посмотрела на меня, а так как я продолжал молчать, спросила:

— Сколько?

Мне было все равно. Я махнул рукой. Она оглянулась по сторонам и налила полный стакан, запах теплой водки ударил в лицо.

— Сосиски?

Я кивнул, расплатился, взял тарелку и стакан, оглядел кафе. Свободный стул оказался за столиком, где уже сидело человек пять. Едва я сел, как понял: ни пить, ни есть сейчас не могу. Говор окружал меня, бил по ушам, я не разбирал слов, не видел отдельных лиц, теплый дурман окутывал меня и качал, еще немного — и я не удержусь на стуле, свалюсь. Схватил стакан и стал пить тяжелыми глотками. Люди, сидевшие за столом, не смотрели на меня, они азартно спорили, хрустели новенькими деньгами, и тогда я вспомнил: «Ах, да... реформа».

— А спички, я тебя спрашиваю, спички?! Повышаются, выходит? — спрашивал кто-то рядом.

— От зажигалки прикуришь...

Об этой реформе весь день говорили на заводе, и у меня были свои соображения, выводы, но теперь это меня не касалось. «Надо уходить, — подумал я. — Домой». И сейчас же представил пустую квартиру, — ни шороха, ни звука, ни оклика... Только что все было: жена, дочь, теща. И одним разом — ничего не стало. До этого дня все, что я ни делал, было для них, близких, родных мне людей. Теперь же не было никого. То, что я сейчас чувствовал, было со мной прежде только один раз, на войне, в сорок третьем, когда долго стояли в обороне. Я к тому времени навоевался, всего похлебал, и в госпитале отлежался, а тут случилось мне в ночь по весенней грязи ползти, чтоб найти обрыв проводов. Выполз на бугорок и увидел: по мне трассирующими из пулемета. Прижался к земле. Обрыв от меня в двух шагах, чуть потянуться, а не могу. Страх все усиливался, и начало меня колотить. Меня било по земле, едва я пытался приподняться, как снова шмякался лицом в грязь. Подоспел мой товарищ — связист, запросто соединил провода, удивился: «Думал, тебя тут убило». Потом чего только ни случилось со мной, а я все вспоминал этот горячечный, неодолимый, липкий приступ страха...

«К черту! К черту!» — со злостью повторял я, возвращаясь домой...

Утром чуть свет отправился на завод. Дел было по горло, а в голову лезло одно: наверняка все было заранее предreshено, может быть, уже тогда, когда Лена настояла на нашем переезде... Ведь где-то они встретились, что-то происходило меж ними, пока они не ре-

шились на такой шаг, а я жил, делал свое дело и ничего не знал... «Да он-то как посмел!» — думал я о Ремезе, и злость к нему все росла. «Надо пойти к нему... надо...» И тут же останавливал вопрос: «Зачем?» Все свершилось...

Вечером я двинулся домой пешком, но с полдороги повернулся и уже решительно зашагал в «Ветерок»... И с этого дня началось: я не мог не пить по вечерам, иначе мне не хватало сил переступить порог квартиры. Я понимал, что должен взять себя в руки, и не такие беды бывают. Но мне обязательно нужно было в «Ветерок»; там сидели люди, чьи лица забывались к утру, но им можно было рассказать о своей беде, о том, что от меня ушла жена, они ругали ее и человека, который ее увел, тоже ругали. Наверное, и они к утру забывали, о чем говорили вечером. Пробуждение было невыносимым, и я заранее готовил бутылку, держал ее в холодильнике, едва поднявшись, шел на кухню и, преодолевая отвращение, выпивал, чтоб взбодриться.

Так длилось несколько дней. В травильном отделении случилась авария, ничего особенного не произошло, но линия вышла из строя дня на три, виноват в этом я был лишь косвенно. Однако ж меня вызвал к себе Бортов.

— Садись! — приказал он и зашагал по своему кабинету, опираясь на палку — это показывало, что он взвинчен и разговор будет серьезный. Он неожиданно повернулся, шагнул ко мне, очутившись почти вплотную, склонился и сказал строго:

— А ну дыхни!

Я отстранился возмущенно, но Бортов схватил меня крепкой рукой за плечо и повторил резко:

— Дыхни, говорят!

Я невольно дыхнул. Он сморщился, выпрямился, пробормотал: — Так и есть! А я не верил, дурак. Мне говорят: Голиков выпивши в цех приходит. Думал — навет. А вот, оказывается, правда... — и тут же он снова повернулся ко мне, стукнул палкой об пол: — Ты что, с ума сошел? Тут, понимаешь, борьбу с пьянством объявили, инструкции получены. А он? Га!.. Дома можешь сколько хочешь. Дома — твое дело. А чтоб в цех, да с запахом? Кто разрешил?

— Ну и с запахом, — вызывающе сказал я. — Ведь не пьян.

— Тебе что, экспертизу сделать? Выпил, значит пьян.

Он еще раз прошелся по кабинету, потом постоял, глядя на меня, сел рядом и сказал теперь уж мягко:

— Ты что раскис?

Это было так неожиданно, что у меня невольно слезы встали в глазах. Он сразу это заметил.

— А вот это не надо... Это уж зря. — Он вынул из кармана пачку «Беломора», эти папиросы он курил со студенческих лет, протянул мне. — Если хочешь знать мое мнение, — тихо сказал он, — я поступок Ремеза не одобряю... Нехорошо, когда директор у подчиненного жену уводит.

— А если не директор? — спросил я.

— Если не директор, там бы смотря по обстоятельствам, — и тут же искоса взглянул на меня. — Оправдываешь?.. Так понимать? Ты, Костя, из исусиков, что ли? Если по одной щеке, подставляй другую? Так?

— Чего уж теперь...

— Ясно, — кивнул он. — Только солдату киснуть не положено. И давай: хочешь выпить, приходи ко мне. Благо в одном подъезде

живем. Клава закуски сготовит... Опять же телевизор посмотрим, все душе утеха. Есть?

Я бывал у Бортова в новой квартире с плюшевыми гардинами на дверях, со множеством подушечек и салфеточек на новой мебели, с теплым, приторным Клавиным уютом и чистотой. Не мог я ему объяснить, что задохнусь там, не выдержу и часа. Мне другое сейчас нужно: людской говор, глаза незнакомых людей... Как это объяснишь?

— Ну вот что, Голиков,— сказал он официальным тоном.— Выговорок в приказе я тебе дам. И за запах, и за аварию.

Я удивленно посмотрел на него.

— А ты как думал? Надо... Ты сейчас человек неустойчивый. И дальше можешь чего-нибудь сотворить. Вот и выходит: надо реагировать... Другому бы не стал объяснять, тебе объясняю. Как говорится: дружба дружбой, служба службой. Виноват, значит, получай, невзирая на лица... Ну, думаю, ты все усек, потому с пьянкой завязывай, а сейчас тебя на травилке ждут, линию надо исправлять. Свободен.

Все-таки он был удивительным человеком: все в нем было точно выверено, он всегда знал, как поступить правильно, и поэтому принимал решения, не колеблясь.

— Хорош ты, Бортов,— сказал я, усмехнувшись.

Он сразу же насторожился:

— Не понял.

— Да нет, ничего,— успокоил я его.— Нравись ты мне такой...

— Ну, ну,— пробормотал он, углубляясь в бумаги.

Я пошел было к выходу, но остановился, повернулся к нему, спросил:

— Степан, послушай... А тебя никогда в жизни не заносило?

Он посмотрел на меня безмятежными глазами:

— В каком смысле?

— А без смысла... Безумная любовь или еще чего-нибудь в этом роде?

Он подумал и ответил строго:

— Девки были, когда холостяковал. Без этого нельзя, не скрою... Но безумная любовь? Нет, не признаю... Сейчас мне моей Клавы хватает,— он примолк и внимательно взгляделся в меня.— А ты что это... неужто и меня подозреваешь?.. Ты что?

Я невольно рассмеялся:

— Да нет, Степан, это я... к слову.— И быстро вышел из кабинета.

Авария — всегда сверхурочные, всегда работа без времени. Я и провозился в цехе до полуночи и, когда шел с завода, едва стоял на ногах. «Ветерок» уже был наверняка закрыт, и, с трудом дождавшись автобуса, я отправился домой.

Открыл дверь квартиры и сразу почувствовал: в ней кто-то есть. На кухне горел свет. За столом, уронив голову на скрещенные руки, спала Наталья Михайловна, рядом с ней лежала стопка выглаженных моих рубах, а на тумбочке, завернутая в старое одеяло, стояла кастрюля с едой... Все было так, как прежде. И мне почудилось: сейчас пройду по коридору и там за одной из дверей спит Ася, а за другой Лена. Я отступил от кухни, но Наталья Михайловна быстро подняла голову, посмотрела на меня сонными глазами.

— Ох, Костенька,— проговорила она и только после этого окончательно проснулась.— А я тут задремала, тебя дожидаясь,— и теперь уж пристально взгляделась в меня.— Ты трезвый или какой?

— Трезвый,— улыбнулся я.

— Ну вот,— удовлетворенно кивнула она.— А то люди болтают, ты крепко загуливать стал. Врут, поди... Мойся скорей да садись к столу, я тут тебе сготовила...

А утром чуть свет мы вместе с Натальей Михайловной завтракали, она пила чай по-старинному из блюдечка и рассказывала, что живут они в домике по ту сторону березовой рощи. Я знал, что там построено несколько особняков для высшего командного состава завода, и Ремезу тоже выделили дом.

— Только он, сердечный, до нашего переезда в одной комнате проживал, остальные закрыты были. Никто и не ходил-то в них. Ну, сейчас обставились...

Она рассказывала, а мне казалось — речь о каких-то посторонних людях, и потому воспринимал я этот рассказ равнодушно. А когда наступило время мне уходить на смену, собралась и она, но прежде чем выйти за порог, сказала:

— Я, Костенька, к тебе приходить буду. Если чего надо сготовить, прибрать... Все же мы свои.

Что-то было в этот момент жалкое в ней, суетливое, она отводила в сторону глаза, и я понял: пока была она у меня, все время чувствовала себя виноватой, хотя у нее-то никакой вины передо мной не было, она брала на себя чужую, как и прежде это делала из-за природной совестливости. Я обнял ее, сказал:

— У меня нет на вас обиды, Наталья Михайловна.

И она сразу под моей рукой сделалась маленькой, усохшей, и плечи ее жалко вздрогнули, но она только вздохнула горестно:

— Чего уж поделаешь, Костенька.

— Да ничего, Наталья Михайловна... ничего.

— Ну, я к тебе приходить буду? — Теперь она уже спрашивала, да так, словно боялась отказа.

— Всегда рад. Очень даже.

— Ну вот... ну и хорошо.

Мы вместе вышли из дому и разошлись в разные стороны: я на завод, она на другой край березовой рощи, в дом Ремеза... Но что-то случилось со мной в этот день: что бы я ни делал — возился в травильной с наладчиками, сидел на планерке, обходил линии второй очереди, подписывал документы, — все время передо мной стояли туманно виноватые глаза Натальи Михайловны, хотелось вновь увидеть их всех: и Лену, и Асю, и Наталью Михайловну, увидеть веселыми, добрыми, как в лучшие часы нашей жизни. Вечером я зашагал по асфальту к тому краю березовой рощи, где стояли особняки начальства.

Вечер был по-апрельски теплый, за обочинами дороги тянулась кочковатая земля, покрытая горками шлака, синие тени ступились над ней, город с редкими огнями оставался левее, а навстречу мне поднимались березовые стволы, за ними бледно-желтым отсветом угасал закат. И пока я шел, темнота совсем опустилась на землю, только асфальтовое полотно тускло отсвечивало серым, шоссе сделало поворот, и сразу же справа выстроились вдоль опушки дома.

Я бывал здесь, знал, что дом Ремеза стоит в середине. Сошел с асфальта, пошел мягкой тропой вдоль кювета, чтобы меня не могли заметить из окна. Остановился возле мостка, ведущего с шоссе к невысоким, из штакетника воротам, и стал вглядываться в одноэтажный желтого кирпича дом. В трех зашторенных окнах горел свет, я стоял, надеясь увидеть хотя бы тень, услышать голос или звук, но было тихо, и только из рощи долетали невнятные голоса...

Да что же это я делаю? Для чего я пришел сюда, кого хотел

увидеть, что узнать?.. Стар я тосковать у чужих окон.. Я перепрыгнул через кювет и зашагал в сторону города.

Навстречу мне выплыл городской автобус и, скрипнув тормозами, остановился, неуклюже качнувшись, раскрыв и закрыв двери. На дороге остались двое и, взявшись за руки, зашагали мне навстречу. Они сделали всего несколько шагов, как я услышал:

— Папка!

Ко мне бежала дочь, она кинулась мне на шею и торопливо поцеловала в щеку.

— Вот здорово! — воскликнула она и оглянулась на своего Шундикова. — А мы у тебя были.. Полтора часа ждали. Ты что, к нам заходил?

— Нет, — сказал я, смущенный такой восторженной встречей.

Она непонимающе огляделась, потом взяла меня под руку, отвела в сторону и крикнула Шундикову:

— Мы поговорим. Ты обожди..

Она склонилась ко мне, и я увидел совсем рядом ее большие глаза, она смотрела на меня с жалостью.

— У тебя была бабушка. Она пришла такая расстроенная.. Я очень испугалась.

— Ничего страшного, — бодро ответил я. — Бывают вещи посложнее.

— Слушай, — горячо шепнула она мне в ухо, — хочешь, я перееду к тебе жить?

— Смотри, огорчишь маму.

— Она не одна, а ты один, — упрямо сказала Ася, и я испугался.

Теперь я знал, какой она может быть настойчивой и непоколебимой. Если ей и впрямь что-то взбредет в голову, она сделает так, как хочет.

— Нет, — сказал я. — Я не чувствую себя одиноким. Скверно только, что ты ко мне не приходила.

— Я дрянь. Мы уже это обговорили.

— С кем?

— Ну... не важно.

Я оглянулся на Шундикова. Он стоял возле уличного фонаря, его художная фигура вырисовывалась четко.

— Понятно! — Только сейчас я сообразил — нашей ссоре конец. — Можешь взять у бабушки ключ и являться, когда тебе вздумается.

— Зачем у бабушки, у меня есть свой.. Только сегодня я не решилась.

— Договорились.

Она посмотрела на меня и снова торопливо прижалась к груди.

— А теперь иди, — улыбнулся я, — а то твой Шундиков совсем истомился.

Она чмокнула меня в щеку и убежала. Я пошел не оглядываясь, боясь их смутить, и думал: как же она повзрослела за это короткое время.

Мне было тогда тридцать восемь, но я почувствовал — жизнь прожита, она завершает свой круг, я давно, очень давно живу на свете и было так много всего: и довоенные годы, и война, а потом еще одна жизнь с учебой, работой, теснотой, и еще одна, уже здесь, все, что я мог сделать за эти годы, — сделал: стал инженером, что-то соорудил, что-то придумал, усовершенствовал, а главное не это — так много узнал, что уж ничего, пожалуй, нового и не может у меня быть. Наверное, я накопил какой-то жизненный опыт, но он нужен лишь мне и никогда не согодится хотя бы моей дочери. Как она бу-

дет жить? Судьба ее проложит свою дорогу по неизведанным поворотам, конечно же, эти повороты — продолжение того, что осталось за моей спиной, но это и новый путь, и определять его не мне... Во всяком случае, я за это не возьмусь. А кто же возьмется? И тут же я понял: он! И я увидел его перед собой с яростным блеском угольных глаз, с крепкой рыжиной над крутым лбом, твердо и легко ступающего... Он! Всюду Он!.. Мне тридцать восемь — и я чувствую, круг моей жизни завершается, ему за пятьдесят, а он ведет себя так, словно еще только начал. Он сильнее меня. Но неужто я поддамся ему и соглашусь быть уничтоженным, как мелочь, путающаяся в его ногах?..

Глава девятая

Весна в тот год была ранней и дружной, еще шел апрель, а уж занялись зелеными листьями березы в роще; по утрам я просыпался от птичьей переключки, и небо над Ярском лучилось теплой голубизной. Оставалась неделя до майских праздников; в цехе, как всегда в эту пору, подбивали итоги, составляли списки на премиальные, судя по данным экономистов и плановиков, дела у нас шли неплохо, слух об этом распространился сразу по всем участкам, и люди весело прикидывали, на что пойдут добавочные деньги.

В тот день с утра мне нужно было подготовить кое-какие документы, и я засел у себя в кабинете, как неожиданно вошел Бортов с газетой в руке. Он не поздоровался, а протянул мне газету и спросил:

— Читал?

Я так спешил в цех, что и не заглянул в почтовый ящик. Сейчас, оторвавшись от бумаг, удивился выражению лица Бортова: на крутых скулах набрякли желваки, но он не был зол, и в глазах стояла осторожность. Он сел, поставил меж ног палку и хлопнул освободившейся рукой по газетному листу.

— Премию, понимаешь, получили, — сказал он. — Только как-то... не того вышло... Я тут, понимаешь... — Он замолчал и уставился на меня.

Я взял газету, во всю страницу шло постановление о присуждении премий в области науки и техники, одна из колонок отчеркнута красным, и там я прочитал, что за «выдающиеся достижения по разработке технологии прокатки новых сортов электротехнической стали и внедрению ее в производство» премия присуждается... дальше шел список с указанием должностей; в списке том был Самарин, три научных сотрудника института, а из заводских — директор И. М. Ремез и начальник цеха холодного проката С. Т. Бортов. Меня в списке не было.

— Видал?

Обида резанула меня, все-таки я кое-что сделал, но... Я не знал, как присуждаются эти высокие премии, да и не думал никогда, что могу получить ее.

— Поздравляю, — сказал я Бортову. — Это хорошо.

Он смутился и почесал щеку.

— Хорошо-то, хорошо, — пробурчал он. — Да ведь беспорядок! Это как же они могли!

— Кто? — спросил я.

Но Бортов не знал — кто, и еще больше смутился.

— Вот ведь неловко-то как... Вроде бы и праздник, и отмечать надо, да будто в рюмку кто плюнул.

Он еще посидел молча, вращая меж ног палку, он весь казался сейчас тяжелым, погрузневшим, молчание его затягивалось.

— Ну, хорошо,— вдруг решительно хлопнул он широкой ладонью по рукоятке палки.— Мы еще поглядим!

Наверное, я и впрямь лишен честолюбия, как говорила Лена. Она считала, что это не достоинство, а серьезный недостаток. И все-таки я не ощутил большой обиды, может быть, еще и потому, что не считал для себя главным сделанное тогда; решение пришло ко мне неожиданно и, как теперь казалось, легко, без напряжения.

Примерно через час включился на столе селектор и прозвучал голос Бортова:

— Зайди ко мне... Только по-быстрому!

Когда я открыл дверь в его кабинет, сразу же увидел Ремеза, он сидел на бортовом месте и попыхивал трубкой, а Бортов стоял у окна, опираясь на палку. Завидев меня, Ремез быстро встал и, шагнув навстречу, протянул руку. Я не видел его давно, хотя в мыслях встречался с ним каждый день. А теперь он стоял передо мной и протягивал мне руку так, словно ничего и не произошло, словно не он разорил мою жизнь. Он смотрел на меня сердито, требовательно, и едва я ответил на его пожатие, заговорил:

— Я только что звонил министру. Оформление премии шло через институт, от Самарина. Министр обещал немедленно обратиться в комитет по премиям и исправить положение...

Он еще что-то говорил в этом же роде, но мне были безразличны его слова, я только следил, как шевелились его губы, как ходили желваки под веснушчатой кожей и тускло светились темные его глаза. Он закончил и, видимо, ждал от меня ответа, может быть, даже благодарности за активное вмешательство и желание исправить несправедливость, но я молчал, мне и в самом деле плевать было на недоразумение с премией, я лишь чувствовал мутную волну злорадства: вот, мол, столько хлопот и неудобств доставило ему это дело. Он подождал еще, не заговорю ли я, и, не дождавшись, вернулся к столу, где в пепельнице лежала трубка, поспешно взял ее, торопливо раскурил, потом оглянулся на Бортова и сказал:

— Оставьте нас вдвоем.

Бортов, опираясь на палку, двинулся к двери.

— Садитесь, Константин Павлович,— пригласил Ремез.

Я сел в жесткое кресло, стоящее впритык в лицевой стороне стола, а он опустился на бортовое место, и мы оказались разделенные столом, как начальник и подчиненный. Он, видимо, почувствовал это, поднялся и сел напротив меня тоже в кресло для посетителей. Я ждал. А он все попыхивал и попыхивал трубкой. И внезапно я увидел болезненную беспомощность на его лице, он словно потерял уверенность и не знал, как себя вести.

— Нам бы надо было раньше встретиться,— сказал он печально.— Но... как-то все так...

Видимо, ему трудно было усидеть, он ведь привык, когда речь шла о чем-то его не на шутку волновавшем, говорить, расхаживая по кабинету, он и сейчас вскочил, но сделав несколько шагов к окну, опомнился, вернулся на свое место, и теперь вид у него был и на самом деле виноватый и беспомощный. Я впервые наблюдал его таким.

— Я понимаю, Константин Павлович, что вам больно... понимаю. И ваше отношение ко мне... иначе было нельзя... Я сам когда-то пережил нечто близкое тому, что переживаете вы... Я бы не хотел, чтобы мы сделались врагами...— он сказал это и поморщился, так фальшиво это прозвучало.

Тут я рассердился. «На кой шиш,— подумал я,— он вообще за-

теял этот разговор... Ну припел бы, сказал о премии и ушел. Все было бы понятно... А то сидит, распустил нюни...»

— Зачем вообще говорить об этом! — сказал я.

— Да, да, — ответил он, постукивая мундштуком трубки по твердой губе и глядя мимо меня. — Пожалуй...

И опять он замолчал и молчал долго, а во мне усиливалось раздражение, мне неприятно было смотреть на него, хотелось вскочить и выйти из кабинета. Так, наверное, я бы и поступил, будь передо мной не Ремез.

— Ладно, — сказал он и прихлопнул ладонью по крышке стола. — Поживем — посмотрим, — и тут же встал. — Я хотел бы, Константин Павлович, чтобы у вас устроилась судьба. Да я уверен — так оно и будет. Всего вам доброго! — он кивнул мне и быстро вышел из кабинета.

Он исчез, а я еще дышал сладким запахом его табака и казался себе ничтожным, барахтающимся в какой-то сточной канаве, будто меня туда загнали ударом начищенного сапога. За месяц после ухода Лены во мне скопилось множество резких слов к Ремезу, в мыслях своих я не раз разоблачал его, с убийственной правдивостью доказывал, что он, воспользовавшись доверчивостью, обокрал меня, грозил разоблачением. И вот мы остались с ним один на один, и я не выдавил из себя ничего, кроме жалких слов. Я презирал себя, и с этим чувством вернулся в свою рабочую комнату. Попробовал работать — не удалось. Я снова увидел перед собой его лицо, понял: он тоже после этой нашей встречи презирает себя.

Через три дня наступили праздники. Раньше я любил эти майские праздники, любил просыпаться, когда в квартире пахло пирогами, вкусно завтракать и бежать к заводу, где собирались друзья на демонстрацию, мне было хорошо шагать с ними вместе, беззаботно петь песни, на остановках бежать к буфетам, оборудованным на грузовых машинах, пить прямо из горлышка бутылок свежее пиво, а потом возвращаться домой к обеденному семейному столу. Теперь я знал, ничего, кроме одиночества, меня не ждет.

Тридцатого апреля в заводском клубе был праздничный вечер, мне дали на него пригласительный билет. Пржежде с Леной мы на такие вечера не ходили, нам казалось, лучше посидеть дома, у телевизора, мы ведь не так уж часто виделись. Теперь я решил пойти.

В просторных фойе клуба было шумно и тесно, я неторопливо пробирался мимо празднично одетых людей, стоящих группками, на балконе играл заводской джаз — молодые ребята, одетые в вызывающе голубые пиджаки с желтыми бантами, старались вовсю, и грохочущий ритм музыки пластался над толпой, у буфетов — а их было несколько — пили пиво, хлопали пробками шампанского, закусывали; мелькали знакомые лица, несколько раз меня окликнули, но не хотелось приставать ни к одной из компаний, было грустно, и эта грусть одиночества приносила тайную усладу. Я дошел было до входа в зал, как меня крепко взяли за плечо, я оглянулся и увидел улыбающегося Бортова.

— Голиков! А мы с Клавой у твоей двери потоптались, потоптались — звонить или нет. Я уж хотел, да она говорит: не тревожь хостяка. Га! — и он громыхнул тяжелым смешком, широкая грудь его заколыхалась, галстук вылез наружу; на Бортове был новый пиджак из темно-синего бостона, и в этом пиджаке он выглядел квадратным; рядом с ним стояла, улыбаясь широким пухлым лицом, Клава.

— Костенька, — сказала она, плутовато поводя глазами, — что же

это вы нас избегаете? И по соседству никогда не зайдете. Вами кто-то уже интересуется, а вы даже и не знаете.

— Кто же это?

— А секрет, секрет, Константин Павлович.

— Ладно тебе,— махнул рукой Бортов.— Все бабьи штучки. Вон, Голиков, у нас на столике бутылка шампанского. Давай мы ее с тобой добьем. По правде сказать, я этот шампунь не очень уважаю. Да, видишь, кроме него да пива в торговую сеть клуба ничего не дали, чтобы, мол, порядок был.

— А я люблю шампанское! — сказала Клава.— Другого и не пила бы ничего... Ну вот, налито.— Она подняла в пухлой руке стакан.— Давайте мы с вами выпьем за весну и пробуждение чувств,— и она опять загадочно и многозначительно посмотрела на меня продолговатыми блестящими глазами.

Я поднес стакан ко рту, но вышить не смог, отставил в сторону.

— Вон куда хватила,— хмыкнул Бортов, не заметив моего жеста.— Тоже специалистка по тостам. В отца, значит... Долголобовы — они такие! — кивнул он мне и, поморщившись, выпил, потом огляделся вокруг и вздохнул: — А красивые ребята нынче растут. А, Голиков? По нашей-то молодости такой красоты не было. И одеться не во что было. А нынче поглядишь на девочку, все чистенько на ней да прилажено. А у нас что было?.. До войны самый шик — коверкотовый костюм да кировские часы, эдакий будильник на руке. Как нацепишь, тебя богатым считают. Ну а после войны в гимнастерках и проходили. А нынче понимать стали вкус... Вон мальчишки в каких брючках узеньких. Идет и тебя презирает, что ты клешем пол метешь. И послушай, о чем говорят — Хемингуэй, Ремарк... Я и книжек таких не видел. Вчера троих вальцовщиков вызвал, там у них чепе небольшое. Стал им врезать. А один, усатенький, мне и говорит: «А у Хемингуэя сказано...» Веришь, Голиков, сначала растерялся. Может, там, думаю, и вправду что-то очень важное сказано! Га! Хемингуэй у них теперь вроде как устав,— он рассказывал и смеялся, и я видел, что ему нравится сейчас изображать из себя эдакого ворчливого, закосневшего мужичишку. Но Клава его поняла по своему:

— Ты смотри у меня, Степан,— погрозила она.— Много стал на молодежь заглядываться, особенно на женский пол, хотя они нынче и в брючках.

— Ревнива, прямо удержу нет,— восторженно воскликнул Бортов, обнял ее крепкой рукой, прижал к себе, поцеловал в обнаженную шею.

Пока он говорил, прозвенел звонок, и из фойе люди потянулись в зал. Я взглянул в сторону дверей, Бортов перехватил мой взгляд, кивнул:

— Не торопись, нам места оставлены.

И в это время что-то произошло в фойе, толпа приостановилась, и у входа в зал стал образовываться коридор из людей, шум пригас. Бортов, опираясь на палку, попытался вытянуть короткую шею. Через фойе шел Ремез легкой, чуть подпрыгивающей походкой и, улыбаясь, приветливо раскланивался, а правой рукой поддерживал за локоть Лену. Я не видел ее с того самого дня. Да никогда мне и не доводилось наблюдать ее со стороны. Это была она и не она, так много в ней изменилось за короткое время. Она шла свободно, на какую-то четверть шага впереди Ремеза, голова чуть вскинута, но в этой позе не было высокомерия, скорее женская гордость, она мягко улыбалась, и все лицо ее, подсвеченное улыбкой, тоже было мягким, приветливым, лишенным той резкости, что наблюдал я у нее

в последние годы нашей жизни, она стала моложе, стала почти той, какую увидел я на лестнице в больнице в перекрестии зимних лучей, падавших из окон, и медовые волосы ее были уложены в аккуратную, короткой стрижки прическу, она не смотрела по сторонам и не могла меня видеть, она так же, как и Ремез, весело приветствовала тех, кто ее встречал. Они прошли в зал и исчезли за высокими раскрытыми дверями, и сразу же люди заторопились, двинулись за ними.

— Ну что же, пойдём и мы,— вздохнул рядом Бортов.

— Идёмте, идёмте,— заспешила Клава, подхватив меня и Бортова под руку.

Но я понял, что не смогу войти в зал. Мне нельзя их видеть вместе, потому что все сразу взбунтовалось, вскипело во мне. Я высвободил локоть из-под Клавиной руки и с трудом проговорил:

— Идите.

Но Клава, видимо, ничего не поняла.

— Да что вы, Костя, ну что вы... Там у нас места заняты.

— Обожди,— прервал ее Бортов.— Ты не пойдешь?

— Не пойду!

— Ясно. Тогда это... того... Тогда ты к нам завтра обедать...

— Да, да, только к нам, только к нам,— тут же подхватила Клава.— У нас хорошо будет... Придете?

Она опять уцепилась за мой рукав, и я понял, не отпустит, пока не соглашусь.

— Приду,— кивнул я.

— Ну вот,— вздохнула она, довольная, и тут же потащила Бортова в зал.

Я подождал, пока опустело фойе, и вышел из клуба. На улице было тепло, сгущались синие сумерки, и в сквере, что тянулся от клуба к центру, зажглись гирлянды разноцветных лампочек, а вдали на гостинице засверкали оранжевые потоки света, изображавшие движение горячего металла. Я шел улицей, из открытых окон доносилась музыка, голоса работающих телевизоров... Странное со мной случилось в клубе, когда я увидел Лену: вдруг понял, как дорога она мне и как стала недоступна. Навсегда...

Я остановился, с трудом вдыхая воздух, постепенно огляделся и увидел, что стою на опушке березовой рощи; если свернуть по асфальтовой дорожке налево — там «Ветерок». Но я не мог двинуться с места. «Да что же это я! Да пропади оно все пропадом!» Но тут же всплыло лицо Ремеза, его довольная, радостная улыбка. «Надо туда... в зал. Подойти и ударить. Изо всей силы ударить. По лицу, по улыбке, по зубам... Чтоб вдребезги». Рядом смеялись, пели под гитару, разговаривали. Кто-то склонился ко мне, протягивая сигарету.

— Прикурить не найдется?

И тут черт знает что на меня нашло, я с силой выбил из чужих рук сигарету, и сразу же меня ослепил ответный удар...

Очнулся, сидя на скамье, от запаха нашатырного спирта, еще не открыл глаза, как почувствовал тупую тяжесть в голове и голоса рядом:

— Товарищи дружинники, товарищи дружинники, да пьян он,— это женский.

— Да не пьяный он. Запаха-то нет,— это мужской голос.

— Я его знаю. Голиков это, из холодного проката.

С трудом приподнял отяжелевшие веки и увидел, что вокруг меня сгрудилась толпа, несколько человек с красными повязками, один склонился ко мне с пузырьком, я отвел его руку, поморщился:

— Уберите.

И сразу все примолкли, уставились на меня.

— Ну вот,— кто-то вздохнул рядом,— оклемался.

Ко мне приблизился скуластый молодой парень, спросил жалобно:

— Больно я тебя. А?

Я не отвечал, смотрел на незнакомое лицо.

— А меня-то ты за что? — все так же жалобно спросил он.

— В отделении разберемся,— сказал кто-то строго.

Я оглядел дружинников, сказал:

— Не надо отделения... Это так... на меня нашло. Болен я.

На меня теперь посмотрели с сочувствием. Я поднялся, толпа передо мной молча расступилась, и тогда я пошел, стараясь ступать уверенней. Свернул на свою улицу, голова кружилась, подташнивало, лицо болело, глаз заплыл. Качнуло так, что я невольно ухватился за стену дома, чтобы не упасть. Мимо плыли шаги, голоса, опять дребезжала гитара, а я все боялся отойти от стены, казалось — сделаю шаг в сторону и тотчас упаду. «Наверное, нужно в больницу, а не домой... Надо кого-то позвать... Попросить». Но не было сил. Это длилось до тех пор, пока я не услышал рядом с собой вскрик:

— Папка!

Сквозь желтый туман уличного фонаря я увидел рядом испуганное лицо дочери.

— Да что с тобой, папка! Что с тобой?! О, господи! Вовка, Вовка, ну помоги же!.. Кому говорят, помоги!

Меня подхватили под руки.

— Ты можешь идти?

— Могу,— выдавил я из себя.

— Ну идем же, идем,— и я услышал, как она заплакала рядом.

Мне было неловко перед ней, она наверняка подумала, что я пьян, ведь разговоры о том, как ушел я в загул, дошли до нее, да и Наталья Михайловна могла рассказать. Мне захотелось ее утешить, я с трудом выговорил:

— На меня напали.

— Ничего, ничего,— сказал рядом басовито Шундиков.

Они довели меня до дому, уложили, и Ася сразу же принялась хлопотать — обмыла лицо, оказалось, и на затылке у меня здоровая шишка. Видимо, парень сбил меня с ног, и я упал навзничь. Ася дала мне выпить теплого крепкого чаю, сделала водочный компресс на глаз. Стало легче.

— Отлежусь,— пообещал я ей.

Она сидела против меня с заплаканным лицом, вытирая глаза ладошкой, и говорила:

— Да как же тебя угораздило? — в словах ее явно сквозила интонация Натальи Михайловны, и мне от этого сделалось весело.

— Да так. Шел мимо рощи, и ударили... Не помню кто.

— Я слышал, ребята говорили,— солидно сказал Шундиков,— там какая-то драка была.

— Ну, значит, я в нее и попал.

— А мы думали, ты пьяный,— горестно вздохнула Ася.— Хорошо, что ты не пьяный.

— Может быть, все-таки вызвать врача? — сказал Шундиков.

— Не надо,— ответил я.— Мне легче. У врачей сегодня и так, наверное, много вызовов. Если вы куда-то собрались, то можете идти. Теперь я справлюсь.

— Ну о чем ты говоришь, отец! — возмутилась Ася.

— Но не сидеть же вам возле меня в такой хороший вечер.

— Вовка уйдет, а я останусь,— решительно сказала Ася.— А вдруг тебе станет хуже.

Они ушли с Шундиковым в коридор, пошептались, я услышал, как хлопнула дверь, а потом Ася разговаривала по телефону с Натальей Михайловной и объясняла ей, что ночевать будет у меня, а утром раненько отправится в школу, потому что ей нужно на демонстрацию. Она вернулась ко мне, села рядом на диван, поджав длинные ноги, обхватила их руками, уткнулась в колени подбородком.

— Тебе трудно живется, верно? — смотрела на меня печально.

— Нет,— сказал я.

— Почему ты меня обманываешь?

«Она взрослеет с каждым днем,— подумал я.— И взгляд у нее стал взрослый... И речь».

— Тебе, наверное, очень хочется меня пожалеть, поэтому ты затеяла этот разговор. Да? — с улыбкой спросил я.— Мне не хочется, чтобы ты меня жалела. Трудно — это когда нельзя выпутаться. А я выпутался. Да и вообще теперь мне проще.

— Значит, ты ее не любил? — неожиданно сказала она.

— Это почему же?

— Если б любил, было бы трудно.

В ее словах отчетливо прозвучали неуклонные Ленины нотки, та же категоричность,— сказала как отрезала, не возрази. Я промолчал. Но не только потому, что не хотел вступать с ней в спор, а решил: для Аси так будет проще, так она легче объяснит себе наш разрыв и успокоится.

— Вот почему вы часто ругались,— тихо сказала она.— Сколько я себя помню — вы всегда ругались...

«Неужто это так?» — испуганно подумал я, и жалость к ней охватила меня. А мне-то казалось, мы жили с Леной мирно и хорошо, ну бывали у нас стычки, да у кого их не бывает...

— Может быть, ты права,— сказал я.

Она удивленно посмотрела на меня.

— Ты сейчас болен,— тихо сказала она.— Тебе надо спать. Я уйду в свою комнату. В случае чего позови,— она соскочила с дивана, поцеловала меня в щеку, шепнула: — Все будет хорошо. Спокойной ночи.— И убежала.

Разбудили меня звуки духового оркестра, за окном было солнечно, ярко и празднично. Я поднялся с трудом, пошел в ванную и, взглянув на себя в зеркало, понял: никуда мне идти нельзя, глаз затек и отливал лиловым и желтым. Ася, наверное, уже давно убежала, в кухне на столе я нашел от нее записку: «С праздником, папка. Я тебя люблю!»

Я отыскал в аптечке бинты, перевязал глаз, позавтракал и улегся на диван, включив телевизор. Провалился так несколько часов, окончательно одурев от грохота музыки, мелькания множества лиц на экране, бодрых песен, но почему-то все не решался выключить телевизор. Меня привел в себя звонок в дверь, я пошел открывать и увидел Бортова. Его зеленые глаза лучились.

— Эка, какой ты, однако, герой! Видать, хорошая свара была! — весело воскликнул он, переступая порог.— На демонстрации болтали, будто ты тоже кому-то крепко врезал. Хулиганья, понимаешь, у нас развелось в Ярске. Прежде-то тихое место было, все друг друга знали и шалить боялись. А сейчас ишь распустились... Ну, ничего. Важно, что ты на ногах. А я за тобой. Клава стол накрыла, ждет.

— Да нет, куда же я,— махнул я рукой.

— Да чего тебе синяков стесняться, у нас все свои. А с синяками у тебя вид, будь здоров, какой геройский.

— Не могу я, Степан,— уже твердо ответил я.— Мне лежать надо. Боюсь, у меня сотрясение. Поташнивает...

Он неуклюже потоптался у порога, досадливо сморщился:

— Эх, зря, однако,— но тут же лукаво повел глазами.— А ничего... Я тебе врача-то пришлю.

Я подумал, он пошутил насчет врача, и снова улегся, но прошло не более чем полчаса, как меня снова поднял звонок в дверь. На этот раз за порогом я увидел Клаву и с ней высокую женщину.

— Вот он, наш болящий,— пропела Клава, всплеснув руками.— Ой-ее-ей, как же вас, Костенька! — но тут же спохватилась: — А я вам подружку свою привела. Она врач.

Я пригласил их в комнату.

Клаваина подруга была молода и одета необычно для Ярска: в свободной синей кофточке и брючках, плотно облегающих статные ноги. Длинноватый нос с расширенными ноздрями придавал ее доброму лицу нечто тяжелое, мужское.

— Познакомьтесь, Костенька, ее зовут Зина. Мы тут в Ярске вместе росли. А потом она улетела, видишь, докторицей стала. Думала вас у себя за столом свести, а вас как угораздило,— простодушно сказала она.— А жаль, жаль... Зина-то, она тоже холостякует. От мужа сбежала. Они в Куйбышеве жили. А он запил, и трагедия жизни началась.

— Ну, Клава,— взмолилась Зина.

— А ничего, ничего,— ласково успокоила ее Клава.— Костенька, он наш, мы его за родного держим. А как у него все вышло, я тебе рассказывала. Бог даст, глядишь, и понравитесь друг другу. А что? Ничего особенного. Да не толкай ты меня, Зина, я что думаю, то и говорю. Чего скрывать-то?

Зина нахмурилась и взглянула на меня строгим профессиональным взглядом врача.

— Покажите-ка язык... Вот так, дайте руку. Посмотрите на меня прямо, теперь вниз. Хорошо, очень хорошо,— и мягко улыбнулась.— Ничего страшного, Константин Павлович. А полежать немного надо, и спиртного нельзя. Хоть и праздники, а нельзя.

— Вот жаль-то,— протянула Клава, но тут же подобралась, огляделась.— А верно, Зин, у него квартирка хорошая. Вот у меня мужик — начальник цеха, а у нас двухкомнатная. Правда, Костеньке эту квартиру из директорского фонда выделили... — и осеклась, застыла с полуоткрытым ртом.

Видимо, чтобы сгладить возникшую неловкость, Зина поспешно заговорила, будто и не заметила смущения Клавы:

— Конечно, Куйбышев огромный город по сравнению с Ярском. И климат там помягче, но я сама ярская, и мне тут лучше. Вы тоже, кажется, прежде наезжали? Верно, ведь с каждым годом Ярск узнать труднее? Столько всего настроили, и еще продолжают.

— А мы, Костенька, с Зинулей всегда закадычные подружки,— Клава вся, и ямочки на щеках и на подбородке, лучилась добротой и радушием.— Ну, я, пожалуй, пойду, у меня там гости. А вы тут поболтайте. Развлечешь больного-то, Зина?

Но Зина поднялась.

— Нет, нет, мне пора,— сразу сделавшись строгой, сказала она решительно.

— Что это ты такая робкая? — все еще улыбаясь, протянула Клава.— Боишься с мужиком одна остаться. Как же так, а, Зин?

— Да брось-ка ты! — теперь уж и в самом деле смутившись, ответила Зина и, повернувшись ко мне, мягко сказала: — Поправляйтесь, Константин Павлович. Надеюсь, еще увидимся... Идем, Клава!

Они ушли, и мне сделалось тоскливо. «Вот ведь как Бортовы обо мне позаботились,— подумал я.— Женщину специально пригласили...» И я представил, как Степан обсуждал это с Клавой, говорил солидно: «Жениться ему надо. Ты там среди своих подружек подыщи...» Она и кинулась искать. Жениться... Я как-то прежде не задумывался над этим. Может быть, потому, что во мне еще смутно жила надежда, а вдруг все еще образуется, все расставится на свои места, как было прежде, а люди, живущие рядом, сразу поняли, что это невозможно, и потому решили устроить мою судьбу.

Надо было и впрямь как-то наново жить. Только ведь это всего лишь красивые слова — всегда можно начать сначала, я их много раз слышал и много раз читал. Ничего нельзя начать сначала, годы прожиты, и в тебе накоплен свой опыт, и своя усталость, и свой взгляд на людей, их не отбросишь, они всегда с тобой. Надо жить дальше. Вот это верно. Но опять же как? У Лены было то, чего не хватало мне самому,— твердость, смелость, решительность. Когда мы были вместе, эти качества становились и моими, и потому я был способен на многое, на что никогда не решился бы, оставаясь одиноким.

Я провалялся все праздники. Потом наступили авральные дни — готовилась к сдаче вторая очередь в цехе, и я с утра до ночи возился с наладчиками. Май прошел, как один день. И снова на город обрушилась каменная жара, она накаляла стены домов, асфальтовые трассы, и только в цехе, где теперь хорошо работали вытяжки и вентиляция, еще можно было дышать. В один из таких дней возле новенького двенадцатиклетьевого стана, который мы отлаживали, чтобы подготовить к пуску, ко мне подошел Бортов:

— Иди-ка к себе в конторку, там тебя товарищ из науки дожидается.

— Кто такой?

— Я что-то не разобрал. Но солидный мужик. Говорит, старые знакомые.

Я наспех помыл руки тут же в цехе и поспешил к себе.

Возле стола сидел, валяжно откинувшись на спинку кресла, отдаленно знакомый мне человек. Пока я соображал, кто это такой, он поднялся мне навстречу улыбаясь. Передо мной стоял Семен Андреевич Куликов — первый мой начальник цеха. Но как он изменился! Ничего не осталось от привычной мне серой усталости на его лице, несмотря на мешки под глазами и большие залысины надо лбом, он был розов, гладок щеками, и глаза его весело лучились. Он пророкотал радостно:

— Привет, привет старому другу!

Тут же обхватил меня широкими руками, прижал к себе.

— Что, не ждал? — захохотал он. — А зря, зря!

От него сладковато пахло духами, да и весь он был ухоженный, прибранный.

— А я слышан о тебе, слышан,— говорил он, похлопывая меня по плечу.— В одном мире живем, на одном деле трудимся... Ну, разговоров у нас с тобой!

— Как же вы сюда, Семен Андреевич? — приходя в себя, проговорил я.

Он тотчас отметил это «вы», засмеялся:

— Ты что это меня как практикант называешь? Мы последние годы с тобой на «ты» были. Ведь друзьями расстались, не так ли? Или ты на меня что затаил? — говорил он, широко и дружелюбно улыбаясь.

— Просто... уж очень неожиданно,— промямлил я.

— А тебе привет от Людмилы. Она тебя помнит.

Он сел, достал пачку американских сигарет, предложил мне, но сам курить не стал.

— Наверное, читал ее? — продолжал он. — Она молодец. С ней, брат, теперь мировые величины считаются. Женщина-металловед... Это, знаешь, это и по нынешним временам не часто. Профессор, доктор. Ну и твой покорный слуга кое-что сделал... Ну, это потом, это мы еще... — он озабоченно взглянул на меня. — Ты, Костя, извини, я, наверное, тебя от дел оторвал?

Дел у меня действительно было много, наладчики ждали, но я был рад Куликову, может быть, на меня повеяло тем временем, когда я чувствовал себя счастливым.

— Да ладно, — улыбнулся я. — Подождут дела.

— Нет, нет, — тут же стал серьезным Куликов. — Я ведь в Ярск на несколько дней. Тут мне основательно надо поковыряться. Я на твою помощь очень надеюсь. Так что мы с тобой давай уж специально встретимся. Я знаю, какая у вас сейчас запарка. Если можешь, приходи ко мне вечером в гостиницу.

— Зачем же? Рад буду видеть у себя, — и записал ему адрес. — Часиков в восемь жду. Подойдет?

— Подойдет, — он еще раз ободряюще похлопал меня по плечу, и мы расстались.

Весь остаток дня я проработал в ожидании встречи с Куликовым, почему-то казалось, эта встреча поможет мне разобраться со своей жизнью, найти решение, которое все повернет и выбросит меня на какую-то высоту, с которой легче будет оглядеть все минувшие события и решить: что же делать? Откуда взялось это чувство? Ведь Куликов не подал даже и минимального сигнала надежды. Может быть, сам его приход и был таким сигналом?

Он пришел ко мне ровно в восемь. Я постарался приготовить ужин, сбегал к Клаве, она щедро распахнула передо мной холодильник. Окна в комнате были раскрыты, но сквозняка не получалось, и чтоб ослабить не пригасшую к вечеру жару, пришлось включить вентилятор.

Семен Андреевич принес мне подарок — великолепно изданную книгу об отце, Андрее Кирилловиче Куликове, ученом и конструкторе.

— Тут и твоего покорного слуги вклад, — сказал он, постучав по обложке.

В книге было много фотографий, часть из них я знал — и портрет Андрея Кирилловича с усами, в военной форме, и ту, где он снят за письменным столом, и в танкосборочном цехе, где беседует с рабочими. Перелистывая эти фотографии, я обнаружил лишь на одной из них Ремеза. Видимо, это был уникальный снимок, на нем Куликов и Ремез стояли на фоне танка и с ними беседовал нарком, и хотя видно было, что говорит нарком с Ремезом, все же Игнат Матвеевич выглядел как бы на заднем плане, черты лица его были несколько стертые, в то время как могучая фигура Андрея Кирилловича заслоняла собой не только Ремеза, но и наркома.

— Успех у этой монографии огромный, — говорил Семен. — Разошлась стремительно. Считаю, библиографическая редкость. Будем хлопотать о втором издании. Очень многих людей она задевает, очень многих...

Я достал из холодильника бутылку, но Куликов замахал руками: — Нет, нет... Что ты! С этим покончено. Гипертония. Да и Людмила не любит. Раньше ничего, а сейчас не любит. Я напрочь отвык.

Мы сидели с ним за столом, ужинали, пили чай, вспоминали, как работали вместе, и он сказал:

— Так ведь, Костя, и тебе пора из цеха. Конечно же ни один серьезный инженер без цеха не может, он должен, должен пройти через него, все производство на себе почувствовать. Но с годами от цеха устаешь, нужен следующий шаг. Одни идут в науку, другие в руководство. А ты, я смотрю, что-то застрял. Это ведь как в армии — не вечно же ходить в лейтенантах. Судя по твоим разработкам, — я имею в виду совместные с группой Самарина, — тебе один путь — в исследователи. Поторопиться надо. Вот-вот сорок стукнет? Сейчас с твоим опытом цены тебе нет...

Куликов рассказывал, что живут они по-прежнему в старой квартире:

— С детства в ней, теперь уж, наверное, и до самой старости.

И, наконец, сообщил, зачем приехал: их очень интересует процесс прокатки электротехнической стали, пробовали они получить данные в Москве у Самарина, но старик прижимист, ничего показывать не захотел, тогда Куликов и отправился в Ярск.

— Поможешь? — спросил он.

— Конечно.

Куликову я мог помочь всерьез, и цеху приятно, когда опыт работы его будет обобщен, отмечен в научных трудах.

— Приходи ко мне в кабинет и работай, — сказал я. — Я с утра до вечера на участках. Документацию тебе дадут.

— Ну и хорошо, — обрадовался Куликов.

Он ушел от меня часов в десять — устал, новые места быстро утомляют. А я лег на диван и принялся за оставленную Куликовым книгу. Она и впрямь была хорошо написана, и мне нравилось, что речь шла не только об Андрее Кирилловиче, но и вообще о том, что делалось до войны конструкторами в танкостроении. Увлекательно читалась глава о том, как создавали харьковчане во главе с Кошкиным знаменитую «тридцатьчетверку», как этот мужественный человек сам вел танк по дальней зимней дороге, неизлечимо заболел, уже больной продолжал свои работы. Многое из того, что было в книге, я знал, но впервые передо мной открылось могучее состязание конструкторских умов воюющих сторон, это была в полном смысле инженерная война, напряженнейшие поиски новых решений. Германия трижды меняла конструкцию своих танков, но ей, стране с богатейшим инженерным опытом, так и не удалось достигнуть боевой мощи наших броневых машин, которые постоянно модернизировались или создавались наново. И добыто было это нечеловеческими усилиями не только тех, кто варил сталь, стоял у станков, но и тех, кто работал сутками у кульманов. Я как живого видел Андрея Кирилловича, высокого, с насмешливым и умным лицом, с глазами чуть навывкате и аккуратными усами, представлял, как он свободно и легко говорит, как целует руки женщинам, смущая их не принятой в те годы галантностью. Таким и шел он по страницам книги. Я насторожился, когда наткнулся на эпизод, где на завод, после курского сражения, приехал нарком. Опыт сражения показал: надо модернизировать танк. Я знал, что слова «танку теперь нужна длинная рука», которые расшифровывались как требование поставить на боевую машину вместо 76-миллиметровой пушки 85-миллиметровую, не утяжеляя танка, принадлежали наркому, об этом мне много раз говорили на заводе очевидцы. Но в книге почему-то их приписывали Куликову. А дальше я начал наткаться на нечто недопустимое. Сварка, которую потом стали называть «сваркой в среде защитного газа», была разработана Ремезом, но тут она значилась за Андреем Кирилловичем. Вроде бы и мелочи, но их набиралось все больше и больше, а Ремез если и упоминался

в книге, то только как организатор. Ни слова о его инженерных работах.

Я читал до двух часов ночи и, отложив книгу, долго еще видел морозное небо над цехами, вздрагивающее от тяжкого гула моторов, белые костры, темные в своем упорстве лица и несущиеся по рельсам эшелоны с танками, видел мудрые, насмешливые глаза Андрея Кирилловича и не мог подавить досаду. Я почти десять лет проработал на заводе, где в войну был главным конструктором Куликов, а директором Ремез, одного не застал в живых, с другим повстречался уже после войны, но мне всегда казалось — они где-то рядом, их вспоминали чуть ли не каждый день, иногда придумывали истории, смахивающие на анекдоты — не без этого, но даже те, кто никогда не видел этих двух людей, представляли их себе и понимали место каждого. Вряд ли нужно что-то добавлять Куликову — у него и своего хватало, вряд ли нужно что-то отнимать у Ремеза...

Утром мы встретились с Семеном в цехе, я обещал ему показать работу нового стана, где катали мы электротехническую, и хоть времени у меня было в обрез, все же решил выкроить для этого часок.

— Объясни, пожалуйста, почему вы так занизили роль Ремеза в книге? — не вытерпел и спросил я.

— Занизили? — переспросил Куликов и усмехнулся. — Ну, знаешь! Что касается меня, я бы в этой книге его вообще не упоминал.

— Как же это?

— Слушай, Костя, отец мог бы и сейчас жить, если бы не Ремез. Он послал больного отца на верную смерть, сводил с ним счеты, — он говорил это буднично, утирая платком вспотевший лоб и перекладывая с руки на руку сложенный пиджак, который ему мешал.

— Ты в этом уверен? — спросил я.

— Как в себе самом, — он подошел к сатуратору с газированной водой, взял стакан и стал пить.

— Значит, это правда, что ты писал на Ремеза в официальные инстанции?

Он замер с окаменевшим лицом. Я сразу вспомнил его старую привычку, когда он вдруг умолкал и в нем словно бы сжималась пружина, для того чтобы через мгновение стремительно распрямиться, — так он взорвался когда-то в ресторане, грохнув бутылкой о стол. Я ждал — нечто подобное произойдет и сейчас, но он судорожно вздохнул, погладил грудь и сказал виноватым голосом:

— Вот ведь, дьявол, нет-нет, а прижмет. Сработался мотор-то, и духота, понимаешь, как в Средней Азии...

Мне показалось, что он хочет уйти от ответа.

— Так правда, что ты писал?

— Конечно, — просто ответил он. — А как же иначе? Когда за Ремеза взялись, я и написал. А то, может, его бы и не свалили тогда. Я должен был постоять за отца. Если не я, то кто другой?

Мы дошли до стана, в это время вальцовщики заправили новую полосу, и она, отливая матовой синевой, потекла меж тяжелых, блестящих валков. Куликов торопливо вынул из пиджака записную книжку и шагнул к пульту управления, а я стал ему рассказывать, на каких режимах работает стан. Он лез во все дотошно и, чтобы лучше слышать из-за машинного гула, подставлял мне ухо. Куликов попросил меня пройти с ним в лабораторию, чтобы там еще раз проверить кое-какие данные.

Едва мы вышли из-за стана, как увидели идущую прямо на нас группу людей: впереди Ремез, а рядом с ним, стараясь не отстать, твердо ставя палку, вышагивал Бортов, он что-то горячо говорил, то

и дело вскидывая голову, и лицо его от возбуждения было красно. Ремез слушал внимательно и хмуро.

Я оглянулся на Куликова, он слегка попятился. В глазах его метнулось знакомое мне по давним временам устало-затравленное выражение, но тут же оно сменилось покорностью. Ремез и Бортов поравнялись с нами, Игнат Матвеевич взглянул на меня, хмурое недовольство пригасло в его глазах, он протянул мне руку, энергично пожал, сказал:

— Очень хорошо... Вы нам тоже нужны, Голиков. Через полчаса я жду вас в кабинете Бортова.

Тут его цепкий взгляд остановился на Куликове. Наверное, Ремез еще не успел понять, кто перед ним, хотя явно отметил, что лицо этого человека ему знакомо, он кивнул в знак приветствия и пошел было дальше, но, сделав не более трех шагов, резко обернулся, и темные глаза его осветились весельем.

— Куликов? — улынулся он, видимо, более оттого, что узнал этого человека, чем от радости встречи. — Семен Андреевич? Ну что же вы эдак-то от меня бочком? Ишь каким солидным стал. Ну, здравствуйте, здравствуйте, — он протянул руку.

Куликов торопливо пожал ее все с тем же выражением покорности.

— Какими судьбами у нас на заводе?

— Командирован институтом, — поспешил ответить Бортов, — встреча произошла в его цехе, и он должен был показать свою осведомленность.

— Почему я об этом узнаю сейчас?

— Допуск Куликовым был получен. Сейчас, Игнат Матвеевич, к нам много ученых приезжает.

— Но я приказал обо всех сообщать в секретариат, — Ремез говорил это, не глядя на Бортова, а все еще продолжая рассматривать Куликова. — Жаль, что так произошло, — теперь он уже обратился прямо к Семену Андреевичу, — мы бы могли поговорить. А сейчас... Через четыре часа я улетаю в Москву. Все-таки подходите с Голиковым через полчаса. Перекинемся двумя-тремя словами, — он торопливо двинулся дальше по пролету.

Едва они отошли, как Семен Андреевич обмяк, лицо его сразу сделалось обрюзгшим, с желтоватыми пятнами под глазами.

— Это же надо, — вздохнул он. — Все время думал, не дай бог его встретить! Вот на тебе, пожалуйста.

— Ну встретил, ну и что?

— Ты что, не знаешь его, что ли? Теперь думай-гадай, какую он тебе чертовщину подложит...

Я взглянул на часы и понял: в лабораторию мы не успеем, надо двигаться в кабинет Бортова. Мы дошли до управленческого отсека молча, так же молча вошли в приемную.

— Начальника еще нет, — сказала секретарша. — Но вы заходите. Он искал вас еще час назад.

Мы прошли в пустой кабинет, Куликов задумчиво остановился у окна, по-прежнему держа пиджак перекинутым через руку, и стал оглаживать сердце.

— Тебе плохо? — спросил я.

— Чего уж хорошего, — сердито ответил он и спросил неуверенно: — Может, мне уйти. А?

Ответить я не успел — в кабинет быстро вошел Ремез, а за ним Бортов. Игнат Матвеевич бросил беглый взгляд в сторону Куликова и, сев за стол, сразу же повернулся ко мне; он был явно возбужден,

но все же, прежде чем начать говорить, достал трубку, быстро набил ее, умяв табак большим пальцем, и закурил.

— Вот что, Константин Павлович, — сказал он деловито. — Я хотел вас пригласить несколько раньше, но так сложились дела... Пока у нас будет только предварительный разговор. Вернее, даже не разговор, а некий толчок для размышления. И мне бы хотелось, чтобы вы тщательно продумали возникшую у нас идею и высказали свое отношение к ней, а может быть, и что-то к ней добавили. Завод растет, а управленческое дело начинает серьезно отставать от тех задач и возможностей, которые перед нами возникают. Мы работаем, руководим цехами еще по старинке. По моему глубочайшему убеждению главный долг руководителя — думать, и оценивать руководителя надо по тому, насколько он способен к выдвижению полезных и оригинальных идей. А на нашем заводе цеховой начальник из-за суеты сует превращается в некоего исполнителя сугубо плановых заданий, я бы даже сказал в надсмотрщика над этим исполнением. Низкий уровень, скверный! Производство — это постоянное движение мысли... И вот возникла такая идея. Создать нечто вроде объединений внутри завода. По прокату у нас три цеха, сталеплавильных два, ну и так далее. Каждому такому объединению дать свое управление, начальников этих управлений сделать заместителями директора. Мы ликвидируем службы цеха, включая даже бухгалтерии, и создадим их только при объединениях. Чувствуете, какое сокращение? И начальники цехов освободятся от множества бумажных дел. Высвободится время для размышлений. Это же время будет и у тех, кто возглавит, так сказать, мозговой центр объединения. Иначе, конечно, будет выглядеть и дирекция. Организуется нечто вроде директорского совета из начальников объединений, которое сможет оперативно решать глобальные заводские проблемы. То есть мы создадим на практике то, что можно бы назвать близким к коллективному руководству. Производство подошло к тому рубежу, когда при старой структуре управления — директор, решающий за всех, — оно может задохнуться. Мысль понятна?

Конечно же мне была понятна эта мысль, более того, я вспомнил, что много лет назад, когда мы повстречались с Ремезом в Ярске, сидели по вечерам в избе у Натальи Михайловны и чаевничали, он высказывал нечто подобное, правда, без каких-либо конкретных разработок; значит, вот еще когда он впервые задумался над всем этим. Тогда же он говорил: «Если уж начинаешь дело, то должен быть уверен, что сумеешь его завершить. Нет ничего противней, чем обещать по намерениям, а выполнять по обстоятельствам...»

— Ну, вот и хорошо, что понятно, — кивнул Ремез. — У Бортова множество сомнений. Это естественно. Необходимо все тщательно продумать, прежде чем начать перестройку. Прикидочно мы думаем во главе прокатного объединения поставить Бортова, а вот вас двинуть в начальники цеха. Пока ничего мне на это не отвечайте. Думайте. Я вернусь через две недели и хотел бы, чтобы у вас были свои предложения, — он торопливо взглянул на часы, повернулся к Куликову и, как давеча в цехе, просто улыбнулся.

— Ну что, Семен Андреевич, наслышан о вас. Статьи ваши вижу. Значит, дела идут не так уж плохо?

— Спасибо. Не жалуюсь.

— Чудесно. У меня просьба к вам: увидите Людмилу Сергеевну, передайте, что я чрезвычайно рад ее успехам. Кое-что из ее идей мы, видимо, будем применять у себя на заводе. Наши товарищи ей сообщат об этом. А от меня ей большой поклон. Как она? Здоровая?

— Да, конечно.

— Ну и хороша, естественно?..

Он говорил это весело, но что-то было за этой веселостью, я потом догадался: то было острое желание узнать как можно больше о женщине, которая была когда-то его женой, но он сдерживал себя и прятал это за легкой улыбкой.

— Надеюсь, наши товарищи помогли вам на заводе? — Ремез обернулся к Бортову: — Если что нужно будет еще Семену Андреевичу, то пожалуйста... — и тут он снова поспешно взглянул на часы. — Пожелаю успеха, — и опять обернулся к Бортову. — Проводите меня. Мы договорим по дороге...

Едва они вышли, как Куликов жадно потянулся к графину с водой, залпом выпил стакан, несколько капель упало ему на подбородок, но он не отер их. Некоторое время он стоял тяжело дыша, потом устало выругался.

— Вот демагог... Вот зверюга! — зло скосив губы, произнес он. — Видал! — Кивнул он в сторону двери. — Сколько его ни били, а он все на коне, — заговорил он быстро, преодолевая одышку. — А ты перед ним сидишь да глазами хлопаешь. Я бы ему на твоём месте так врезал.

— Да за что мне ему врезать?

— Ах ты, агнец божий! За что?.. Он на таких тихонь и рассчитан. Я ведь, Костя, все знаю. Я бы на твоём месте не смолчал, я бы об этой премии за электротехническую давно хорошее бы письмо написал куда надо! А ты, наивняк, поверил, что директор завода ни черта не знал, кого с его предприятия на премию оформляют. Так не бывает. Все-то он знал, да разыграл перед тобой комедь. Как вот и сейчас про демократию запел. Передо мной тут, понимаешь, хвост распустил.

— Что ты говоришь! — прикрикнул я на Куликова. — Зачем ему это?

— Он — Ремез! Вот зачем. Он из меня шайбу сделал, когда я танкосборочным командовал и кое-что там сотворил. Он не любит, когда высовываются, и никогда не любил. Ты прости, конечно, что большое трогаю. Но жену-то он у тебя увел. И вдруг ты в тузы выходишь. Одно дело — он у пешки увел, другое дело — у туза. Вот он тебе и сделал осанже. Знай, мол, свое место. Сиди и не чирикай. Мы далеко от него живем, и вроде бы он достать не может, а я честно скажу: боюсь его. Вот так, Костя, вот так!

Он опять схватил стакан с водой и стал жадно пить.

— Да ладно, — сказал он. — Давай делом заниматься!

Я понимал, что Куликовым руководит давняя, заржавелая нелюбовь к Ремезу, да и у Ремеза был свой счет к Куликову, но, видимо, он зачеркнул его.

И во мне еще вспыхивала злая обида на Ремеза, бывало, я просыпался от нее по ночам и, казалось, готов был уничтожить его. Но даже когда это накатывало на меня, я все же видел Ремеза таким, каким принимал его раньше.

Я возвращался с завода пешком, ни о чем не думал, нес в себе тупую тяжесть, и только когда проходил через большой наш двор, наполненный мутными шорохами, внезапно остановился: я не хочу терять своего Ремеза несмотря ни на что. Как бы ни сложилась моя судьба, он для меня не только человек, разрушивший мою семью, он нечто большее, он давно стал частью меня самого, моей жизни.

Глава десятая

В конце июня была сдана вторая очередь, наш цех являл собой чудо современной технической мысли, он был наполнен ровным шу-

мом, в котором угадывалось единое движение всех частей,— так ненавязчиво шумят, заполняя звуком все каюты и отсеки, двигатели корабля. Цех пронизан светом, падающим из широких боковых витражей и стеклянного фонаря крыши, в нем было прохладно, когда на улицах стояла жара, и будет тепло даже в лютые морозы; все в нем было: и столовые, и души, и комнаты для отдыха, и, чем мы особенно гордились, два машинных зала, облицованные цветным кафелем, там работали новейшие приборы на электронике. Чудесный цех, гордость завода! В день пуска второй очереди был митинг. Собрались в пролете станок, поставили трибуну, принесли цветы. Выступил Бортов, начальники участков, а потом Ремез — он приехал к пуску. Он говорил минут пять — все знали, что он не любит длинных речей и если говорит, то по делу; он сказал, какое значение имеет этот цех для всей нашей промышленности, сказал, что за хорошую работу дирекция премирует большое число рабочих, причем особо отметил при этом наладчиков, а это было очень важно для меня. На этом и кончился митинг, и все стали расходиться по своим местам. Я видел — все веселы, все довольны, и не только потому, что завершили большое дело, но и потому, что его хорошо отметили и директор сказал всем спасибо.

Я направился было к себе в кабинет, но увидел, что возле входа в подземный туннель стоит группа людей — там Бортов, начальники участков и среди них Ремез, он рассказывал что-то, вокруг дружно хохотали, и Ремез откидывал голову, обнажая яркой белизны зубы в широкой улыбке, на лбу его мелкой гармошкой собирались морщинки, и глаза становились отчаянно-озорными. Он еще раз сказал что-то смешное, снова вспыхнул смех, он протянул руку, стал прощаться с каждым, кто его слушал, взгляд его остановился на мне, я хорошо ощутил этот прямой, изучающий, внимательный взгляд и тут же увидел, как темные глаза Ремеза погрузились, он, опустив плечи, шагнул к лестнице, и тотчас его загородили люди.

«Врет все Куликов!» — жестко подумал я.

Через час ко мне зашел Бортов и сказал:

— Бери мою машину, быстро домой, переодеться и в обком. Человек из Москвы приехал нам премии вручать.

— Какие премии?

— Га! Те самые... Ремез, знаешь, до кого дошел? Будь здоров до кого дошел. Он ведь если чего решил, то как таран. Не остановишь...

Я привык к своей обиде, и оказалось, с ней нелегко расставаться. И все-таки радость взяла верх, ведь не поверил я до конца Куликову, не захотел поверить и оказался прав...

Вечером Бортов пригласил к себе заместителей, кое-кого из инженеров цеха; посидел за столом немного — ни пить, ни есть мне не хотелось, и я незаметно удрал к себе. Меня притягивал письменный стол, я вернулся к своим запискам, которые вел еще прежде, когда мы жили с Леной; собиралась довольно объемистая рукопись по прокатным станам, работа эта меня все больше и больше захватывала. Едва я уселся за нее, как в дверь позвонили.

Увидев за порогом Бортова, я было испугался, что он начнет меня укорять: мол, бросил стол и товарищей, и заставит вернуться, но он сказал почему-то шепотом:

— Я к тебе... посудачить.

Мы прошли в комнату, он сел, зажав по привычке палку меж колен, лицо его было красно от выпитой водки, но глаза смотрели твердо и трезво.

— Ремез-то в Москве, можно сказать, по острию ножа прошел,— сказал он.— Слышал?

Ничего я слышать не мог: слухов по заводу о том, почему на такое долгое время Ремез застрял в Москве, не было, он и прежде, бывало, там задерживался, когда решались какие-нибудь координационные вопросы, связанные с заводом.

— Да и вообще я думаю, еще не все улеглось,— сказал Бортков.

— Что же случилось? — спросил я.

— Да, понимаешь, вызвали его в Совмин. Кто уж там, на каком уровне — я не знаю. Опять перестройка. Экономические территориальные советы создаются для руководства совнархозами... В общем, я, честно скажу, сам в перестройках запутался. Ну, ему и говорят: «Хватит, Игнат Матвеевич, сидеть на заводе. Давай, мол, в совет. Нам людей знающих не хватает»... Вот он и рубанул: «Вы что же, решили из серьезных хозяйственников сделать чиновников? Лепите одну инстанцию над другой. Вместо того, чтобы упрощать, усложняете?» Ну, и понесло его: «Прежде директор завода мог выйти напрямую к министру и решить вопрос в два счета. А сейчас к вам, как улитка, ползешь». Ну, на него, конечно: «Ты что ж, против совнархозов?» Не знаю, что уж он там ответил, но колесо закрутилось крепко. Что у тебя на заводе за перестройка? Объединения и тому подобное. Хочешь раздуть штаты, наплодить бюрократов? Тогда он записку на самый верх. Мол, путают бюрократию и управление, бюрократия все важнейшие вопросы обращает в канцелярщину, а подлинное управление, рационально построенное, совершенствует производство... В общем, полез он в драку да всерьез. Сначала у него и союзников не было. Один пошел. Ну а потом дело так обернулось, что вытащили его на пик. Дали слово. Пять минут. А ему больше пяти минут и не требуется. Сказал, любой эксперимент требует серьезной подготовки. Что касается завода, то он эту подготовку ведет и ничего с бухты-баракты делать не собирается. Пока семь раз не отмерит. Экономический опыт не имеет права на поражение, иначе он разворачивает, убивает надежды людей... Отчаянный мужик! — Бортков восхищенно стукнул ладонью по набалдашнику трости.— И представляешь: сошло. И не просто сошло, он поддержку получил: давайте, пробуйте, если уверены, что поднимете производительность. Он им: правило, мол, старое, не уверен — не обгоняй... Вот так-то!

Я вспомнил, как стоял сегодня Ремез возле входа в подземный туннель и рассказывал весело, и подумал: может быть, об этом и шла речь, потому-то так отчаянно-озорно поблескивали у него глаза.

— Еще вот что, Костя,— сказал Бортков.— Помнишь, он просил тебя дать свои соображения? Ты поймей в виду, он ничего не забывает. Он ведь сейчас всерьез за эту перестройку возьмется, коль получил добро. Ты думал что-нибудь?

— Я написал короткую записку со своими предложениями.

— Вот и давай мне ее. Я завтра оттащу ему.

Я тут же вспомнил — завтра воскресенье.

— Неважно,— махнул рукой Бортков.— Он у себя будет. Мы договорились о встрече.

Бортков ушел. Я думал о том, что война поставила Ремеза перед выбором: или потерпеть крушение, или выйти за пределы возможно-го, он избрал последнее. И с той поры это стало его нормой. Он твердо уверовал, что жить можно лишь помня о перспективе, и сам избрел завтрашний день. Наш завод был на виду, о нем много писали, и дела на заводе так отлажены, что можно было безбедно существовать много лет, а директору жить спокойно,— но вот этого-то Ремез не умел, потому-то и было с ним трудно, что он и другим не давал этой спокойной жизни. И даже нынче утром, когда пускали вторую очередь нашего цеха, сн сказал об этом. Теперь, после рассказа Бор-

това, я понял его слова: «Все, что теоретически возможно, обязательно осуществится на практике, как бы ни были велики технические трудности, нужно только очень захотеть. Фраза «Эта идея фантастична!» не может служить доводом против какого-то замысла. Чуть ли не все достижения науки и техники нашего века первоначально были фантастичны, и у нас нет никакой надежды превзойти будущее, если мы не примем за исходную посылку то, что оно будет обязательно «фантастичным».

Я думал: он верит в это неистово и в этой вере черпает постоянную силу. А я так жить не могу да и не испытываю в этом нужды. Конечно же, я радуюсь, когда нахожу свое решение, когда удается сделать то, что не сумели сделать до меня, и если день приносит победу, я с благодарностью храню этот день в памяти, в то время как Ремез, скорее всего, смотрит на день сегодняшний лишь как на пограничную веху между прошлым и будущим, как на стартовую площадку. Я бываю доволен тем, что у меня есть, а он постоянно лезет на рожон, ищет и тем создает сложности не только для себя, но и окружающих. У каждого из нас свои ориентиры в жизни, и незачем их подменять. Вот Бортов, видимо, смотрит иначе, оттого он так восхищенно и рассказывает сейчас о Ремезе...

Было воскресенье. Я проработал половину дня, готовить мне не хотелось. «Двину-ка в гостиничный ресторан»,— решил я.

Ехать нужно было автобусом, и так случилось — то ли время было такое, то ли совсем недавно автобус отошел,— но на остановке я оказался один и ждал долго. Этой небольшой случайности хватило, чтобы разрушить мои планы. Я обратил внимание на красный «Москвичок» издали, уж очень он лихо мчался по центру улицы. Я поднял руку, «Москвичок» проскочил мимо, потом остановился и подал назад. Я подбежал, рванул дверцу и увидел за рулем Лену. Так это было неожиданно, что я замер. Лена рассмеялась:

— Садись, коль остановил.

— Вот уж не ожидал,— растерянно проговорил я, садясь рядом с ней.

— Я уж месяц как гоняю,— словно девчонка похвасталась она.— А что, не идет?

— Еще как! Ты просто создана для машины. Жаль, что я об этом не догадывался прежде.

— Будешь ехидничать, высажу,— шутливо пригрозила она.— Ты торопишься?

Я так был рад этой встрече, так я давно ее не видел, что ответил лихо:

— Нет. Отдыхаю.

— Замечательно,— улыбнулась Лена.— Тогда давай я тебя пока-таю. Знал бы ты, какое это прекрасное ощущение — сидеть за рулем. Давай выедем за город. Хочешь?

И не дожидаясь ответа, она свернула на улицу, ведущую к мосту через Яроньку, мы проскочили его, и перед нами открылась прямая степная дорога. Я знал и помнил эту дорогу, она была той самой, по которой я еще студентом впервые приехал в Ярс, теперь старая станция называлась «Ярс-один», а городская «Ярс-два». В этот воскресный день асфальтовое полотно, которое уложили здесь на месте прежней грунтовой колеи, было пустынно, и Лена сразу прибавила скорость, ветер зашумел в боковых стеклах, взлохматил ее тяжелые волосы, и глаза ее засветились азартом. Стиснуло грудь, и я попросил:

— Ленка, не лихачь!

Почему у меня вырвалось это самое «Ленка»?

Сразу стало легче, и она это почувствовала, сбавила скорость, улыбаясь, посмотрела на меня, сказала с шутливым презрением:

— Что, мальчик, струсил?.. А давай махнем искупаемся. Жарко-то как! Идет?

— Идет,— согласился я.

Лена развернула «Москвич» в обратную сторону, не доезжая моста, двинулась по берегу реки, здесь было много машин, они стояли вдоль прибрежных кустов, от воды раздавался смех и голоса. Мы проехали километра два, пока нашли свободное место, здесь река делалась пошире и не было песчаных отмелей, а на берегу лежало несколько темных коряжин. Я узнал это место: сюда мы приходили рыбачить с Ремезом, когда он жил в избе у Натальи Михайловны.

— Костя, вон твои кустики,— указала она на склонившуюся к воде иву.— Шагай туда, а я переоденусь в машине.

Я шел к иве и думал: так много лет мы были вместе, и в том, что мы сейчас должны прятаться друг от друга, есть что-то противоестественное. Может быть, все, что случилось с нами,— сплошная нелепость, и стоит через это переступить...

— Костя! — крикнула она.— Не возись! — И я услышал всплеск воды.

«Глупости все! — жестко подумал я.— Она молодец. Не жить же нам врагами...»

Я разогнался и прыгнул в воду. Лена помахала мне рукой, и мы поплыли рядом против течения Яроньки.

Мы долго плавали, и когда выбрались на берег, она порылась в машине, выбросила мне махровое полотенце, а потом достала сигареты и закурила впервые за нашу встречу, сидела, щурясь и оглядывая реку, ивы, белые дома города на другом берегу. А я смотрел на ее прихваченную солнечным ожогом спину, Лена склонилась вперед, под натянутой кожей выступили бугорки позвонков.

— Ты и вправду его любишь?

Лена повернулась ко мне, усмехнулась:

— У тебя есть сомнения на этот счет?

Наверное, она и сама почувствовала, что слова ее прозвучали слишком резко, и, стараясь сгладить эту резкость, легла на траву и снизу вверх доверчиво посмотрела на меня:

— Я бы иначе никогда от тебя не ушла. Мне и сейчас бывает страшно, что ушла. Я ведь консервативная, это во мне крестьянское... Так нужно было не только мне и ему, но и тебе.

— Мне не нужно было,— твердо ответил я.

Она помолчала, словно загляделась на травинку перед собой, по которой ползла какая-то букашка, потом по привычке тряхнула волосами.

— Нет, Костенька, и тебе это нужно было. Только ты все еще не решаешься сам себе сказать: мы давно не любили, а только жили друг с другом. Ты боишься себе в этом признаться. Но если бы ты этого не боялся...

— Разве у нас не было любви?

— Была,— сразу же согласилась она.— Когда-то ты для меня был больше, чем сама жизнь. Жила девчонка, выскочила из ярской деревни в большой город, жалась к стенам в коридорах общежития, и вдруг пришел большой человек, такой сильный после войны, все умеющий, все понимающий, и защитил от холодного и могучего города. Тогда я могла за тебя умереть... Клянусь тебе, могла бы,— она говорила с мягкой улыбкой, как рассказывала когда-то перед сном сказки маленькой Асе.— Теперь я знаю, почему это так, знаю, что любовь начинается, когда любимым дорожишь больше, чем собой.

— Это кончилось?

— Давно. Я тебе сейчас расскажу, как это почувствовала. Помнишь, когда к нам приехала мама из Ярска и мы стали жить вчетвером? Я принесла в комнату таз и стала мыть ноги. А ты сидел на кровати и смотрел на меня с отвращением. Потом мы легли, ты отвернулся к стене. А я лежала и зло плакала.

— Не помню.

— Конечно,— кивнула Лена.— Но я тебя не упрекаю. Все начинается с мелочей, может быть, с быта. Ты не обижайся, Костя. Я просто хочу, чтобы ты понял до конца. Когда мы любили друг друга, по-настоящему любили.. еще до того, как родилась Ася?.. И после. Ты все во мне принимал, и я в тебе. Тогда мы очень здорово умели прощать. Помнишь, я пошла в общежитие на свадьбу своей подружки. Там один парень загнал меня в угол, стал целовать. Мне было приятно. Я пришла домой и все тебе рассказала, потому что боялась что-либо от тебя спрятать. Ты и это принял. Может быть, мучался, а принял. И я верила тебе: ты любишь. И понимала, почему верю. Потому что считала: высшее доказательство любви — признание за любимым оставаться верным самому себе, даже если это вызывает страдание. Тот, кто любит истинно, всегда знает: он сжимает в объятиях не невольника, а существо свободное, потому-то так оно ему дорого. У нас так было. И это была любовь.

— Есть божеское, есть человеческое,— усмехнулся я.— Нельзя же петь только на одной высокой ноте.

— Ну да,— кивнула она.— Но нельзя жить только тем, что склеивать осколки прошлого. Я ведь только хотела тебе сказать: если бы я его не встретила, я бы никогда от тебя не ушла.

Она, видимо, устала, повернулась на спину, закинув за голову руки, солнце ударило ей по глазам.

И сразу я увидел ее той, какую и вправду не любил в последние наши годы: непреклонной в суждениях, порой до отвращения прямолинейных. Именно так сейчас она пыталась мне говорить о любви! Но злость во мне угасала по мере того, как я глядел на ее зарозовевшее лицо, на раскиданные по траве тяжелые, с медовым отливом волосы, на ее тело с гладкой кожей.

— Костя,— позвала она негромко.— А ты не думал совсем уехать отсюда?

— Нет, не думал.

— А может быть, тебе стоит это сделать?

— Зачем?

— Ярск не такой уж большой город. Здесь знают все друг про друга. Это иногда мешает.

— Мне не мешает.

Она поднялась с травы, посмотрела на меня с усмешкой.

— Да, конечно, о нас говорят,— согласилась она.— Я не о себе. Меня это мало трогает. Но мне хотелось бы, чтобы и у тебя все было хорошо.

— Куда я поеду? Надо искать завод, надо все на нем начинать сначала, а я тут много вложил... Не могу я все время начинать с нуля. Только что вот надо мной Куликов охал, что я торчу до сих пор в цехе.

— Куликов? — удивилась Лена.— Он что, был здесь?

— Конечно.

— И куда же он тебя звал?

— В науку.

Она еще посидела молча, потом решительно сказала:

— Поехали..

Она высадила меня неподалеку от дома и, развернувшись, умчалась, а я еще постоял, глядя в сужающееся пространство улицы, куда исчез красный «Москвич», и побрел к дому. Я не спешил, боялся растерять то, что нес в себе: и ее смех, и ее привычку откидывать назад взмахом головы тяжелые волосы, и свежесть, исходившую от нее, от ее одежды, и лихое, азартное выражение глаз, когда она гнала машину...

А спустя несколько дней, когда я сидел у себя в кабинете за небольшим чертежником, — рационализаторским предложением одного из наладчиков, — на мой стол, сметая бумаги, плюхнулась круглая женская сумка, и тотчас раздался звонкий смех. Я вскочил и увидел перед собой Галю.

— Вот он, зазнавшийся тип! — закричала она. — Целый год ленился писать бедной девушке!

— Вот это да! — ахнул я. — Ты?.. Как?

Она стояла передо мной в легком цветастом платье, скуластенькое лицо ее, усыпанное мелкими веснушками, расплылось от улыбки, темные глаза смотрели весело и вызывающе.

— Почему ты не оправдываешься?

— Но ты не оставила адреса.

— Мог бы написать в институт. Ну, здравствуй, начальник, — она протянула ко мне руки и выставила для поцелуя короткие пухлые губы.

Меня словно оглушило радостью — это она, и такой она показалась мне родной, близкой, словно у нас в прошлом было так всего много, что я кинулся к ней, оторвал от пола и посадил на стол, потом прижал к себе и поцеловал.

— Ого! — ахнула она. — Ради бога, отпусти, а то ребра не выдержат.

Она села в кресло для посетителей, достала из сумки сигареты и стала рассматривать меня.

— Возмужал, — сказала она.

— Я и прежде не был мальчиком.

— Мальчиком не был, но детское еще оставалось. Особенно в глазах... Привезла тебе кучу приветов. И даже письмо. От самого Самарина.

Она вынула из сумки твердый, лощеный конверт и положила передо мной. Я было потянулся к нему, но она остановила:

— Прочтешь потом. Лучше расскажи, как живешь.

— Как живет цеховой инженер? Вечно думает о плане... А что наука?

— Наука — прекрасно! Все защитились на вашей электротехнической, каждый со своим аспектом. Так что можешь поздравлять: кандидат технических наук. Звучит?

— Звучит! Это надо отпраздновать.

— Конечно. И приглашаю я. В шесть часов в нашем ресторане. Идет?

— Заметано, — сказал я.

Когда она ушла, я вскрыл конверт от Самарина. Это было письмо на институтском бланке. Профессор весьма торжественно приглашал меня к себе в лабораторию. Он писал, что лаборатория их чрезвычайно нуждается в свежей струе, которую могут внести такие производственники, как я, что с основной темой я знаком, и потому он надеется, что я окажу институту серьезную помощь. Он писал: будут трудности с квартирой, но если мне удастся получить от завода разрешение на обмен, то институт сможет ускорить этот процесс; в конце

письма он просил отнести к его предложению чрезвычайно серьезно.

Я прибежал в гостиницу к шести с огромным букетом цветов. Галя сидела в кресле у низкого столика, за которым обыкновенно заполняют бланки приезжие, она не встала, а протянула вперед руки, и я вложил в них цветы, она окунула в них лицо, рассмеялась, и когда оторвала щеки, на них осталось несколько желтых пятен от пылицы. Ресторан был, как всегда в это время, наполовину пуст; официантка сразу же узнала Гаю, быстро принесла нам закуски и вино, мы выпили за встречу, и Галя спросила:

— Что ты ответишь Самарину?

— Я об этом не думал.

— А о чем ты думал?

— О тебе.

— Ну-ну,— погрозила она.— Не становись провинциальным ухажером. Самарин мне сказал, чтобы я без ответа, причем положительного, не приезжала. А если привезу тебя с собой, это еще лучше.

— Что это я вдруг ему так понадобился?

— Вот на это, Костя, я тебе не сумею ответить. Ты сам знаешь, профессор наш мужик неожиданный. Если он решит...

— Ты что же, только ради этого сюда приехала?

— Думаю, что да, хотя мне нужно будет привезти все новейшие данные по прокатке электротехнической. Кое-что я уже получила у Бортова. Послушай, Костя, я не хочу тебе ничего навязывать, но я бы на твоём месте решила. Тут много всяких «за». Самарин тебя и прежде приглашал. Ты ему нужен. У нас ты сможешь сделать многое.

— Я и здесь кое-что сделал.

— Например?

Я стал ей рассказывать о своей рукописи по прокатным станам, той самой, за которой сидел столько времени ночами и за которую получил выговоры еще от Натальи Михайловны. Галя всегда казалась мне спокойной, умеющей все трезво обдумать, а тут забеспокоилась, покраснела:

— Ну его, этот ресторан,— сказала она.— Здесь стало уныло.

Я это почувствовал, едва мы переступили порог зала; стены выглядели обшарпанными, все было несвежим, но я промолчал, подумав, что, наверное, и тогда так было, но я этого не замечал, потому что жил ощущением свободы и грезил будущим.

— Ну его так ну его,— сразу же согласился я.

— Мне бы хотелось взглянуть на твою рукопись. Немедленно. Хорошо?.. Это возможно?

— Если мы сядем на автобус, то через полчаса будем у меня дома.

Так мы и сделали. Я провел Гаю в свою комнату, усадил за стол, положил перед ней папку с бумагами, а сам пошел на кухню варить кофе. С чашками в руках я вернулся в комнату. Галя сидела, подперев голову руками, она пододвинула чашку, даже не взглянув на меня. Тогда я сел на тахту и молча стал ждать, я видел ее сбоку, видел ее согнутую руку, складку меж тугих бровей — она сидела точь-в-точь как в ресторане, когда я впервые ее увидел.

Наконец она закрыла папку и повернулась ко мне.

— Костя,— сказала она,— ты молодец.

Она встала, я тоже поднялся в тревожном нетерпении и шагнул к ней, ее короткие, припухлые губы приоткрылись мне навстречу.

Я проснулся часа в три. Галя спала, уткнувшись лицом в мою руку, в сумерках ее плечи были совсем смуглы, я дотронулся до них и испугался, что разбуду ее. За окном над вершинами берез розовело

небо, и оттуда долетал звук, похожий на тот, что я слышал в степи, как одинокий звон малинового колокольчика, он ударил раз и стал шириться, шириться, заполняя все утреннее пространство... Я снова взглянул на Галю, склонился к ней, поцеловал и вдруг отчетливо понял: с этого мгновения началась для меня новая жизнь.

Глава одиннадцатая

Синева за иллюминатором стала гуще, и сразу же разрушилось ее однообразие, определилась глубина, а внизу, под крылом самолета, струилось золотисто-желтое поле света, оно мягко дышало, окутывая облака, и они местами розовели.

Стюардесса, по-утиному покачивая бедрами, быстро подошла к Асе и, наклонившись, сказала:

— Вас просят в первый салон.

Ася беспомощно посмотрела на меня:

— А ты пойдешь?

Но мне не хотелось подниматься. Ася это поняла, сказала:

— Если понадобится, я тебя позову...

Я похлопал себя по карманам и вспомнил, что сигареты остались в кожаном пиджаке, который я забросил на багажную полку. Когда поднялся, чтобы дотянуться до кармана пиджака, то увидел мужчину и женщину, сидящих впереди. Он спал, откинув голову и приоткрыв рот; седой ежик волос упирался в спинку кресла, а на лице замерло блаженное, как у ребенка, выражение: он держал женщину за руку, и та благодарно опустила ему голову на плечо. Наверное, их что-то сблизило за эту дорогу.

Я с наслаждением закурил и стал смотреть, как меняется цвет неба.

Все-таки удивительно быстротечна жизнь. Прошло уже почти пятнадцать лет, как я покинул Ярск, перебрался в Москву. Я не молод, мне за пятьдесят, и эти пятнадцать лет промелькнули как одно дыхание, хотя в них и были свои этапы, свои перевалочные пункты, да, наверное, если взглядеться, то и множество сложностей, но все равно эти годы воспринимаются мной как нечто цельное. Я многое сделал за это время, стал кандидатом, потом доктором, выпустил книги, две из них о прокатных станах перевели на несколько языков, они стали учебным пособием для студентов политехнических институтов, а я из младшего научного сотрудника сделался завлабом. Лаборатория у меня хорошая и славится тем, что нет в ней склок, мешающих делу драчек. Все то, чем я когда-то жил и терзался в Ярске, отдалось от меня, но, как выяснилось сейчас, это только казалось, потому что стоило снова оказаться в этом городе, как все поднялось, будто со дна, и через даль ушедших лет стали видны подробности.

Я почти не видел за эти годы Ремеза, я говорю почти, потому что нет-нет да мелькал он то в министерстве, то на каком-нибудь совещании. Лишь однажды, лет пять назад, мы встретились лицом к лицу. Проходил представительный форум, куда пригласили некоторых директоров заводов не только нашей страны, но и стран, входящих в СЭВ. Я делал сообщение и еще с трибуны увидел в зале Ремеза, он сидел близко к сцене, и по всему было видно, слушал увлеченно, иногда склонялся к женщине, которая сидела с ним рядом. Женщина эта с густыми седыми волосами, уложенными в высокую прическу, была знакома, я не мог вспомнить ее, но догадывался, что мы с ней не раз встречались.

После моего сообщения объявили перерыв, я сошел в зал и за-

метил, что Ремез и женщина дожидаются меня. Тут я узнал: Людмила Сергеевна Куликова.

Она протянула мне сразу обе руки, и я, склонившись, поцеловал смуглые, морщинистые руки, от которых сладко пахло экзотическими цветами.

— Рада, рада,— говорила она.— Читаю вас, Константин Павлович. Только вот за собой не следите. Был эдакий стройный малый, фронтовик, инженер... Как же допустили такую деформацию? Животик-то зачем? Вон на Игната Матвеевича взгляните. Легкоатлет да и только. Я ведь его, как и вас, целую эпоху не видела.

Ремез и впрямь выглядел молодцом. Волосы его, правда, совсем утратили жесткую рыжину, стали какого-то палевого цвета, но темные глаза по-прежнему лучились, да и был он подвижен, весел. Мы пошли из зала, и он сразу достал трубку, стал набивать ее табаком. Людмила подхватила нас обоих под руки и вывела в фойе, отыскала глазами свободный диванчик и решительно повела туда.

— А любопытно, однако же,— сказала она, посмотрев сначала на меня, потом на Ремеза.— Вроде бы с разных планет, а вот есть, есть цепочка, которая всех нас связала. А?.. Как интересно!

Ремез рассмеялся:

— Ну, ты без причинно-следственных связей не можешь. А, голубушка? — и нежно погладил ее по руке.

Я догадался, что он намекает на ее нашумевшую в последнее время работу, где она, разбирая сугубо металловедческие проблемы, вдруг вышла на философские размышления о том, что всевозможные затруднения люди чаще всего приписывают случайным, временным, лежащим на поверхности причинам, а на самом деле эти затруднения имеют глубинные закономерности; работа эта оказалась столь неожиданной, несмотря на свою простую мысль, что стала обсуждаться не только специалистами нашего профиля, отклики на нее появились даже в гуманитарных журналах.

— А как же, как же! — обрадовалась она.— Это мой конек,— и сразу же опять повернулась ко мне.— А мне Семен Андреевич рассказывал о вас. Однако же давненько это было. Но помню, вы вроде бы не соглашались с монографией об Андрее Кирилловиче?.. Так? Только по какому пункту, уж не помню... Ты читал ее, Игнат? — спросила она у Ремеза.

— Прекрасная монография,— тотчас ответил Ремез.— У меня оба издания.

— Ну вот,— кивнула она.— А Константин Павлович... Против чего вы там возражали?

Странно было сейчас возвращаться к разговору пятнадцатилетней давности, да и то возникшему как бы мимоходом: я вспомнил, как приезжал на завод Семен Куликов.

Пожалуй, я нашел бы способ уйти от ответа, отшутиться или сослаться на память — ничего, мол, в ней не осталось, но на меня смотрели черные глаза Ремеза со знакомой мне глубоко спрятанной усмешкой, вызывающей на откровенность.

— Да против одного пункта, Людмила Сергеевна,— с улыбкой ответил я, забоясь о том, чтобы ответ прозвучал как можно мягче.— Мне тогда показалось, что Андрей Кириллович не тот человек, которому нужно приписывать чужие заслуги, у него хватает своих...

— Чудесно! — воскликнула Людмила.— Просто чудесно! Конечно же, вы имели в виду Игната Матвеевича. Не так ли?

— И его,— сказал я.

Ремез неожиданно рассмеялся:

— А я не знал, Константин Павлович, что вы мой защитник. И

что же, вы об этом Семену прямо так и сообщили?.. Забавно, очень забавно!

Мне не понравился его смех, и я сказал:

— Я вовсе и не защищал вас... Просто речь шла о научной объективности.

— Полагаете, она может существовать в таких работах? — он по привычке постукивал мундштуком трубки по нижней губе, и веселые лучики морщин собрались у его глаз.

— Полагаю, она должна существовать во всех работах.

— Я рад, что вы не растратили оптимизма,— весело сказал он и тут же, взглянув на часы, заторопился: — Прошу меня ради бога извинить, я кое-что должен был шепнуть замминистру в перерыве,— он встал, но прежде чем уйти, повернулся к Людмиле: — Ну, мы еще увидимся, вечером,— а потом ко мне: — Наведались бы вы к нам в Ярск, Костя. Честное слово, для вас это может оказаться интересным.

Он уходил по-прежнему легко, и я удивился, что эти годы почти не изменили его, так он и исчез в толпе, заполнившей фойе. И сразу же что-то изменилось в лице Людмилы Сергеевны, оно осунулось, румянец поблек на щеках, и стало видно, как она немолода и, может быть, нездорова.

— А как живет Семен? — спросил я.

Она посмотрела на меня печально, ответила:

— Он не живет— доживает. На пенсии... Ходит с палочкой. Глаза плохие стали. Даже читать не может. Старость, Константин Павлович.

— Ну, вам об этом рано.

— Не говорите дешевых комплиментов! — грозно прервала она меня, помолчала, покусывая губу, и неожиданно сказала с грустью: — Если и есть среди нас кто-либо по-настоящему молодой, так это он,— кивнула она в сторону, куда исчез Ремез.

Она потеряла одну руку о другую и даже подула в них, как это делают, чтобы согреть замерзшие пальцы.

— Скверная штука — проигрыш. Один раз проиграешь, а хватает на всю жизнь,— она усмехнулась и тут же, словно опомнившись, повернулась ко мне, взгляд ее обрел прежнюю твердость.— А знаете, Константин Павлович, я хотела бы обратить ваше внимание на один из разделов сообщения...

И она стала говорить о моем выступлении; она и вправду сделала несколько точных и разумных замечаний, до которых нелегко было докопаться, видимо, она слушала меня очень внимательно, всерьез обдумывала то, что я сообщал с трибуны, и когда мы расстались, энергично пожала мне руку.

Это была единственная моя встреча с Ремезом за эти пятнадцать лет, но о жизни его я много знал, особенно в последние годы, потому что дочь моя Ася выросла, приехала учиться в Москву и бывала у нас с Галей. А когда закончила институт и пошла работать в одну из биологических лабораторий, она частенько появлялась у нас.

Пятнадцать лет... А кажется, еще вчера меня принимал в лабораторию Самарин, тряс седой шевелюрой, насмешливо хмурил тяжелый лоб, и короткие усики вздрагивали под его крепким носом; он хлопал меня по плечу и говорил:

— Ну и чудесно, что приехали, чудесно. Я же вас и раньше звал. Могли бы и сами, без звонка Игната Матвеевича.

— Какого звонка?

— А вы не знали? — грозил он мне толстым пальцем.— Звонил директор, просил за вас. Вот я к вам Галю и отправил.

Я ходил несколько дней злой, что влип как мальчишка, не догадался сразу, откуда идет этот неожиданный вызов в Москву, Лени-

ны штучки. В Ярске я им как бревно в глазу... Но потом смирился, привык к лаборатории, а через три года Самарин умер на заседании ученого совета, когда схватился с одним из своих оппонентов. Об этой смерти на глазах у ведущих работников института много говорили, она вызвала не только всевозможные толки, но и навлекла суровые комиссии в институт.

О Самарине при его жизни говорили много плохого, хотя этот грубоватый, даже в своей хитрости неуклюжий человек мне нравился. Смерть сделала его героем, и до сих пор рассказывают о нем молодым, как был отважен этот человек, не терпел компромиссов,— постепенно он стал легендарной личностью, этому помогло еще и то, что дома у него обнаружили несколько смелых и даже дерзких работ, которые он не решился предложить на обсуждение при жизни. Работами этими занялись, идеи их расширили, и так образовалось у нас в институте целое самаринское направление, лаборатория, которой я теперь руковожу, тоже принадлежит к этому направлению.

Пятнадцать лет, пятнадцать лет... Так бы и текла моя жизнь по пробитому руслу, если бы не эта страшная телеграмма от Аси. Галя получила ее утром, я уже уехал в Электросталь, где проводился у нас эксперимент. Галя весь день нервничала, не зная, как мне сообщить о беде. Нервничать ей было нельзя, потому что за эти годы она нажила язву желудка, правда выглядела молодцом. Она старалась облегчить мне жизнь, чтобы я больше занимался наукой, и главные хлопоты по дому взяла на себя, бегала по магазинам, всегда что-то доставала, добывала и не жаловалась на это.

— Я из тех, что растворяются в мужиках,— говорила она.

Ссорились мы по пустякам, долго ходить надутой она не могла, первая шла мириться.

Когда поздно вечером я вернулся из Электростали и Галя открыла мне дверь, по ее осунувшемуся лицу я сразу понял — что-то случилось, и прежде всего подумал о ее болезни:

— Тебе плохо?

Она потрясла головой, мол, не обо мне речь, а в глазах у нее стояли слезы.

— Да что случилось?

— Лена погибла...

Я понял, о ком речь, только когда она протянула мне телеграмму, и я увидел в ней слово «Ярск».

— Надо... ехать,— проговорил я, приходя в себя.

— Самолет только утром,— ответила Галя.— Я узнавала. Давай я тебя покормлю.

Мы молча поужинали, молча легли в постель. Галя обхватила меня, прижалась всем телом, и мне показалось, что ее знобит.

— Успокойся,— тихо проговорил я,— зачем ты так?

— Страшно...

Я погладил ее по голове и почувствовал, что она притихла. За все эти годы мы не говорили с ней о Лене, хотя Галя тоже знала о ней многое.

— Почему? — спросил я.

— Ты ее любил,— прошептала Галя.

Я помолчал, подумал и ответил:

— Да. Но это было давно...

— Ты ее всегда любил. Я знаю,— сказала она, и плечи ее вздрогнули под моей ладонью.

Было в этом что-то противоестественное: Галя молчала, пока Лена была жива, да и не было у нее ни малейшего повода для ревности, а сейчас, когда Лена погибла...

— Чего ты боишься?

— Не знаю. Но мне страшно, что ее больше нет...

И только когда она это произнесла, я по-настоящему понял, что случилось там, в Ярске, увидел стремительно мчащийся красный «Москвич», я знал от Аси, что Лена давно ездит на «Волге», но увидел я именно тот «Москвич», он летел по дороге, закладывая крутые виражи так, что колеса его поднимались над землей, он петлял среди колосьев пшеницы по степному проселку, оставляя за собой клубы пыли, он вырывался на шоссе и все удалялся, удалялся, превращаясь в крохотную кровавую точку.

— Она столько лет водила машину,— проговорил я.

— Ты... встречался с ней после? — робко спросила Галя.

— Нет... Последний раз еще до твоего приезда в Ярск.

И все-таки она жила во мне всегда. Она не только приходила ко мне в сны, но наступали мгновенья, когда я видел ее лицо, слышал ее голос, сидя в вагоне метро или шагая по улице, она словно исподволь входила в мою жизнь, и мне было хорошо от этого, будто я заранее ждал ее прихода, чтобы дать отчет о сделанном и прожитом... Неужели Галя догадывалась об этом? Поняла женским чутьем, и потому ей так тревожно сейчас?

Рано утром я был в Домодедове. Над взлетным полем лежал густой туман, сквозь огромные стекла аэровокзала ничего не было видно, кроме грязно-белых прядей, медленно вращающихся над влажным асфальтом. Рейс отменили. Я слонялся по вокзалу часа два и снова услышал, что рейс переносится. Тогда я пошел на почту и заказал Ярск, квартиру Ремеза. К телефону долго не подходили; наконец женский незнакомый голос спросил, кто звонит? Я назвалась и попросил Асю.

— Она на похоронах,— ответили мне.

Я заметался по вокзалу, побежал к справочному, мне сообщили, что туман рассеялся, самолеты начали вылетать, через час объявят посадку на Ярск.

Был душный вечер, когда такси привезло меня к березовой роще, где стоял дом Ремеза, пахло теплым асфальтом и дурманом цветущего табака в палисаднике, все окна дома были освещены, но оттуда не доносилось ни звука. Открыла мне Ася, отступила, пропуская в прихожую, я хотел было объяснить свое опоздание, она сразу сказала:

— Мы все знаем. Я звонила в аэропорт...

Она проводила меня в комнату, постояла, словно о чем-то размышляя, потом неожиданно упала лицом мне на грудь и заплакала так горько, с таким отчаянием, что у меня спазмами перехватило горло, и я ничего не мог сказать. Наконец подняла лицо и решительно вытерла ладонью глаза.

— Ну, все... все! — строго приказала себе.

Она прошла к круглому столу, на котором стояло несколько немых тарелок, яблоки в вазе, вода в стакане, выпила эту воду и спросила:

— Пойдешь к нему?

Я кивнул. Тогда она взяла меня под руку, вывела в ярко освещенный коридор, где на полу лежали красные дорожки с пыльными следами множества ног, указала на дверь, обитую коричневым дерматином. Я постучал, мне не ответили, тогда я оглянулся на Асю: она жестом указала, чтобы я входил. И я вошел.

Ремез сидел за письменным столом, поставленным боком к открытому окну; горела только настольная лампа, свет ее вырывал из полутьмы лицо Игната Матвеевича. Он не услышал, как я вошел. Я стоял пораженный: передо мной сидел старик. Глубокие морщины прореза-

ли его лоб, собрались скобками у тонкого, с выбеленными губами рта, седые с желтизной волосы безвольно падали к вискам и, что больше всего меня удивило, — глаза его потеряли угольный блеск и теперь казались блекло-зелеными. В кабинете густо пахло табачным дымом, перед Ремезом в пепельнице лежала трубка, его сморщенные, корявые руки расслабленно покоились на столе.

Я стоял у порога. Полки с книгами до потолка, широкий желтый кожаный диван у стены, на котором лежали измятая подушка и клетчатый плед, над диваном этим сделана была длинная полка, и на ней поблескивали несколько макетов танков, модель блюминга. Мне показалось, я уже бывал здесь, хотя твердо знал, что никогда не переступал порога этого кабинета. Но уж очень он был знаком мне, очень... Я хотел было шагнуть вперед, чтобы поздороваться или еще как-то известить о себе, но Ремез, не поднимая глаз, сказал устало:

— Я давно тебя жду...

Он никогда не говорил мне «ты», это прозвучало непривычно, как и его голос — глухой, огрубевший.

— Садись.

Единственное кресло неподалеку от стола было завалено журналами и большими, нераспечатанными конвертами, мне ничего не осталось, как сесть на диван.

Тут я понял, почему мне знаком этот кабинет — он напоминал домашний кабинет Андрея Кирилловича Куликова: такие же полки с книгами, такой же кожаный диван и кресло. «Он все еще его ученик», — усмехнулся я.

Ремез сунул в рот трубку, почмокал губами:

— Ты слышал, как это случилось?

— Нет.

— Она была в Анненске... На шахтах. Чего-то ей не хватало для книги. А ночью помчалась сюда. Это из-за меня. Ей нужно было увидеть, как я прощаюсь с товарищами.

Он сглотнул, крепкий кадык, который прежде я не замечал, приподнялся на его изрезанной морщинами шее.

— Что значит «прощаюсь»? — спросил я.

— Я сдал завод, — сказал он. — Мы решили отсюда уехать... в Москву. У Лены выходят книги. Впрочем, это не имеет значения.

— Что не имеет значения?

— Все! Все! Все! — Он неожиданно сильно ударил ладонями по ручкам кресла и тут же встал, задел угол стола бедром, и только тогда я увидел, что он в длинном махровом халате, пола которого распахнулась, обнажив сухие ноги. Он закинул обе руки за спину и, шаркая тапочками, прошелся по кабинету.

— Вы сдали завод? — спросил я.

Он повернулся ко мне и почти крикнул:

— Я это сделал ради нее! Но сейчас... Разве я могу без завода? Ты видел, что я тут создал? Ты видел?.. Куда я от этого денусь? Куда?! — Теперь он кричал, выбеленные губы сломались, и я подумал, что он не в себе.

Да так, наверное, и было. Он заметался по кабинету, полы его халата развевались, пояс упал на пол, он отшвырнул его ногой.

— Они кричат, что я устарел. Ты можешь в это поверить? Я знаю все, что они пишут, знаю каждую мелочь... Вот, вот, — он подскочил к креслу и одним махом швырнул на пол лежащие стопкой журналы и письма. — Это уже было! Было! Они подумали, что я кончился. А я начал сначала... Все сначала! Ну, скажи, разве это не так? Я начал и сделал этот завод... Я должен здесь умереть. Это мое право... умереть здесь, на этой земле. Завод — моя сущность. Это я сам. Ты понимаешь?

«Может быть, его хотели проводить на пенсию?» — подумал я. Но он выкрикнул:

— Они хотели меня кинуть на ваш институт!

Действительно, наш институт год уже жил без директора, мы устали от слухов, кто им будет, но разговор о Ремезе никогда не возникал.

— Я послал их к черту! Это не мое дело. Лаборатории, симпозиумы, склоки... Тогда они захотели, чтобы я работал в министерстве. Я и прежде отказывался... У меня может быть завод, только завод!

Он внезапно остановился возле меня, посмотрел сверху вниз, то-ропливо запахнул халат и сел рядом, сказал тихо и печально:

— Ее больше нет, Костя.

Он заплакал и сразу сделался маленьким, слезы текли по его щекам, плечи угловато вздрагивали. И, словно услышав этот плач, в кабинет быстро вошла Ася, она несла в кружке питье, протянула его Ремезу, сказала:

— Выпей это.

Он покорно двумя руками взял у нее кружку, стал пить большими глотками, посмотрел на Асю грустными глазами, будто ожидая ее приказаний. И она приказала:

— Ложись. Врач сказал, ты от этого уснешь.

Она кивнула мне, и мы вместе вышли из кабинета, вернулись в ту комнату, куда привела она меня сначала. Со стола теперь было убрано, постелена чистая скатерть.

— Я все-таки напою тебя чаем, — сказала Ася и вышла.

И пока она ходила на кухню, я оглядывал комнату, где стоял массивный, старинной работы буфет и такие же черные стулья с высокими спинками, и всюду находил следы Лены: раскрытая портативная машинка на газетном столике, цветастый халат, брошенный на спинку стула, а под ним стоптанные тапочки, на буфете стопочка блокнотов с отгиснутым золотом названием газеты, где она работала... Я прошел в ванную, чтоб помыть руки; на полке стояло множество флаконов с кремами, лосьонами, лежала губная помада — малиновая. Ася любила ярко-красную.

Когда я вернулся в комнату, Ася разливала чай по чашкам.

— Как они жили? — спросил я.

Она пожала плечами:

— Как все...

Почему-то этот безразличный, скупой ответ меня удивил.

— Что значит как все?

Я посмотрел на ее смуглое, с мягкими, расплывчатыми чертами лица, на простовато-открытые глаза.

— Это значит, — ответила она сухо, — что у них были разные дни.

— Они ссорились?

— Прежде нет. Но в последние годы... Тебе это вправду нужно знать? Ты сам понимаешь, как я сегодня устала... Ну, хорошо! В конце концов ты приехал с ней попрощаться. Три года назад я думала: у них дело дойдет до развода. Нет, это не из-за личного. Она если и затевала борьбу, то чаще всего из-за каких-нибудь дел, которые считала очень серьезными. Он назначил Бортова главным инженером. Вернее, настоял на этом, потому что на завод присылали другого человека. Молодого и, говорят, очень сильного. Она считала, что этот молодой и должен быть главным, а он... он, мол, захотел спрятаться за своего, проверенного, потому что сам чувствовал себя непрочно. Понимаешь?

Я понимал и думал, что это похоже на Лену, во всяком случае на ту, какую я знал в последние годы нашей жизни.

— Вот с этого у них началось. Она была с ним очень резкой. Он, конечно, не уступал, он всегда считал, что она не должна вмешивать-

ся в его дела. Но разве она могла не вмешиваться?.. Я не знаю, отец, но для меня это было трудно. Хорошо, что я жила больше в Москве.

— Но они помирились?

— Они мирились, но ненадолго. Они же оба чертовски непрклонны...

Прежде мы никогда не говорили о жизни Ремеза и Лены; сообщения Аси, когда она бывала у нас в Москве, как правило, были кратки: «маме купили «Волгу», «они уехали в Кисловодск», «у мамы выходит новая книга»... И мне казалось: они там, в Ярске, должны жить как-то необыкновенно, я не знал точно как, но только не похоже на окружающих, иначе зачем же было ломать нашу семью, приносить столько страдания, я верил, они живут удивительно, им интересна каждая минута, каждое мгновение друг с другом — ведь он такой большой, такой сильный и значительный человек, и она — красивая, умная женщина, их союз — единение разума, силы и красоты. Слова Аси одним ударом разрушили все это! Я сразу увидел, как в плохо убранных комнатах этого дома закипает мелкая ссора, как ходит, дымя сигаретой, из угла в угол разгневанная, всклокоченная Лена, и невысокий, щуплый старик сердито смотрит на нее исподлобья. «Не может этого быть», — сразу же отверг я увиденное...

— Он и вправду сдал завод? — спросил я.

Ася задумалась, поправила волосы.

— Знаешь, отец, — сказала она, — я не хочу разбирать, кто из них прав, кто виноват. Я их любила обоих... Она нуждалась во мне и он тоже. Он всегда меня считал и сейчас считает — ты не обижайся — своей дочерью. И если мне бывало хорошо с ними, то только потому, что я не лезла в их дела. Мне кажется, они оба это ценили.

— Так все-таки что с заводом?

— Почему для тебя это важно?.. Ну хорошо. Последние два года он стал болеть. А может быть, болел и раньше, но скрывал от нас. Я даже думаю, он не захотел нового главного инженера потому, что почувствовал: не сможет вынести конфликта с ним.

— Разве конфликт был неизбежен?

— Кажется, да. Заводу, как говорили, нужно новое дыхание. Мама испугалась. Она стала настаивать, — не сразу, конечно, постепенно, — чтобы он ушел. И ей самой нужно было в Москву. Он уперся. Тогда она занялась этим сама. Ему стали предлагать разные работы в Москве. Он сердился, не принимал... В общем, она сумела его убедить: надо уезжать. Позавчера его должны были провожать на пенсию. Затеяли торжество. Утром в десять. Но... случилось это.

— Она была в Анненске?

— Да. Поехала ночью... Туман. Самосвал, говорят, стоял поперек дороги.

Она прикусила губу, чтобы не расплакаться.

— Пора спать, — сказал я.

— Я постелю тебе здесь, на диване.

Утром я поехал на кладбище... Еще вчера вечером, приземляясь в аэропорту Ярска, я увидел по огням, какой это стал большой город, теперь же, проезжая по его улицам, таким же, как и новые районы Москвы, я в этом еще раз убедился. Лену похоронили на старом кладбище, теперь оно было почти в центре города и его обнесли стеной из бетонных плит, здесь редко кого хоронили, главное городское кладбище было в другом месте.

Я прошел по песчаной дорожке меж ветхих могил и обнаружил свежий холмик, усыпанный полуувядшими цветами, неподалеку от куста сирени; я долго стоял возле него... Потом огляделся. Лена была похоронена недалеко от учителя Ивана Митрофановича и ря-

дом с Натальей Михайловной. Это был уголок земли, где лежали те, кого я любил. Я сел на старенькую скамеечку возле могилы Ивана Митрофановича, слушая ленивую переключку птиц в кустах. Я мог так сидеть бесконечно. Но раздались шаги по дорожке, ко мне подошел незнакомый широкоплечий детина в джинсовом костюме, вежливо кашлянул. Я вопросительно посмотрел на него, и он ответил:

— Степан Трофимович просит...

Я не понял. Тогда он пояснил:

— Директор завода, товарищ Бортов.

Возле ворот кладбища стояла черная «Волга», детина открыл передо мной дверцу.

Я бывал прежде на каких-то совещаниях в этом большом директорском кабинете, сейчас тут многое изменилось, обилие деревянными панелями стены, стояло несколько телевизоров, один над другим, магнитофоны, а на директорском месте сидел не Ремез, а Степан Трофимович Бортов, седой, при усах, с мешками под глазами, но все тот же Бортов. Завидев меня, он поднялся, взял палку, инкрустированную металлом и перламутром, и шагнул, улыбаясь, навстречу, обнял крепкой рукой, уколол усами и вернулся на свое место.

— Рад тебя видеть, Константин Павлович,— сказал он почему-то строго.— Очень рад.

— Значит, директор? — улыбнулся я.

— Пока еще ио. Садись.— Он некоторое время молча разглядывал меня, видимо, не все ему во мне понравилось, и он глухо вздохнул.— Жаль, конечно, что вот так встретились. Надо бы иначе. Такая жизнь... Но хорошо, что ты приехал.

Я тоже разглядывал его. Бортов сидел напротив меня в полосатой оранжево-белой рубашке, повесив пиджак на спинку рабочего кресла, хотя в кабинете было прохладно от кондиционера, и неторопливо вращал в крепких пальцах новейшего устройства электронную зажигалку. Вот эта-то зажигалка меня и насторожила. Я сообразил, что на всем облике Бортова лежит отчетливый отсвет моды: поседевшие волосы удлинены и зачесаны назад так, чтобы касались воротника рубашки, да и сам этот воротник был широк, с очень острыми концами, и кварцевые часы с серебристым браслетом, сжимавшие волосатое широкое запястье, и отливающая тусклым металлом шариковая ручка, лежавшая на чистом листе бумаги,— весь этот франтоватый антураж был заметен, все эти мужские игрушки слитком выставлялись.

— Значит, Ремез все-таки ушел? — спросил я.

— Торжественно, так сказать, не удалось проводить,— ответил Бортов.— Несчастье, не до этого. Однако же подарки ему переправили. А официальный приказ уже неделю...

— Он сам, или?..

Бортов внимательно посмотрел на меня и опять вздохнул:

— Не так ставишь вопрос, Константин Павлович. Что значит «или»? Для Ремеза такого вопроса быть не может. Если тебя интересуют детали, то заявление он подал сам. А вот почему — это уж другой разговор.— Он размял в крепких пальцах сигарету, подвинул пачку мне, чиркнул зажигалкой и, разгоняя ладонью дым, сказал: — Никто ему уйти не предлагал. Да и не мог предложить. Завод план давал, да и вообще один из лучших... Мы расширяемся, новые цеха вводим, и уровень у нас современный. Кто же директору такого завода может предложить уйти?.. Ты вот сам прикинь: сколько было в войну знаменитых командиров? Мы их всех можем назвать, о них пишут... Однако же война кончилась, прошли годы, и не смогли те самые директора тянуть дальше. Причина? Не тот стиль, не тот уровень руководства... А Игнат Матвеевич смог. И не только смог, но и многим новым

сто очков вперед дал. Опять же причина?.. Умел жить с заглядом на несколько порядков вперед. Вот возьми: всерьез за управление у нас лет шесть-семь взялись. А он еще при тебе перестройку завода начал. Мешали ему? Мешали. Он не боялся, шел по-своему... С ним, сам знаешь, не соскучишься. И вдруг: «Стоп!» И потекла у нас вроде бы тихая, мирная жизнь... Вот он и заметался. Он мне не раз тут кричал: «Мы живем в прошлом, в лучшем случае — в настоящем, а это застой...» Он метаться-то метался, а предложить ничего не мог. То, что мы ему предлагали, ему казалось мелочью. «Нужна такая перемена, чтобы открылось новое дыхание, и надолго». Года три он метался. И оказались мы где-то посерединке: не позади и не впереди. Трудно с ним стало... Очень. Одна Елена Александровна, — умная женщина, умная, — может быть, его по-настоящему-то и поняла. И настояла на переезде в Москву...

Я вспомнил, как вчера поздно вечером Ремез бегал по своему кабинету, как швырнул на пол кипу журналов и пакетов.

— А он говорит, считают, что он устарел.

— Это он сам так стал считать... Сам! И начал придумывать, что так считают другие. — Бортов усмехнулся.

— Сумеешь на его месте?

— Ты мою позицию, Константин Павлович, знаешь. Я солдат. Надо — сделаем, — по-своему улыбнулся он в усы, хорошо улыбнулся, по-прежнему: — Эх, Костя, Костя, а то бери какую-нибудь тему да приезжай к нам. Все условия предоставим. Поработаем?

— Подумаю.

— Га! Подумай. И просьба у меня к тебе. Мне сейчас звонили: у Ремеза со здоровьем неважно, нужно его в Москву. Боюсь, одна Ася не справится. Прощу тебя, помоги ей.

Я согласно кивнул и, не удержавшись, спросил:

— Что же ты такой модный стал? А, Степан Трофимович?

— Какой модный? — удивился он, но тут же спохватился. — Так сейчас все. Ну и я так. А что... плохо?

— Да нет, — рассмеялся я. — Нормально. Просто непривычно.

— А еще через пятнадцать лет вообще отвыкнешь, — с усмешкой ответил он и тут же быстро взглянул на часы, видимо, намереваясь погреться; он уже и приподнялся, опираясь обеими руками о стол, как включился селектор и сухой голос секретаря сказал:

— Степан Трофимович, возьмите городской. Ремез у телефона.

Бортов на какое-то время застыл, потом медленно опустился в кресло, так посидел мгновение, словно соображая, не ослышался ли, и стремительно рванул красную телефонную трубку:

— Слушаю, Игнат Матвеевич.

И тотчас из трубки вырвался голос Ремеза, он был прежним, этот голос, строгий и спокойный:

— Я только что узнал, — отчетливо произнося слова, заговорил Ремез, — что вы отменили назначенную на сегодня в два часа дня мою последнюю встречу с активом завода.

Бортов крепче сжал трубку.

— Вы слышите меня, Степан Трофимович? — чуть громче произнес Ремез.

— Да, да, конечно...

— Никто вас не просил присылать мне подарки на дом. Мне нужна встреча с людьми. И по-моему, мы с вами об этом твердо условились еще пять дней назад. Почему же вы отменили это решение?

— Да... Но... — с трудом произнес Бортов. — За это время произошло такое... Я полагал...

— Никакое событие не давало вам права отменять принятого

сообща решения. Я сегодня покину Ярск, но я сделаю это только после встречи с активом. Итак, когда мне быть в Доме культуры?

Тут уж Бортов нашелся мгновенно:

— Как было условлено, Игнат Матвеевич, ровно в два часа.

— Хорошо.

И сразу же послышались гудки отбоя. Бортов медленно положил трубку, посидел молча и вздохнул:

— Вот так, Константин Павлович. Будем собирать актив.

К двум часам зал заводского Дома культуры был забит до отказа, люди стояли в проходах; хорошо, что мы с Асей подъехали за полчаса.

Мы нашли себе место в первом ряду балкона и поэтому видели почти весь зал и ярко освещенную сцену, на которой стоял небольшой столик, микрофон, а перед ним корзина с цветами. Гул голосов в зале был мягок, словно люди, пришедшие сюда, старались говорить вполголоса. Было минут десять третьего, когда из-за боковой кулисы первым вышел Бортов, а за ним незнакомый мне высокий человек.

— Секретарь горкома,— шепнула Ася.

И сразу же гул смолк. Бортов сделал несколько шагов к микрофону, но на сцену с другой стороны быстро, порывисто вышел Ремез и остановился, подавшись корпусом вперед; был он в полувоенной гимнастерке с воротником и накладными карманами, туго схваченной широким офицерским ремнем, и на груди его в несколько рядов поблескивали орденские планки— это был тот, прежний Ремез, которого я впервые увидел в Ярске в избе Натальи Михайловны; он стоял, сжав кулаки, и мне казалось, что жесткий рыжий ежик волос пылал над его головой, а глаза были как два горящих угля. Он еще ничего не успел сказать, он только остановился неподалеку от микрофона, как зал грохнул аплодисментами, и тут же один за другим стали подниматься люди, захлопали освобожденные сиденья. Аплодисменты длились несколько минут, а Ремез все стоял, скованный этим приветствием, потом сделал шаг к микрофону и цепко взялся за металлический штырь рукой.

— Друзья,— негромко выдохнул он.

И это его слово прозвучало как команда, аплодисменты смолкли, а он, оглядев зал, выждал, когда уляжется шум садящихся людей, тяжело сглотнул и сказал:

— Настало время нам проститься. Если за тобой долгая жизнь, наполненная трудом, поисками, сомнениями, неудачами и, пусть крохотными, но победами, то такой уход лишь естественное продолжение жизни...— он сделал паузу, шумно вздохнул и еще крепче сжал штырь микрофона.— Мы входим в этот мир, полные замыслов и надежд— так и должно быть, и движение наше через время заставляет нас все более расширять свои замыслы. Но, наверное, нет и не было такого человека, который полностью бы воплотил в реальность свои мечты... Людям моего поколения досталось время тяжелой труда. И если бы меня спросили, что главное было в моей жизни, я бы смог ответить только этим словом: труд. Наверное, в том, что мы создавали, мучась и страдая, есть негодное, ошибочное. Время отбросит это. Хотел бы на прощанье пожать руки всем тем, с кем мы строили завод, город, но их так много, что я попросил новую дирекцию пригласить вас сюда, чтобы я мог поклониться вам и сказать свое «спасибо»...

Не отпуская металлического штыря, он наклонил голову, и свет прожекторов словно согнал с его волос рыжину. Ася тихо плакала...

А спустя час мы ехали втроем в машине к аэропорту, ехали молча, миновали березовую рощу, дом, в котором когда-то я жил,

широкую площадь, где стояла гостиница, новые кварталы домов, проскочили мост через Яроньку, а я думал: вот и Ремез покидает Ярск, и теперь уж навсегда...

Машина въехала на взлетное поле и остановилась у трапа самолета. Ремез вышел первым, взял черный портфель и уверенно стал подниматься по ступеням. Стюардесса улыбнулась ему как старому знакомому, он пожал ей руку, и она отворила перед ним, как, наверное, это бывало множество раз, двери в первый салон.

Зажглось табло: «Не курить, пристегнуть ремни!»; я взглянул за иллюминатор — синий полупрозрачный свет окутывал землю и только впереди у горизонта горела еще бледно-золотистая полоса, можно было различить внизу леса, желтые гроздья световых точек. Скоро начнется посадка, хотя огней Москвы еще не было видно. Ася не возвращалась, видимо, она решила остаться с Ремезом до посадки.

Я первым сошел на бетонку, стал дожидаться Ремеза и Асю возле трапа. Рядом со мной возник русоволосый загорелый штурман в светлом кителе с медными, ярко начищенными пуговицами, тот самый, что пытался назначить свидание Асе. Ремез вышел почти последним; Ася взяла его под руку, но он отстранился и твердо шагнул на ступеньки трапа; он спускался спокойно и уверенно, держась прямо, и лицо его, на которое падал отсвет прожектора, было спокойным. И когда Ремез ступил на бетонку, ему преградил дорогу штурман, видимо, чтобы что-то сказать Асе, но Ремез так взглянул на него, что тот невольно отступил.

Мы доехали до выхода с летного поля, вместе вошли в вокзал, и я увидел в толпе встречающих Гаю. Она улыбалась мне и махала рукой, но тут же ее заслонила женщина с уложенными в высокую прическу седыми волосами, она решительно шагнула вперед и протянула обе руки навстречу Ремезу. И он сразу же пошел к ней, и подобие улыбки возникло на его тонких губах.

— Людмила Сергеевна... — позвала Ася, но женщина не оглянулась, она подхватила под руку Ремеза, и они вместе двинулись через огромный зал к выходу. Их заслонила толпа. — Она позаботится о нем, — сказала Ася.

Так, наверное, и должно было случиться. Они прожили по-разному свою жизнь, но у них было общее в том далеке, где горели белые костры в стылой ночи, гудели под морозным небом моторы станков и двигались к железнодорожным платформам, лязгая траками, новенькие танки...

Что бы ни делали они потом, куда бы ни вводила их жизнь, они все равно навечно были приговорены к тому времени, оно не отпускало их от себя. И у каждого из нас есть стартовая площадка, с которой начинали мы свой полет...

1977—1978 гг.



АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ

★

ОДИННАДЦАТИМЕТРОВЫЙ ШТРАФНОЙ УДАР

Бью бутсой в штангу. Непонятно мне,
зачем защитник снес «девятого»?!
Я вис на сетке как замок.
Был бог, мячи снимая с ног.
Я оба тайма был сторук.
Теперь «одиннадцать». Какую.
Трибуны с севера до юга.
Фортуна, я тебя любил.
Мой тренер дело знает туго,
но он глаза рукой закрыл.
Я разминаю руки, плечи.
Я убираю чуб со лба.
Ну что ж, целуй меня покрепче,
моя футбольная судьба.
«Девятый» целит в глубь ворот.
Он разбегается. Он бьет!
О, сколько зла в его ударе!
Но в небо, как победный рог,
под штангу, по диагонали
ему пропел мой позвоночник.
Ударом вывернуло локоть.
Не человек пробил, а конь.
Но славься, легкость!
Славься, ловкость!
В ладони грянувший огонь.
Звени, травы футбольной зелень!
Дай корнер, боковой клевет.
Я с неба падаю на землю.
А гола не было и нет.
Трибуны рушатся, зверея,
вопя, ликуя и кляня.
А я? Я обнимаю землю,
что вверх подбросила меня.
А ветерок кольшет сетку
и пробегает по траве.
Стучу земле счастливым сердцем.
Лежу с травинкой на губе.
...Мне славы форварда не надо.
Голы я б забивать не стал.
Есть высшее — спасти команду.

Себя подставить под удар.
Пускай финтят, грубят, лютеют.
Пускай за них свистит судья.
Не унывай, не знай потери,
команда милая моя.
...А мяч по гаревой катился.
Стояло небо в вышине.
И ноль во все табло светился.
И жаль «девятку» было мне.

ЯПОНИЯ

Мой иероглиф зоревой.
Любовь моя на горизонте.
Зачем небесной синевой
просвечен твой ажурный зонтик?
Зачем, над островом крича,
взлетает трепетная чайка?
Зачем взошли из-за плеча
два полумесяца печальных?
Затем ли, чтоб для всей земли,
горя каймою золотою,
светила нежной красотой
грань океана и зари?
Затем ли, чтоб, ступив за грань,
безумием вedom на подвиг,
огонь и меч над миром поднял
непримиримый самурай?
Шумит над зонтиком платан.
И, словно томик Такубоку,
в раздумье древнем и глубоком
листает волны океан.

ВОСХОД

Он поднял свой рожок, как пастушок.
Он утро заиграл без репетиций.
Он бронзовый рассыпал порошок
по кровельным рассветным черепицам

Туман, что крыл ночные берега,
погнал, как стадо, через поле к логу.
Ночной грозой умытые луга
он высветил за черною дорогой.

Он очертил водою голубой
стога под зоревыми облаками
и в небо вбил над озером зеркальным
церквушку с золотою головой.



МАРИНА ЦВЕТАЕВА



ПОВЕСТЬ О СОНЕЧКЕ*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«Повесть о Сонечке». Самая последняя, самая крупная и самая романтическая проза Марины Цветаевой. Предельно откровенная и в откровенности своей беззащитная. Прощание с молодостью, с тем, что никогда не вернется.

Не нужно искать в ней мемуарной точности. И не потому, что память подводила Цветаеву, нет: точности она достигала (когда стремилась к ней) безукоризненной, а памятью обладала блестящей. Но в ней, по ее полусутоливному признанию, вечно боролись поэт и историк (и побеждали оба).

Так, в благодарной памяти и романтическом воображении поэта, отделенного от родины долгими годами и длинными расстояниями, всплыли образы людей, с которыми было так хорошо в трудный московский девятнадцатый год. И в первую очередь — образ Софьи Евгеньевны Голлидэй.

Это была удивительная женщина, интереснейшая и безмерно одаренная личность. В. П. Редлих (народная артистка РСФСР, профессор), близко ее знавшая, вспоминает о том, что Сонечка несла в себе «громадное духовное богатство, тончайший лиризм, очаровательный тонкий юмор». Притом характер имела «взрывчатый. Она способна была на неожиданные выпады и поступки. Но все это не могло затмить ее обаяние, ее ум, ее талант». Народная артистка СССР А. П. Зуева тоже говорит о сложном и причудливом характере С. Е. Голлидэй, словно сошедшей со страниц Достоевского. Она вспоминает о том, что это «удивительное существо», обладавшее неким «аристократизмом природы», могло «уколоть за добро», что она была одновременно «вдумчива и капризна». А. П. Зуева говорит также о поразительном, единственном в своем роде, каком-то «стеснительном» голосе Сонечки и подчеркивает, что она была в гораздо большей степени чтицей, нежели актрисой. Актёрская судьба С. Е. Голлидэй сложилась неудачно. После отъезда из Москвы ей пришлось работать в новосибирском ТЮЗе. Как вспоминает В. П. Редлих, ее роли трагедии, где много внимания уделялось внешним приемам, в особенности быстроте и ловкости движений и чуть ли не акробатическим трюкам, не давали ей удовлетворения, да и в театре ею не были довольны. Переехав в Москву незадолго до своей кончины, Софья Евгеньевна работала в лекционном бюро, выступая чтицей-«иллюстратором» классики. За рассказ Чехова «Дом с мезонином» она получила премию на одном из конкурсов. Умерла Сонечка от рака желудка. «Ей сделал операцию профессор Юдин. Ей сказали, что вырезали язву и она скоро поправится. Сонечка была последние дни жизнерадостна и светла. Она верила в выздоровление», — вспоминает В. П. Редлих.

В быстро промелькнувшие месяцы 1919 года Сонечка согревала Марину Ивановну. Она была бесхитростным, всегда готовым прийти на помощь человеком и одна из немногих сразу узнала ее и приняла безоговорочно. Она полюбила в Цветаевой Большого поэта и беспомощную в быту мать двух маленьких девочек; романтику ее чувств и помыслов и ее рабочие руки. Она всегда была готова не только вести бесе-

Публикация и предисловие *Анны Саакянц*.

* Первая часть «Повести о Сонечке» печаталась в «Новом мире» в 1976 году, № 3.

ды, от которых захватывало дух, но и поделиться последним куском и помочь справиться с непосильным бытгом. Она всегда была рядом. Нужно ли говорить, что Цветаева отвечала ей столь же горячей привязанностью, которая на расстоянии лет и верст казалась еще огромнее.

Такого же верного и преданного друга (с поправкой на истинно мужской характер) видела Цветаева и в молодом студийце Володе Алексееве. В его надежности можно было быть уверенной всегда; его понимание возникало с полуслова. В благодарном сердце Цветаевой все откликнулось именно так, как, по высшей правде поэта, должно было быть в отношениях между людьми. Так родилась повесть, а лучше сказать — роман о дружбе, любви и разлуке, написанный в традициях русской романтической психологической прозы. Недаром несколько раз в повествование вторгаются и завершают его цитаты из «Белых ночей» Достоевского...

Но «Повесть о Сонечке» не только «исповедь горячего сердца». Цветаева воскрешает здесь важный момент своей жизни и творчества.

В конце 1918 года П. Г. Антокольский, в то время начинающий поэт и актер, познакомил ее с учениками Третьей студии Вахтангова. Цветаева горячо увлеклась своими новыми друзьями. В каждом из них чутьем поэта она угадывала образ, характер, который дорисовывала в своем воображении и стремилась воплотить в слове. В лирических стихотворениях этим образам было тесновато, и поэту хотелось дать им больший простор. Так Цветаева стала писать драматические сцены в стихах. Так в 1918—1919 годы возник цикл пьес под названием «Романтика».

Цветаева оставила шесть пьес, не говоря о еще трех, не законченных и не сохранившихся. Студийцы вдохновляли ее на писание пьес, а Сонечка Голлидэй больше всех. Для «своей Сонечки» Цветаева специально написала роли в пьесах «Приключение», «Фортуна», «Каменный ангел», «Феникс» — четыре роли юных девушек, «девчонок». В каждой узнавались Сонечкины черты: пылкость чувств, простодушие, непосредственность. А временем действия было средневековье и XVIII век — закат его. Так романтика чувств и страстей усугублялась романтикой старины и конца эпохи, ее ухода.

Романтический вымысел сочетался в пьесах Цветаевой со скрупулезной точностью мелких достоверностей. Чтобы воссоздать приметы эпохи, необходимо было пересмотреть груды книг, что Цветаева и делала с добросовестностью исследователя. Вот что она записывает в черновую тетрадь: «Я хотела бы окружить себя исключительно знатоками своего дела, чтобы каждый съел по своей собаке — и основательно съел! Так: знатоками в деле фарфорном, в деле ружейном, в деле планетном... поклонном — танцевальном — цветочном — морском — военном! военном! военном! (чтобы знали счет пуговиц и разновидность всех погон на всех мундирах мира!) — языковедами — камергерами — лакеями — цыганами — конюхами — музыкантами и т. д., и т. д., и т. д... Все бы они жужжали вокруг моей головы, как огромные шмели, а голова бы умнела, и я писала бы замечательные пьесы, удовлетворяя строжайшим требованиям: и астронома, и полководца, и учителя фехтования, и повара, и присяжного стряпчего, и акробата, и магистра богословия, и гербоведа, и садовника, и морского волка, и — и — и... Только одного знатока своего дела мне бы не было нужно — Поэта!»

Свои пьесы она читала студийцам и всегда встречала одобрение: и ей и им хотелось видеть их на сцене. Но ни одна не была поставлена. Отчасти, вероятно, потому, что прототипы героев находились тут же рядом и это не могло не сковывать исполнителей. А Цветаева не могла не обижаться на своих друзей. Не потому ли в самый разгар работы над пьесами она заносит в дневник мысль о несовместимости Поэта с Театром и приводит слова Гейне: «Театр не благоприятен для Поэта, и Поэт не благоприятен для Театра».

«Роман» Цветаевой с театром не имел счастливого исхода еще и потому, что с самого начала нес в себе противоречие. Дочь Цветаевой А. С. Эфрон верно заметила: «Театр — пусть самый «заочный», т. е. не и анти-реалистический (особенно в те годы) — все же зрелище, т. е. нечто чуждое маминой сущности человеческой и творческой... Члены того студийного кружка были дороги ей как раз не приверженностью к «зримоу», т. е. театру: Павлик — поэт, собрат... Сонечка Голлидэй... могла

играть только себя, т. е. свою душу живу, т. е. не была актрисой при всем своем таланте...»

Поэтому увлечение театром не могло быть для Марины Цветаевой достаточно глубоким. Как ни поэтичны были ее пьесы, написанные легко, изящно, темпераментно, они не были для нее по-настоящему серьезным делом, делом жизни. Где-то в глубине души тайлось сознание, что все эти «плащи», Казановы, любви, разлуки — всего лишь игра, лицедейство. Что Слово поэта в устах актера много теряет, из Глагола превращается в звук, в послушного раба актерских чар. (Спорная, но твердая точка зрения, которую Цветаева не изменила; и если в 20-е годы она создала две трагедии на античные сюжеты, то они уже к театру никакого отношения не имели.)

Тем не менее около года театр и писание пьес были для Цветаевой отдохновением, увлечением и отвлечением от действительности. Но даже и в эту пору в ее трагедях встречается не только полемика с театром, но и покаянные строки о вине поэта, забывшего о своей бессмертной душе и братающегося с «бандой комедиантов». Не вправе поэт, считала Цветаева, рядиться в чужие одежды и искать убежища вместо собственной «грудной клетки» на театральных подмостках.

Девятнадцатый год был в творчестве Цветаевой рубежом. Это был год последней вспышки юношеской романтики и одновременно прощания с нею, с последними отголосками детства. Ведь ее увлечение театром, несмотря на силу и искренность, было именно детством. И подругой тех ее дней недаром оказалась женщина-ребенок, словно сошедшая со страниц сентиментальных романов...

Третье слово к его явлению — статья, и в глазах — сразу — стан: опрокинутый треугольник, где плечам дано все, поясу ничего.

Первое впечатление от лица — буква Т и даже весь крест: поперечная морщина, рассекающая брови и продолженная прямолинейностью носа.

Но здесь — остановка, потому что все остальное зрительное было — второе.

Голос глубокий, из глубока звучащий и посему отзывающийся в глубинах. И — глубоко захватывающий, глубокое и глубоко захватывающий.

Но — не певучий. Ничего от инструмента, все от человеческого голоса в полную меру его человечности и связей.

Весь с головы до пят: voilà un homme!¹

Даже крайняя молодость его, в нем, этому homme — уступала. Только потом догадывались, что он молод — и очень молод. С ним, заменив Консула — юношей, а Императора — мужем, на ваших глазах свершалось двустипише Hugo:

Et du Premier consul déjà en maint endroit
Le front de l'Empereur percait le masque Tétroit².

Этот муж в нем на наших глазах проступал равномерно и повсеместно.

Этот юноша носил лицо своего будущего.

Об этом Володе я уже целый год и каждый раз слышала от Павлика — с неизменным добавлением — замечательный: «А есть у нас в Студии такой замечательный человек — Володя А.». Но этого своего друга он на этот раз ко мне не привел.

Первая встреча — зимой 1918/19 года, на морозном склоне, в гостях у молодящейся и веселящейся дамы, ногу подымавшей, как руку, и этой ногой-рукой приветствовавшей искусство — все искусства, мое и меня в том числе. Таких дам, с концом старого мира справлявших конец своей молодости, много было в революцию. В начале ее. К 19-му году они все уехали.

Первое слово этого глубокого голоса:

— Но короли не только подчиняются традициям — они их создают.

Первое слово — мне, в конце вечера, где нами друг другу не было сказано ни слова (он сидел и смотрел, как играют в карты, я — даже не смотрела):

¹ Се — человек! (Франц.)

² Но сквозь маску первого консула
Уже проглядывал лик императора. (Франц.)

— Вы мне напоминаете Жорж Занд — у нее тоже были дети — и она тоже писала — и ей тоже так трудно жилось — на Майорке, когда не горели печи.

Сразу позвала. Пришел на другой день с утра — пошли бродить. Был голоден. Поделили и съели с ним на улице мой кусок хлеба.

Потом говорил:

— Мне сразу все, все понравилось. И что сразу позвали, не зная. И что сами сказали: завтра. Женщины этого никогда не делают: всегда — послезавтра, точно завтра они всегда очень заняты. И что дома не сидели — пошли. И что хлеб разломил пополам и сами ели. Я в этом почувствовал — обряд.

А потом, еще позже:

— Вы мне тогда, у Зои Борисовны, напомнили польскую павночку: на вас была такая, — беспомощно, — курточка, что ли? Дымчатая, бархатная, с опушкой. Словом, кунтуш? И посадка головы — немножко назад. И взгляд — немножко сверху. Я сразу в вас почувствовал — польскую кровь.

Стал ходить. Стал приходиться часто — раза два в неделю, сразу после спектакля, то есть после двенадцати. Сидели на разных концах рыжего дивана, даже так: он — в глубоком его углу, я — наискосок, на мелком, внешнем его краю. Разговор происходил по длинной диагонали, по самой долгой дуге к другу дороге.

Темный. Глаза очень большие, но темные от ресниц, а сами — серые. Все лицо прямое, ни малейшей извилины, резцом. В лице та же прямота, что в фигуре: la tête de son corps³. Точно это лицо тоже было — стан. (Единственное не прямое во всем явлении — «косой» пробор, естественно прямой.)

Зрительно: прямота; внутренне: прямота. Гблоса, движений, в глаза-гляденья, рукопожатья. Всё — односмысленно и по кратчайшей линии между двумя точками: им — и миром.

Прямота — твердость. Даже — непреклонность. При полнейшей открытости — непроницаемость, не в смысле внутренней загадочности, таинственности, а в самом простом смысле: материала, из которого создан. Такого рукой не тронешь, а тронешь — ни до чего, кроме руки, не дотронешься, ничего в ней не затронешь. Посему бесполезно трогать. Совершенно как со статуей, осязаемой, досягаемой, но — непроницаемой. В каком-то смысле — вещь без резонанса.

Словом, самое далекое, что есть от портрета, несмотря на пластическое несуществование свое, а может быть благодаря ему, бесконечно-досягаемого и податливого, который по желанию можно в г л я д е т ь на версту внутрь рамы или изнутри всех его столетий в комнату — выглядеть. Самое обратное портрету, то есть — статуя, крайней явленностью своей и выявленностью ставящая глазам предел каждой точкой своей поверхности.

(Неужели это все я — Марина Ивановна? — Да, это все — вы, Володечка. Но рано обижаться — погодите.)

(Как потом выяснилось, это впечатление его статуарности было ошибочное, но это потом выяснилось, и я этой ошибкой полтора года кормилась, на этой ошибке полтора года строила — и выстроила.)

Сразу стал — друг. Сразу единственный друг — и оплот...

В Москве 1918—1919 годов мне — мужественным в себе, прямым и стальным в себе делиться было не с кем. В Москве 1918—1919 годов из мужской молодежи моего круга — скажем правду — осталась одна дрянь. Сплошные студийцы, от войны укрывающиеся в новооткрытых студиях... и дарованиях. Или красная молодежь, между двумя боями, побывочная, наверно прекрасная, но с которой я дружить не могла, ибо нет дружбы у побежденного с победителем.

С Володей я отводила свою мужскую душу.

Сразу стала звать Володечкой от огромной благодарности, что не влюблен, что не влюблена, что все так по-хорошему: по-надежному.

³ Просто — голова (франц.).

А он меня — Марина Ивановна, так с отчества и не сошел, и прощались по имени-отчеству. И за это была ему благодарна, ибо в те времена кто только меня Мариной не звал! Просто: Марина Ивановна — никто не звал! Этим отчеством он сразу отмежевывался — от тех. Меня по-своему — присвоил.

Разговоры? Про звезды: однажды, возвращаясь из каких-то гостей, час стояли с ним в моем переулке, по колено в снегу. Помню поднятую, все выше и выше поднимаемую руку — и имя Фламариона — и фламарионы глаз, только затем глядящих в мои, чтобы мои поднялись на звезды. А сугроб все рос: метели не было, были — звезды, но сугроб от долгого стояния все рос — или мы в него вращались? — еще бы час постояли — и оказался бы ледяной дом и мы в нем...

О чем еще? Об Иоанне д'Арк — чуде ее явления — о Наполеоне на Св. Елене — о Джеке Лондоне, его, тогда, любимом писателе, — никогда о театре.

И — никогда о стихах. Никогда стихов — я ему. Не говорила, не писала. Наше с ним было глубже любви, глубже стихов. Обоим — нужнее. И должно быть — нужнее всего на свете: нужнее, чем он мне и я ему.

Об его жизни (любовях, семье) я не знала ничего. Никогда и не спросила. Он приходил из тьмы зимней тогдашней ночи и в нее, еще более потемневшую за часы и часы сидения, — уходил. («В уже посветлевшую» — будет потом.)

И я даже мысленно его не провожала. Володя кончался за порогом и начинался на пороге. Промежуток — была его жизнь.

Руку на сердце положая: не помню, чтобы мы когда-нибудь с ним уговаривались: когда придете? и т. д. Но разу не было — за зиму, чтобы он пришел и меня не застал, и разу не было, чтобы застал у меня других. И «дней» у нас не было: когда два раза в неделю, а когда и раз в две.

— Значит, вы всегда были дома и всегда одна?

— Нет, уходила. Нет, бывали.

Но это было наше с ним чудо, и разу не было, чтобы я, завидев его, не воскликнула: «Володя! Я как раз о вас думала!» Или: «Володя, если бы вы знали, как я мечтала, чтобы вы нынче пришли!» Или просто: «Володя! Какое счастье!»

Потому что с ним входило счастье — на целый вечер, счастье надежное и верное, как любимая книга, на которую даже не надо света.

Счастье без страха за завтрашний день: а вдруг разлюбит? больше не придет? и т. д. Счастье без завтрашнего дня, без его ожидания: выхаживания его большими шагами по улицам, выстаивания ледяными ногами — ледяными ночами — у окна...

Больше скажу: я никогда по Володе не скучала, так же достоверно не скучала по нему и без него, как ему радовалась. Мечтала — да, но так же спокойно, как о вещи, которая у меня непременно будет, как о заказном письме, которое, уже знаю, — послано. (К о г д а дойдет — дело почты, не мое.)

Сидел — всегда без шубы. Несмотря на холод и даже мороз — всегда без шубы. В сером, элегантном от фигуры костюме, таком же статном, как он сам, весь — очертание, весь — ограниченность от окружающих вещей, стен. Сидел чаще без прислона, а если прислонялся — то никогда не развлялся, точно за спиной не стена — а скала. Ландшафт за ним вставал неизменно морской, и, увидев его потом (только раз!) на сцене, в морской пьесе — не то «Гибель Надежды», не то «Погоп», — я не только не почувствовала разрыва с моим Володей, а наоборот — может быть, впервые увидела его на его настоящем месте: морском и мужском.

От Павлика я уже год слышала, что «Володя — красавец»...

— Не такой, как Юра, конечно, то есть т а к о й же, но н е т а к о й... Вы меня понимаете?

— Еще бы!

— Потому что Юра так легко мог бы быть — красавицей, а Володя — уж никакими силами...

Поэтому Володину красоту на пороге первого раза я встретила как данность и уже больше ею не занималась, то есть поступила с ней совершенно так, как он — когда родился. Не мешая ему, она не мешала и мне, не смущая и не заполняя его, не смущала и меня, не заполняла и меня. Его красота между нами не стояла — и не сидела, как навязчивый ребенок, которого непременно нужно занять, унять, иначе от скуки спалит дом.

С самого начала скажу: ничего третьего между нами не было, была долгая голосовая диванная дорога друг к другу, немногим короче, чем от звезды до звезды, и был человек (я) перед совершенным видением статуи, и, может быть, и садилась я так далеко от него, чтобы лучше видеть, дать этой статуе лучше встать, создавая этим перспективу, которой с ним лишена была внутренне, и этой создаваемой физической перспективой заменяя ту, внутреннюю, которая у людей называется будущее, а между мужчиной и женщиной есть любовь.

Однажды я его шутя спросила:

— Володечка, а надоедают вам женщины с вашей красотой? Виснут?

Смущенно улыбаясь, прямым голосом:

— Марина Ивановна, на каждом молодом виснут. Особенно на актере. Волков бояться... А мне всех, всех женщин жаль. Особенно — не так уж молодых. Потому что мы все перед ними безмерно виноваты. Во всем виноваты.

— А — вы?

— Я, — честный взгляд, — я стараюсь — исправить.

Дружил он, кроме меня, с одной их студийкой — с кавказской фамилией. Когда он ее очень уж хвалил, я шутя ревновала, немножко ее вышучивала, никогда не выдав. И каждый раз:

— Нет, нет, Марина Ивановна, здесь смеяться нельзя. Даже — шутя. Потому что она — замечательный человек.

Неподдающийся, как скала.

— Она сестрой милосердия была в войну, — тоном высшего признания, — на войне была.

— А я — не была.

— Вам — не надо, вам — другое надо.

— Сидеть и писать стихи? О, я даже обижена!

— Нет, не сидеть и писать стихи, а делать то, что вы делаете.

— А что я делаю?

— То, что сделали вы — со мной, и то, что со мной еще сделаете.

— Володя, не надо!

— Не надо.

Однажды он мне ее привел. И — о, радости! — барышня оказалась некрасивая. Явно — некрасивая. Такая же ясно-некрасивая, как он — красивый. И эту некрасивую он, забалованный (бы) и залюбленный (бы), предпочитал всем, с ней сидел — когда не сидел со мной.

Попытка — исправить?

Володя приходил ко мне с рассказами — как с подарками, точно в ладони принесенными, до того — вещественными, донесенными до моего дома — моего имени, и клал он мне их в сердце — как в руку.

Помню один такой его рассказ об убитом в войну французском летчике. Разбитый аппарат, убитый человек. И вот через какой-то срок — птица-победитель возвращается — снижается — и, попирая землю вражды, победитель-немец — сбитому французу — венок.

Таковыми рассказами он меня поил и кормил в те долгие ночи.

Никогда — о театре, только раз, смеясь:

— Марина Ивановна, вы ведь меня не заподозрите в тщеславии?

— Нет.

— Потому что очень уж замечательно сказано, вы — оцените. У нас есть уборщица в Студии, милая, молоденькая, и все меня ею дразнят — что в меня влюблена. Глупости, конечно, а просто я с ней шучу, болтаю — молодая ведь

и так легко могла бы быть моей партнершей, а не уборщицей. У женщин ведь куда меньшую роль играют рождение, сословие. У них только два сословия: молодость — и старость. Так ведь? Ну так она нынче говорит мне — я как раз разгримировался, вытираю лицо: «Ах, Володечка, какой вы жестокий красавец!» «Что вы, Дуня, говорю, какой я жестокий красавец? Это у нас Юра — жестокий красавец». «Нет, говорит, потому что у Юры красота ангельская, городская, а у вас, Володечка, морская, военная, самая настоящая нестерпимая жестокая мужская еройская. У нас бы на деревне Юру — засмеяли, а от вас, Володечка, три деревни все сразу бы в уме решились». Вот какой я... — задумчиво, — ерой...

— «Красота страшна, вам скажут...» А теперь, Володя, в рифму к вашему жестокому красавцу я расскажу вам свою историю. Я отродясь помню в нашем доме Марью Васильевну — кто она была, не знаю, должно быть — в с е: и кто-нибудь из детей заболел — она, и сундуки перетрясать — она, и перешивать — она, и яйца красить — она. А потом исчезала. Худая — почти скелет, но чудные, чудные глаза, такие страдальческие, живое страдание: темно-карие (черных — нет, черные только у восточных — или у очень глупых: бусы) — во все лицо, которого не было. И хотя старая, но не старуха — ни одного седого волоса, черные до синевы, прямым пробором. Ну — монашка и еще лучше — старая богородица над сыном. Да так оно и было: у нее — я тогда еще была очень маленькая — был сын Саша, реального училища, он жил у нас в пристройке, возле кухни. Потом мы с матерью уехали за границу, а он заболел туберкулезом, и мой отец отправил его в Сухум. «Ах, Мусенька, как он меня ждал, как меня ждал! С каждым пароходом ждал — а уж умирал совсем. Затрубит пароход — «Вот это мама ко мне едет!» (Сиделка потом рассказывала.) А я взаправду ехала — ваш папаша мне денег дал, и дворник на вокзале билет купил и в поезд посадил, — я ведь в первый раз так далеко ехала. Еду, значит, а он, значит, ждет. И как раз как нам пристать, пароход затрубил. А он — привстал на постели, руки вытянул: «Приехала мама!» — и мертвый упал...» Это я вам, чтобы дать вам ее лицо, потому что это лицо у нее так и осталось, даже когда манную кашу варила или про генеральшинных мопсов рассказывала — всегда с таким лицом. Но теперь — про ту самую жестокую красоту — тоже рассказ, из ее молодости. «Я, Мусенька, не смотри на меня, что моща, и желтей лимону, и зубы шатаются, — я, Мусенька, красавица была. И было мне тогда пятнадцать лет. Пошла я за чем-то в лавочку, за мной следом молодой человек заходит. Вышла я — он за мной. Вхожу в дом, гляжу из окна — стоит, на занавеску смотрит. Из себя — брюнет, глазница — во-о, усы еще не растут, ну, лет шестнадцать, что ли. И, ей-богу, на меня похож — глазами, потому что глазами моими мне все уши прожужжали, пропели, уж я-то их у себя на лице — знала. Смотрю — м о и глаза, мои и есть. Ну, словом, — братишка мне. (Я одна росла.) Только — рассказывать-то долго, а поглядеть — коротко, разом я занавеску задернула... Завтрашний день — опять в лавочку, а он уж стоит, ждет. Ничего не говорит, не кланяется, а только глядит. И все дни так пошло: следом — как тень и стоит — как пень. Ну, а на пятый, что ли, — у меня сердце не выдержало: и зло берет, что глядит, и зло берет, что молчит, — как выходит он вслед за мной, я — ему: «И глядеть нечего, и стоять нечего, потому что ничего не выглядишь; потому что вы просватана: за богатого замуж выхожу». А он — весна была — стоит под деревьями, снял картуз да низко поклонился. И — весь воском залился. А на другой день — я еще сплю — крик, шум: у Егоровых малый зарезался. Ночью, видать, потому что весь холодный. Все бегут — и я бегу. И лежит он, Мусенька, мой недавний знакомец, гляделец, только глаз-то м о и х уже больше не видать: закрылись... Володечка, а ваша уборщица?

— Нет, Марина Ивановна, времена другие, сейчас все страшно подешевело. Да я бы... почувствовал бы, если бы — действительно. Нет, выйдет замуж — и будут дети.

— И старшего назовет — Володечка,

— Это — м о ж е т б ы т ь.

Такими рассказами я его кормила и поила долгие ночи: он — в глубоком углу дивана, я на мелком его краю, под синим фонарем, по длинной диагонали — явить имевшей всю нашу друг к другу дорогу, по которой мы никогда никуда не пришли.

...Теперь я думаю (да и тогда знала!) — Володя был — спутник, и дорога была не друг к другу, а — от нас самих, совместная — из нас самих. Отсюда и простор, и покой, и надежность — и неспешность: спешишь ведь только в тот извечный тупик, из которого — одна дорога: назад, шаг за шагом, все отнимая, что было дано, и даже затаптывая, и даже втаптывая, ногой как лопатой выравнивая.

О моей замороженности — иного слова нет — Юрой Володя, конечно, знал. Но он ее не касался, а может быть, она его не касалась. Только когда я, изведенная долгими пропадающими Юры (а пропадать он начал скоро: сразу!), равнодушнейшим из голосов:

— А как Юра?

— Юра ничего. Играет.

Это был единственный пункт его снисхождения. Это имя, мною произнесенное, сразу ставило его на башню, а меня — в садик под нею, в самый розовый его куст. И как хорошо мне было, внезапно умаленной на все свое превосходство (с ним — равенство) — маленькой девочкой, из своего розового изнизу заглядевшейся на каменного ангела. Володе же, для которого я была всегда на башне — сама башня, как-то неловко было видеть меня младшей (глупой). Он даже физически, отвечая об Юре, не подымал глаз — так что я говорила с его опущенными веками.

И когда я однажды, прорвавшись:

— Володя, вы меня очень презираете за то, что... — он, как с неба упав:

— Я — вас — презираю? Так же можно презирать — небо над головой!

Но чтобы раз навсегда покончить с этим: есть вещи, которые мужчина — в женщине — не может понять. Даже — я, даже — в вас. Не потому что это ниже или выше нашего понимания, дело не в этом, а потому что некоторые вещи можно понять только изнутри себя, будучи. Я женщиной быть не могу. И вот то небольшое только-мужское во мне не может понять того немногого только-женского в вас. Моя тысячная часть — вашей тысячной части, которую в вас поймет каждая женщина, любая, и ничего в вас не понимающая. Юра — это ваша общая женская тайна... — усмехнувшись, — даже — заговор. Не понимаю принимаю, как все всегда в вас — и от вас — приму, потому что вы для меня — вне суда.

— А хороший он актер?

— На свои роли, то есть там, где вовсе не нужно бы т ь, а только являться, представлять, проходить, произносить. Видите, говорю вам честно, не перехваливаю и не снижаю. Да и не актера же вы в нем...

— А знаете ли вы, Володечка, вы, который все знает, — что я всего Юру, и все свои стихи к нему, и всю себя к нему отдам и отдаю за час беседы с вами — вот так — вы на том конце, я на этом?..

Молчит.

— Что если бы мне дали на выбор — его всего — и наше с вами — только всего... Словом, знаете ли вы, что вы его с меня, с моей души, одним своим рукопожатьем — как рукой снимаете?

Все еще молчит.

— Что я вас б е с к о н е ч н о больше...?!

— Знаю, Марина Ивановна.

Долгие, долгие дни...

Нет:

долгие, долгие ночи...

Когда уходил? Не на рассвете, потому что светает зимой поздно, но по существу, конечно,— утром: в четыре? в пять? Куда уходил? В какую жизнь? (без меня.) Любил ли кого-нибудь, как я — Юру? Лечился ли у меня от несчастной недостойной любви? Ничего не знаю и не узнаю никогда.

Я никогда не встречала в таком молодом — такой страсти справедливости. (Не его — к справедливости, а страсти справедливости — в нем.) Ибо было ему тогда много-много двадцать лет. «Почему я должен получать паек, только потому, что я — актер, а он — нет? Это несправедливо». Это был его главнейший довод, резон всего существа, точно (да точно и есть!) справедливость нечто совершенно односмысленное, во всех случаях — несомненное, явное, осязаемое, весомое, видимое простым глазом, всегда, сразу, отовсюду видимое — как золотой шар храма Христа Спасителя из самой дремучей аллеи Нескучного.

Несправедливо — и кончено. И вещи уже нет. И соблазна уже нет. Несправедливо — и нет. И это не было в нем головным, это было в нем хребтом. Володя потому так держался прямо, что хребтом у него была справедливость.

Несправедливо он произносил так, как князь С. М. Волконский — некрасиво. Другое поколение — другой словарь, но вещь — одна. О, как я узнаю эту неотразимость основного довода! Как бедный — это дорого, как делец — это непрактично —

— так Володя А. произносил: это несправедливо.

Его несправедливо было — неправедно.

Володя, как все студийцы его Студии, был учеником Стаховича — но не как все студийцы.

— Марина Ивановна, Стахович учит нас итогам — веков. Дело не в том, что нужно — так кланяться, а в том — почему надо так кланяться, как от первого дикаря к тому поклоню — пришли. От раздирания, например, друг друга зубами — до дуэли. Этому Стахович нас не учит... — с усмешкой, — у нас времени нет — на историю жеста, нам нужен... жест, прямая выгода и мгновенный результат: войду и поклонюсь, как Стахович, выйду — и подерусь, как Стахович, — но этому я сам учусь, прохожу его уроки — вспять, к истоку, а вы ведь знаете, как трудно установить истоки Рейна и рода... Для меня его поклон и бонтон — не ответ, а вопрос, вопрос современности — прошлому, мой вопрос — тем, и я сам пытаюсь на него ответить, потому что, Марина Ивановна, — задумчиво, — я... не знаю... ответил ли бы на него сам Стахович? Стаховичу эти поклоны даны были отродясь, это был дар его предков — ему в колыбель. У меня нет предков, Марина Ивановна, и мне никто ничего не положил в колыбель. Я пришел в мир — голый, но хоть и голый, я не должен бессмысленно одеваться в чужое, хотя бы прекрасное, платье. Их дело было донести, мое — осмыслить. И я уже много понял, Марина Ивановна, и скажу, что это меньше всего — форма и больше всего — суть. Стахович нас учит быт ь. Это — уроки бытия. Ибо — простите за грубый пример — нельзя, так поклонившись, заехать друг другу в физиономию — и даже этих слов сказать нельзя, и даже их подумать нельзя, а если их подумать нельзя — я уже другой человек, поклон этот у меня уже внутри.

После смерти Стаховича он сказал мне:

— Я многим ему обязан. Иногда — я молод, Марина Ивановна, и сейчас революция, и я часто окружен грубыми людьми, — и когда у меня соблазн ответить тем же, сказать ему на его языке — хотя бы кулаком, — у меня сразу мысль: это не по Стаховичу. И — язык не поворачивается. И — рука не подымается. Подымется, Марина Ивановна, но в нужный час — и никогда не сжатая в кулак!

На похоронах Стаховича — пустыней Девичьего поля... —

Пустыней Девичьего поля
Бреду за ныряющим гробом.
Сугробы — ухабы — сугробы —
Москва: девятнадцатый год..

В гробу — несравненные руки,
Скрестившиеся самовольно,
И сердце — высокою жизнью
Купившее право — не жить.

Какая печальная свита!
Распутица — холод — и голод —
Последним почетным эскортом
Тебя обрядила Москва...—

я среди других его юных провожатых особенно помню Володю, особенную прямоту его стана под ударами и над сугробами, ни на шаг не отстающего от учителя. Так мог идти старший, любимый внук.

И — что это? что это? Над хрустальным, кристальным, маленьким, сражающим чистотой и радостью крестом — черные глаза, розовое лицо, двумя черными косами как бы обнимающее крест, — Сонечка над соседней могилой Скрябина. Это было первое ее видение после того, на сцене, на чтении «Метели», первая встреча с ней после моей «Метели», в другой метели, ревейшей и бушевавшей над открытой могилкой, куда никак не проходил барский, добротный, в Художественном театре сколоченный, слишком просторный для ямы гроб. Студийцы, нахмураясь, расширяли, били лопатами мерзлую землю, обивали о нее лопаты, с ней лопатами — насмерть — бились; девочка, на коленях посреди сугроба, обняв руками и обвив косами соседний хрустальный крест, заливала его слезами, зажигала глазами и щеками — так, что крест сиял и пылал — в полную метель, без солнца.

— Как мне тогда хотелось, Марина, после этой пытки, — Марина, вы помните этот ужасный возглас: «Батюшка, торопитесь, второй покойник у ворот!» — точно сам пришел и встал с гробом на плечах, точно сам свой гроб принес, Марина! — Марина, как мне тогда хотелось, нылось, в ы л о с ь — домой, с вами, отогреться ото всей этой смерти, — все равно куда «домой» — куда-нибудь, где я останусь одна с вами, и положу вам голову на колени — как сейчас держу — и скажу вам все про Юру — и тут же сразу вам его отдам — только чтобы вы взяли мою голову в ладони, и тихонько меня гладили, и сказали мне, что не все еще умерли, что я еще не умерла — как все они... О, как я завидовала Вахтангу Левановичу, который шел с вами под руку и одно время — положив вам руку на плечо — всю эту долгую дорогу — шел с вами, один, с вашей коричневой шубой, которой вы его иногда, ветром, почти запахивали, так что он мог думать, что это вы — его, что идет с вами под одной шубой, что вы его — любите! Я потом ему сказала: «Вахтанг Леванович, как вы могли не позвать меня идти с вами! Вы — плохой друг». «Но, Софья Евгеньевна, я шел с Мариной Ивановой». — «Так я об этом именно, что вы шли с Мариной Ивановой». — «Но... я не знал, Софья Евгеньевна, откуда я мог знать, что вам вдруг захочется идти со мной!» — «Да не с вами, дикий вы человек, а с нею: что вы с нею идете — а не я!» Он, Марина, тогда ужасно обиделся, назвал меня комедианткой и еще чем-то... А я ведь — от всей души. А зато, — блаженные хмурые глаза изнизу, — через два месяца — может быть, даже день в день — я с вами, и не рядом на улице, а вот так, гляжу на вас глазами, и обнимаю вас руками, и тепло, а не холодно, и мы никуда не придем, где нужно прощаться, потому что я уже пришла, мы уже пришли, и я от вас, Марина, не уйду никогда...

Ново-Девичьего кладбища уже нет и той окраины уже нет, это теперь центр города. Хрустальный крест, не сомневаюсь, стоит и сияет на другом кладбище, но что случилось с его соседом, простым дубовым крестом?

Володя, как я, любил все старое, так же поражая каждое окружение «новизной» своих мнений и так же ставя эту новизну в кавычки — усмешки. Старое — но по-юному. Старое — но не дряхлое. Этого достаточно было, чтобы его не понимали ни ревнители старого мира, ни нового. Старое — но по-своему, бив-

шее — по еще никогда не бывшему. Еще и поэтому ему было так хорошо со мной, еще в первую встречу у развязнорукой и -ногой дамы я заметила на его руке большой старинный серебряный перстень-печатку. Позже я спросила:

— Откуда он у вас? Ваш, то есть...

— Нет, Марина Ивановна, не фамильный — купил случайно, потому что мои буквы: В. А. (Пауза.) А Юра свой начищает мелом.

— И не знает, что там написано, потому что он — китайский. А вы не находите, что мелом — как-то мелко?

— Я своего мелом не натираю, я люблю, когда серебро темное, пусть будет темным — как его происхождение.

(«А Юра — свой»... то есть — мой, и Володя это — знал. Этот мел тут же обернулся девятистишием:

Сядешь в кресла, полон лени.
Стану рядом на колени —
Без дальнейших повелений,

С сонных кресел свесишь руку.
Подыму ее без звука,
С перстеньком китайским — руку.

Перстенок начищен мелом.
— Счастлив ты? Мне нету дела!
Так любовь моя велела.

22 ноября 1918 года.

Это «мне нету дела» я потом, в саморучной книжке стихов к нему, которую ему подарила, разбила на: «мне нет — удела...»)

Юрию — серебряный китайский, Павлику — немецкий чугунный, с золотом, с какого-нибудь пленного или убитого — чугунный розы на внутреннем золотом ободе: с золотом — скрытым, зарытым. При нем — стихи:

Дарю тебе железное кольцо:
Бессонницу — восторг — и безнадежность.
Чтоб не глядел ты девушкам в лицо,
Чтоб позабыл ты даже слово — нежность.

Чтоб голову свою в шальных кудрях
Как пенный кубок возносил в пространство,
Чтоб обратило в уголь — и в пепл — и в прах
Тебя — твое железное спартанство.

Когда ж к твоим пророческим кудрям
Сама Любовь проникнет красным углем,
Тогда молчи и прижимай к губам
Железное кольцо на пальце смуглом.

Вот талисман тебе от красных губ,
Вот первое звено в твоей кольчуге —
Чтоб в буре дней стоял один — как дуб,
Один — как Бог в своем железном круге.

Март, 1919 г.

Судьбы китайского я не знаю (знаю только: я первая подарила ему кольцо!), судьба чугунного — следующая.

Время шло. Однажды приходит — кольца нет.

— Потеряли?

— Нет, отдал его распилить, то есть сделать два. (Павлик, это будет меньше!) Два обручальных. Потому что я женюсь — на Наташе.

— Ну, час вам добрый! А стихи — тоже распилили надвое?

Потом — мы уже видались редко — опять нет кольца.

— Где же кольцо, Павлик, то есть полукольцо?

— Марина Ивановна, беда: когда его распилили — оба оказались очень тонкими, Наташино золотое сломалось, а я ходил в подвал за углем и там его закопал, а так как оно такое же черное...

— ...то давно уже сожжено в печке, на семейный суп. Роскошь все-таки — варить пшено на чугунных военнопленных розах, мно́й подаренных!

О судьбе же Володиного — собственного — речь впереди.

Кроме кольца, у Володи из старины еще была — пистоль, «гишпанская пистоль», как мы ее называли, и эту пистоль я из любви к нему взяла в свое «Приключение», вручила ее своей (казановиной) Генриэтте:

— Ах, не забыть гишпанскую пистоль,
Подарок твой!

Потому что эту «пистоль» он мне на Новый год принес и торжественно вручил — потому что он, как я, не мог вынести, чтобы другому вещь до страсти нравилась — и держать ее у себя.

Эту пистоль мне в России пришлось оставить, зарыть ее на чердаке вместе с чужой мальтийской шпагой, о которой речь впереди, вернее — тело ее осталось в России, душу ее я в «Приключении» перевезла через границу — времени и зримости.

К этому Новому году я им всем троим вместе написала стихи:

Друзья мои! Родное триединство!
Роднее, чем в родстве!
Друзья мои в советской — яacobинской —
Маратовой Москве!

С вас начинаю, пылкий А-ский,
Любимец хладных муз,
Запомнивший лишь то, что — панна польской!
Я именем зовусь.

И этого — виновен холод братский
И сеть иных помех! —
И этого не помнящий — Э-ский!
Памятнейший из всех!

И, наконец — герой из лицедеев —
От слова бы т и е
Все имена забывший — А-ев!
Забывший и свое!

И, упражняясь в старческом искусстве
Скрывать себя, как черный бриллиант,
Я слушаю вас с нежностью и грустью,
Как древняя Сивилла — и Жорж Занд.

Вот тогда-то Володя А. и принес мне свою пистоль — 1 января 1919 года.

К этому новому, девятнадцатому году, который я вместе с ними встречала, я Третьей студии, на этот раз — всей, подарила свою древнюю серебряную маску греческого царя, из раскопок. Маска — это всегда трагедия, а маска царя — сама трагедия. Помню — это было в театре — их благодарственное шествие вроде Fackelzug'a, который Беттине устроили студенты.

...Как древняя Сивилла — и Жорж Занд...

Да, да, я их всех, на так немного меня младших или вовсе ровесников, чувствовала — сыновьями, ибо я давно уже была замужем, и у меня было двое детей, и две книги стихов — и столько тетрадей стихов! — и столько покинутых стран! Но не замужество, не дети, не тетради и даже не страны — я помню — начала с тех пор, как начала жить, а помнить — стареть, и я, несмотря на свою бьющую молодость, была стара, стара, как скала, не помнящая, когда началась...

Эти же были дети — и актеры, то есть двойные дети, с единственной мечтой о том, что мне так легко, так ненужно, так само далось — имени...

— О, как я бы хотел славы! Так, идти, и чтобы за спиной шепот: «Вот идет А-ский!»

— Да ведь это же барышники шепчут, Павлик! Неужели—лестно?! Я бы на вашем месте, внезапно обернувшись и пойдя на них, как на собак: «Да, А-ский! а дальше?»

Им, кроме Володи, я вся — льстила. Я их — любила. Разница.

Звериной (материнской) нежности у меня к Володе не было — потому что в нем, несмотря на его юность, ничего не было от мальчика—ни мальчишеской слабости, ни мальчишеской прелести.

Чары в нем вообще не было: жары и жара не было, тайны не было, загадки не было — была задача: его собственная — себе.

Этому не могло быть холодно, не могло быть голодно, не могло быть страшно, не могло быть тоскливо. А если все это было (и — наверное было), то не мое дело было мешать ему нежностью превозмогать холод, голод, страх, тоску: расти.

Была прохладная нежность сестры, уверенной в силе брата, потому что это ее сила, и благословляющей его на все пути. И — все его пути.

Была страстная суббота. Поздний вечер ее. Убитая людским и дружеским равнодушием, пустотой дома и пустотой сердца (Сонечка пропала, Володя не шел), я сказала Але:

— Аля! Когда люди так брошены людьми, как мы с тобой,— нечего лезть к Богу — как нищие. У него таких и без нас много! Никуда мы не пойдем, ни в какую церковь, и никакого Христос воскрес не будет — а ляжем с тобой спать — как собаки!

— Да, да, конечно. милая Марина! — взволнованно и убежденно залепетала Аля, — к таким, как мы, Бог сам должен приходиться! Потому что мы застенчивые нищие, правда? Не желающие омрачать его праздника.

Застенчивые или нет, как собаки или нет, но тут же улеглись вместе на единственную кровать — бывшую прислугину, потому что жили тогда в кухне.

Теперь я должна немножко объяснить дом. Дом был двухэтажный, и квартира была во втором этаже, но в ней самой было три этажа. Как и почему — объяснить не могу, но это было так: низ с темной прихожей, двумя темными коридорами, темной столовой, моей комнатой и Алиной огромной детской, верх, даже два чердака, сначала один, потом другой, и один другого — выше, так что выходит — было четыре этажа.

Все было огромное, просторное, запущенное, пустынное, на простор и пустоту помноженное, и тон всему задавал чердак, спускавшийся на второй чердак и оттуда распространявшийся на все помещение вплоть до самых отдаленных и как будто бы сохранных его углов.

Зиму 1919 года, как я уже сказала, мы — Аля, Ирина и я — жили в кухне, просторной, деревянной, залитой то солнцем, то луною, а когда трубы лопнули — и водою. с огромной разливанной плитой, которую мы топили неудавшейся мушиной бумагой какого-то мимолетного квартиранта (которые бывали — и неизменно сплывали. оставляя все имущество: этот — клейкую бумагу, другой — тысяч пять листов неудавшегося портрета... еще другие — френчи и галифе... и все это оставалось — пылилось — и видоизменялось — пока не сжигалось).

Итак, одиннадцать часов вечера страстной субботы. Аля, как была в платье — спит, я тоже в платье, но не сплю, а лежу и жгу себя горечью первой в жизни пасхи без Христос воскрес, доказанностью своего собачьего одиночества... Я, так старавшаяся всю зиму: и дети, и очереди, и поездка за мукой, где я чуть голову не оставила, и служба в Наркомнаце. и рубка, и топка, и три пьесы — начинаю четвертую,— и столько стихов — и такие хорошие,— и ни одна собака...

И вдруг — стук. Легкий, резкий, короткий. Команда стука. Одним куском — встаю, тем же — не разобравшимся на руки и ноги — вертикальным пластом

пробегаю темную кухню, лестницу, прихожую, нацупываю задвижку. На пороге Володя: узнаю по ограниченности даже во тьме и от тьмы.

— Володя, вы?

— Я, Марина Ивановна, зашел за вами— идти к заутрене.

— Володя, заходите, сейчас, я только подыму Алю.

Наверху, шепотом (потому что это большая тайна и потому что Христос еще не воскрес):

— Аля! Вставай! Володя пришел. Сейчас идем к заутрене.

Разглаживаю впотьмах ей и себе волосы, бегом сплываю по темнее ночи лестнице...

— Володя, вы еще здесь?

Голос из столовой:

— Кажется — здесь, Марина Ивановна, я даже себя потерял — так темно.

Выходим.

Аля, продолжая начатое и за спешной недоконченное:

— Я же вам говорила, Марина, что Бог к нам сам придет. Но так как Бог— дух и у него нет ног и так как мы бы умерли от страху, если бы его увидели...

— Что? Что она говорит? — Володя.

Мы уже на улице. Я, смущенная:

— Ничего, она еще немножко спит...

— Нет, Марина,— слабый отчетливый голос изнизу.— я совсем не сплю: так как Бог не мог сам за нами прийти—идти в церковь, то он и послал за нами Володю. Чтобы мы еще больше в него верили. Правда, Володя?

— Правда, Алечка.

Церковь Бориса и Глеба: наша. Круглая и белая, как просфора. Перед этой церковью как раз в часы службы целую зиму учат солдат. Внутри — служат, а снаружи — маршируют: тоже служат. Но сейчас солдаты спят.

Входим в теплое людное многосвечное сияние и сливание. Поют женские голоса, тонко поют, всем желанием и всей немощью, тяжело слушать — так тонко. где тонко — там и рвется, совсем на волоске — поют,— совсем как тот профессор: «У меня на голове один волос, но зато — густой»... Господи, прости меня! Господи, прости меня!.. Этого батюшку я знаю: он недавно служил с патриархом, который приехал на храмовый праздник — в черной карете, сияющий, слабый... И Аля первая подбежала к нему и просто поцеловала ему руку, и он ее благословил...

— Марина Ивановна, идемте?

Выходим с народом — только старухи остаются.

— Христос воскресе, Марина Ивановна!

— В о и с т и н у воскресе, Володя!

Домой Аля едет у Володи на руках. Как непривычный к детям, несет ее неловко — не верхом, на спине, и не сидя, на одной руке, а именно несет — на двух вытянутых, так что она лежит и глядит в небо.

— Алечка, тебе удобно?

— Бла-женно! Я в первый раз в жизни так еду — лежа, точно царица Савская на носилках!

Володя, не ожидавший такого, молчит.

— Марина, подойдите к моей голове, я вам что-то скажу! Чтобы Володя не слышал, потому что это — большой грех. Нет, нет, не бойтесь, не то, что вы думаете! Совсем приличное, но для Бога — неприличное!

Подхожу. Она, громким шепотом:

— Марина! А правда, те монашки пели, как муха, которую сосет паук. Господи, прости меня! Господи, прости меня! Господи, прости меня!

— Что она говорит?

Аля, приподнимаясь:

— Марина! Не повторяйте! Потому что тогда Володя тоже соблазнится! По-

тому что эта мысль у меня была от дьявола,—ах, Господи, что я опять сказала! Назвала это гадкое имя!

— Алечка, успокойся! — Володя. Мне: — Она у вас всегда такая?

Я:

— Отродясь.

— Вот мы уже дома, ты сейчас будешь спать, а утром, когда проснешься... В его руке темное, но явное очертание яичка.

Аля водворена и уложена. Стоим с Володей у выходной двери.

— Марина Ивановна, Аля у вас крепко спит?

— Крепко. Не бойтесь, Володя, она никогда не просыпается!

Выходим. Идем Пречистенским бульваром на Москва-реку. Стоим на какой-то набережной (все это как сон) — смотрим на реку... И сейчас, когда пишу, чувствую верхними ребрами камень балюстрады, через которую мы оба неизвестно почему странно перегнулись, чтобы разглядеть: прошлое? будущее? или сущее, внутри творящееся?

Это была ночь перил, решеток, мостов. Мы все время что-то высматривали и — не высмотрев здесь — переходили на очередную набережную, на очередной мост, точно где-то было определенное место, откуда нам вдруг все станет ясно во все концы света... А может быть — совместно — со всем этим: Москва-рекой, мостами, местами, крестами — прощались? Мнится мне (а может быть, только снится), что мы на одном из наших сторожевых постов, подходя к нему, встретили Павлинка—отходящего, очевидно тоже и то же ищущего. (В ту пасхальную ночь 1919 года вся Москва была на ногах и вся приблизительно в тех же местах — возле — кремлевских.)

А может быть, друг с другом — прощались? Слов этой ночи, долгой, долгой, многочасовой и повсеместной — ибо вышли мы в час, а возвращались уже при полном свете позднего весеннего рассвета,— слов этой ночи — я не помню. Вся эта ночь была — жест: его ко мне. Акт — его ко мне.

В эту ночь, на одном из тех мест, над одними из тех перил, в тесном плечевом соседстве со мной им было принято, в нем тверже камня утвердилось решение, стоявшее ему жизни. Мне же целой вечности — дружбы, за один час которой я, по слову Аксакова, отдала бы весь остаток угасающих дней...

Как это началось? (Ибо сейчас, вопреки тем мостам — начинается.)

Должно быть, случайно, счастливым и заранее *in den Sternen geschriebenen*⁴ случаем ее прихода — в его приход.

— Как, Володя, вы здесь? Вы — тоже бываете у Марины? Марина, я ревную! Так вы не одна сидите, когда меня нет?

— А вы, Сонечка, одна сидите, когда вас нет?

— Я! Я—дело пропащее, я со всеми сижу, я так боюсь смерти, что когда никого нет и не может быть — есть такие ужасные часы! — готова к кошке залезть на крышу, чтобы только не одной сидеть: не одной умереть, Марина!.. Володя, а что вы здесь делаете?

— То же, что вы, Софья Евгеньевна.

— Значит: любите Марину. Потому что я здесь ничего другого не делаю и вообще на свете — не делаю. И делать не намерена. И не намерена, чтобы мне другие — мешали.

— Софья Евгеньевна, я могу уйти. Мне уйти, Марина Ивановна?

— Нет, Володечка.

— А мне уйти? — Сонечка, с вызовом.

— Нет, Сонечка. (Пауза.) А мне, господа, уйти?

Смех.

— Ну, Марина, сделаем вид, что его нет. Марина! Я к вам от Юры: представьте себе, у него опять начинается флюс!

⁴ Предначертанным звездами (нем.).

— Значит, мне опять придется писать ему стихи. Знаете, Сонечка, мои первые стихи к нему:

Beau ténébreux ⁵, вам грустно, вы больны:
Мир неоправдан — зуб болит! Вдоль нежной
Раковины щеки — фуляр — как ночь...

— Фу-ляр? Клетчатый? Синий с черным? Это я его ему подарила — еще тогда — это год назад было! Я отлично помню, у меня был нашейный платок — я ужасно люблю нашейные платки, а этот особенно! — и я к нему пришла — а у него флюс — а я обожаю, когда больны! А особенно когда красивые больны — тогда они добрее... (Пауза.) Когда леопард совсем издыхает, он страшно добрый, ну добряк!! — и у него такая ужасно уродливая повязка — вязаная — нянькина, и я, подумать не успев... Потом угрызалась: папин фуляр, а у меня от папы — так мало осталось...

— Сонечка, хотите, отберу? И даже выкраду?

— Что вы. Марина, он теперь его ужасно полюбил: каждый флюс носит! Володя, созерцательно:

— Флюс — это неинтеллигентная болезнь, Софья Евгеньевна.

— Что-о? Дурак!

Володя, так же:

— Ибо она от запущенного зуба, а запущенные зубы в наш век...

— Идите вы ко всем чертям: зубным врачам! «Неинтеллигентная болезнь»! Точно бывают — интеллигентные болезни. Болезнь — это судьба: нужно же, чтобы человек от чего-нибудь умер, а то жил бы вечно. Болезнь — это судьба, и всегда, а ваша интеллигентность вчера началась и завтра кончилась, уже сегодня — кончилась, потому что посмотрите, как мы все живем? Марина руками разрывает шкафы красного дерева, чтобы сварить миску пшена. Это — интеллигентно!

— Но Марина Ивановна и разламывая шкафы остается интеллигентным человеком.

— Которым никогда не была. Правда, Марина, что вы никогда не были интеллигентным человеком?

— Никогда. Даже во сне, Сонечка.

— Я так и знала. потому что это все: и стихи, и сама Марина, и синий фюляр, и это чучело лисы — волшебное, а не интеллигентное. «Интеллигентный человек» — Марина! — это почти такая же глупость, как сказать о ней «поэтесса». Какая гадость! О, как вы глупы, Володя, как глупы!!

— Софья Евгеньевна, вы мне только что сказали, что я дурак, а «глупы» — меньше, так что вы... разжижаете впечатление.

— А вы еще сгущаете мою злобу. Потому что я страшно злюсь на вас, на ваше присутствие, чего вы у Марины не видали, вы актер, вам в Студии нужно быть... (Пауза.) Я не знаю, кто вы для Марины, но — Марина меня больше любит. Правда, Марина?

Беру ее ручку и целую.

— Ну вот я и говорю -- больше. Потому что Марина вам руки никогда не целовала. А если и скажете, что целовала...

Володя:

— Софья Евгеньевна!!

— ...то только из жалости, за то, что вы — мужчина, бессловесное существо, недушевленный предмет, единственный недушевленный предмет во всей грамматике. Я ведь знаю, как мы вам руки целуем! У Марины об этом раз навсегда сказано: «Та-та-та-та... Прости мне эти слезы — убожество мое и божество!» Только — правда, Марина? — сначала божество, а потом — убожество! — Чуть не плача. — И Марина вас, если я попрошу, выгонит. Правда, Марина?

Я, целуя другую ручку:

— Нет, Сонечка.

— А если не выгонит, то потому, что она вежливая, воспитанная, за грани-

⁵ Мрачный красавец (франц.).

цей воспитывалась, но внутренне она вас — уже выгнала, как я только вошла — выгнала. И убирайтесь, пожалуйста, с этого места, это мое место.

— Сонечка, вы сегодня — настоящий бес!

— А вы думали — я всегда шелковая, бархатная, шоколадная, кремовая, со всеми — как с вами? Ого! Вам ведь Вахтанг Леванович говорил, что я бес? Бес и есть. Во всяком случае — бешусь. Володя, вы умеете заводить граммофон?

— Умею, Софья Евгеньевна.

— Заведите, пожалуйста, первое попавшееся, чтобы мне самой себя не слышать.

Первое попавшееся было «Ave Maria» — Гуно. И тут я своими глазами увидела чудо: музыки над бесом. Потому что та зверская кошка с выпущенными когтями и ощеренной мордочкой, которой с минуты прихода Володи была Сонечка, при первых же звуках исчезла, растворилась сначала в вопросе своих огромных, уже не различающих меня и Володи глаз и тут же в ответе слез — ну прямо хлынувших:

— Господи боже мой, да что же это такое, да ведь я это знаю, это — рай какой-то.

— «Ave Maria», Сонечка!

— Да разве это может быть в граммофоне? Граммофон, он, я думала, это «Танец апашей» или, по крайней мере, — танго.

— Это мой граммофон, Сонечка, он все умеет. Володечка, переверните пластинку.

Оборот пластинки был — «Не искушай меня без нужды» Глинки, одна скрипка, без слов, но с явно — явней и полней произнесенных бы — слышимыми бес-смертными баратынскими.

— Марина! Я и это знаю! Это папа играл, когда еще был здоров... Я под это все раннее детство засыпала! «Не искушай меня без нужды»... и как чудно, что без нужды, потому что так в жизни не говорят, так только там говорят, где никакой нужды уже ни в чем нет, — в раю, Марина! И я сейчас сама в раю, Марина, мы все в раю! И лиса в раю, и волчий ковер в раю, и фонарь в раю, и граммофон в раю...

— А в раю, Софья Евгеньевна, — тихий голос Володи, — нет ревности и все друг другу простили. потому что увидели, что и прощать-то нечего было, потому что — вины не было... И нет местничества: все на своем. А теперь я, Марина Ивановна, пойду.

Сонечка в слезах:

— Нет, нет, Володя, ни за что, разве можно уходить — после такой музыки, одному — после такой музыки, от Марины — после такой музыки... — Пауза, еле слышно: — От меня... Я в жизни себе не прощу — своего нынешнего поведения! Потому что я ведь думала, что вы пустой красавец — и туда же, к Марине, чтобы она вам писала стихи, а вы бы потом хвастались!

— Марина Ивановна мне не написала ни одной строки. Правда, Марина Ивановна?

— Правда, Володечка.

— Марина! Значит, вы его — не любите?

Я, полусуя:

— Так люблю, что и сказать не могу. Даже в стихах — не могу.

— Меньше или больше, чем Юру?

Володя:

— Софья Евгеньевна!

Она:

— Забудьте, что вы в комнате: мне это нужно знать — сейчас.

Я:

— Володя мой друг на всю жизнь, а Юра ни часу не был мне другом. Володю я с первой минуты назвала Володей, а Юру — ни разу Юрой, разве что в кавычках и заочно.

Сонечка, сосредоточенно, даже страдальчески:

- Но — больше или меньше? Больше или меньше?
- Володю — несравненно. — Точка.
- А теперь, Марина Ивановна, я решительно пойду.

И — пошло. Так же как раньше они никогда у меня не встречались, так теперь стали встречаться — всегда, может быть оттого, что раньше Володя бывал реже, а теперь стал приходиться через вечер, а под конец каждый вечер — ибо дело явно шло к концу, еще не названному, но знакомому.

Отъезды начались — с Ирины.

— Дайте мне, барыня, Ирину с собой в деревню — вишь она какая чахлая... У нас молоко — деревенское... и картошка живая, не мороженая, и хлеб без извешки. И вернется к вам Ирина — во-о какая!

Кухня. Солнце во все два окна. Худая, как жердь, владимирская Надя с наряженной Ириной на руках. Перед ними — Сонечка, прибежавшая проститься.

— Ну, Ирина, расти большая, красивая, счастливая!

Ирина, с лукавой улыбкой:

— Галли-дá! Галли-дá!

— Чтобы щечки твои стали розовые, чтобы глазки твои — никогда не плакали, чтобы ручки что взяли — не отпускали, чтобы ножки — бегали... никогда не падали...

Ирина, еще никогда не выдавшая слез, во всяком случае таких, бесцеремонно ловит их у Сонечки на глазах.

— Мок-рый... мок-рый... Газ-ки мок-рый...

— Да, мокрые, потому что это — слезы... Слезы. Но не повторяй, пожалуйста, этого тебе знать не надо.

— Барышня Софья Евгеньевна, нам на вокзал пора, ведь мы с Ириной — пешие, за час не дойдем.

— Сейчас, няня, сейчас. Что бы ей еще такого сказать, чтобы она поняла? Да, няня, пусть она непременно молится Богу, каждое утро и каждый вечер, — просто так: спаси, Господи, и помилуй папу, маму, Алю, няню...

Ирина:

— Галли-дá! Галли-дá!

— И Галлидú, потому что она ведь меня никогда Соней не звала, а я не хочу, чтобы она меня забыла, я ведь в жизни так не любила ребенка, как тебя. — И Галлидú. (Бог уже будет знать!) — Няня, не забудете?

— Что вы, Софья Евгеньевна, да Ирина сама напомнит, еще все уши мне Галлидú прожужжит...

Ирина, что-то понимая, с невероятным темпераментом:

— Галлидá, Галлидá, Галлидá, Галлидá, Гáллидá... — И уже явно дразнясь: — Даллигá, Даллигá, Даллигá...

— Бог с тобой, Ирина! До бабы-яги договоришься! А говорите — забудет! Теперь всю дорогу не уймется. Ну, прощайтесь, Софья Евгеньевна, а то вправду опоздаем!

— Ну, прощай, моя девочка! Ручку... Другую ручку... Ножку... Другую ножку... Глазок... Другой глазок... Лобик — и всё, потому что в губы целовать нельзя, и вы, няня, не давайте, скажите — барыня не велела, и все. Ну, прощай, моя девочка! — Трижды крестит. — Я за тебя тоже буду молиться. Поправляйся, возвращайся здоровая, красивая, румяная! Няня, берегите!

Тут же скажу, что Ирина свою Галлидú, Галлидá свою Ирину больше никогда не увидели. Это было их последнее свидание, 7 июня 1919 года.

Но около пяти месяцев спустя Ирина, оставленная Сонечкой двух лет трех месяцев, свою Галлидú еще помнила, как видно из Алиной записи в ноябре 1919 года:

«У нас есть одна знакомая, которой нет в Москве. Ее зовут Софьей Евгеньевной Голлидэй. Мы в глаза ее называем Сонечка, а за глаза Сонечка Голлидэй. Ирина ее влюбила. Сонечка уезжала еще и раньше, а Ирина все помнила ее и теперь еще говорит и поет: Галлидá! Галлидá!»

- Володечка, вы никогда не были в Мариной кухне?
- Нет, Софья Евгеньевна. Впрочем, раз, на пасху.
- Господи, какой вы бедный! И никогда не видели Ирины?
- Не видел, Софья Евгеньевна. Впрочем, раз, тогда же — но она спала.
- Господи, как можно дружить с женщиной и не знать, сколько у ее ребенка зубов? Вы ведь не знаете, сколько у Ирины зубов?
- Не знаю, Софья Евгеньевна.
- Значит, это одна умственность, вы дружите с одной головой Марины... Господи, у кого это была одна голова?!
- У нас с вами, Софья Евгеньевна.
- Дурак! Я говорю: одна голова, без ничего.. Ах, это у «Руслана и Людмилы»!.. Как мне бы от такой дружбы было холодно! Ледяной дом какой-то... О, насколько я счастливее, Володя! У меня и нижняя Марина, хрустальная, фонарная, под синим светом как под водою, потому что ведь это — морское дно, а все гости — чудовища! — и верхняя Марина, над плитой, над пшеном, с топором! с пропыленным коричневым подолом, который — вот — целую! — уважаемая, обожаемая! И ведь только эти две — Марина, эти все — Марина, потому что я вас, Марина, не вижу — только в замке, только на башне...
- В свободное от башни время я пасла бы баранов...
- Володя:
- И слушали бы — голоса.

По Сонечкиному началу с Володей я отдаленно стала понимать, почему мужчины ее не любят. Всякое недопонимание, всякое противоречие, даже всякое хотя бы самое скромное собственное мнение неизменно вызывало у нее: дурак! Точно этот дурак у нее уже был заряжен и только ждал сигнала, которым служило — все. С ней нужно было терпение, незамечание — Володины терпение и незамечание.

Я всегда провожала ее вправо, в сторону Поварской, уходящая Сонечка для меня была светящаяся Поварская, белая улица без лавок, похожая на реку, — точно никакого в л е в о у моего дома не было.

И только раз случилось иначе: была ночь, и меня вдруг осенило, что я еще не подарила Сонечке своего фонтана.

На совершенно пустой игрушечной лунной площади — днем — Собачьей, сейчас — Севильской, где только и было живого что хоровод деревец, тонкой серебряной струечкой, двойным серебром: ушным и глазным, — сплошным...

— Фонтан, Марина?

— М а р и н и н фонтан, Сонечка! Потому что в этом доме Пушкин читал Нащокину своего «Годунова».

— Я не люблю Годунова. Я люблю — Дон-Жуана. О, какое здесь все круглое, круглое, круглое!

И — точно ветром отнесло — волной вынесло — как-то без участия ног — уже на середине площади.

И вот, подняв ручку на плечо невидимого и очень высокого танцора, доверчиво вложив ему в руку — левую, чуть откинув стан на его невидимую левую, чуть привстав на носках и этим восполняя отсутствие каблуков, овеваемая белым платьем и овевая меня им...

Она его, фонтан, именно обтанцовывала, и этот фонтан был — урна, это было обтанцовывание урны, обтанцовывание смерти...

Das Mädchen und der Tod⁶.

— Марина, все у меня уменьшительное, все — уменьшительные: подруги, вещи, кошки и даже мужчины, — всякие Катеньки, кисеньки, нянечки, Юрочки, Павлики, теперь — Володечка... Точно я ничего большого произнести не смею.

⁶ Девушка и смерть (нем.).

Только вы у меня — Марина, такое громадное, такое длинное... О, Марина! Вы — мое увеличительное.

Сонечка часто думала вслух, я это сразу узнавала по ее отсутствующим, донельзя раскрытым спящим глазам, глазам — первого раза («Разве это бывает — такие метели, любви...»).

Тогда она вся застывала, и голос становился монотонный, несказывающий, тоже спящий, как глаза, голос, которым матери убаюкивают детей, а дети — себя. (А иногда и матери — себя.) И если она на реплики — мою или Володину — отвечала, то делала это как-то без себя, тоже во сне, без интонации, как настоящая сомнамбула. Нет, не д у м а л а вслух, а вслух — сновидела.

— ...Вот одного я еще никогда не любила — монаха. Не пришлось.

— Фу, Сонечка!

— Нет, Марина, вы не думайте — я не про православного говорю, борода-того, а про бритого: католического то есть. Может быть, совсем молодого, может быть, уже старого — не важно. В огромном, холодном, как погреб, монастыре. И этот монах один живет — была чума и все умерли, вымерли, он один остался — творить Божье дело... Один из всего ордена. Последний. И этот орден — он.

— Софья Евгеньевна, — трезвый голос Володи, — позвольте вам сказать, что данный монастырь не есть весь орден. Орден не может вымереть оттого, что вымер монастырь. Может вымереть монастырь, но не орден.

— Последний из всего ордена, потому что вымерли все монастыри... Две тысячи триста тридцать три монастыря вымерли, потому что это средние века и чума... А я — крестьянка, в белой косынке, и в полосатой юбке, и в таком корсаже — со скрещенными лентами — и я одна выжила из всей деревни — потому что монахи всё вокруг зачумили (о, Марина, я их безумно боюсь! Я говорю про католических: птицы, черти какие-то!) — и ношу ему в монастырь — молоко: от последней козы, которая еще не околела, — просто ставлю у порога его кельи.

— А ваш монах — пьет молоко? — Володя с любопытством. — Потому что ведь иногда — пост...

— ...И вот я однажды прихожу — вчерашнее молоко не тронуто. С бьющимся сердцем вхожу в келью — монах лежит — и тут я впервые его вижу: совсем молодой — или уже немножко состарившийся, но бритый — и я безумно его люблю — и я понимаю, что это — чума.

Внезапно вскакивая, соскакивая, просыпаясь.

— Нет! А то так вся история уже кончилась, и он не успел меня полюбить, потому что когда чума — не до любви. Нет, совсем не так. С н а ч а л а любовь, потом — чума! Марина, как сделать, чтобы вышло — т а к ?

— Увидеть монаха накануне чумы. В его последний нормальный день. День — много, Сонечка!

— Но почему я буду знать, что у него завтра будет чума? А если я не буду знать, я не посмею ему сказать, потому что говорю-то я ему только потому, что он сейчас умрет, и слушает-то он меня только от смертной слабости!

Володя, созерцательно:

— Чума начинается с насморка. Чихают.

— Это — докторская чума: чихают, а моя — пушкинская, там никто не чихал, а все пили и целовались. — Так как же, Марина?

— Подите к нему на исповедь. И всё сказать должны, и слушать обязан. И не грех, а христианский долг.

— О, Марина! Какой вы, какой вы — гений! Значит, я прихожу к нему в часовню — он стоит на молитве — один из всего ордена — и я становлюсь на колени...

Володя:

— И он на коленях и вы на коленях? Непластично. Лбами стукнетесь.

— И он — встает, и я, с колен: «Брат, я великая грешница!» А он спросит: «Почему?» А я: «Потому что я вас люблю». А он: «Бог всех велел любить».

А я: «Нет, нет, не так, как всех, а больше всех, и больше никого, и даже больше Бога!» А он: «О-о-о! Милая сестра, я ничего не слышу, у меня в ушах огромный ветер, потому что у меня начинается чума!» — и вдруг шатается — клонится — и я его поддерживаю и чувствую, как сквозь рясу бьется его сердце, безумно бьется! безумно бьется! — и так веду, вывожу его из часовни, но не в келью, а на зеленую лужайку, и как раз первое деревце цветет — и мы садимся с ним под цветущее деревце — и я кладу его голову к себе на колени... и тихонько ему напеваю... Ave Maria, Марина! И все слабее, и слабее, потому что у меня тоже — чума, но Бог милостив, и мы не страдаем, а у меня чудный голос — Господи, какой у меня голос! и уже не одно деревце цветет, а все, потому что они торопятся, знают, что у нас — чума! — целый цветущий ход, точно мы женимся! — и мы уже не сидим, а идем рука об руку, и не по земле, а немножко над землей, над маргаритками, и чем дальше — тем выше, мы уже на пол-аршина от земли, уже на аршин, Марина! на целую сажень! и теперь мы уже над деревцами идем... над облаками идем... — Совсем тихо и вопрошающе: — А можно — над звездами?

Протирая глаза, от всей души:

— Вот, Марина, я и любила — монаха!

— ...А жить мне приходится с такими — другими! Потому что мой монах сразу все понял — и простил — и исправил без всяких моих слов, а сколько я говорю, Марина, и объясняю, из кожи, из глаз, из губ — лезу, и никто не понимает, даже Евгений Багратионыч с его пресловутой «фантазией!» Впрочем, у него как раз на это есть некоторые резоны. Я в самом начале с ним ужасно оскандалилась: У нас в Студии зашел разговор об образах.

— Образа́х, Сонечка!

— Нет, об образах. Быть — в образе. Кто в образе — кто нет и так далее. А я говорю: «А Евгений Багратионыч, по-моему, в образе Печорина». Все: «Вот — глупости! Печорин — это сто лет назад, а Евгений Багратионыч — сама современность, театр будущего» и так далее. Я и говорю: «Значит, я не поняла, я не про идею говорила, а про лицо — «и был человек создан по образу и подобию». Поэтому что, по-моему, Евгений Багратионыч страшно похож на Печорина: и нос, и подбородок, и геморроидальный цвет лица».

Я:

— Что-о?

Сонечка, кротко:

— То, Марина, то есть точь-в-точь теми словами. Тут уже крик поднялся, все на меня накинулись и даже Евгений Багратионыч: «Софья Евгеньевна, есть предел всему — и даже вашему языку». А я — настаиваю: «Что ж тут обидного? Я всегда у Чехова читаю, и у Потапенки, и никакой обиды нет — раз такие великие писатели...» «А что, по-вашему, значит геморроидальный?» — «Ну, желтый, желчный, горький, разочарованный, ну — геморроидальный». — «Нет, Софья Евгеньевна, это не желтый, не желчный, не горький и не гордый, а это — болезнь». — «Да, да, и болезненный, болезнь печени, потому я, должно быть, и сказала — Печорин». — «Нет, Софья Евгеньевна, это не болезнь печени, а геморрой, — неужели вы никогда не читали в газетах?» — «Читала, и еще...» — «Нет уж, пожалуйста, — без е щ е, потому что в газетах — много болезней и одна другой неназываемей. А мой совет вам: прежде чем говорить...» — «Но я так чувствовала это слово! Оно казалось мне таким печальным, волшебным, совсем желтым, почти коричневым — как вы!» Потом мне объяснили. Ах, Марина, это был такой позор! А главное, я его очень часто употребляла в жизни и потом никак не могла вспомнить — кому... Мне кажется, Евгений Багратионыч так окончательно и не поверил, что я — не знала. То есть поверить-то поверил, но как-то мне всей наперед не поверил. Он, когда я что-нибудь очень хочу сказать — а у меня это всегда видно! — так особенно — неодобрительно и повелительно — смотрит мне в рот, — ну, как змея на птицу! Точно его — взглядом — тут же закрывает! Рукой бы зажал — если б мог!

— ...Марина! Почему я так люблю плохие стихи? Так любя — ваши, и Павлика, и Пушкина, и Лермонтова... «В полдневный жар», Марина, — как это ж ж е т! Я всегда себя чувствую и им и ею и лежу, Марина, в долине Дагестана и раной — дымлюсь, и одновременно, Марина, в кругу подруг задумчиво-одна...

И в чудный сон душа моя младая
Вог знает чем всегда погружена...

Все стихи, написанные на свете, — про меня, Марина, для меня, Марина, мне, Марина! Потому я никогда не жалею, что их не пишу... Марина, вы — поэт, скажите, разве важно — кто? Разве е с т ь — кто? (сейчас, сейчас, сейчас зайдут ум за разум! Но вы — поймете!) Марина, разве вы — все это написали? Знаю, что ваша рука, гляжу на нее и всегда только с великим трудом удерживаюсь, чтобы не поцеловать — на людях, не потому, что эти идлоты в этом видят рабство, институтство, истерику, а потому что вам, Марина, нужно целовать — на всех людях, бывших, сущих и будущих, а не на трех-четырех знакомых. И если я тогда, нечаянно, после той Диккенсовой ночи при Павлике поцеловала, то это — слабость, Марина, я просто не могла удержаться — сдержать благодарность. Но Павлик не в счет, Марина, — и как поэт — и немножко как собака, я хочу сказать, что он не совсем человек — с д в у х сторон... (И вы, Володя, не в счет: видите — и при вас целую, но вы не в счет — потому что я уж так решила: когда мы втроем, мы с Мариной — вдвоем...) А что при всех у С-вых — это хуже, но вы так чудно сдали тому фокстерьеру — сдачи, бровью не поведя... Я вам за всю вас, Марина, целую руку — руки, — а вовсе не только за одни стихи, и за ваши шкафы, которые вы рубите, кажется, — еще больше! Я всегда обижаюсь, когда говорят, что вы «замечательный поэт», и пуще всего, когда «гениальный». Это Павлик — «гениальный», потому что у него ничего другого за душою — нет, а у вас же — всё — вся вы! Перед вами, Марина, перед тем, что есть — вы, все ваши стихи — такая чу-уточка, такая жалкая кро-охотка, — вы не обижаетесь? Мне иногда просто смешно, когда вас называют поэтом. Хотя выше этого слова — нет. И может быть, дела — нет. Но вещи — есть. И все эти вещи — вы. Если бы вы не писали стихов, ни строчечки, были бы глухонемая, немая — как мы с Русалочкой, вы все равно были бы — та же: только с защитным ртом. И я бы вас любила — нет, не еще больше, потому что больше — нет, а совершенно так же — на коленях. — Лицом уже из моих колен: — Марина! Знаете мой самый большой подвиг? Еще больше, чем с тем красным носом (шарманщиком), потому что не сделать еще куда трудней, чем с дел а т ь: что я тогда, после «Метели», все-таки не поцеловала вам руку! Не рабство, нет, не страх глаз, — страх вас, Марина, страх вас разом потерять, или разом заполучить (какое гнусное слово! заполучить, приобрести, завоевать — все гнуснее!), или разом — н а о б о р о т, страх — вас. Марина, ну, Божий страх, то, что называется — Божий страх, нет, еще не то: страх — повернуть ключ, проглотить яд — и что-то начнется, чего уж потом не остановить... Страх сделать т о, Марина! «Сезам, откройся!», Марина, и забыть обратное слово! И никогда уже не выйти из той горы... Быть заживо погребенной в той горе... Которая на тебя еще и обрушится... И просто — страх вашего страха, Марина. Откуда мне было знать? Всю мою жизнь, Марина, я одна была такая: слово, и дело, и мысль — одно, и сразу, и одновременно, так что у меня не было ни слова, ни дела, ни мысли, а только... какая-то электрическая молния! Так о «Метели»: когда я услышала, ушами услышала:

— Князь, это сон — или грех?
— Ведный испуганный птенчик!
— Первая я — р а н ь ш е в с е х! —
Ваш услышала бубенчик!

Вот это первая и раньше, с этим ударением, как я бы сказала, у меня изо рта вынутое — Марина! У меня внутри — все задрожало, живьем задрожало, вы будете смеяться — весь живот и весь пищевод, все те самые таинственные внутренности, которых никто никогда не видел, — точно у меня внутри — от горла и

вниз до колен — сплошь жемчуга, и они вдруг—все—ожили. И вот, Марина, так любя ваши стихи, я безумно, безумно, безнадежно, безобразно, позорно люблю — плохие. О, совсем плохие! Не Надсона (я перед ним преклоняюсь!) и не Апухтина (за «Очи черные»!), а такие, Марина, которых никто не писал и все — знают. Стихи из «Чтеца-декламатора», Марина, теперь поняли?

Ее в грязи он подобрал,
Чтоб угождать ей — красть он стал.
Она в довольстве утопала
И над безумцем хохотала.

Он из тюрьмы ее молил:
Я без тебя душой изныл!
Она на тройке пролетала
И над безумцем хохотала.

И в конце концов его отвезли в больницу, и —

Он умирал. Она плясала,
Пила вино и хохотала.

О, я бы ее убила! И кажется даже, что когда он умер и его везли на кладбище, она —

За гробом шла — и хохотала!

Но, может быть, это я уж сама выдумала, чтобы еще больше ее ненавидеть, потому что я такого никогда не видела: чтобы за гробом шли — и хохотали, — а вы? Но вы, может быть, думаете, это — плохие? Тогда слушайте. О, Господи, забыла! забыла! забыла, как начинается, только помню — как кончается!

А граф был демонски хорош!
.....
А я впотьмах точила нож,—
А граф был демонски хорош!

Стойте, стойте, стойте!

Взметнулась красная шторá:
В его объятиях — сестра!

Тут она их обоих убивает, и вот, в последнем куплете, сестра лежит с оскаленным страшным лицом, а граф был демонски хорош! А «бледно-палевую розу» — знаете? Он встречает ее в парке, а может быть, в церкви, и ей шестнадцать лет, и она в белом платье...

И бледно-палевая роза
Дрожала на груди твоей.

Потом она, конечно, пускается в разврат, и он встречает ее в ресторане с Военными, и вдруг она его видит!

В твоих глазах дрожали слезы,
Кричала ты: — Вина! Скорей! —
И бледно-палевая роза
Дрожала на груди твоей.

Дни проходили чередою,
В забвенье я искал отрад,
И вот опять передо мною
Блеснул твой прежний милый взгляд.

Тебя семьи объяла проза,
Ты шла в толпе своих детей,
И бледно-палевая роза
Дрожала на груди твоей.

А потом она умерла, Марина, и лежит в гробу, и он подходит к гробу и видит:

В твоих глазах застыли слезы... —

и потом уж не знаю, что на ей —

И бледно-палевая роза
Дрожала на груди твоей.

Дрожала, понимаете, на не дышащей груди! А — безумно люблю: и толпу детей, и его подозрительные отрады, и бледно-палевую розу, и могилу... Но это еще не все, Марина. Это еще — как-то — сносно, потому что все-таки — грустно. А есть совсем глупости, которые я безумно люблю. Вы это знаете?

Родилась,
Крестилась,
Женилась,
Благословились.

Родила,
Крестила,
Женила,
Благословила —
Умерла.

Вот и вся — женская жизни! А это вы знаете?

Перо мое писало
Не знаю для кого...

Я: А сердце подсказало:
Для друга моего.

Сонечка: Дарю тебе собачку,
Прошу ее любить,
Она тебя научит,
Как друга полюбить.

Любить — полюбить — разве это стихи, Марина? Так и я могу. А я и перо вижу — непременно гусиное, все изгрызенное, а собачка, Марина, с вьющимися ушами, серебряно-шоколадная, с вот-вот заплачущими глазами: у меня самой бывают такие глаза. Теперь, Марина, на прощание, мои самые любимые. Я — серьезно говорю. — С вызовом: — Лю-би-ме-е ва-ших.

Крутится, вертится шар голубой,
Шар голубо-ой, побудь ты со мной!
Крутится, вертится, хочет упасть,
Ка-ва-лер ба-рыш-ню хочет украсть!

Нет, Марина! не могу! я это вам — спою!

Вскакивает, заносит голову и поет то же самое. Потом, подойдя и становясь надо мной:

— Теперь скажите, Марина, вы это — понимаете? Меня, такую, можете любить? Потому что это мои самые любимые стихи. Потому что это (закрытые глаза) просто — блаженство.— Речитативом, как спящая: — Шар — в синеве — крутится, воздушный шар монгольфьер, в сетке из синего шелка, а сам — голубой, и небо — голубое, и тот на него смотрит и безумно боится, чтобы он не улетел совсем. А шар от взгляда начинает еще больше вертеться и вот-вот упадет, и все монгольфьеры погибнут! И в это время, пользуясь тем, что тот занят шаром...

Ка-ва-лер ба-рыш-ню хочет украсть!

Что к этому прибавить?

— А вот еще это, Сонечка:

Тихо дрогнула портьера.
Принимала комната шаги
Голубого кавалера
И слуги...

Всё тут вам, кроме барышни — и шара. Но шар, Сонечка, — земной, а от барышни он — идет. Она уже позади, кончилась. Он ее уже украл и потом увидел, что — незачем было.

Сонечка, ревниво:

— Почему?

Я:

— А потому что это был — поэт, которому не нужно было украсть, чтобы иметь. Не нужно было — иметь.

— А если бы это я была — он бы тоже ушел?

— Нет, Сонечка.

— О, Марина! Как я люблю боль! Даже — простую головную! Потому что зубной я не знаю, у меня никогда не болели зубы, и я иногда плакать готова, что у меня никогда не болели зубы, говорят, такая чудная боль: ну-удная!

— Сонечка, вы просто с ума сошли! Тьфу, тьфу, не сглазить, чертовка! Вы Malibran знаете?

— Нет.

— Певица.

— Она умерла?

— Около ста лет назад и молодая. Ну вот, Мюссе написал ей стихи — stances à la Malibran — слушайте (И, меня на Сонечку некоторые слова):

...Ne savais tu donc pas, comédienne imprudente,
Que ces cris insensés qui sortaient de ton cœur
De ta joue amaigrie augmentaient la chaleur?
Ne savais-tu donc pas que sur la tempe ardente
Ta main de jour en jour se posait plus brûlante,
Et que c'est tenter Dieu que d'aimer la douleur!⁷

...Странные есть совпадения. Нынешним летом 1937 года, на океане, в полный разгар Сонечкиного писания, я взяла в местной лавке «Souvenirs», одновременно в библиотеке годовой том журнала «Lectures» — 1867 года, — и первое, что я увидела — Ernest Legouvé. Soixante ans de souvenirs — La Malibran (о которой я до этого ничего не знала, кроме стихов Мюссе):

«Quoi qu'elle fût l'image même de la vie et que l'enchantement pût passer pour un des traits dominants de son caractère, l'idée de la mort lui était toujours présente. Elle disait toujours qu'elle mourrait jeune. Parfois comme si elle eût senti tout à coup je ne sais quel souffle glacé, comme si l'ombre de l'autre monde se fût projetée dans son âme; elle tombait dans d'affreux accès de mélancolie et son cœur se noyait dans un déluge de larmes. J'ai là sous les yeux ces mots écrits de sa main: — Venez me voir tout de suite! J'étouffe de sanglots! Toutes les idées funèbres sont à mon chevet et la mort à leur tête...»⁸

Что это как не живая Сонечкина «записочка»?

Встречи были — каждый вечер, без уговора. Приходили они врозь и в разное время, из разных театров, из разных жизней. И всегда Сонечка хотела —

⁷ Разве не знала ты, неосторожная актриса,
Что от иступленных криков, которые выходили из твоего сердца,
Твои исхудалые щеки запылают еще жарче?
Разве не знала ты, что, касаясь воспаленного чела,
Твоя рука с каждым днем становилась все горячее
И что любить страдание — значит искушать бога! (Франц)

⁸ Эрнест Легувэ, «Шестьдесят лет воспоминаний — Малибран».
«Несмотря на то, что сама она была — воплощенная жизнь и одной из главных черт ее характера было очарование, — ее никогда не покидала мысль о смерти. Она всегда говорила, что умрет молодой. Порой, словно ощущая некое ледящее дуновение и чувствуя, как тень иного мира прикасается к ее душе, она впадала в ужасную меланхолию, сердце ее тонуло в потоке слез. У меня перед глазами стоят сейчас слова, написанные ее рукой: «Приходите ко мне немедленно! Я задыхаюсь от рыданий! Все мрачные видения столпились у моего изголовья и смерть — впереди всех...» (Франц)

еще остаться, последняя остаться, но так как это было бы — не идти домой с Володей, я всякий раз на совместном уходе — настаивала.

— Идите, Сонечка, а то я потом неизбежно пойду вас провожать, и у вас пропаду, и Аля будет голодная — и т. д. Идите, моя радость, ведь день скоро пройдет!

Мне хорошо и сохранным было их отпускать — в рассвет.

Иногда я их, в этот рассвет, до угла Борисоглебского и Поварской, провожала.

Aimez-vous bien, vous qui m'avez aimée tous deux, et dites-vous parfois mon nom dans un baiser...⁹

— Марина! А, оказывается, Володя — влюблен! Когда увидели, что я — в него, — потому что я все время о нем говорю: чтобы произносить его имя, — мне сразу рассказали, что он на днях в кафе «Электрик» целый вечер не сводил глаз с танцовщицы, которая танцевала на столе, — и даже не допил своего стакана. Я, когда узнала, сразу ему сказала: «Как вам не стыдно, Володя, ходить к Марине — и заглядываться на танцовщицу! Да у Марины из каждого рукава ее бумазейного платья — по сотне гурней и пери! Вы просто — дурак!» И сразу ему сказала, что вам непременно скажу, — и он очень испугался, Марина, весь потемнел и стал такой злой, такой злой! И знаете, что он мне сказал? «Я всегда думал, что вы так а я только с Мариной Ивановной, что это она — в вас. А теперь я это — знаю». И пошел. Теперь посмотрите, какой он к вам придет — поджатый!

Пришел не поджатый, а озабоченный, и сразу:

— Марина Ивановна, вы должны правильно понять меня с этим рассказом Софьи Евгеньевны, как до сих пор меня правильно во всем понимали.

— Володя! Разве я вам объясняла Юру? Есть такая сказка — норвежская, кажется, — «Что старик делает — все хорошо». А старик непрерывно делает глупости: променивает слиток золота на лошадь, лошадь на козу и так далее и в конце концов кошку на катушку, а катушку на иголку, а иголку теряет у самого дома, когда перелезает через плетень, потому что не догадался пойти в калитку. Так будем друг для друга тем стариком, то есть: лишь бы ему — хорошо! и лишь бы цел вернулся! — тем более что я сама способна три минуты глядеть на танцовщицу — только бы она не говорила. Володя! А как бы противно было, если бы сказку пустить — наоборот, то есть — иголку на катушку, катушку на овцу и наконец лошадь на золото? Ох, паршивый был бы старик!

— Поганный был бы старик, Марина Ивановна!.. Нет, Марина Ивановна, я на нее не «заглядывался». Я на нее — задумался. Вот, мир рухнул, от старого не осталось ничего, а это — вечно: стол — и на нем танцующая пустота, танцующая — вопреки всему, пустота — вопреки всему: всему — уроку. Говорят, таких любят... Я, если когда-нибудь женюсь, то только на сестре милосердия. Чтобы в детях моих текла — ч е л о в е ч е с к а я кровь.

— Марина, если бы вы знали, как Володя целует, — так крепко! так крепко, — с лукавой усмешкой, — точно я стена! У меня сегодня весь день лицо горит.

К радости своей скажу, что у него никогда не было попытки объяснить мне свои отношения с Сонечкой. Он знал, что я знаю, что это — последний ему данный шаг к о м н е, что это — сближение, а не разлука, что, ее целуя, он и меня целует, что он нас всех — себя, ее, меня — нас всех втроем и всю весну 19-го года — целует — в ее лице — на ее личике — целует.

Всякая попытка с л о в а м и — была бы унижение и конец.

А — Сонечка? Она лепетала и щебетала, склоняя, спрягая, складывая, мно-

⁹ Любите друг друга, вы, прежде любившие меня оба, и иногда, при поцелуе, произнесите мое имя (франц.).

жа и сея Володю вдоль и поперек всей своей речи, она просто ему — радовалась, невинно — как в первый день земли.

Сидели — так: слева Володя, справа я, посредине — Сонечка, мы оба — с Сонечкой посредине, мы взрослые — с ребенком посредине, мы любящие — с любовью посредине. Обнявшись, конечно: мы — руки друг другу через плечи, она — в нас, в нашем далеком объятии, розня нас и сближая, дав каждому по одной руке и каждому по всей себе, всей любви. Своим маленьким телом уничтожая всю ту бывшую нашу с Володей разлучную версту.

Сонечка в нас сидела как в кресле — с живой спинкой, в плетеном кресле из наших сплетенных рук. Сонечка в нас лежала как в колыбели, как Моисей в плетеной корзине на водах Нила.

А граммофон, из темного угла вытягивая к нам свое вишневое деревянное певчее горло, пел и играл нам — все, что умел, все, что «умели» — мы: нашу молодость, нашу любовь, нашу тоску, нашу разлуку.

И когда я, потом, перед отъездом из России, продала его татарину, я часть своей души продала — и всю свою молодость.

...Блаженная весна — которой нет на свете...

Так и сказались на нас троих стихи Павлика, когда-то — уже вечность назад! — услышанные мною в темном вагоне — от уже давно убитого и зарытого:

Блаженная весна — которой нет на свете!
Которую несут — Моцарт или Россети...
Игрушка — болтовня — цветок — анахронизм.—
Весельная весна, чье имя — Романтизм.

Сколько это длилось, эти наши бессонные совместные ночи? По чувству — вечность, но по тому же чувству: одну-единую бесконечную быстротечную ночь, и странно: не черную, не лунную — хотя наверное было черно, или наверное была луна — и не синюю от фонаря, который не горел, потому что с весной погасло все электричество, а какую-то серебряную, рассеянную, сновиденную, рассветную, всю сплошь — рассветную, с нашими мерцающими во мгле лицами, а может быть, она в памяти осталась такой — по словам Сонечки:

— Марина! Я поняла, да ведь это — «Белые ночи»! Потому что я сейчас тоже люблю — двоих. Но почему же мне так хорошо? А вам, Марина?

— Потому что не двоих, а — обоих, Сонечка! И я тоже — обоих. И мне тоже «так хорошо». А вам, Володя?

— Мне, — с глубоким вздохом, — х о р о ш о, Марина Ивановна!

— Сонечка, почему вы никогда не носите бус?

— Потому что у меня их нет, Марина.

— А я думала — не любите...

— О, Марина! Я бы душу отдала за ожерелье — коралловое.

— А сказку про коралловое ожерелье — хотите? Ну, слушайте. Ее звали Ундина. а его Гульдбранд, и он был рыцарь, и его загнал поток к нам в хижину, где она жила со стариком и старухой. А поток был ее дядя — дядя Струй, который нарочно разлился так широко, чтобы рыцаря загнать в хижину, а хижину сделать островом, с которого ему не выбраться. И тот же поток загнал к ним старого патера, и он их обвенчал, и она получила живую душу. И сразу переменялась: из бездушной, то есть счастливой, сделалась несчастной, то есть любящей — и я убеждена, что он тут же стал меньше любить ее, хотя в сказке этого не сказано. И потом он увез ее в свой замок — и стал любить ее все меньше и меньше — и влюбился в дочь герцога Бертольду. И вот они все втроем поехали в Вену — водою, Дунаем, и Бертольда с лодки играла в воде своим жемчужным ожерельем — вдруг из воды рука и с дьявольским хохотом — цап ожерелье! И вся вода вокруг покрылась харями, и лодка чуть не перевернулась.

Тогда рыцарь страшно рассердился, и Ундина зажала ему рукой рот, умоляя его не бранить ее на воде, потому что на воде сильна ее родня. И рыцарь утихомирился, а Ундина наклонилась к воде и что-то льстиво и долго ей говорила — и вдруг вынула — вот это вот!

— О, Марина! Что это?

— Кораллы, Сонечка, Ундинино ожерелье.

...Эти кораллы мне накануне принес в подарок мой брат Андрей.

— Марина! Смотри, что я тебе принес!

Из его руки на стол и через край его — двойной водопад огромных, темно-вишнево-винных, полированных, как детские губы, продолговатых — бочоночком — каменных виноградин.

— В одном доме продавали, я и взял для тебя, — хотя ты и блондинка, но все равно носи, таких вторых не достанешь.

— Но что это за камень?

— Кораллы.

— Да разве такие — бывают?

Оказалось — бывают. Но одно тоже оказалось сразу: т а к о е моим не бывает. Целый вечер я их держала в руках, взвешивала, перебирая, перетирая, вода ими вдоль щеки и вдоль них — губами, — губами пересчитывала, пересчитывала как четки, — целый вечер я с ними прощалась, зная, что если есть под луною рожденный владелец этой роскоши, то этот владелец —

— О, Марина! Эти — кораллы? Такие громадные? Такие темные? Это — ваши?

— Нет.

— Какая жалость. Чьи же?

— Ваши, Сонечка. Вам.

И... не переспросив, так и не сомняв полураскрытых изумлением губ — в слово, окаменев, все на свете — даже меня! — забыв, обеими руками, сосредоточенно, истоиво, сразу — надевает.

Так Розетта некогда взяла у Жана Вальжана куклу: немота от полноты.

— О, Марина! Да ведь они мне — до колен!

— Погодите, состаритесь — до земли будут!

— Я лучше не состарюсь, Марина, потому что разве старухе можно носить — такое? Марина! Я никогда не понимала слово счастье. Тонким пером круг — во весь небосвод, и внутри — ничего. Теперь я сама — счастье. Я плюс кораллы — знак равенства — счастье. И — решена задача.

Сжаз их в горсть — точно их сожмешь в такой горсти, вмещающей ровно четыре бусины, залитая и заваленная ими, безумие их: пьет? ест? — целует.

И, словом странным именно в такую минуту:

— Марина! Я ведь знаю, что я — в последний раз живу.

Что кораллы были для Сонечки — Сонечка была для меня.

— А что же с тем ожерельем — Ундининым?

— Она его подала Бертольде — взамен того ожерелья, а рыцарь вырвал его у Бертольды, и бросил в воду, и проклял Ундину и всю ее родню... и Ундина уже не смогла оставаться в лодке... Нет, слишком грустный конец, Сонечка, плакать будете... Но знайте, что это ожерелье — то самое, дунайское, из Дуная взятое и в Дунай вернувшееся, ожерелье переборотой ревности и лю- смертной верности, Сонечка... мужской благодарности...

С этих кораллов началось прощание. Эти кораллы уже сами были — прощание. Не дарите любимым слишком прекрасного, потому что рука подавшая и рука принявшая неминуемо расстанутся, как уже расстались — в самом жесте и дара и принятия, жесте разъединяющем, а не сводящем: рук пустых — одних и полных рук — других. Неминуемо расстанутся, и в щель, образуемую самым жестом дара и изъятия, взойдет все пространство.

Из руки в руку — разлуку передаете, льете такими кораллами!

Ведь мы такие «кораллы» дарим — вместо себя, от невозможности подарить — себя, в возмещение за себя, которых мы этими кораллами у другого — отбираем. В таком подарке есть предательство, и недаром вещи сердцем их — бояться: «Что ты у меня возьмешь — что мне такое даришь?» Такие кораллы — откуп: так умирающему приносят ананас, чтобы не идти с ним в черную яму. Так каторжанину приносят розы, чтобы не идти с ним в Сибирь.

— Марина! Я еду со Студией.

— Да? На сколько дней? Куда-нибудь играть?

— Далёко, Марина, на все лето.

«Все лето», когда любишь, — вся жизнь.

Оттого, что такие подарки всегда дарились на прощание: в отъезд, на свадьбу, на день рождения (то есть на то же прощание: с данным годом любимого, с данным годом любви) — они, нагруженные им, стали — собою разлуку — вызывать: из сопровождения его постепенно стали его символом, потом сигналом, а потом и вызовом его к жизни: им самим.

Может быть — не подари я Сонечке кораллов...

Пятнадцать лет спустя, идя в Париже по Rue du Vas, где-то в угловой, нишей, витрине антиквара — я их увидела. Это был удар прямо в сердце: ибо из них, с бархатного нагрудника, на котором они были расположены, — внезапный стебелек шеи и маленькое темно-розовое темноглазое лицо с губами — в цвет: темно-вишнево-винными, с теми же полосами света, что на камнях.

Это было — секундное видение. Гляжу — опять темно-зеленый бархат нагрудника с подвешенным ярлыком: цифрой в четыре знака.

Вслед за кораллами потекли платья, фаевое и атласное.

Было так. Мы шли темным коридором к выходу, и вдруг меня осенило:

— Сонечка, стойте, не двигайтесь!

Ныряю себе под ноги в черноту огромного гардероба и сразу попадаю в семьдесят лет — и семь лет назад, не в семьдесят семь, а в семьдесят — и семь, в семьдесят — и в семь. Нащупываю — сновиденно-непогрешимым знанием — нечто давно и заведомо от тяжести свалывшееся, оплывшее, осевшее, разлегшееся, разлившееся — целую оловянную лужу шелка, и заливаюсь ею до плеч.

— Сонечка! Держите!

— Ой, что это, Марина?

— Стойте, стойте!

И новый нырок на черное дно, и опять рука в луже, но уже не оловянной, а ртутной — с водой убегающей, играющей из-под рук, несобираемой в горсть, разбегающейся, разлетающейся из-под гребущих пальцев, ибо если первое — от тяжести — осело, второе — от легкости — слетело: с вешалки — как с ветки.

И за первым, осевшим, коричневым, фаевым — прабабушки графини Ледуховской — прабабушкой графиней Ледуховской — несшитым, ее дочь — моей бабушкой — Марией Лукиничной Бернацкой — несшитым, ее дочь — моей матерью — Марией Александровной Мейн — несшитым, сшитым правнучкой — первой Мариной в нашем польском роду — мною, моим, семь лет назад, девичеством, но по к р о ю — прабабушки: лиф как мыс, а юбка как море...

— А теперь, Сонечка, держитесь!

И на уже погнувшейся, подавшейся под тяжестью четырех женских поколений Сонечке — поверх коричневого — синее: синее с алым, лазурное и безумное, турецкое, купецкое, аленько-цветочкинское, само — цветок.

— Марина! — Сонечка, пошатнувшись, а главное, ничего не видя и не понимая, ни синевы второго, ни конского каштана первого, ибо гардероб — грот, а коридор — гроб... (О, темные места всех моих домов — бывших, сущих, будущих... О, темные дома!.. Не от вас ли мои стихотворные темноты? Ich glaube an Nächtel¹⁰;

¹⁰ Я верю ночам (нем.).

Проталкиваю перед собой, как статую бы на роликах, остолбенелую, совсем исчезнувшую под платьями Сонечку полной тьмой коридора в полутьму столовой: освещавший ее «верхний свет» уже два года как не чищен и перешел в тот свет — из столовой, очередным коридором — черным ущельем сундуков и черным морем фояля — в Алину детскую — свет! — наконец-то!

Ставлю ее, шатающуюся и одуренную темными местами, как гроб молчащую, перед огромным подпотолочным зеркалом:

— Мерьте!

Жмурится как спросонья, быстро-быстро мерцает черными ресницами, неизвестно — рассмеется или заплачет...

— Это — платье. Мерьте, Сонечка!

И вот — секундное видение — белизны и бедности: белого выреза и бедных кружев: оборка юбки, вставка рубашки — секундное полное исчезновение под огромным колоколом юбки — и — в зеленоватой воде рассветного зеркала: в двойной зелени рассвета и зеркала — другое видение: девушки, прабабушки сто лет назад.

Стоит, сосредоточенно застегивает на все подробности его двенадцати пуговок обтяжной лиф, расправляет, оправляет мельчайшие сборки пояса, провожает их рукой до огромных волн подола...

Ловлю в ее глазах — счастье, счастья — нет, есть страшный, детский смертный серьез — девушки перед зеркалом. Взгляд — глубочайшей пылливости, проверки всех данных (и неданных!), взгляд Колумба, Архимеда, Нансена. Взгляд, длящийся — час?

И наконец:

— Чу-десно, Марина! Только длинно немножко.

(Длинно — очень; тех злосчастных «битюгов» — и носов не видать!)

Стоит, уже счастливая, горячо-пылающая, кланяется себе в зеркале, себе — в зеркало, и, отойдя на три шага, чуть приподняв бока стоящей от тяжести robe — глубокий девичий прабабушкин реверанс.

— Да ведь это платье — бал, Марина! Я — уже плыву! Я и не двигаюсь, а оно у же плывет! Оно — вальс танцует, Марина! Нет — менуэт! И вы мне его дадите надеть?

— А как вы думаете?

— Дадите, дадите! И я в нем буду стоять за спинкой моего стула — какие мы с тем стулом были бедные, Марина! — но и оно не богатое, оно только — благородное, это то, в котором Настенька ходила на «Севильского цирюльника!» еще ее бабушки! (нужно будет вставить!) На сегодня дадите, Марина? Потому что мне нужно будет еще успеть подшить подол.

— На сегодня — и на завтра — и насовсем.

— Что-о? Это — мне? Но ведь это же рай, Марина, это просто во сне снится — такие вещи. Вы не поверите, Марина, но это мое первое шелковое платье: раньше была молода, потом папочка умер, потом — революция... Блузки были, а платье — никогда. (Пауза.) Марина! Когда я умру, вы в этом меня положите. Потому что это было — первое такое счастье... Я всегда думала, что люблю белое, но теперь вижу, что это была бездарность. И бедность. Потому что другого не было. Это же — мне в цвет, мне в ма с т ь, как вы говорите. Точно меня бросили в котел, всю: с глазами, с волосами, со щеками, и я вскипела, и получилось — это. А как вы думаете, Марина, если бы я, например, в провинции этим летом вышла замуж — я знаю, что я не выйду, но если — можно мне было бы венчаться — в синем? Потому что — мне рассказывали — теперь даже в солдатском венчаются — невесты то есть. Будто бы одна даже венчалась в галифе. То есть — хотела венчаться, но батюшка отказался, тогда она отказалась — от церковного брака. Решено, Марина! Венчаюсь — в синем, а в грубо лежу — в шоколадном!

После платьев настал желтый сундук.

Узнав, что она едет, я с нею уже почти не расставалась — брала с утра

к ней Алю и присутствовала при всей ее остающейся жизни. (И откуда-то, из слуховых глубин, слово: *règne*¹¹. Канада, где по сей день вместо *vie*¹² говорят *règne*, о самой бедной невидной человеческой жизни, о жизни дроворуба и плотогона — *règne*. Моп *règne*. Топ *règne*¹³. Так, на французском канадском эта Сонечкина остающаяся жизнь, в порядке всех остальных, была бы *règne, la fin de son règne*¹⁴. И меня бы не обвиняли — в гиперболе: в е л и к и й народ, т а к называющий — жизнь.)

— Ну, Марина, нынче я укладываюсь!

Сажу на подоконнике. Зеленое кресло — пустое: Сонечка раскладывается и укладывается, переносит с места на место, как кошка котят, какие-то тряпочки, бумажечки, коробочки... Открывает желтый сундук. Подхожу и я — наконец посмотреть приданое.

Желтый сундук — пуст: на дне желтого сундука только новые ослепительно рыжие детские башмаки.

— Сонечка? Где же приданое?

Она, держа в каждой руке по огромному башмаку, еще крупнейшему — от руки:

— Вот! Сама купила — у нас в Студии продавались по случаю, еще чьей-то сестры или брата. Я и купила, убедив себя, что это очень практично, потому что такие толстые... Но нет, Марина, не могу: слишком жесткие, и опять с мордами, с наглыми мордами, новыми мордами, сияющими мордами! И на всю жизнь! До гробовой доски! Теперь я их продаю.

Через несколько дней:

— Ну как, Сонечка, продали ботинки?

— Нет, Марина, мне сказали, что очень просто: прийти и стать — и сразу с руками оторвут. Рвать-то рвали, и очень даже с руками, но, Марина, это такая мука: такие глупые шутки, и такие наглые бабы, и мрачные мужики, и сразу начинают ругать, что подметки картонные или что не кожа, а какое-то там «сырье»... Я заплакала — и ушла — и никогда больше не буду продавать на Смоленском.

А еще день спустя, на тот же мой вопрос:

— О, Марина! Как я счастлива! Я только что их подарила. Хозяйской девчонке — вот радость была! Ей двенадцать лет и ей как раз. Я думала Алечке — но Алечке еще целых шесть лет ждать — таких морд, от которых она еще будет плакать! А хозяйская Манька — счастлива.

В один из ее предотъездных дней я застала у нее громадного молодого солдата, деликатно присевшего с краю пикейного одеяла, разложив по коленям огромные руки...

— А это, Марина, мой ученик — Сеня. Я его учу читать.

— И хорошо идет?

— Отлично, он страшно понятливый, — да, Сеня?

— Как сказать, Софья Евгеньевна...

— Уже по складам или пока только буквы?

— Сеня! — Сонечка, заливаясь. — Марина Ивановна — потому что эту гражданку зовут Марина Ивановна, она знаменитая писательница — Марина Цветаева. Сеня, запомните, пожалуйста! Марина Ивановна думала, что я вас читаю учу, азбуке! Я его читке учу, выразительному чтению... А мы с ним давно-о грамотные, правда, Сеня?

— Второй год, Софья Евгеньевна.

Никогда не забуду тот взгляд глубочайшего обожания, которым солдат отметил это «мы с ним»...

¹¹ Царство (франц.).

¹² Жизнь (франц.).

¹³ Мое царство. Твое царство (франц.).

¹⁴ Царством, окончанием ее мира (франц.).

— «Товарищ, товарищ»... А вот меня на улице никто не зовет товарищ и почти никогда — гражданка, всегда: «гражданочка» — и сразу всякое такое в рифму. Гражданочка-смугляночка — хотя я вовсе не смуглая, это меня только румянец темнит — или там: миляночка, а один даже целый стих сочинил:

Гражданочка, гражданочка,
Присядь ко мне на лавочку,
Поешь со мной бараночку! —

а я ему: «А где бараночка? Обещал — так давай!» «А я это только так, гражданочка, для складу, и никакой, к сожалению, бараночки у меня нету, потому что Колчак-сволочь оголодил, а ежели бы время другое — не только бараночку, а целое стадо бы баранов вам пригнал — для ради ваших прекрасных глазок. Потому что глазки у вас, гражданочка...» И всё эти глаза, эти глаза. Разве они уж правда — такие особенные? И почему я только солдатам нравлюсь и еще старикам и никогда, никогда — интеллигентам?

Я много раз давала ее протяжное: Марина... (О, Мари-ина... Ах, Мари-ина!) Но было у нее другое Марина, отрывистое, каким-то вздрагиванием верхней губы, и неизбежно предшествующее чему-нибудь смешному: «М'р'н'а (вроде французского *Marne*), а вы заметили, как он, когда вы сказали...» Мое имя, бывшее уже дрожанием смеха, уже входившее в смех, так сказать открывающее руладу, с буквами — пузырящимися под губой.

Моим именем она пела, жаловалась, каялась, томилась, им же — смеялась.

Накануне отъезда она принесла Але свой подарок: «Детство и отрочество» в красном переплете, свое, детское, с синими глазами Сережи Ивина и разбитой коленкой его и целой страницей ласкательных имен.

— О, Марина! Как я хотела подарить вам мою «Неточку Незванову», но у меня ее украли: взяли и не вернули. Марина! Если когда-нибудь увидите — купите себе ее от меня на память, в ней все мое к вам, потому что это повесть о нас с вами, и повесть тоже не окончена — как наша...

Потом был последний вечер, последний граммофон, последнее втроем, последний уход — в последний рассвет.

Пустынная площадь — перед каким вокзалом? Мнится мне — перед Богом забытым, не знаю — Брянским? наверное — деревянным. Мужики, мешки. Бабы, мешки. Солдаты, мешки. А все же — пусто. Отвесное солнце, лазурь — синее того платья.

Стоим — Сонечка, тот солдат, я.

— А это, Марина, моя ученица!

На нас — заглывая ногами по дюжине булыжников зараз — женский колосс, девический колосс, с русой косой в кулак, в синей юбке до колен, от которых до земли еще добрых полсажени, со щеками красного лаку, такого красного и такого лаку, что Сонечкины кажутся бледными.

И Сонечка, в ответ на мой изумленный взгляд:

— Да, и нам всего шестнадцать лет. И мы первый год как из деревни. На сцену хотим. Вот какие у нас на Руси бывают чудеса!

И, приподнявшись на цыпочки, с любовью поглаживает.

Ученица, вопреки всякому правдоподобию еще покраснев, могучим басом:

— Софья Евгеньевна, я вам продовольствия принесла на дорогу. — Вынимаю могучий мешок. — Цельный месяц — сыты будете.

Перрон. Сонечка уже внутри. Плачет — из вагона прямо на перрон.

— Марина! Марина! Марина! Марина!

Я, уж не зная, чем утешить:

— Сонечка! Река будет! Орехи будут!

— Да что вы меня, Марина, за бездушную белку принимаете? — Плача. —
 Без вас, Марина, мне и орех не в орех!
 ...Алечку — поцелуйте!
 ...Мой граммофон — поцелуйте!
 ...Володечку — поцелуйте!

1

«Бесценная моя Марина!

Все же не могла — и плакала, идя по такой светлой Поварской в сегодняшнее утро, — будет, будет, и увижу вас не раз и буду плакать не раз, — но так — никогда, никогда —

Бесконечно благодарю вас за каждую минуту, что я была с вами, и жалею за те, что отдавала другим, — серьезно, очень прошу прощения за то, что я раз сказала Володе — что он самый дорогой.

Самая дорогая — вы, моя Марина.

Если я не умру и захочу снова — осени, сезона, театра, — это только вашей любовью, и без нее умру — вернее без вас. Потому что знать, что вы — есть, знать, что Смерти — нет. А Володя своими сильными руками сможет вырвать меня у Смерти?

Целую тысячу раз ваши руки, которые должны быть только целуемы — а они двигают шкафы и поднимают тяжести — как безмерно люблю их за это.

Я не знаю, что сказать еще — у меня тысяча слов — надо уходить. Прощайте, Марина, — помните меня — я знаю, что мне придется все лето терзать себя воспоминаниями с вас, — Марина, Марина, дорогое имя, — кому его скажу?

Ваша в вечном и бесконечном Пути — ваша Соня Голлидэй (люблю свою фамилию — из-за Ирины, девочки моей)».

2

«Вещи уложены. — Жизнь моя, прощайте! — Сколько утр встречала я на зеленом кресле — одна с мыслями о вас. Люблю все здесь — потому что вы здесь были.

Ухожу с болью — потому же.

Марина — моя милая, прекрасная — я писать не умею и я так глупо плачу. Сердце мое — прощайте.

Ваша Соня».

3

(Але)

«Целую тебя, маленькие тоненькие ручки, которые обнимали меня, — целую, — до свидания, моя Аля, — ведь увидимся?

Наколдуй счастье и Большую Любовь — мне, маленькой и не очень счастливой.

Твоя Соня».

4

«20 июня (7-го старого стиля) 1919 г.

Моя дорогая Марина — сердце мое — я живу в безмерной суматохе — все свистят, поют, визжат, хихикают — я не могу собраться с мыслями — но сердцем знаю о своей любви к вам, с которой я хожу мои дни и ночи.

Мне худо сейчас, Марина, я не радуюсь чудесному воздуху, лесу и жаворонкам, — Марина, я тогда все это знаю, чувствую, понимаю, когда со мной — вы, Володя, мой Юрочка — даже граммофон — я не говорю о Шопене и «Двенадцатой рапсодии», — когда со мной Тот, которого я не знаю еще — и которого никогда не встречу.

Я могу жить с биением пульса 150 даже после мимолетной встречи глазами. (им нельзя запретить улыбнуться!) — а тут я одна — меня обожают деревен-

ские девчонки — но я же одинока, как телеграфные столбы на линии железной дороги. Я вчера долго шла одна по направлению к Москве и думала: как они тоскуют, одинокие, — ведь даже телеграммы не ходят! — Марина, напишу вам пустой случай, но вы посмеетесь и поймете — почему я сегодня в тоске.

Вчера сижу у Евгения Багратионовича и веду шутя следующий диалог с бабой.

Баба: — Красавица, кому папиросы набиваешь? Муженьку?

Соня: — Да.

Баба: — Тот, что в белых брюках?

Соня: — Да.

Баба: — А что же ты с ним не в одной избе живешь?

Соня: — Да он меня прогнал. Говорит, больно подурнела, — а вот папиросы набивать велит — затем и хожу только, а он другую взял.

Вечер того же дня.

Баба ловит Вахтангова и говорит:

— Что ж ты жену бросил, на кого променял? Ведь жена-то красавица, — а кого взял? — Не совестно? — Живи с женой!

Ночь того же дня.

Я мою лицо в сенях. Входит Вахтангов:

— Софья Евгеньевна, что вы — ребенок или авантюристка? — и рассказ бабы.

Убегаю от Вахтангова и безумно жалею, что не с ним.

Это пустое все. — Марина, пишите, радость моя, — пишите. С завтрашнего дня я въезжаю в отдельную комнату и буду писать дневник для вас, моя дорогая. — Пишите, умоляю, я не понимаю, как живу без вас...

Марина, увозят вещи — надо отнести письмо — не забывайте меня. Прошу, умоляю — пишите.

О, как я плакала, читая ваше последнее письмо, как я люблю вас. — Целую ваши бесценные руки, ваши длинные строгие глаза и — если б можно было поцеловать — ваш обворожительно-легкий голос.

Я живу ожиданием ваших писем. Алечку и Ирину целую. — Мой граммофон, — где все это?

Ваша С.»..

5

(Последнее)

«1 июля (20-го июня старого стиля) 1919 г. Заштатный город Шишкеев.

Марина, — вы чувствуете по названию — где я?! Заштатный город Шишкеев — убогие дома, избы, бедно и грязно, а лес где-то так безнадежно далеко, что я за две недели ни разу не дошла до него. — Грустно, а по вечерам душа разрывается от тоски, и мне всегда кажется, что до утра я не доживу.

По ночам я писала дневник, но теперь у меня кончилась свеча и я подолгу сижу в темноте и думаю о вас, моя дорогая Марина. — Такая нежданная радость — ваше письмо. — Боже мой, я плакала и целовала его и целую ваши дорогие руки, написавшие его.

Марина, когда я умру, на моем кресте напишите эти ваши стихи:

Так и кончилась с припевом:

«Моя маленькая!»

Такое изумительное стихотворение.

Марина, сердце мое, я так несвязно пишу. Сейчас день самый синий и жаркий, — так все шумит, что я не могу думать. — Я пишу, безумно торопясь, так как Вахтанг Леванович едет в Москву — и мне сроку полчаса. — Марина, умоляю вас, мое сердце, моя Жизнь — Марина! — не уезжайте в Крым пока, до

1-го августа. Я к 1-му приеду, я умру, если не увижу вас,— мне будет нечем жить, если я еще не увижу вас.

Марина, моя любимая, моя золотая, не уезжайте — я не знаю, что еще сказать.

Люблю вас больше всех и всего и — что бы я ни говорила — через все это.

Марина, милая, нежная, дорогая, целую вас, ваши глаза, руки, целую Алечку и ее ручки за письмо,— презираю отца, сына и его бездарную любовь к «некой замужней княгине»,— огорчена, что Володя не пишет, по-настоящему огорчена.

Сердце мое, Марина, не забывайте меня.

Ваша Соня.

Дневник пишу для вас.

По дороге в Рузаевку я дала на одной из станций телеграмму Володе:

Целую вас — через сотни
Разъединяющих верст!

Даю телеграфисту, а он не берет срочно подобную телеграмму — говорит, это не дело. Еле умолила.

Целую.

Молюсь за вас.

P. S.— Против моего дома церковь, я хожу к утрени и плачу.

Соня».

После Сонечкиного отъезда я малодушно пошла собирать ее по следам. Мне вдруг показалось — я вдруг приказала себе поверить, что — ничего особенного, что в ее окружении — все такие.

Но, к своему удивлению, я вскоре обнаружила, что Сонечки все-таки — как будто — нет, совершенно так же, как за неимением папиросы машинально суешь себе в рот — что попало длинного: карандаш — или зубную щетку — и некоторое время успокаиваешься, а потом, по прежнему недомоганию, замечаешь, что — не то взял.

Студийцы меня принимали, по следу Сонечкиной любви, отлично, сердечно, одна студийка даже предложила мне, когда Ирина вернется из деревни, взять ее с собой — в какую-то другую деревню... мы несколько раз с ней встретились — но — она была русая и голубоглазая — и вскоре обнаружилось, что Сонечка совсем ни при чем. Это была — моя знакомая. Моя чужая новая знакомая.

Как в книге — «продолжение следует», здесь продолжения — не следовало.

Продолжение следовало — с Володей, наше продолжение, продолжение прежних нас, до-Сонечкиных, не разъединенных и не сближенных ею. Казалось бы — естественно: после исчезновения между нами ее крохотного физического присутствия нам это крохотное физическое отсутствие, чуть подавшись друг к другу, восполнить, восполнить — собою, то есть просто сесть рядом, оказаться рядом. Но нет — как по уговору — без уговору — мы с ее исчезновением между нами — отсели, он — в свой далекий угол, я — на свой далекий край, на целую полуторную Сонечкину длину друг от друга. Исчезнувшая между нами маленькая черная головка наших голов не сблизила. Как если бы то, с Сонечкой, нам только снилось и возможно было только с ней: только во сне.

Но тут должно прозвучать имя: Мартин Иден.

— Это — больше, чем можно сказать: и вещь, и герой, и автор. Больше, чем мне можно сказать... Когда-нибудь, когда расстанемся... Марина Иванова, прочтите «Мартина Идена», и когда дойдете до места, где белокурый всадник на белом коне,— вспомните и поймайте — меня.

Девятнадцать лет спустя, девятнадцать с половиной лет спустя. в ноябре 1937 года, иду в дождь, в Париже, по незнакомой улочке, с русским спутником Колей — чуть постарше тогдашнего Володи.

-- Марина Ивановна! А вот книжки старые — под дождем — может быть, хотите посмотреть?

Приоткрываю брезент: на меня глазами глядит Мартин Иден.

Теперь — пояснение. Дико было бы подумать обо мне, живущей только мечтой и памятью, что я то Володино завещание — забыла.

Но — так просто войти в лавку и спросить «Мартина Идена»?

Как Володя когда-то вошел в мою жизнь — сам, как все большое в моей жизни приходило само — или вовсе не приходило, так и Мартин Иден должен был прийти сам.

Так и пришел — ныне, под дождем, по случайному слову спутника.

Так и предстал.

Мне оставалось — только протянуть руку: ему, утопающему под дождем и погибающему от равнодушия прохожих. (Вспомним конец Мартина Идена и самого Джека Лондона!)

В благополучной лавке — нового, неразрезанного «Мартина Идена», любого «Мартина Идена», очередной экземпляр «Мартина Идена» — было бы предательством самого Володи, тройным предательством: Джека Лондона, Мартина Идена и Володи. Торжеством той la Chose Etablie¹⁵, биясь об которую они все трое жизнь отдали.

А так — под дождем — из-под брезента — в последнюю минуту перед закрытием — из рук равнодушной торговли — так — это просто было спасением: Мартина Идена и памяти самого Володи. Здесь Мартин Иден во мне нуждался, здесь я ему протягивала руку помощи, здесь я его действительно рукой — выручила

И вот, в конце этой бессмертной книги — о, я того белокурого всадника тоже не искала и даже не ждала, зная, что предстанет — в свой срок на своей строке! — в конце этого гимна одинокому труду и росту, этого гимна о д и н о ч е с т в у в уже двенадцатый его час в мире...

— видение белого, но не всадника: гребца, пловца, тихоокеанского белолицего дикаря стойком на щепке, в котором я того белокурого всадника (никогда не бывшего, бывшего только в моей памяти) — узнала.

Девятнадцать лет спустя Мартин Иден мне Володю — подтвердил.

Однажды я читала ему из своей записной книжки — Юру, Павлика, Сонечку, себя, разговоры в очередях, мысли, прочее — и он, с некоторой шутливой горечью:

— Марина Ивановна, а мне все-таки обидно — почему обо мне ничего нет? — о — нас? о —нашем?.. Вы понимаете, я в мире внешнем, в жизни, вас ни к чему не ревную, но в мире мысли и — как бы еще сказать? Я сам никогда ничего не записываю — у меня и почерк детский — я знаю, что все — вечно, во мне — вечно, что все останется и в нужный час — встанет, все, каждое наше с вами слово. У меня даже чувство, что я, записывая, что-то — оскорбил бы, умалил бы... Но вы — другое, вы писательница...

— А вы это когда-нибудь, хоть раз за всю нашу дружбу, заметили, Володя?

Он, усмехнувшись:

— Другие — говорили...

-- Стойте, Володя! А у меня есть про вас — две строки, конец стихов, никогда не написанных:

Если бы царем вас Бог поставил,
Дали б вам прозвание — Тишайший.

Глазами вижу, как спускает стих себе в грудь и там его слушает. И, с началом усмешки:

— Марина Ивановна. Это я только с вами — такой — тихий.

¹⁵ Установленного порядка (франц.).

Я еще нигде не сказала об его улыбке: редкой, короткой, смущенной, себя — стыдящейся, из-под неизменно опущенных глаз — тех — снисходительных и даже снисходящих, которыми он смотрел, вернее несмотрел на меня, когда я заговорила о Юре. Улыбка с почти насильственным сведением расходящихся губ, приведением их на прежнее место — несмеха. Странно, но верно, и прошу повернуть: такая улыбка бывает у двухгодовалых, еще мало говорящих детей, с неизменным отводом, а иногда и зажатием — глаз. Да, у Володи была детская улыбка, если отказаться от всех общих мест, которые с детским связаны.

И еще — такая улыбка (скрытого торжества и явного смущения) бывает на лицах очень молодых отцов — над первенцем: непременно — сыном. Если в с трудом сводимых губах было смущение, то в глазах было — превосходство.

Володя, Володя, когда я где-нибудь на чьем-нибудь лице — двухгодовалого ребенка ли в сквере, сорокалетнего ли английского капитана в фильме — вижу начало этой улыбки — ни сквера, ни фильма, ни ребенка, ни капитана — то кончается эта улыбка вашей.

И все — как тогда.

Мы с ним никогда не говорили про Сонечку. Я знала, что он ее по-другому любит, чем я, и она его по-другому, чем меня, что мы с ним на ней не споемся, что для него она — меньше, чем есть, потому что была с ним — меньше, чем есть, потому что всем, что есть — была со мною, а сразу с двумя порознь нельзя быть всем, можно только с двумя вместе, то есть втроем, как оно в нашем втроем и было, а оно — кончилось.

Я даже не знаю, писал ли он ей.

Наша беседа о ней непременно была бы спором, я чувствовала, что у него к ней — нет ключа, — и, чтобы все сказать: он для нее был слишком молод, слишком молод для ее ребячества, под которым он в свои двадцать лет не мог прочувствовать всей беды и судьбы. Для него любить было — молиться; но как молиться — такому маленькому, которого, и став на колени, неизбежно окажешься — и выше, и старше?

Смолк и наш граммофон, оказавшийся только Сонечкиным голосом, тем вторым голосом, на отсутствие которого у себя в груди она так часто и горячо жаловалась.

Сонечка, с граммофоном; с зеленым креслом, с рыжими непроданными башмаками, с ее Юрой, с ее Володей и даже с ее мною, со всем своим и всей собой, вся переселялась в мою грудь, и я — с нею в груди — вся переселилась в будущее, в день нашей встречи с ней, в который я твердо верила.

Все эти дни без нее — я точно простояла, точно застась рукой от солнца, как баба в поле, — не идет ли? Или проспала, как девочка, которой обещали новую куклу — и вот она все спит, спит, и встает — спит, и ложится — спит, — лишь бы только время прошло! Или — как арестант, ежедневно зачеркивающий на стене еще одну палочку. Как навстречу идут — так я жила ей навстречу, шла ей навстречу — каждым шагом ноги и каждым мигом дня и помыслом лба — совсем как она тогда, по шпалам, по направлению к Москве, то есть — ко мне.

О, я совсем по ней не скучала — для этого я слишком ей радовалась!

Вот ее отзвуки — в моей записной книжке тех дней:

«Сейчас передо мной Алины колени и длинные ноги. Она лежит на крыше, спустив ноги на подоконник. — Марина! Вот облако плывет, — может быть, это душа вашей матери? — Марина, может быть, сейчас к нашему дому подходит Русалочка, — та, которой было триста лет? (И крестится, заслышав с улицы музыку.) — Марина! Марина! Марина! Как дым летит, боже мой! Ведь этот дым летит всюду, всюду! Марина, может быть, это дым от поезда, в котором едет Сонечка? — Марина, может быть, это дым от костра Иоанны? А сколько душ в этой вышине, правда?»

...«О женщинах не скажу, потому что всех вспоминаю с благодарностью, но люблю только Сонечку Голлидэй».

— Марина Ивановна! Сегодня наш последний вечер. Я завтра уезжаю.

— Последний... завтра... Но почему же вы, как вы могли мне раньше...

— Марина Ивановна! — Голос настолько серьезный, что даже — остерегающийся. — Не заставляйте меня говорить того, что не нужно: мне — говорить, вам — слышать. Но будьте уверены, что у меня на то были — серьезные причины.

— Скрыть от меня — конец? Ходить как ни в чем не бывало, а самому — знать? одному знать?

— Ну, если вы уж решительно хотите...

— Ни решительно, ни нерешительно, я просто — ничего не хочу, Бог с вами совсем! Мне просто — все это — приснилось, ну — лишний раз — в с е п р и с н и л о с ь!

— Марина Ивановна! Вы все-таки — человек и я — человек, а человеком быть — это чувствовать боль. Зачем же мне, которому вы дали столько радости, только радость, было причинять вам эту боль — до срока? Достаточно было — моей.

— Володя, вы твердо решили?

— Уже чемодан уложен.

— Вы один едете?

— Нет, нас несколько. Несколько — студийцев. Потом я от них отделюсь.

— Я вас правильно понимаю?

— Да.

— А — родители?

— Они думают — играть. Все думают — играть. И назад. Только — вы.

Марина Ивановна, я не могу играть жизнь, когда другие — живут. Я не актер.

— Я это всегда знала.

— А теперь забудем и будем проводить вечер как всегда.

И вечер прошел — как всегда. И п р о ш е л — как всегда, всякий.

В какую-то его минуту, я — как завеса с глаз:

— А Ангел-то были — вы, Володечка!

— Что? — И, поняв, смущенно: — Ах, вы об этом... — И уже — твердо: — Нет, Марина Ивановна, я — не ангел: моя самая большая мечта когда-нибудь стать человеком.

Потом тем самым, не своим — Сонечкиным, сонным, спящим, самому себе, не мне. — голосом:

— Я, может быть, был слишком честным...

И, еще спустя:

— Карл Великий — а может быть, и не Карл Великий — сказал: «С Богом надо говорить по-латыни, с врагом — по-немецки, с женщиной — по-французски...» — Молчание. — И вот — мне иногда кажется — что я с женщинами говорю по-латыни...

(Если я его тогда не сбняла... но он не этого хотел от меня — и не этого от себя со мною...)

Перед самым его уходом, но еще в комнате — уже почти светлой:

— Марина Ивановна, вам всегда нравился мой перстень. Возьмите его! Я с первой минуты хотел вам его подарить и с тех пор — чуть ли не каждую нашу встречу, но все — чего-то — ждал. Теперь оно настало. Это не подарок. Марина Ивановна, это — дань.

— Володя! Это, кажется, первое кольцо, которое мне дарят, всегда — я, и, — сняла и держу, — если я до сих пор вам не подарила — этого, то только потому, что уже дарила и Юре и Павлику, а скольким — до них! Я не хотела, я не могла, чтобы вы этим — как-то — стали в ряд.

— А к а к я им завидовал! Теперь могу сказать. И Павлику и Юре — что с. в а ш е й руки — и такие прочные! Прямо, — смеясь, — сгорал от зависти! Нет, Марина Ивановна, вы мне его непременно дадите, и я этим — не стану в ряд...

Любуясь:

— И щиток — пустой. Для имени. Я так привык его видеть на вашей руке, что теперь моя собственная мне будет казаться вашей. — Держа на отлете. — А у Юры — меньше. У Юры — с китайки, а у меня — с китайца, с китайского мудреца.

— самого простого кули, Володечка.

— А если он еще вдобавок и кули... весь социальный вопрос разрешен!

Шутим, шутим, а тоска все растет, растет...

— Володя, знаете, для чего существуют поэты? Для того, чтобы не стыдно было говорить — самые большие вещи:

И сохранят всегда мои дороги —
Твою печать.

Стоим под моими тополями, когда-то еле зелеными, сейчас — серебряными, и до того серебряными, что ни веток, ни ствола не видно.

— Нет, нет, Марина Ивановна, вы не думайте, это еще не последний раз, я еще завтра, то есть — уже сегодня, я еще раз сегодня приду — за карточками детей — и совсем проститься.

Когда он «на следующий день» пришел и я, впервые после той нашей, уже век назад, первой и единственной дневной прогулки, увидела его при свете и даже — на солнце, я просто обмерла:

— Володя! Да что же это такое? Да вы же совсем не черный! Вы же — русский!

— И даже светло-русый, Марина Ивановна.

— Господи, а я-то целые полтора года продружила с черным!

— Вы, может быть, еще скажете, что у меня глаза — черные? — он, с немножким грусти.

— Нет, сине-серые, это я всегда знала, и с серыми — дружила... Но эти волосы — сон какой-то!

— Марина Ивановна, боюсь, — в голосе под слоем шутки явная горечь, — что вы и все остальное во мне видели по-своему! Всего меня, а не только, — презрительный жест к волосам, — это!

— А е с л и — разве плохо видела?

— Нет, Марина Ивановна, хорошо, даже слишком хорошо, потому и боюсь с вами — дневного света. Вот я уже оказался — русым, а завтра бы оказался — скучным. Может быть — хорошо, что я еду?

— Володя! Не выводите меня из себя, из моего последнего с вами терпения, из нашего последнего с вами терпения! Потому что сами не обрадуетесь — и еще, может быть, не уедете! У меня полон рот, понимаете, полон рот. — и я сейчас всем этим — задохнусь!

— Н е надо, Марина Ивановна!

Сидим теперь в той чердачной комнате, откуда Аля лезла мне навстречу на крышу.

— Алечка! У меня к тебе просьба: почитай мне мамины стихи!

— Сейчас, Володечка!

Прибегает с малиновой книжкой, которая у нее в кухне под подушкой.

Серый ослик твой ступает прямо,
Не страшны ему ни бездна, ни река...
Милая Рождественская Дама,
Увези меня с собою в облака!
Я для ослика достану хлеба...

Голосок журчит...

— Марина Ивановна, я вам подарок принес! Мою любимую книгу — про Жанну д'Арк — вы не знаете? Марка Твена — замечательную.

Раскрываю: надпись. Не читая — закрываю.

— Марина Ивановна, я всегда хвастался, что у меня свой оружейный склад — свой музей — и своя библиотека, — и никому не показывал, потому что у меня были ровным счетом: гишпанская пиштоль, перстень и две книги: «Мартин Иден» — и эта. Теперь у вас — весь мой арсенал — весь мой музей — и вся моя библиотека. Я — чист.

— Марина! — Алин голос. — А мне можно подарить Володе мой «Волшебный фонарь»? Чтобы он читал в вагоне, если уж очень будут ругаться солдаты. Чтобы он и м читал, потому что они тогда от удивления усмирятся, а потом заснут. Потому что деревенские от стихов всегда засыпают...

Володя, целуя ручку и в ней книжку:

— Я не с солдатами еду, Алечка, а с сумасшедшими, говорят — тихими, но сейчас тихих нет, сейчас все буйные.

— Володя, а мы с Мариной вам письма написали на дорогу, как когда-то писали папе, чтобы читал в вагоне. Это — наши прощальные голоса.

— Когда ваш поезд?

— Скоро. Мне уже идти нужно.

— А проводить?..

— Нет, Марина Ивановна, я хочу с вами проститься — здесь.

— Теперь посидим перед дорогой.

Садимся в ряд на узкий диван красного дерева. Аля вслух молится:

— Дай, Господи, Володе счастливо доехать и найти то, что ищет. И потом вернуться в Москву. И чтобы мы еще были живы, и чтобы наш дом еще стоял. Аминь.

Крестимся, встаем, сходим по узкой мезонинной лестнице в вечную тьму коридора. На мое извечное движение — идти с ним дальше:

— Не провожайте дальше. Трудно будет идти.

Последняя минута. Скажу или нет? Скажет или —

Просто, как если бы всю жизнь только это и делал, обнимает меня за голову, прижимает к груди, целует в голову, целует в лоб, целует в губы.

Потом трижды крещу, творю над его лбом, плечами, грудью тот основной + крест его лица.

Отступил: уже за порогом. И через порог, уже без руки:

— Прощайте, Марина... — и, гору глотнув, — Ивановна.

«Милый Володя!

Желаю, чтобы в вагоне не было душно, чтобы вас там кормили, хорошо обращались, никто к вам не приставал бы, дали бы вам открытое окно. Хочу, чтобы вся дорога была так хороша и восторженна, как раньше. Вы уезжаете, наш последний настоящий друг.

Володя! Я сейчас подняла голову и была готова заплакать. Я очень грущу. Вы последний по-настоящему любили нас, были так нежны с нами, так хорошо слушали стихи. У вас есть Маринина детская книга. Вы ее будете читать и вспоминать, как читала вам — я. Скоро опять кто-нибудь поедет в Киев и мы опять вам напишем письма.

Володя. Мне кажется неправдой, что скоро вас не будет. О, Господи! Эти вагоны не подожгут, потому что все пассажиры невинные. Постарайтесь быть незаметным и придумайте себе хорошую болезнь. Может случиться ужасно...»

Эти напутственные Алины ужасы — не уцелели, потому что тут же послышался Володин прощальный стук, и письма ее себе в тетрадку я допереписать не успела. Думаю, что следовало описание водворения Володи на киевском вокзале из сумасшедшего вагона в фургон как самого опасного из сумасшедших.

На книге о Жанне д'Арк было написано:

«Мы с вами любим — одно».

Потом было письмо, одно-единственное, в несколько строк.

Письмо кончалось: «Твердо надеюсь, что мы с вами еще встретимся. Этой верой буду жить».

Потом началось — молчание.

Стук в дверь. Открываю — Сонечка.

Радость? Нет. Удар — такой силы, что еле устанваю на ногах.

А в ушах — родной поток:

— Марина... — И что-то еще, и еще, и еще, и опять: — Мар-рина... — И только постепенно встают из потока слова: — ...только час, только час, только час. У меня только час... У меня с вами только час! Я только что приехала и сейчас опять уезжаю... У нас с вами только час! Я только для вас приехала. Только час!

На лестнице сталкиваемся с квартирантами, спускающимися.

Сонечка:

— Я Софья Евгеньевна Голлидэй, мне вам нужно сказать два слова.

Отец и сын покорно сворачивают обратно вверх. Стоим все на лестничной площадке.

— Гадные люди! Как вы можете так эксплуатировать женщину, одну, без мужа, с двумя маленькими детьми?!

— Да мы... да мы...

— Вы вламываетесь в кухню, когда она спит, чтобы мыться... — фыркая, как три кошки... — под струей! Точно вы от этого чище! Вы продаете ее часы и не даете ей денег! Вы в ее комнате, где ее книги и тетради, развешиваете свое поганое грязное белье!

— Но — позвольте... Софья Евгеньевна, — молодой, обидчиво, — мы только мокрое чистое развешиваем!

— Ну, чистое — все равно поганое. Потому что есть чердаки с балками, но вам лень туда лезть.

— Но там пол проваливается, балки на голову падают...

— И чудесно, если проваливаются... и чудесно, если падают...

— И, в конце концов, Марина Ивановна нам эту комнату — сдала.

— Но вы ей ни разу не заплатили.

— Это потому, что у нас сейчас нет денег: мы не отказываемся...

— Словом, это — бездарно, все ваше поведение с Мариной бездарно. И даже преступно. Вы, когда весь двор был полон солдатами — не разбудили ее среди ночи? Не просунули ей в щель какие-то идиотские мемуары и портреты — и целую мальтийскую шпагу?

— Но Марина Ивановна сама говорила, что если в случае...

— Я знаю, что — сама. А вы — пользуетесь. А если бы ее — расстреляли?

Отец молчит и тяжело сопит, внутренне со всем согласный.

— Словом, помните: я сейчас уезжаю. Но я вернусь. И если я узнаю, что вы — вы меня поняли? я наведу на вас беду — болезнь — и тиф, и чесотку, и что угодно — я вас просто п р о к л я н у.

(Нужно сказать, что после этого поляки присмирели, а впрочем, с первыми холодами — съехали. Прибавлю, что они были неплохие люди, а я — большая дура.)

Сидим наверху, на диване Володиного прощания. Комната вся в косых лучах — слез.

— Марина, я очень странно себя чувствую — точно я уже умерла и посещаю места... Марина, а граммофон — еще играет?

— С тех пор не заводила, Сонечка.

— И Володечки нет. Не то что нет — его ведь часто не было — а вот то, что не войдет... Только неделя как уехал? Жаль...

Если бы я знала, что все так будет ужасно. я бы, может быть, не пришла к вам в первый раз?..

...Это сюда кот к вам лазил, в дыру в окне? Каждую ночь — в котором часу? Марина, может быть, это моя смерть была — он ведь валерьянкой пах? — когда умирают, ведь тоже пахнет эфиром... Потому что зачем ему было лазить, раз нечего было есть? Он за мной приходил, Марина, за нашей смертью, за концом этого всего... Такой светло-светло-серый, почти совсем невидный — как расцвет? И весь в слюнях? О, какая гадость, Марина, какая гадость! Ну конечно, это был не кот, Марина, — уже по вашей покорности... А я в эти часы не спала и плакала, ужасно плакала, Марина, по вас, по мне...

...Марина, если вы когда-нибудь узнаете, что у меня есть подруги, подруга, — не верьте: все тот же мой вечный страх одиночества, моя страшная слабость, которую вы никогда не хотели во мне признать. И — мужчина — не верьте. Потому что это всегда туман — или жалость — вообще самозабвение. Вас же я любила в здравом уме и твердой памяти и все-таки любила — безумно. Это, Марина, мое завещание.

...Завещаю вам Юру. Он не такой ничтожный, какой даже нам кажется, не такой бездушный... Я не знаю, в городе ли он сейчас, у меня был только час, и этот час — ваш — и я не смею просить вас... Марина! Я не смею вас просить, но я буду вас умолять... не оставьте Юру! Вы иногда о нем с добротой — хоть думайте... А если зимой встретите (я, конечно, осенью вернусь), скажите ему, но только не прямо — он этого не любит — ну, вы — сумеете! — что если я даже выйду замуж, он из ангелов все-таки мой любимый... А Володю я бы всю жизнь так любила, всю жизнь любила, но он не мог меня любить — только целовать — да и то (чуть рассмеявшись) как-то нехотя, с надсадом. Оттого и целовал так крепко. У вас чувство — он когда-нибудь вернется?

...И Алечки моей нет... Передайте ей, когда вернется из своего Крылатского (какое название чудесное!), что я бы такую дочку хотела, такую дочку — хотя я знаю, что у меня их никогда не будет. Почему, Марина, мне все ваше пришлось полюбить, все до последней паутины в доме, до последней трещины на доме? Чтобы все — потерять?

...Который час? Ах, это у вас — в «Приключении» — она все спрашивает: который час? И потом опять: который час? И никогда не слышит ответа, потому что это не «который час», а: когда — смерть? Марина, нельзя все вернуть назад, взять и повернуть — руками — как реку? Пустить — обратно? Чтобы опять была зима — и та сцена — и вы читаете «Метель». Чтобы был не последний раз, а — первый раз?

О, если бы мне тогда сказали, что все это так кончится! Я бы не только не пришла к вам в первый раз, я бы на свет прийти — отказалась...

Но все-таки — который час, Марина? Это уже я — серьезно. Потому что меня к вам — не хотели пускать, я еле умолила, дала честное слово, что ровно в четыре буду на вокзале...

Марина, зачем я еду? Ведь я никого не убью — если не поеду? ведь — никто не умрет? Марина, можете ли вы меня понять? Я сейчас уезжаю от вас, которая для меня — всё — потому что дала слово в четыре быть на вокзале. А — для чего? Кто это все сделал?

Нет, Марина, не стоит рассказывать — и времени уже нет. (Который час, Марина?) Было — как везде и всегда было и будет без вас: — не было, я не была, ничего не было. Я сейчас (давзрыд плачет) в первый раз за весь этот месяц — живу, последний час перед смертью — живу, и сколько бы мне еще ни осталось жить. Марина, — это был мой последний час.

Встали, идем. Останавливаемся на пороге кухни.

— И моей Ирины нет. Я знала, что ее нет, но как-то не ждала пустой кровати. — Сама себе, потерянно: — Галли-дэ, Галли-дэ... Марина, я хочу прийти к вам — с фонарем проститься, с граммофоном... Ах, я забыла — там тедерь

поляки и «мокрое чистое» белье... Марина! Не провожайте меня! Даже на лестницу! Пусть будет так, как в первый раз, когда я к вам пришла: я — по ту сторону порога, вы — по эту, и ваше любимое лицо — во тьме коридора... Я ведь еду с «второй партией», — смеюсь сквозь слезы, — как каторжанка! Сонька-каторжанка и есть. Я не могу после вас — остаться с ними! Я их убью или сама из окна выброшусь! — Тихо, почти шепотом:

От лихой любовной думки
Как поеду по чугунке —
Распыхтится паровоз,

И под гул его угрюмый
Буду думать, буду думать,
Что сам черт меня унес.

От твоих улыбок сладких,
И от рук твоих в перчатках,
И от лика твоего —

И от слов твоих шумящих,
И от ног твоих спешащих
Мимо дома моего...

Марина! Как у ж а с н о сбывается! Потому что это сам черт меня уносит от вас...

Последние ее слова в моих ушах:

— Марина! Я осенью вернусь! Я осенью вернусь!

— Ну что, видели вашу Сонечку?

— Сонечку? Когда?

— То есть как — когда? Вчера, конечно, раз она вчера же уехала. Неужели она к вам не зашла? Так вот она какая неверная.

«Не знаю отчего, мне вдруг представилось, что комната моя постарела... Стены и полы обнели, все потускнело: паутины развелось еще больше. Не знаю отчего, когда я взглянул в окно, мне показалось, что дом, стоявший напротив, тоже одряхлел и потускнел в свою очередь, что штукатурка на колоннах облупилась и осыпалась, что карнизы почернели и растрескались и стены из темно-желтого яркого цвета стали пегие.

Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих; или, может быть, передо мною мелькнула так неприветно и грустно вся перспектива моего будущего, и я увидел себя таким, как я теперь, ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же комнате, так же одиноким...»

После первого удара, на который я ответила камнем всей подставленной груди, смертным холодом сердца, бессмертным холодом лба — цезаревым (смеяться нечего!) «И ты, Брут?», в котором я слышу не укор, а — сожаление, а — снисхождение: точно Брут — лежит, а Цезарь над ним — клонится...

Но сократим и скажем просто: я не поняла, но приняла — именно как принимают удар: потому что ты — тело и это тело было по дороге.

До моего отъезда из России в апреле 1922 года, то есть целых три года, я не сделала ни одной попытки разыскать Сонечку, три года существования с нею в одной стране я думала о ней как об умершей: минувшей. И это — с первой минуты вести, с последнего слога фразы:

— Была и уехала.

«Но чтобы я помнил обиду мою, Настенька?»

Обиды не было.

Я знала, что ее неприход—видимость, отсутствие—мнимость, может ли не прийти тот, кто тебе сопутствует, как кровь в жилах, отсутствовать — тот, кто не раньше увидит свет, чем твоя сердечная кровь?

И если я вначале как бы сердилась и негодовала, то только на поверхности — на поверхность поступка, надеясь этим своим негодованием обратить все

в обычное: отвратить — роковое. (Если я на Сонечку рассержусь и обижусь — то, значит, она — есть.)

Но ни секунды я в глубине своей души не поверила, что она — почему-нибудь не пришла, так — не пришла, н е п р и ш л а.

И чем больше мне люди — сочувствовали: «неблагодарность, легкомыслие, непостоянство» — тем одиноче и глубже я — знала.

Я знала, что мы должны расстаться. Если бы я была мужчиной — это была бы самая счастливая любовь — а так — мы неизбежно должны были расстаться, ибо любовь ко мне неизбежно помешала бы ей — и уже мешала — любить другого, всегда бывшего бы тенью, которую она всегда бы со мною предавала, как неизбежно предавала и Юру и Володю.

Ей неизбежно было от меня оторваться — с мясом души, ее и моей.

Сонечка от меня ушла — в свою женскую судьбу. Ее неприход ко мне был только ее послушанием своему женскому назначению: любить мужчину — в конце концов все равно какого — и любить его одного до смерти.

Ни в одну из заповедей — я, моя к ней любовь, ее ко мне любовь, наша с ней любовь — не входила. О нас с ней в церкви не пели и в Евангелии не писали.

Ее уход от меня был простым и честным исполнением слова апостола: «И оставит человек отца своего и мать свою...» Я для нее была больше отца и матери и, без сомнения, больше любимого, но она была обязана его, неведомого, предпочсть. Потому что так, творя мир, положил Бог.

Мы же обе шли только против «людей»: никогда против Бога и никогда против человека.

Но как же согласовать то чувство радостной собственности, Сонечкиной, для меня, вещественности и неотъемлемости, то чувство кольца на пальце — с этими отпущенными, отпустившими, опустившимися руками?

А — вот: так владев — можно было только так потерять.

Читатель, помнишь? — «или уж вместе с пальцем...».

Сонечку у меня оторвали — вместе с сердцем.

Умный зверь, когда наступает смерть, сразу знает: то самое — и не лечит-ся травками. Так и я, умный зверь, сразу свою смерть — узнала и, брезгуя всеми травками и поправками, ее приняла. Не: Сонечка для меня умерла, и не любовь умерла, — Сонечка из моей жизни умерла, то есть вся ушла внутрь, в ту гору, в ту пещеру, в которой она так провидчески боялась — пропасть.

Ведь все мое чудо с нею было — что она была снаружи меня, а не внутри, не проекцией моей мечты и тоски, а самостоятельной вещью, вне моего вымысла, вне моего домысла, что я ее не намечтала, не напела, что она не в моем сердце, а в моей комнате — была. Что раз в жизни я не только ничего не добавила, а — еле совладала, то есть получила в полную меру — всего охвата и отдачи.

Сонечка была мне дана — на подержание — в ладонях. В объятьях. Оттого, что я ребенка подержала в руках, он не стал — мой. И руки мои после него так же пусты.

Каждого подержанного ребенка у нас отбирает — мать. У Сонечки была мать — судьба.

Обида? Измена?

Сонечкин неприход ко мне в последний раз был тот же Володин приход ко мне — в последний раз, — вещь того же веса: в с е г о с у щ е с т в а. И значил он совершенно то же самое.

Так, как Володя — пришел, она — н е п р и ш л а, так же всем существом не пришла, как он — пришел.

Сонечкин неприход ко мне был — любовь.

Это был первый шаг ее отсутствия из моей жизни, первый час ее безмолвного потустороннего во мне присутствия, в меня — вселения.

Сонечка не пришла ко мне потому, что бы — умерла, просто изошла бы слезами, от всей Сонечки — только бы лужица. Или сердце бы стало на последнем слоге моего имени.

Володя пришел, потому что не мог расстаться не простясь, Сонечка не пришла — потому что проститься не могла.

Но и по еще одному-другому — не пришла: Сонечка не пришла — потому что у ж е умерла.

Т а к не приходят — только умершие, потому что не могут, потому что земля держит. И я долго-долго чувствовала ее возле себя, почти что в досягаемости моей руки, совершенно так же, как чувствуешь умершего, на руке которого не смыкаешь рук только потому, что этого — не должно, потому что это опрокинуло бы все ведомые нам законы: от равного страха: встретить пустоту — и встретить руку.

Сонечки, в конце концов, мне стало только не слышно и не видно.

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь...»

Нет, она никогда мне не была — хлебом насущным: кто — я, чтобы т а к о е мне могло быть — хлебом насущным? Этого никогда бы не допустила моя *humilité*¹⁶. Не насущным хлебом, а — чудом, а такой молитвы нет: «Чудо насущное даждь нам днесь». В ней не было ни тяжести насущного хлеба, ни его железной необходимости, ни нашей на него обреченности, ничего от «в поте лица твоего»... Разве Сонечку можно — заработать? Даже трудом всей жизни? Нет, такое дарится только в подарок.

Как Корделия, в моем детском Шекспире, про короля Лира — о соли, так я про Сонечку — о сахаре, и с той же скромностью: она мне была необходима — как сахар. Как всем известно, сахар — не необходим, и жить без него можно, и четыре года революции мы без него жили, заменяя — кто патокой, кто — тертой свеклой, кто — сахаринном, кто — вовсе ничем. Пили пустой чай. От этого не умирают...

Без соли делается цинга, без сахару — тоска.

Живым белым ц е л ы м куском сахара — вот чем для меня была Сонечка.

Грубо? Грубо — как Корделия: «Я вас люблю, как соль, не больше, не меньше». Старого короля можно любить, как соль, но... маленькую девочку? Нет, довольно соли. Пусть раз в мире это будет сказано: я ее любила, как сахар — в революцию. И все тут.

Kannst Du dem Augenblicke sagen:
— Verweile noch! Du bist — so schön...¹⁷

Нет, этого у меня с нею не было. Было другое, обратное и большее:

Behüt Dich Gott! — es wär zu schön gewesen,
Behüt Dich Gott! — es nicht sollen sein!¹⁸

Было великое поэтическое сослагательное: бы, единственное поэтическое владение: б ы.

Была — судьба. Было русское «не судьба».

Вспомним слово царя Давида:

«Человеку от Бога положено семьдесят лет, а что свыше — уже божья милость».

Нам с Сонечкой было положено три месяца, нет! — в с я Сонечка, вся трехмесячная вечность с нею уже были этим с в ы ш е — человеческого века и сердца.

¹⁶ Смирность (*франц.*).

¹⁷ Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье! О, как прекрасно ты, повремени!» (*Нем.*)

¹⁸ Храни господь! Прекрасно это было, Храни господь! Так быть и не должно. (*Нем.*)

Мария... Миранда... Мирэй... — ей достаточно было быть собой, чтобы быть — всеми...

Так сбылось на ней пророческое слово забывчивого Павлика:

Единая под множеством имен...

Для меня — сбылось. Но не только имена обрели лицо.

Вся мужская лирика, доселе безобъективная или с обратным объектом — самого поэта, — ибо быть ею всей поэтовой любви, вставить в нее — себя: свое лицо как в зеркало, я не могла, ибо сама хотела любить и сама была поэт — вся мужская лирика для меня обрела лицо: Сонечкино. Все эти пустоты ты, она — на всех языках имеющие дать и дающие только переполненность поэтава сердца и полноту его я, вдруг — ожили, наполнились ее лицом. В овальной пустоте, в круглом нуле всякого женского образа в стихах поэта — Сонечкино лицо оказалось как в медальоне.

Но нет, у Ленау лучше — шире!

Es braust der Wald, am Himmel ziehn
Des Sturmes Donnerflüge,
Da mal'ich in die Wetter hin
— O Mädchen! Deine Züge!¹⁹

Все песни всех народов — о Сонечке, всякий дикарь под луной — о Сонечке, и киргиз — о Сонечке, и таитянин — о Сонечке, весь Гёте, весь Ленау, вся тоска всех поэтов — о Сонечке, все руки — к Сонечке, все разлуки — от Сонечки...

Нужно ли прибавлять, что я уже ни одного женского существа после нее не любила и уже конечно не полюблю, потому что люблю все меньше и меньше. весь остающийся жар бережа для тех, кого он уже не может согреть.

Зима 1919/20 года. В дверь уже не стучат — потому что больше не закрывается: кто-то сломал замок. И так, вместо стука в дверь — стук сапог, отряхающих снег, и голос изнизу:

— Здесь живет Марина Ивановна Цветаева?

— Здесь. Подымитесь, пожалуйста, по лестнице.

Входит. Чужой. Молодой. Знаю: этого человека я никогда не видала. Еще знаю: вошел — враг.

— Я брат Володи А-ва. У вас нет вестей от брата?

— Были. Давно. Одно письмо. Тогда же.

— У н а с — никогда — ничего.

— Всего несколько слов: что надеется на встречу, здоров...

— А с тех пор?

— Ничего.

— Вы мне разрешите вам поставить один вопрос. И заранее меня за него извините. Какие отношения у вас были с братом? Я вас спрашиваю, потому что — мы были с ним очень дружны, все, вся семья — он тогда, на последнюю гасху, — ушел, пошел к вам, и, — с трудом, по-Володиному сглатывая, — свой последний вечер провел — с вами... Дружба? Роман? Связь?

— Любовь.

— Как вы это сказали! Как это понять?

— Так, как сказано. И — ни слова не прибавлю.

Молчит. Не сводит глаз, не подымаю своих.

Я:

— Дайте адрес, чтобы в случае, если...

— Вы не знаете нашего адреса?

¹⁹ Взъерошен лес, плывут над землей
Грозы громовые распевы.
Я этот мир дорисую тобой,
Твоими чертами, о дева! (Нем.) (Перевод Е. И. Маркович)

— Нет, Володя всегда ко мне приходил, а я ему не писала...

— И вы ничего не знали о нас, отце и матери, братьях?

— Я знала, что есть семья. И что он ее любит.

— Так что же это за отношение такое... нечеловеческое?

Молчим.

— Значит — вы его никогда не любили — как я и думал — потому что от любимой женщины не уезжают — от — любящей...

— Думайте что хотите, но знайте одно — и родителям скажите: я ему зла не сделала — никакого — никогда.

— Странно это все, странно, впрочем, он — актер, а вы — писательница... Вы меня, пожалуйста, простите. Я был резок, я плохо собой владел, я не того ждал... Я знаю, что так с женщинами не разговаривают, вы были очень добры ко мне, вы бы просто могли меня выбросить за дверь. Но если бы вы знали, какое дома — горе. Как вы думаете — он жив?

— Жив.

— Но почему же он не пишет? Даже вам не пишет?

— Он — пишет, и вам писал, и много раз — но письма не доходят.

— А вы не думаете, что он — погиб?

— Сохрани Бог! — нет.

— Я так и родителям передам. Что вы уверены, что он — слава Богу! (широкий крест) — жив — и что пишет — и что... А теперь я пойду. Вы меня простили?

— Обиды не было.

Уже у выхода:

— Как вы так живете — не запираясь? И ночь не запираетесь? И какая у вас странная квартира: темная и огромная и все какие-то переходы... Вы разрешите мне изредка вас навещать?

— Я вам сердечно буду рада.

— Ну, дай вам Бог!

— Дай — в а м Бог!

Не пришел никогда.

Чтобы кончить о Юре. Перед самым моим отъездом из России, уже в апреле 1922 года, в каком-то учреждении, куда я ходила из-за бумаг, на большой широкой каменной лестнице я его встретила в последний раз. Он спускался, я подымалась. Секундная задержка, заминка — я гляжу и молчу — как тогда, как всегда: снизу вверх, и опять — лестница! Лицо — как пойманное, весь — как пойманный, забился, как большая птица:

— Вы не думайте, вы не поняли, вы не так поняли... Все это так сложно... так далеко не просто...

— Да, да, конечно, я знаю, я — давно знаю... Прощайте, Юра, совсем прощайте, я на днях уезжаю совсем — уезжаю...

И — вверх, а он — вниз. И — врозь.

О действующих лицах этой повести, вкратце:

Павлик А. — женат, две дочери (из которых одна — не в память ли Сонечки? — красавица), печатается.

Юрий З. — женат, сын, играет.

Сестра Верочка, с которой я потом встретилась в Париже и о которой — отдельная повесть, умерла в 1930 году от туберкулеза, в Ялте, за день до смерти написав мне свою последнюю открытку карандашом: «Марина! Моя тоска по Вас такая огромная, как этот слон».

...Они были брат и сестра, и у них было одно сердце на двоих, и все его получила сестра...

Володя пропал без вести — тем же летом 1919 года.

Ирина, певица Галлидú, умерла в 1920 году в детском приюте.

Евгений Багратионович Вахтангов давно умер в России.

Езхтанг Леванович Мчеделов давно умер в России...

Юра Н. (с которым мы лазили на крышу)— не знаю.

Аля в 1937 году уехала в Москву, художница.

Дом в Борисоглебском — стоит. Из двух моих тополей один — стоит.

Я сказала: «действующие лица». По существу же действующих лиц в моей повести не было. Была любовь. Она и действовала — лицами.

Чем больше я вас оживляю, тем больше сама умираю, отмираю для жизни, — к вам, в вас — умираю. Чем больше вы — здесь, тем больше я — там. Точнее уже снят барьер между живыми и мертвыми, и те и другие свободно ходят во времени и в пространстве — и в их обратном. Моя смерть — плата за вашу жизнь. Чтобы оживить Аидовы тени, нужно было напоить их живую кровью. Но я дальше пошла Одиссея, я пою вас — своей.

29 апреля 1922 года, русского апреля — как я тогда простонародно говорила и писала. Через час — еду за границу. В с ё.

Стук в дверь. На пороге — Павлик, которого я не видала — год?

Расширенные ужасом, еще огромнейшие, торжественные глаза. Соответствующим голосом (голос у него был огромный, странный — в таком маленьком теле), но на этот раз огромнейшим возможным: целым голосовым аидовым коридором:

— Я... узнал... Мне Е. Я. сказала, что вы... нынче... едете за границу?

— Да, Павлик.

— Марина Ивановна, можно?..

— Нет. У меня до отъезда — час. Я должна... собраться с мыслями, проститься с местами...

— Но — на одну минуту?

— Она уже прошла, Павлик.

— Но я вам все-таки скажу, я должен вам сказать, — глубокий глоток, —

Марина, я бесконечно жалею о каждой минуте этих лет, проведенной не с вами...

(У меня — волосы дыбом: слова из Сонечкиного письма... Значит, это она со мной сейчас, устами своего поэта — прощается?!)

— Павлик, времени уже нет, только одно: если вы меня когда-нибудь — хоть чу-точку! — любили, разыщите мне мою Сонечку Голлидэй.

Он, сдавленным оскорблением голосом:

— Обещаю.

Теперь — длинное тире. Тире — длиной в три тысячи верст и в семь лет: в две тысячи пятьсот пятьдесят пять дней.

Я гуляю со своим двухлетним сыном по беллевюскому парку — Observatoire. Рядом со мной, по другую мою руку, в шаг моему двухлетнему сыну, идет Павлик А., приехавший со Студией Вахтангова. У него уже две дочери и (кажется?) сын.

— А... моя Сонечка?

— Голлидэй замужем и играет в провинции.

— Счастлива?

— Этого я вам сказать не могу.

И это — всё.

Еще тире — и еще подлиннее: в целых десять лет. 14-е мая 1937 года, пятница. Спускаемся с Муром, ныне двенадцатилетним, к нашему метро «Mairie d'Issy» и приблизительно у лавки Provence он — мне, верней — себе:

— А «American Sunday» — это ведь ихнее «Dimanche Illustré!»²⁰

— А что значит — Holiday?

— Свободный день, вообще — каникулы.

— Это значит — праздник. Так звали женщину, которую я больше всех

²⁰ Иллюстрированный воскресный выпуск (франц.).

женщин на свете любила. А может быть — больше всех. Я думаю — больше всего. Сонечка Голлидэй. Вот, Мур, тебе бы такую жену!

Он, возмущенно:

— Ма-ама!

— Я не говорю: эту жену, она уже теперь немолодая, она была года на три моложе меня.

— Я не хочу жениться на старухе! Я вообще не хочу жениться.

— Дурак. Я не говорю: на Сонечке Голлидэй, а на такой, как Сонечка. Впрочем — таких нет, так что ты можешь успокоиться — и вообще никто ее не достоин.

— Мама! Я ведь ее не знаю, вы говорите о чем-то, что вы знаете, — вы, конечно, можете мне рассказать...

— Но тебе ведь — неинтересно...

Он, думая о ждущем его на углу бульвара Raspail газетном киоске с американскими Микэями:

— Нет, очень интересно...

— Мур, она была маленькая девочка и... — ища слова, — и настоящий чертенок! У нее были две длинных, длинных темных косы... (У Мура — невольная гримаса: «au temps des cheveux et des chevaux!»²¹) И она была такая маленькая... куда меньше тебя (гримаса увеличивается), потому что ты уже больше меня... Ей я на прощанье сказала: «Сонечка, что бы со мной ни было, пока вы есть — все хорошо». Она была самое красивое, что я когда-либо в жизни видела, самое сладкое, что я когда-либо в жизни ела... (Мур: «Фу, мама!») Она мне писала письма, и в одном письме, последнем: «Марина! Как я люблю ваши руки, которые должны быть только целуемы, а они двигают шкафы и поднимают пуды...»

— Ну, это уж — романтизм! Почему — целуемы?

— Потому что... потому что... — Prenant l'offensive²²: — А что ты имеешь на это возразить?

— Ничего, но если бы она, например, написала... — запинка, ищет, — которые должны только нюхать цветы...

И, поняв, сам первый смущенно смеется.

— Да, да, Мур, на каждом пальце по две ноздри! Сколько всего будет ноздрей, Мур?

Смеемся оба. Я, дальше:

— И еще одно она мне сказала: «Марина! Знать, что вы — есть — знать, что смерти — нет».

— Ну, это, конечно, для вас flatteur²³.

— При чем?! Просто она сказала то, что есть, то, что тогда было, ибо от меня шла такая сила жизни — и сейчас шла бы... и сейчас идет, да только никто не берет!

— Да, да, конечно, я понимаю, но все-таки...

— Я непременно напишу Але, чтобы ее разыскала, потому что мне необходимо, чтобы она знала, что я никого, никого за всю жизнь так...

Мы у метро, и разговор кончен.

Маленькое тире — только всего в один день:

15-е мая 1937 года, суббота. Письмо из России — авионом — тяжелое. Открываю — и первое, что вижу, совсем в конце: Сонечка Голлидэй — и уже знаю.

А вот что я — уже знаю:

«Мама! Забыла Вам написать! Я разыскала следы Сонечки Голлидэй, Вашей Сонечки, — но слишком поздно. Она умерла в прошлом году от рака печени — без страданий. Не знала, что у нее рак. Она была одна из лучших чтиц в провинции и всего года два назад приехала в Москву. Говорят, что она была совершенно невероятно талантлива...»

²¹ Во времена кос и лошадей (франц.).

²² Принимая наступательный тон (франц.).

²³ Лестно (франц.).

А вот — вторая весть, уже распространенная: рассказ сестры одной Сонечкиной подруги Але, Алей записанный и мне посланный:

«Она вышла замуж за директора провинциального театра, он ее очень любил и был очень преданный. Все эти годы — с 1924 г. до смерти — Соня провела в провинции, но приезжала в Москву довольно часто. Мы все ее угосаривали устроиться и работать в Москве, но она как-то не умела. Конечно, если бы Вахтангов остался в живых, Соня жила бы иначе, вся бы ее жизнь иначе пошла... Ей надо было заниматься только читкой, но она так была связана с театром! Разбрасывалась. А в театре, конечно, — труднее. В провинциальных театральных коллективах она была ну... ну как алмаз! Но ей редко попадались хорошие роли. Если бы она занималась читкой — она одна на сцене — представляете себе? Да, она была маленькая-маленькая. Она часто играла детей. Как она любила театр! А если бы вы знали, как она играла — нет, не только в смысле игры (я-то ее мало видела, она работала главным образом в провинции) — но она была настоящим героем. Несколько лет тому назад у нее начались ужасные желудочные боли. И вот она сидела за кулисами с грелкой вот тут, потом выходила на сцену, играла, а потом, чуть занавес, опять за грелку.

— Но как же тогда, когда начались эти боли, она не пошла, ее не повели к доктору?

— Она приехала в Москву и пошла к очень хорошему гомеопату. Он ей дал лекарства, и боли как рукой сняло. Потом она только к этому гомеопату и ходила. Так она прожила года четыре и все время себя хорошо чувствовала. В последний раз, когда она приехала в Москву, я нашла, что она страшно похудела, одни глаза, а все лицо — очень стало маленьким. Она очень изменилась, но этого не знала, и даже когда смотрелась в зеркало — не видела. Потом ее муж мне сказал, что она ничего не может есть. Мы позвали доктора, а он сказал, что надо позвать хирурга. Хирург ее внимательно осмотрел и спросил, нет ли у нее в семье раковых заболеваний. Она сказала, что нет. Тогда он сказал, что ей нужно лечь в больницу. Мы от нее, конечно, скрывали, что у нее. Но ей ужасно не хотелось в больницу, и она все время плакала и говорила: «Это ехать в гроб! Это — гроб!» Но в больнице она успокоилась, и повеселела, и начала строить всякие планы. Ей сделали операцию. Когда ее вскрыли, то увидели, что слишком поздно. Доктора сказали, что жить ей осталось несколько дней.

К ней все время приходили ее муж и моя сестра. Она не знала, что умирает. Она все время говорила о том, как будет жить и работать дальше. Сестра у нее была в день ее смерти, и муж, и еще кто-то. Софья Евгеньевна любила порядок, попросила сестру все прибрать в палате (она лежала в отдельной палате). Ей принесли много цветов, и сестра их поставила в воду, убрала все. Соня сказала: «А теперь я буду спать». Повернулась, устроилась в кровати, уснула. Так во сне и умерла.

Я не помню часа и числа, когда она умерла. Меня не было в Москве. Сестра, наверное, помнит. Мне кажется — под вечер. Когда же это было? Летом, да, летом. Тогда прилетели челюскинцы.

Она так, так часто вспоминала вашу маму, так часто рассказывала нам про нее и про вас, так часто читала нам ее стихи. Нет, она никогда, никогда ее не забывала».

..После ее смерти ее муж куда-то уехал, пропал. Где он сейчас — неизвестно.

Соню — сожгли.

«Тогда прилетели челюскинцы...» Значит — летом 1934 года. Значит — не год назад, а целых три. Но год — или три — я ее больше не увижу, что — всегда знала, — и она никогда не узнает, как...

Нет! она навсегда — знала.

«Когда прилетели челюскинцы» — это звучит почти как: «Когда прилетели ласточки»... явлением природы звучит, и не лучше ли, в просторе, и в простоте,

и даже в простонародности своей, это неопределенное обозначение — точного часа и даты?

Ведь и начало наше с нею не — такого-то числа, а в «пору первых зеленых листиков...».

Да, меня жжет, что Сонечку — сожгли, что нет креста — написать на нем, — как она просила:

Так и кончилась с припевом:
«Моя маленькая!»

Но — вижу ее в огне, не вижу ее — в земле! В ней совсем не было той покорности и того терпения, одинаково требующихся от отжившего тела и от нежившего зерна. В ней ничего не было от зерна, все в ней было:

Ja! ich weiß woher ich stamme
Unersättlich wie die Flamme
Nähr ich und verzehr ich fesse,
Kohle — Alles, was ich lasse,
Flamme bin ich sicherlich!

(Знаю я — откуда родом!
Точно огонь — ненасытимый,
Сам себе я корм и смерть.
Жар — все то, что я хватаю,
Уголь — все, что я бросаю,
Я воистину огонь!)

Жжет, конечно, что некуда будет — если это будет — прийти постоять. Не над чем. Что Сонечки нет — совсем. Даже ее косточек. Но Сонечка — и косточки... нет!

Инфанта, знай: я на любой костер готов взойти...

Первое, что я о ней услышала, было: костер, последнее: сожгли. Первое, что я о ней услышала, было: костер, и последнее: костер.

Но как странно, как наоборот сбылись эти строки Павлика:

...Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть —
Твои глаза...

Ведь Инфанту — жгли, а Карлик — глядел: на нее, вечно молодую, сжигаемую, несгораемую — поседевший, поумневший Карлик Инфанты!

Моя бы воля — взяла бы ее пепел и развеяла бы его с вершины самой (мне еще сужденной) высокой горы — на все концы земного шара — ко всем любящим: бывшим и будущим. Пусть даже — с Воробьевых гор (на которые мы с ней так и не собрались: у меня — дети, очереди... у нее — любовь...).

Но вдруг я — это делаю? Это — делаю? Ни с какой горы, ни даже холма: с ладони океанской ланды рассеиваю ее пепел — вам всем в любовь, бывшие и будущие?

...А теперь — прощай, Сонечка!

«Да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!

Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..»

Lacanau-Océan, лето 1937 г.



ЕВГ. ВИНОКУРОВ



ИЗ ЦИКЛА «МИФЫ»

СЛАВА

Я тогда был занят только сутью,
никого не донимал, не лез.
Доверял я только правосудью
бесконечных и простых небес.

Кто случайно, ну а кто по праву
знамениты — оглянись вокруг.
Я ж твердил одно:

 приемлю славу
только лишь из вечных этих рук..

..*

Н. Т. Федоренко

Чтобы скрепить прическу, надо шпилек
чуть-чуть,— и рукава его висят...
Вот он уже вступил, японский лирик,
во тьме веков в свой задремавший сад.

И в пальцы цвета темного опала
взял кисточку, задумался буддист...
И вот стихотворение упало,
как лепесток, на белоснежный лист.

Потом века в нелепом озверенье.
Как ты, Восток мучительный, жесток!..
Но к нам дошло вот то стихотворенье
как милый и прелестный лепесток.

НАЕДИНЕ С СОБОЙ

Высокий строй души совсем не много значит,
когда осенний дождь стучит весь день с утра
и тихая тоска случайно обозначит
иной, особый строй, взошедший из нутра...
Не надо презирать уж так простые чувства
и жалость ни к кому — к себе же самому,
когда один сидишь и, пальцы сжав до хруста,
настоячиво глядишь один в пустую тьму.

И думать о себе в каком-то личном плане,
нет, не о мире сем и даже не о ней...
И в этот час понять, мешая чай в стакане,—
нет никого себя милее и родней.

ПОЛНОЧНЫЕ ПРОГУЛКИ

Давно пора надеть поношенную шляпу
и зонтик в руки взять и вот пойти опять
по улицам пустым, поверив эскулапу,
что в этот поздний час полезно погулять.
Как хорошо идти с упорностью тупою
и чувствовать, что во мне желанья не поют...
Осенний крупный дождь глаза сечет крупую,
и хлещет мне в лицо всемирный неуют.
Как хорошо прийти и тут же для контраста
все люстры вдруг зажечь, и дождь с плаща стряхнуть,
и медленно глотнуть вина взамен лекарства,
в ладонях не спеша его согрев чуть-чуть.

* * *

Делить я не хочу с тобою даже мига,
и вечности делить я тоже не хочу...
Но в парке у ларька запойный горемыка
меня похлопал вдруг ладонью по плечу.
Он тут же раздобыть стаканчик постарался,
бутылку белого, два плавленых сырка,
среди мира этого, где нету постоянства,
мы постояли с ним. Он захмелел слегка.
И помню до сих пор единственную фразу:
«Я в мире сем пожил, такие, брат, дела!..»
Меня же ни о чем он не спросил ни разу,
лишь кинул мне: «Ушла?» — и я сказал: «Ушла».

* * *

«...Не как Марфа, та всю жизнь о разном,
как Мария, только об одном,—
надо думать только о прекрасном,
хлопотать не стоит об ином!..»
Худощавый, с сивою бородкой,
он сказал, держа стакан в руке:
«Ты пройдешь беспечною походкой,
как и я, по жизни налегке!
Преданный простой воде и хлебу,
ты в стогу уснешь, глаза смежив...
Помни же: единым на потребу
человек быть должен в мире жив!
Где-нибудь в тайге, на перекуре,
где лесоповал, достань блокнот —
и, как среди туч клочок лазури,
вдруг однажды истина блеснет...»



СТИХИ ВАСИЛИЯ КОВАЛЕВА



Обычно поэт испытывается дважды — при жизни и после смерти. Второе испытание — самое суровое — испытание его стихов. Бывает, что они умирают вместе с ним, а если не умерли, то становятся еще веселей. Но для второго, часто окончательного суда над стихами поэта надо, чтобы они были представлены широкому читателю.

Недавняя смерть Василия Ковалева поставила его стихи в такое положение, тем более что при жизни ему удалось издать всего одну книгу, хотя и прожито было им не так уж мало. Он принадлежит к поколению, как раз подоспевшему к труднейшим испытаниям, выпавшим на долю нашего народа. Только в 1961 году ему удалось закончить Высшие литературные курсы. Но добрый творческий просвет оказался слишком малым. На этот раз болезнь на пятнадцать лет приковала его к постели и не отпускала уже до конца его дней. Мне стали известны его последние строчки:

Упаду, распластаю я руки, как крылья,
на грешной земле. . .
Ничего нет страшнее бессилья
или жить, как живу я,— во мгле.

Но до этих печальных предсмертных строк им написана книга стихов, принятая издательством «Современник», среди которых читатель-судья встретит такие мужественные стихи, как «Утро», «Кибальчич», «Россия», представленные в этом цикле.

Василий Федоров.

УТРО

Вставай!
Мы разрежем на ломтики солнце, как дыню.
Я налью тебе капель росы,
мы отменно попьем.
Ближний лес недвижим,
он стоит как твердыня.
Каждый ствол заколдован магическим сном.

Вставай!
Пока тихо и пригород в сонной истоме.
Над озерною чашей туман.
Это дышит вода.
Мы сегодня пойдем
в это царство покоя и дремы
потому, что потом
нам в него не войти никогда.

На рассвете рождаются песни и дети,
утверждается жизнь
не на час, не на два, не на год.
На века.

На рассвете стартуют к дальним звездам ракеты,
от гранитных утесов
поднимаются облака.

Вставай!
Нам с тобой предстоит столько дел переделать,
столько слов написать! Столько мук пережить.
Молодая трава на земле от росы поседела.
В каждой капельке солнце.
Вставай!
Чтобы жить.

КИБАЛЬЧИЧ

Нет сумерек,
нет полдня,
нет рассвета.
Лишь полутьма,
сводящая с ума.
Сюда не долетает невский ветер,
не дышит в двери
вьюжная зима.
Надежно
в преисподнюю упрятан.
Перед кошмарным и тревожным сном
он по стене
глухого каземата
царапает проржавленным гвоздем.
Над Петропавловской
всегда затишье.
На вышках часовые, как сычи.
Он ничего
не видит и не слышит,
его пронзают мысли,
как мечи.
Проснется:
стены,
черная решетка.
И гвоздь в руке.
Его нельзя терять.
О матери он вспомнит
тихой, кроткой,
и кажется —
стучится в двери мать.
Какая глупость!
К смертникам нет входа.
Но человек и в сумерках ночей
гвоздем по стенке
формулы выводит.
И это бесит царских палачей.
Он оставляет схему для потомков —
летательный
сверхскорый аппарат.
Пускай его далекие потомки
к планетам
неизведанным летят.

А он повешен
на рассвете синем.
Нет ни креста,
ни каменной плиты.
Но вечно благодарная Россия
приносит в крепость
нежные цветы.

РОССИЯ

Мне необъятное не надо обнимать.
Достаточно росинки на ладони,
чтоб мог я утром солнце увидеть
или звезду на синем небосклоне.

Достаточно мне горсточки земли,
чтоб жил я и мечтая, и тоскуя.
И мчат меня на крыльях журавли
из Подмоскovie в сторону донскую.

Достаточно мне «Трех богатырей»,
чтоб я представил Русь в могучей силе.
Достаточно мне матери моей,
чтоб величал я матью
Россию.



АНТАЛ ГИДАШ

★

ДРУЗЬЯ-ПОЭТЫ

С венгерского

К истории венгерской поэзии за рубежом

На Фурмановской улице однажды по весне,
когда тоска по родине уже дошла во мне
до потолка, я распахнул окно —
и вдруг, как будто голуби клевать тоски зерно,
как ласточки и аисты, стрижи и журавли,
они влетели в комнату —
стихи моей земли.

И с русскими поэтами я познакомил их
и — с помощью Агнессы — запел венгерский стих
в чеканке новой ритмики, идя от уст к устам,
и те стихи венгерские не улетели осенью,
как птицы перелетные, а все остались там.

Что есть, то есть,
и если даже треснет от бурь и от невзгод
свершившийся, вершимый, крушимый небосвод —
никто не разорвет той песни нерушимой,
что вместе нами спета!

О вы, далекие друзья-поэты!

ЛАТАЮТ ПЛОТЬ МОЮ...

Латают плоть мою
и чинят душу мне
сапожники, портные, брадобреи.
Пуст кубок радостей —
одна лишь муть на дне,
на убыль дни идут скорее и скорее.

Кровь каплет, а не бьет уже фонтаном алым.
И все-таки с почтением усталым
вам кланяюсь и славу вам пою,
вам, что ни час — добрее и добрее,
латающим мне дух и плоть мою,
сапожники,
портные,
брадобреи.

Сегодня грустный день, и я в нем,
как соловей, подшиблен камнем.

КОГДА ОГЛЯДЫВАЮСЬ

I

Во сне я увидел отца и мать,
 им было по сто семь лет.
 — Когда вам исполнилось по сто лет,
 почему вам было меня не позвать?
 Я бы пришел!
 — Он бы пришел! — говорит отец,
поглядев на мать.—
 Еще нас он думает упрекать!

II

О, если бы вы догадывались,
 о чем я только думаю,
 когда назад оглядываюсь.
 И снова обгоняет
 былое, роковое.
 Тот рок, который с нами
 был так жесток, жесток.

И нет ни слов, ни образов
 моих или чужих,
 какими можно выразить
 ту муку, те страдания,
 которые я чувствую во сне и наяву,
 когда назад оглядываюсь.

III

Я в этом мире беспокойном
 пером, забывшим беды прежние,
 как будто заступом копаю,
 чтоб воскресились дни забытые
 с лихою пылью под копытами,

когда с горящими глазами
 искали мы причину бед
 и верили: рывком гигантским
 все заново мы создадим.

Все это было для тебя,
 грядущий летний день спокойный,
 так почему ж ты стал теперь
 еще гораздо беспокойней!

Перевел Л. МАРТЫНОВ

Люблю тебя, мой край родной,
 прекрасный, словно рай земной,
 твою грозу, и пыл твой юный,
 и облаков изменчивый рисунок,
 уменье побороть печаль и гнев,

и небо на плечах дерев,
и прошлое, в котором без обмана
отражены не только все изъяны,
но и вершины красоты
такой, что ты,
вдруг оробев до немоты,
представишь мир грядущих лет,
где ненависти нет,
где каждый в каждого влюблен...

Я жду давно —
когда ж осуществится сон?

* * *

Черна и круглa небесная твердь
ночами,
как прежде, когда не стояла смерть
за плечами.

О, любви двукрылая грудь,
почему же ты
не властна, как встарь, отпугнуть
страх темноты?

* * *

Озерно-густая
черная ночь.
Страх сумеи превозмочь:
пустота, темнота —
но еще не та.

Снова подарен день.

Тебя всколыхнет до дна
взгляда чужого блеск...

Желания всплеск
рассыплет порой,
как багряный осенний лес —
запоздалые семена.

(Пожалуй, не страсть —
а памяти взрыв.)

В глубине равнодушной
тонет
мгновенный порыв.

Кончился день.

Озерно-густая
черная ночь.

Перевела НАТЭЛЛА ГОРСКАЯ.



ГЕРМАН КАНТ

★

ОСТАНОВКА В ПУТИ*

Роман

XXV

В те годы мне редко что-нибудь снилось. Возможно, оттого, что день с его сюр-призами брал верх над ночью; ночи, когда я попадал в ее власть, ничего уже не доставалось.

Но той, что последовала за этим необыкновенным вечером, кое-что все же доставалось. Дул холодный мартовский ветер, насквозь продувал дворы, и все лампы были замазаны синей краской. Выяснилось: прокурор — это не кто иной, как усатый солдат у ворот; или: усатый солдат — это и есть прокурор. Все было очень запутанно, потому что он читал мне свою биографию. Я знал, мне надо его остановить — ведь я не знал, что он найдет в своей биографии.

Какая-то женщина писала тоже, но у нее в машинке не оказалось бумаги, а мне было не ясно, откуда я знаю эту женщину — по паркету или по вокзалу. Вокруг сидели несколько поручиков, временами у меня было впечатление, что их шестеро; они сказали, что я должен эту женщину опознать.

Потом все смешалось: где-то возле Ходонна мы на трамвае переехали канал и попали в незнакомую местность, там со мной никто не разговаривал. Даже мать не разговаривала, и это сжимало мне сердце, словно шнуром от утюга.

После пробуждения выяснилось, что и с другими происходило то же самое. И хотя у нас не принято было распространяться о своих снах, в то утро их все рассказывали и даже слушали. Только генерал Нетцдорф и в тот день, как обычно, дважды расходовал воду.

Однако когда вошел надзиратель, все вздрогнули, но он хотел только услышать от меня, в полном ли мы составе. А войдя во второй раз, впустил в камеру дежурных с хлебом и кофе.

А войдя в третий раз, выпустил меня к моему паркету. Но на паркет я больше не попал, не попал совсем. Когда мне вспоминается здание управления невдалеке от тюрьмы, я вижу комнату, где пол почти точно разделен пополам: одна половина темная, затоптанная ногами неизвестных мне канцеляристов, другая, сияющая желтизной свежеструганного дерева, — светло-буланая.

Я дошел лишь до дверей того дома с паркетом: из него вышел офицер и принялся что-то обсуждать с моим конвойным, да таким тоном, который возможен между офицером и солдатом только в том случае, если они с давних пор делают асфальтовый пол в одной камере. Кому-то звонили по телефону и наконец решили направить меня туда, куда и хотел офицер, то есть на другую сторону той же улицы, чуть подальше. Стало ясно, почему офицер так стремился меня заполучить: там стоял грузовик с прицепом и группа женщин мучилась с какими-то ящиками, на вид довольно тяжелыми.

Мои опасения оправдались: когда я сволок несколько штук в подвал, то понял.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 9, 10, 11 с. г.

что ноги у меня несколько лет пробыли в гипсе. И после того как я несколько лет таскал эти ящики — каждый весил с грузовик, — то и вообще остался без ног.

Наступил час обеда, и женщины поразились, сколько в меня может влезть, а я поражаюсь многообразию мира и однообразию и однотонности языка. Потому что на обед опять дали капустную похлебку — ну да, ведь мы были в двух шагах от тюрьмы и неизвестного помещения в ней, — но эта похлебка была похожа на тюремную баланду не больше, чем тюремная камера на кухню у нас дома, в Марне. А ведь название у них было одно и то же. Как сон все равно называется сном, спишь ли ты у мамочки на перине или в ложечном ряду. Как сновидение все равно называется сновидением, снятся ли тебе персижки или газовые трубы. Как человек все равно человек, называется ли он почтовым чиновником или Нибуром. Такие мысли пронеслись у меня в голове не задерживаясь, мне было не до них: я был всецело захвачен восхитительным супом. Повар-кудесник сотворил его из редчайших составных частей, а очарованный Нибур смаковал каждую его пряную частицу, хоть и поглощал суп, как насос.

Сколько должно было пройти караванов, чтобы наполнить мне миску, — из стран Востока, с Тигра и Евфрата, с персидских, индийских, китайских плантаций до Шлезвиг-Гольштейна у моря. Сало, вне всякого сомнения, было дитмаршенского происхождения, да и капуста росла где-нибудь за дамбой, но дальше начинался луково-томатно-тминно-перечно-огуречный Восток, поднесенный мне истинным мастером своего дела, творцом волшебной смеси под малообещающим названием капустной похлебки.

Женщины — я думаю, все и всякие женщины, даже те, что сидят на улице разрушенной Варшавы, — с удовольствием смотрят на мужчин, которые с удовольствием поглощают еду.

Это правило удивительно устойчиво: оно действует, даже когда множество женщин смотрят на одного мужчину, хлебающего суп, приготовленный не ими, а ими съеденный без всякого восторга; даже когда женщины знают, что прожорливый мужчина причастен к тому, как выглядит теперь их город. Правило сработало: мне думается, аппетит, с каким я ел, сблизил меня с этими женщинами больше, нежели усердие, с каким я работал.

А ведь я работал, являя собой одноголовый караван, перетаскивал тяжести, камни обычно везут несколько кораблей пустыни, брел, словно верблюд, по коридорам, застревая в них со своими ящиками, перетаскал уже половину груза с машины, где меня нагружали две женщины, в подвал, где еще три женщины меня разгружали, но от ослепляющего рвения даже не успел рассмотреть упаковщиц в оазисах по обоим концам караванного пути.

Потому что шел уже второй год моего плена, уже вторая его половина, и я знал, что рвение не во вред человеку, пока на него смотрит охрана.

Но сейчас, до отвала наевшись экзотического отвара, расслабив свои мускулы, не подкачавшие при переноске тяжестей, всем сердцем предавшись праздности, вдали от места, где напряженно ждут посланцев прокурора, я мог наконец взглянуть на своих товарок. И надо же, я нашел, что они недурны.

Я сам знаю — они показались мне пряными по тем же причинам, что и капустная похлебка. Но то, что я знаю сегодня, не так важно для моего рассказа, как то, что виделось мне тогда. Ибо то, что я знаю сегодня, знают сегодня многие, но то, что я видел тогда, видели немногие. И немногие сумели бы увидеть то, что виделось мне.

Я нашел, что женщины недурны. Три из них были намного старше меня — под тридцать или даже за тридцать, а две — самое большее на два-три года. Одна из молодых и одна постарше сидели в стороне от остальных, и теперь я заметил, что и обращаются с ними иначе. Мой конвоир и три другие женщины, заговаривая с этими, меняли тон. Но все пять были недурны.

Даже если их что-то и разделяло, у всех было хорошее настроение. И разговаривали они явно обо мне. Не потому, что я был так уж красив. Пусть бы у меня даже стросла пышная шевелюра и почаще приходилось мне есть блюда с салом, я и тогда не стал бы красивее. Но если таких, как я, обычно лишь вежливости ради называют интересным мужчиной, то для этих женщин я был действительно интересен.

Надо думать, конвоир подлил масла в огонь: укротитель львов-выглядит в глазах дам иначе, чем дрессировщик пуделей. Наверно, я шел за льва. И, чтобы быть справедливым к этому человеку,—меня, верно, и отдали ему под надзор как льва.

Интересный мужчина — женщины обсуждали его под разными углами зрения.

Как он давился супом! Может, им там совсем есть не дают?

А ихние, по-твоему, давали есть нашим? Только у нас отнимали. Кто сейчас станет их кормить! Но как он пожирал капусту! Было время, и я так ела. В его возрасте человек всегда голоден. Сколько ему может быть лет? По правде, слишком он молод еще для кутузки. Что? Как маршировать сюда и творить тут всякие дела — кто его знает, что он натворил! — так он не слишком молод, а в кутузке сидеть, видишь ли, молод? Отсюда они угоняли и помоложе. Это только справедливое возмездие. Справедливое, конечно, но он все-таки еще очень молодой, а работал как! Не хватало еще, чтоб он не работал. Да он же прямо бежал с этими ящиками, обливался потом. Может, он боится. Ну и пусть боится. Он Баси боится. Меня? Почему это именно меня? Может, он про тебя наслышан и боится, что, как только перестанет таскать ящики, ты его... Ха-ха, ха-ха. Действительно, как смешно! Чтоб вы зарубили себе на носу: с этими — не смеги! Никогда! Да мы же пошутили. Хорошенькие шутки! Правда, пошутили. Прекрасно, только такие шутки можете позволять себе с этими двумя фольксдойче, но не со мной. И я думаю, пора потихоньку начинать.

Я был уже на ногах, когда мой конвоир и женщины еще только собирались встать,— по этому можно судить, как хорошо я все понял. Отдельные слова я бы перевести не смог, языка я не знал, но общее направление разговора и перепады настроения собеседников улавливал без труда. Для этого требовалось не так уж много знаний, а кое-какие у меня уже были.

Надо только столкнуться на своем веку с некоторыми людьми в некоторых обстоятельствах и проявить достаточное любопытство и к людям и к обстоятельствам — и вот ты уже оснащен для встреч с новыми людьми и новыми обстоятельствами. Прислушиваться к разговорам, в которых я не участвовал, истолковывать разговоры, за которыми я нередко следил лишь издали, потому что при моем приближении они сразу прекращались,— в этом я за истекшее лето понаторел.

Понаторел даже в искусстве участвовать в беседах на иностранном языке, в которые не имел права вступать. Не знаю, как поступили бы эти женщины, если бы я, подобно другим участникам вечерних английских курсов у нас в камере, стал бы вслух повторять за ними слова. Может, отогнали бы меня в дальний угол, а может, и стерпели бы. Не знаю, потому что не пробовал: я запретил себе говорить с ними, так же как они запретили друг дружке разговаривать со мной.

Но сам с собой я говорил, конечно же, читал стихи, повторял английские слова. А разговоры подслушивал глазами. Если получалось, то и ушами, но больше глазами.

Не обязательно слышать, что говорят люди в группе, главного из них видно и так. И подхалима. И равнодушного. И воровски настороженного. И круглого дурака. Понятно также, что они обсуждают — победу или поражение. Когда речь идет о бабах, это чувствуешь сразу. О жратве — тем скорее. Также о расправе или раскаянии, о разбойничьих пистолетах или рисовом пудинге. Подмечаешь признаки расправшейся дружбы и начало новой, на которую смотрят косо. Когда все к тебе враждебно, ты невольно прислушиваешься к врагу и присматриваешься к его строю. Кто с кем говорит и как. Кто с кем не говорит никак.

Опроверженный закон — закон Нибура: сумма человеческих побуждений не меняется — не можешь говорить, тем напряженнее слушаешь; с тобой не разговаривают, тем напряженнее ко всему приглядываешься; тебе не дают слова, тем напряженнее ты мыслишь.

Опроверженный закон, но на одно лето действующий.

Я воспринимал слухи, входившие в камеру вместе с хлебом, капустой, порошком от клопов, слухи, распускавшиеся в бане, проникавшие к нам с чистым бельем, с парикмахером, и оттого, что сам не участвовал в их передаче, мог проследить за их дальнейшим путем от группы к группе, наблюдал, как они набухали и ссыхались, видел, как из кемариных личинок выдувались слоновьи цыплята, узнал, что атом-

ная бомба была не чем иным, как Фау-2, раздутым американской пропагандистской шумихой; что англичане взорвали Гельголанд, потому что Гельголанд давно уже был у них бельмом на глазу; что вдова Рузвельта хотела подвергнуть кастрации всех немецких мужчин — из ненависти к немцам, так как ее муж был немецкого происхождения; что поляки и чехи готовятся к войне для захвата немецкого Шпревальда; что Бреслау и Штеттин принадлежат теперь русским, а датчане хотят получить Гамбург; что Рудольф Гесс был агентом Secret Service¹, а Польша находится накануне крестьянской войны; что скоро все мы отсюда выйдем, этого требуют американцы, папа требует тоже, Черчилль тоже, международный трибунал принял соответствующее решение, к этому вынуждает желтая опасность. Все разумные доводы за это.

Мои сокамерники, предавшие меня проклятью и анафеме, изводили друг друга в спорах, которые отличались остротой, достойной лучшего применения. Они знали, что самое целесообразное в каждом обсуждаемом случае, и каждый знал по-своему. Мне стало ясно, почему на свете так мало мудрости — эта публика поглощала ее разливательными ложками.

Не может быть сомнений: участвуй я во всей этой трепотне наравне с остальными, я бы им тоже вторил, так же бы распалялся по поводу вещей, в которых ничего не смыслил, а так как я мало в чем смыслил вообще, то и распалялся бы тем сильнее.

Но я был изгоем и мог, оставаясь в стороне, предаваться критическим размышлениям. Я не разбирался в музыке, но когда майор Мюллер страстно доказывал, что необходимо преобразовать все музыкальное творчество — каждое произведение каждого композитора должно быть снабжено одним и тем же характерным вступлением, — я понимал, что майор Мюллер не того.

Вначале он еще пытался что-то объяснить, скрипуче напевал Баха или Гайдна, мычал мотивы из Вагнера и втолковывал нам, как можно было бы с помощью таких музыкальных зачинов сократить раздражающий дикторский текст по радио или во время концертов на открытом воздухе не мучаться, вспоминая, кто композитор. Но потом он уже не слезал с Бетховена и с идеи, что в его музыке стучится в двери судьба. Тогда все поняли, что майор Мюллер тронулся, и старались на него не смотреть. Безумие там редко достигало такой степени, но зачатки его наблюдались у многих.

Были среди них расовые психопаты, бросавшиеся словами вроде «торжествующий зов крови» или доходившие чуть не до драки из-за утверждения какого-то фюрера СА, что движение могло бы достигнуть большего, если бы Генрих Гиммлер не потерпел неудачу на попроще разведения кур. Иногда я удивлялся, что большинство презрительно отмахивалось, когда кто-нибудь увлеченно говорил о крови, почве и расе, ибо они и им подобные прежде твердили мне о германском призвании, и не будь их, сам бы я вряд ли додумался изучать в зеркале форму моего черепа.

От подобных типов я все узнал о народной общности и о том, как благодаря ей можно ликвидировать в мире классовую вражду, а теперь они организовали группу по изучению экономики производства, и когда ее руководитель, бывший стекольный фабрикант из Лигница, сообщил им любимое изречение своего отца, они почтительно закивали. Изречение гласило: «Самое страшное, мальчик, это когда надо делиться».

И, конечно, стратеги: Швейцария, первым делом надо было занять Швейцарию. Непостижимо, почему мы так слабо использовали этот потенциал — зарубежных немцев. Стоило только бросить клич — и во всем мире поднялись бы сотни тысяч мужчин-немцев. Или — смельчак-одиночка в аргентинской пампе, в рюкзачке — колба с бактериями коровьей чумы: конец говяжьей тушенке — и участь Соединенных Штатов была бы решена. Эта свинья Франко, как только легион «Кондор» помог ему одержать победу, стал нейтральным. С южно-африканскими бурами надо было разговаривать требовательнее. Ковентри был ошибкой? Нет, Ковентри был полумерой. Тридцать таких Ковентри решили бы все. Тунис, Тунис — вот что бы все решило. Человек-торпеда двумя годами раньше — вот что решило бы все. Этот предатель Паулюс. Эта трусливая свинья Кейтель. Роммель — вот кто бы мог спасти. Атлантический вал был

¹ Английская разведка.

дырвый. Восточный вал запоздал. Японцы слишком далеко. Итальянцы слишком трусливы. Фюрер гениален, но одинок. Фюреры должны быть. Войны неизбежны. Военных преступников не бывает. Поэтому то, что делают поляки, незаконно. С этим надо обращаться в Лигу Наций. Пусть покажет, на что способна. Сначала надо разобраться, законно ли вообще нынешнее польское правительство. Говорят, против него существует сильное сопротивление, а с польским сопротивлением шутки плохи.

Я не придумываю задним числом: после такого оборота разговора мне стало не по себе. Ибо даже гауптштурмфюрер возлагал надежду на польское сопротивление, по крайней мере на его европейских участников.

Но ведь у меня в ушах все еще звучали его назойливые поучения, согласно которым поляки — это канализационные крысы и навозные саламаандры, выродившееся племя, способное только на коварство и хитрости, орда головорезов, которым какой-то властитель-раззява позволил научиться грамоте, банда, которой, по сути дела, должна была бы заниматься полиция, а не порядочные солдаты.

Теперь же он ждал польского восстания, а оно, конечно, будет происходить по классическим образцам: закроют границы и распахнут двери тюрем.

Ясно, сказал гауптштурмфюрер, в них содержат плевелы вместе с пшеницей, но когда заварится каша, поначалу все сойдет за пшеницу. Вымести сор можно потом, сперва надо получить в руки метлу.

И он посоветовал нам в час освобождения не лезть в мировоззренческие схватки: мы за то, для чего они хотят нас использовать. Сперва выбраться отсюда, ибо мировоззрение может иметь лишь тот, кто зрит мир. Для принципов у человека должна быть голова на плечах. Кто распахнет передо мною эту дверь, за тем я пойду без оглядки, как в царстве небесное.

Мне было нетрудно дополнять его слова картинками, пока я мог черпать их из арсенала кино, из фильмов, в которых драки, неожиданные нападения, побег и освобождение были необходимыми художественными элементами. Пандур Тренк сбивает с меня оковы; Андреас Гофер рвет веревки, которыми я связан; Лео Шлагетер сбивает со стены засов, а отчаянные ребята, которые, несмотря на нашлепку на глазу и окровавленную повязку на лбу, выглядят, как Луис Тренкер и Гарри Пиль, машут мне дымящимися пистолетами. Освобождение было делом каких-то секунд.

Трудности начинались лишь тогда, когда я должен был подставить на место этих киногероев моих знакомых поляков.

Даже пан Домбровский, не питавший слабости к татарам и монголам, никак не вписывался в подобные мечты. Этому мешали два моих пеших перехода через его город.

И как мне порой бывает достаточно второстепенной детали, чтобы разрушить нечто существенное, так я засомневался в чаяниях гауптштурмфюрера лишь тогда, когда он заговорил о хитрости и коварстве как тишинах качествах поляков. Еще совсем немного времени прошло с тех пор, как мне выдали учебную брошюру, где речь тоже шла о коварстве и хитрости. Там говорилось, что германец не должен ими пренебрегать, если хочет одержать окончательную победу. Текст сопровождался картинками и стихами в духе Вильгельма Буша. Картинка первая: немецкий солдат хитро использует труп русского солдата, прикрепляет ручную гранату к его гимнастерке и корню дерева; вторая: русские приближаются, чтобы подобрать убитых, германец за кустами коварно смеется; третья: взрыв; и четвертая: трое русских на небе играют в скат.

Знаю, знаю, бывали картинки и похуже, но в мою память глубоко врезались именно эти, именно они помешали мне принять участие в фильме гауптштурмфюрера.

Не будь язык у меня скован, я, быть может, навел бы разговор на эту тему, и они, вероятно, сумели бы меня убедить и взяли бы с собой в свои мечты.

А так, связанный германским обетом молчания, я бушевал только мысленно, при каждом их открытии держал наготове упрямое отцовское «а теперь ты это знаешь?», каждое утверждение пропускал через множество сит, от потока слов, в котором не участвовал, понемногу набирался ума, по тому или другому поводу сочинял стишки и рифмы и вскоре по жестам и полутонам раз и навсегда усвоил эсперанто.

Женщина по имени Бася вначале не желала терпеть, чтобы я разговаривал с двумя фольксдойче на моем родном языке; при своей миловидности она была несколько шумновата, но работа, которую мы выполняли, положила конец спору. Дело в том, что на ящиках было написано «Сименс-Лицманштадт», а в ящиках лежали какие-то технические детали, назначение которых в большинстве случаев было мне неизвестно, но сопроводительные документы я прочитать мог, и женщины-фольксдойче делали вид, будто знают, о чем речь, когда, не зная, о чем речь, переводили на польский то, что я, тоже не зная, о чем речь, читал им по-немецки, а Бася слушала с умным видом и составляла опись, которая, должно быть, задала работы нашим премникам.

Я и теперь толком не знаю, что такое «Коммутационное устройство Звезда-Треугольник», но еще помню, что в описи и в ящиках содержалось семьсот сорок таких устройств.

Девушки могли бы и сами прочитать и перевести документы, но я полагаю, что раз дело шло о технике, а я был мужчина, то Бася решила привлечь к работе меня, а уж с этой минуты свести все наши разговоры только к работе было бы трудно.

Так что я веским тоном зачитывал слова «звезда», «треугольник» и «коммутация», а Хельга и Вальбурга — младшую действительно звали Вальбурга — произносили те же слова по-польски, но другим, раболепным тоном, а Бася записывала.

Вполне возможно, что они сумели точно передать по-польски слова «звезда», «треугольник» и «коммутация», но вот удалось ли им перевести следующее название, значившееся на ящиках, — сомнительно.

«Двести десять распр. кор. с защ. авт. р.». Догадаться, что «распр.» означает «распределительный», а также что в нашем распоряжении имеется двести десять распределительных коробок, на это у нас ума хватило. Но вот приписка к названию «с защ. авт. р.» заставила нас поломать голову. Что она означает? Щиты? Защитники? Защитник, затворник, запор, затвор. Затвор? Вздор. Хотя в поэзии для созвучия, для рифмы бывает еще и не такой вздор. Но хватит, это может завести слишком далеко. Нет, «с защ. авт. р.» никак не могут означать затвор. Двести десять распределительных коробок с защ. авт. р.

Откуда-то из глубин памяти всплывает нечто далекое, какой-то полузабытый и старательно отгороженный отрезок биографии: школьная экскурсия на дитмаршенскую дамбу, застрявшее в ушах слово «затвор». Ах, конечно, это заслонка в шлюзовых отверстиях. Закрытый, забытый, заслонка, затвор.

— В чем дело? — спросила меня Бася, заметившая растерянность на миловидных личиках Хельги и Вальбурги.

Известный северогерманский поэт и печатник Нибур, кажется, переоценил их возможности. Ничего, Польша столько всего перенесла и выстояла, ей не причинит вреда, если Бася внесет в список двести десять коробок с защитниками или затворами. Что-то она в этот список внесла, и с таким видом, будто поняла, в чем дело.

И я скоро смекнул, что она будет терпеть мое общение с двумя фольксдойче, только если мы и дальше сохраним тот пытливый тон, который возникает при поисках наиболее точного перевода трудного слова. Позднее эта предосторожность уже не требовалась, когда Бася поняла, что хоть мы и много болтаем, но свою работу делаем, и даже поняв, что мы не только болтаем, она тоже смолчала, потому что прежде всего мы все-таки выполняли свою работу.

Но на все это потребовалось время. Недели, даже месяцы, а дело между мной и Хельгой потребовало двух долгих дней. Не из-за нас. Я полагаю, если бы в первые двадцать минут они оставили нас вдвоем, мы бы просто набросились друг на друга. Хельга была такая, и, к моему величайшему удивлению, я тоже оказался такой. Раньше — это у меня всегда означает: в Марне — я тоже от девушек не бегал, об этом речь уже шла, но чтобы вот так, сразу, без заходов и подходов — это было для меня ново.

Кое-что было ново. Так, например, несмотря и даже вопреки ее имени, я вначале больше нацелился на Вальбургу, но когда я до нее дотронулся, она сперва побелела, а потом лицо у нее стало серым и пористым, как пемза, и Хельга сказала:

— Оставь ее. Ей за один раз досталось слишком много, уж очень большая была толкотня; теперь ей долго не захочется.

— А тебе? — спросил я и сам удивился своей наглости, потому что к младшей еще не вернулся нормальный цвет лица.

Но Хельга не удивилась.

— Вон там есть место, — сказала она, и если бы в ту минуту к нам в подвал не спустился охранник, я бы в первый же день воспользовался случаем.

Несмотря на Вальбургу — и это было тоже ново. Я всегда думал, что для этого дела надо остаться вдвоем, может, потому, что дома была спальня, однако наутро третьего дня в складском подвале я уже ни с чем не считался.

Наверно, Бася придерживалась того же мнения, какого раньше придерживался я, она скорее всего полагала, что если уж оставляет нас в подвале втроем, то никто не нарушит предписаний морали.

А мы нарушили, да еще как. Только и делали, что нарушали, и ни о чем не думали. Я не думал ни о чем.

Такое вот прямо с утра. Это что-то новое. Да еще в подвале, среди ящиков фирмы «Сименс-Лицманштадт». Что-то новое. Во время работы, вместо работы. Перед обдуманным началом работы такое необдуманное начинание. Что-то новое. Необдуманность — это что-то новое. Что, если она... что, если ты... что тогда? — об этом совсем не думалось. Что-то совсем новое.

Знаю: пугливая фрейлейн Вальбурга была в то время в подвале и стучала крышками ящиков. На какой-то миг я подумал: чего это она стучит? Но потом шум, поднимаемый вокруг, потерял для меня всякую важность, я сам поднял изрядный тарарам, я был бездумен и безумен. Миловидная Хельга предоставила мне ровно столько места, сколько требовалось. Такие обороты не всякому по вкусу, но только я упивался ею с такой же жадностью, как за два дня до того райски пряным супом.

Мы оба упивались,
Мы оба наслаждались,
И было ль то в подвале
И год ли длилось, два ли,
Нам игры удавались.

У господ бога хватило ума замкнуть мне рот, когда потом, в камере, меня так и подмывало рассказать всем о Вальбурге, о Хельге и о себе. Без бога мне бы не устоять, но ведь это как раз его дело — помочь человеку против искушения и против искуителя, хотя некоторое сопротивление я оказал и сам, едва представив себе, какую свору спущу с цепи, если только примусь рассказывать о женщинах.

Я сказал лишь, что там, где я бываю, работа очень тяжелая, зато меня вполне прилично кормят, и объявил, что от обеда и ужина отказываюсь. Думаю, что одна девяностая часть моей порции, доставшаяся каждому, на одну девятую повысила меня в их глазах.

Прошло десять дней, прежде чем прокурор пригласил к себе еще четырех человек. Эти четверо и шестеро предыдущих выходили из камеры теперь почти так же регулярно, как я, но не так охотно.

Некоторые говорили теперь только о допросах, некоторые совсем почти не говорили, а Гейсслер начал молиться.

Еще до меня в камере условились: любые религиозные излияния совершать про себя, то есть молча и без жестикуляции, а теперь этот Гейсслер молился вслух, боязливо и даже как будто нетерпеливо, словно ему были обязаны оказать помощь, но почему-то слишком медлили. Он признавал свою вину, раскаивался и претендовал на милость — видимо, таков был ход его мысли, — и, должно быть, он считал, что чем громче себя обвиняет, тем большая выпадет ему милость и тем скорее.

С того времени эти дела стали общеизвестны и в них ничего не меняется оттого, рассказывает ли о них тихим голосом бледный учитель истории или надрывно кричит преступник, кричит покаянно и нетерпеливо, потому что милость заставляет себя ждать, — эти дела общеизвестны, и в них уже ничего не изменишь и хорошего в них

тоже ничего нет, нет, нет, нет, нет, разве что таким, как я, они немного открыли глаза.

Вот почему я хочу похвалить моего соотечественника Гейсслера, который навязчиво и доходчиво живописал растущие горы пепла, который был нескромен и прям, повествуя о своих деяниях, за которым я благодаря простоте и ясности изображения мог следовать через загаженные теплушки, полные гниющей человеческой плоти, через погрузочные платформы и лагёрные улицы, направлявшие вереницы шатких призраков к последнему в жизни теплу, через шлюзы, затворы, решетки и сетки, где застревало то, что жалко было превращать в пепел, ибо еще можно было использовать,— мы с Гейсслером вместе следовали за поездом до последнего великого смрада, оторвались от него лишь для того, чтобы не мешать скорбному плачу, а когда эта музыкальная пьеса смолкла, подошли опять поближе и навели некоторый порядок — уложили ноги к ногам, руки к рукам, ибо слишком уж перегуанные конечности, слишком уж бесформенно застывшая мешанина костей и тел могла привести к нежелательному затору перед печной заслонкой.

Этого нельзя было допускать, орал мой сотоварищ Гейсслер, это было бы проволочкой, а на каждом совещании нам за это выговаривали, и боже ты мой милостивый, я же всегда старался побыстрей.

Я хочу похвалить моего сотоварища Гейсслера за то, что он повествовал так убедительно,— не то что какой-нибудь брехун, слышавший все из третьих уст. Знаток служебных инструкций, а также технического процесса, человек, глядевший врагу в распадающиеся белки глаз, человек, стоявший у огня и нюхавший порох — порошок, который остается от человека, несмотря на самое жаркое пламя.

Человек? Это Гейсслер-то? Разве он человек? Он и ему подобные — это нелюди. Я думаю, слово «нелюди» — это уловка. Она придумана для того, чтобы отделить нас от Гейсслера и гейсслеров. Если Гейсслер не человек, если он перестал быть человеком, то и не может быть для меня сочеловеком, сотоварищем, спутником, соотечественником — значит, и я не могу всем этим быть для него.

Хочу также похвалить другого моего соотечественника, того, кто был гауптштурм-фюрером, эсэсовцем и пропагандистом германских обычаев. Тот вырезал мое имя на дубе Вотана рядом с именем Гейсслера, вырезал теми же рунами, клинописью выбил из меня скромность, побуждавшую отступать перед газовщиками с Рейна и из Треблинки. Я хочу похвалить моего грозного сотоварища, позаботившегося о том, чтобы я не оторвался от своих и осознал себя звеном в цепи ведер, человеком среди сочеловеков, одним из тех человек, без которых была бы невозможна бесчеловечность.

Спросить не спросили,
А следом пустили —
И вот уж сообщник,
И вот совинновник,
Сокамерник ныне,
Сижу вместе с ними
И потрясен...

Похвалить хочу я тех, кто помог мне оправиться от первого потрясения, когда я столкнулся с их враждебностью. Похвалить хочу тех, кто помог мне справиться с удивлением, неужели это я — Марк Нибур, и осознать, что да, я Марк Нибур.

Разумеется, вслух я своего сотоварища Гейсслера не хвалил, когда он так громко распинался в своих деяниях и так нетерпеливо ждал милости господней, я даже на него цыкнул — я был старший по камере, призванный следить, чтобы английский кружок, и занятия по экономике производства, и прежде всего ночной покой не знали никаких помех. В конце концов, по меньшей мере одиннадцати из нас предстоял тяжелый день, по меньшей мере десятеро должны были иметь ясную голову для того, чтобы заверять польского прокурора в своей невиновности, а одному придется иметь дело с тяжелыми ящиками, надписанными «Сименс-Лицманштадт», а еще, как он надеялся, с ладной Хельгой, втиснутой между ним и ящиками.

Здесь было бы к месту заявление, заверение, клятва, извинение: да, конечно, тот, кто ведет этот рассказ, знает, что говорит как будто путано и сбивчиво. Самая непозволительная смерть, довольно-таки непозволительный образ жизни, непозволительный

тон и неожиданная его перемена, непозволительное сочетание того и другого, неразбериха — да разве так можно!

Можно.

Так оно и есть. Так иногда бывает. Так было.

Я вышел из этого смятения.

Когда я только начал повествовать о том, через какой отрезок жизни прошел, то уже не помнил и еще не вспомнил всего — всех частей этого отрезка. Ибо если бы вспомнил, то не начинал бы.

Может быть.

Но однажды я все-таки начал бы. Я думаю, жизни нужно то, что я знаю. Ей это нужно от всех, значит, и от меня.

Для чего жизни может понадобиться мой рассказ? Чтобы с ним сообразоваться? Напугавшись? Желая исправиться? Вот уж нет. Жизни нужен мой рассказ лишь для того, чтобы она лучше могла меня понять. Меня и некоторых других.

Я прошу у жизни понимания. Рассказываю, что было, и не могу сделать вид, будто мало было смятения и путаницы.

Я не стремлюсь понравиться. Не ищу одобрения. Только понимания. Пусть у каждого честного человека будет такая жизнь, чтобы по утрам его поднимал будильник, а не стук в дверь камеры ногой короткошеего надзирателя или вопрос, вызовут ли сегодня к прокурору. Пусть у всего честного люда день начинается с кофе, а не с бесцветной бурды; пусть день приносит ему масло на хлеб и яичко в придачу. День, в который он входит через двери учреждений, или заводские ворота, или двери амбара. Пожелаем всем славным собратьям таких дней, когда в обед на стол ставится суп, благоухающий кореньями, рыба, не слишком пахнущая рыбьим жиром, мясо, где поменьше костей и сала, а следом малиновое желе и снова кофе. Таких дней, таких отрезков жизни, которые не пронизаны страхом и ненавистью, грызущим голодом и непроглядно черным непониманием. Такого положения, которое будет надежным, прочным и не разлетится вдребезги от одной мысли, что твоя жизнь причастна к чьей-то смерти. И от всего сердца пожелаем рискованных любовных игр тому, кто чувствует себя на это способным, а если для любви ему нужен уют, пусть он его получит. Пусть все это будет людям дано, даровано, ниспослано, пусть не будет дано, даровано, ниспослано лишь тем, кто лишен понимания. Кто не желает его проявить. Проявить по отношению к другим, как я в первый период моей жизни.

Прежде чем снова отправиться к сименсовским ящикам, я назначил майора Лунденбройха своим заместителем, чтобы в камере оставался кто-то, способный заpretить Гейсслеру выть и причитать. Печных дел мастер ко всему еще стал бунтовать, не слушался начальников, раз они побывали у прокурора наравне с ним, а уж гауптштурмфюрера не слушался вовсе, ибо с того все и началось, ревел он, все, что привело потом к печам и грудам пепла.

Можно было предвидеть, что незапятнанных людей с каждым днем будет становиться все меньше, а если я не ошибался в своем суждении, то майор был человек моего склада и у прокурора он ничего не потерял.

Я знал, нам с ним надо кое-что еще найти, но мне хотелось думать, что у прокурора мы ничего не потеряли.

Не считая рассказа о самом радостном событии его жизни, о том облегчении, которое он испытал, избавясь от страха, что его невеста могла оказаться не арийкой, не считая случайных и сдержанных заверений в том, что он был не слишком близок с нацистами, он почти не раскрывал перед нами себя и свою жизнь. Он ни с кем не ссорился, иногда давал нам юридические справки, а язвительным становился, только когда считал своим долгом повторять, что нас лишили свободы незаконно: *nulla poena sine lege*.

Это было единственное, чем он иногда действовал мне на нервы. Не то меня раздражало, что он согласился с моим изгнанием из империи, когда они изготовили против меня буллу об отлучении, не то, что и он со мной не разговаривал — что ему было делать: сообщая приятное решение имело в камере силу закона, — злило меня это его вечное *nulla poena sine lege*. Как снова и снова пояснял Лунденбройх для не знающих латыни и неюристов, это выражение означает: нельзя наказывать человека за

какое-либо деяние, если ко времени его совершения наказание не было предусмотрено законом. Нет наказания без закона, *nulla poena sine lege*. Меня эта фраза злила, потому что иногда она годилась, а иногда нет, а обсуждать ее я ни с кем не мог. Она годилась — иначе они могли бы предъявить человеку все что угодно, могли бы сказать, ну, предположим: кто когда-либо грелся возле директорской дочки на холодной мельнице, должен до окончания века возить в холод тачку с куриным кормом; кто когда-либо черпал русской ложкой польскую воду из сосуда, не предусмотренного законом для этой цели, будет приставлен к траншейному насосу для тренировки на выносливость и закалку. Или они могли сказать: того, кто защищался против стрелявшего кашевара или стрелявшего танка, следует расстрелять в переднем дворе Раковецкой тюрьмы. Или: кто избавил Кюлиша от необходимости стрелять и одним своим существованием обеспечил комиссару Рудлофу возможность спокойно вести допросы, должен быть заперт в одной камере с Рудлофом, Кюлишем и Гейсслером.

Нет, нет, *nulla poena sine lege*. Это годилось.

Но и не годилось. Потому что весь мир нельзя уложить в один закон. И потому что человек мог бы разгуливать на воле после тяжчайшего преступления, если бы законодатели не сочли тяжчайшее преступление возможным. Никакой закон не может предусмотреть все. Возьмем хотя бы дело Нибура.

Кто бы мог предположить, что с этим Нибуром, который однажды хмурым зимним утром покинул материнскую кухню, произойдут такие события? Этот человек, до той поры тихий и послушный, даже слишком тихий и способный лишь изредка вспылить, отягощенный наследственностью со стороны отца и строптивого дядюшки — ну и семейка! — этот человек переезжает по мосту через канал, попадает в большой мир и столь же часто, как он меняет одежду — в большинстве случаев против воли, — столь же часто меняет он и то, что можно бы назвать его повадкой, и по многим поступкам его не узнала бы даже родная мать и по многим дорогам не пошла бы за ним следом. Уж эта женщина знала, почему не пошла с ним на вокзал.

Нет, не годится. Мы все сошлись на одном: никто не мог предположить, что станет с Марком Нибуром. Так и договоримся, не то в один прекрасный день скажут: мать все знала заранее, она должна была предписать сыну закон, раз она этого не сделала, значит, сына нельзя наказывать. *Nulla poena sine lege* — однако закон, согласно которому родители предписывают законы детям, существовал всегда, значит, фрау Нибур в ответе за это, она ответчица.

Нет, это никак не годится, мою мать оставим в покое. Она не представляла меня таким, каким я стал. Кто бы стал требовать от нее законов, запрещающих мне вынимать челноки из транспортируемых швейных машин? Парнишка даже не знает, где у нас дома стоит швейная машина, а уж что такое челнок, он и понятия не имеет. Он знает, что у тети Риттер есть швейная машина, что она курит только «Юнону» и любит кроссворды. Он даже умеет восстановить кроссворд, чтобы опять пришла охота его разгадывать, умеет иногда составить и сам. А откуда было парнишке знать, что за кроссворд человека могут затоптать насмерть? Чтобы он стал есть сухие галеты? Да он и от домашнего-то печенья нос воротил — не любит, и все тут. Чтобы он стоял на подножке вагона и говорил речи девушке за стеклом? Господи, это в нем заговорил отец, с тем иногда было не сладить. Но парнишка не такой. Чтобы он оказался под одной крышей с брачными аферистами и — как вы сказали? со скотоложцами — это еще что такое? Куда-то вскарабкаться — да, это на него похоже, и что он когда-нибудь себе что-нибудь сломает, тоже можно было предвидеть. Но вот драгась глитсовой рукой — это уж ни в какие ворота не лезет, хорошо, что вы мне сказали, дома он за это получит — как это он посмел! Но должна вам сказать: этого никто предвидеть не мог.

Верно, и никакой закон не может предусмотреть всего, раз уж никакой закон не может предвидеть всех возможностей Марка Нибура.

Нельзя судить о мире по тому, есть ли у него законы на все случаи жизни. Будь у него такие законы, это бы неопровержимо доказывало: с самого начала все было запланировано заранее, каким бы мир ни стал, он был таким и задуман, и самые тяжкие преступления были задуманы тоже.

Но это не так. Не годится. Мы продвинулись вперед во всем, также и в суждении о том, какое преступление самое тяжкое.

Не может быть наказания, если угроза его не содержится в законе ко времени совершения преступления? Но ведь это означает также, что человечество может жить спокойно лишь до тех пор, пока закон опережает преступника. Закон должен быстрее измышлять всевозможные преступления, чем их замышляют преступники, должен быть на месте преступления прежде его свершения. Не годится.

У кого бы хватило сомнительного мужества заранее измыслить закон против тех, кто однажды начнет громоздить горы пепла, и горы женских волос, и горы оправ от очков в полном соответствии со служебной инструкцией, то есть избегая каких бы то ни было проволочек?

Таким этот мир запланирован быть не мог, иначе следовало бы наказать того, кто создал подобный план. И безразлично, существовал ли ко времени составления этого плана планозапретительный закон или не существовал.

Послушайте-ка этого Нибура: теперь он еще предъявляет претензии к творцу — такого уж от него никто не ждал и не предполагал.

Никто не предполагает: я не стремлюсь ни так высоко, ни так далеко назад, я только хочу сказать — правило *nulla poena sine lege* годится не всегда.

И еще я хочу сказать: формула «нет наказания без закона» звучит для меня слишком уж юридически. Я хочу лишь такой: нет наказания без деяния.

Ибо как бы ни называть содержание человека в помещении, где люди могут лежать только как ложки, это наказание. Но где же соответствующее ему деяние?

Прежде всего предъявите обвинение. Нет наказания без обвинения, основанного на каком-либо деянии. И не может быть обвинения, не основанного на деянии и не переведенного на родной язык обвиняемого.

Куда ж годится такое обращение с человеком на основании одних лишь слухов? Про него говорят. Якобы он. В Люблине. Произносят слово *mongers*. Это не годится. Не подходит. Незаконно. Верно, майор Лунденбройх? Майор Лунденбройх всегда говорил, что это незаконно. Он сказал также, что принимает поручение замещать меня в должности старшего.

До самого вечера день не принес ничего такого, о чем надо было бы долго распространяться. Дамы были по-прежнему недурны, обеды тоже, но свое отношение к еде я уже списывал, а вот отношения с Хельгой в этот раз не состоялись, так как все, работавшие на складе, собрались в подвале. У Баси были идеи, а мы претворяли их в дело. Из сименсовских ящиков мы делали перегородки, что-то вроде стеллажей, каким и положено быть на складе технических деталей.

Бася вспомнила остроу, пущенную среди нас в один из первых дней. Она читала нам вслух наклейки на ящиках, но вместо «Лицманштадт» произносила «Фрицманштадт». Не знаю, сама ли Бася придумала эту шутку, она быстро приелась, но меня как-то растревожила. Ведь Лицманштадт был тот самый город, где меня заставили взбираться на странно бесформенные обледенелые холмы и хорошенько все осматривать в том обгоревшем дворе. Лодзь — вот как с недавнего времени стал опять называться этот населенный пункт, от Лицманштадта не осталось даже дорожных указателей, а Фрицманштадт состоял лишь из обгорелых трупов, сваленных на холодном тюремном дворе.

И шутя и всерьез я одинаково неохотно вспоминал о том, как мы проходили между двумя рядами плачущих и бросавших в нас камнями людей, и когда Бася опять подхватила эту шутку, то даже Хельга потеряла для меня часть своей привлекательности. Потому что она была из тех мест, была начальницей среднего ранга над девушками, отбывающими трудовую повинность, а Вальбурга — одной из младших начальниц.

Хельга говорила, что за ними никакой вины нет, но они были фольксдойче и имели отношение к трудовой повинности — этого оказалось достаточно, чтобы угодить сюда, в женское отделение.

У меня не было оснований сомневаться в ее словах, знал ведь я одного, кто сидел в мужском отделении и за кем тоже никакой вины не водилось.

Итак, мы разбирали ящики на доски, сортировали выключатели и переключатели, муфты и распределительные коробки, а в промежутках между Басинскими острогами болтали. Даже на лице у Вальбурги снова заиграли краски, и если я задавал ей вопрос, она мне иногда отвечала.

Они обе не знали, с каких пор в Липманштадте существует фирма Сименса, была ли она и раньше, в Лодзи, но Хельга знала, где там тюрьма и что она горела — тоже.

Она считала, что глупо с моей стороны говорить о таких вещах: какое нам дело до других тюрем, своей нам мало, что ли?

— Верно, — сказал я и, чтобы не волновать пани Басю, принялся возиться с техникой.

Верно, верно, только кому пришлось взбираться на такие горы, должен хотя бы знать, кто их насыпал. Хельга знала только, что мертвецы, застывшие в этих холмах, были заключенные, их расстреляли, когда подходили русские; хотели, наверно, сжечь, но русские подошли очень быстро.

Сколько помню, я рассказал им про инженера Ганзекеля, который тоже когда-то работал у Сименса, про Эриха — рассказчика фильмов и вообще про самые веселые моменты моей недавней жизни. И когда наш рабочий день кончился и мы все разошлись — милостивые польские дамы кто куда, хорошенькие девушки-фольксдойче в женское отделение тюрьмы, а я в одно из мужских, — я чувствовал себя почти умиротворенным. Спокойный, нормальный рабочий день.

В камере, как сообщил мне мой заместитель, день тоже прошел довольно спокойно: Гейслер не орал, посланцы прокурора не являлись, только развеялся слух, что отныне допросы будут вестись также вечером и ночью, а в остальном шли обычные дебаты об операции в Нарвике, о датских сливках. Никаких происшествий, грустно-размеренный день.

Но вдруг в камеру в сопровождении Бесшейного вошел незнакомый надзиратель; он указал на меня и указал мне на дверь, так что день еще не совсем отпустил меня.

В коридоре стоял тюремный врач, у которого в Варшаве погибли жена и ребенок, когда там находился генерал Эйзенштек. На меня врач не смотрел, не смотрел он также — в этом я готов поклясться — на мою шею. Он велел мне снять куртку и рубашку, показал несколько упражнений для локтя, кисти и пальцев, я повторял их за ним, и все они у меня получались.

Это был хороший человек. Пришел за мной теперь, когда я уже почти забыл о своей руке. Пришел вечером, вызвал меня из камеры как будто к прокурору. Хороший врач.

Когда я увидел его снова, он был мертв — кто-то его застрелил.

XXVI

Октябрь был месяц каверзный. Месяц полным-полный необычайными происшествиями.

Во-первых: исполнился год, как Нибур стал заключенным. Год на Раковецкой, 37. Никаких оснований для торжества.

Во-вторых: два новеньких. Один из немецких краев, другой из польских лесов. Они принесли известия о новейших войнах. Одна вспыхнула в польских лесах, другая во всем мире. Эта последняя разыгрывается под новейшим наименованием, ее называют «холодная война». Все случилось так, как нам заранее было известно: русские и Запад на ножах. Черчилль еще в марте объявил об этом. Черчилль наш человек. Что там лорд-брехун, было и бывшем поросло. Нынче требуется мыслить с точки зрения атлантических стран.

В-третьих: частые перемещения, и потому, несмотря на вновь поступающих, у нас становится чуть просторнее. Генерал-майор Нетцдорф в лазарете, его мы больше не увидим, он в последнее время одну кровь подтирал. Главный комиссар Рудлоф, унтер-шарфюрер Гейслер и другой треблинковский охранник из «Мертвой головы» получили одиночки. Началось слушание их дел. Говорят, в одиночках они долго не засидятся.

В-четвертых: чрезвычайно необычайное происшествие. Майор Лунденбройх допускает, что обвиняют этих парней вполне законно.

В-пятых: оргсбауэрнфюрер Кюлиш однажды утром не встал. Все вставали — ложка за ложкой,— только Кюлиш не встал. Он продолжал прижиматься ухом к асфальту; его час пробил.

В-шестых: рейнский газовщик попытался отправиться за ним следом. Среди бела дня. За железным занавесом, в клозете. Но у него не оказалось ни шнура от утюга, ни услужливых соседок. В наказание его осудили на пожизненное дежурство по камере.

В-седьмых: Нидерланды получили Яна Беверена. Ведь с самого начала его вилла дача полякам была незаконной. В прощальном слове он заявил: «Уж если меня вздернут, пусть так вздернут, чтоб могли в зад чмокнуть». Не знаю, выполнили его желание или нет; знаю только, почему недолголюбиваю тюльпаны.

В-восьмых: нас накормили маисовым супом, ну и всколыхнул же он нас.

В-девятых: чрезвычайное происшествие в двух частях: а) однажды воскресным вечером вызвали четырех добровольцев, б) благодаря чему я вновь встретил господина Эугениуша и нашего врача-арестанта. И нашего тюремного врача.

Сколь краткой ни была моя тренировка на выносливость, но благодаря ей я натренированно глож, если вызывали добровольцев. А поэтому я и не шелохнулся, когда в тот вечер какой-то молодой надзиратель с помощью учителя-фольксдойче ловил добровольцев. Но поскольку в сей же миг оглохли и все остальные, надзиратель взял учителя, старшего по камере и двоих из степенных крестьян.

Я успел еще подумать: ну, если там что-то для людей с железными нервами, так эти двое как раз сгодятся. Я видел их в деле после маисового супа и был восхищен. Вообще-то они мне были не очень по душе, с ними же не о чем говорить, но когда суп полез у нас из глотки, они действовали великолепно. Они были хороши во времена пожаров, прорывов плотин и падения кометы, только ни одно из этих событий они не описали бы.

Я успел еще подумать: да и незачем. Для этого у них есть Нибур. А вот суп без них оказался бы еще вредоноснее.

Суп этот от начала и до конца был истинной сенсацией. Нужно только себе представить: целый год кислая капуста, в обед полный черпак, в ужин — половина, значит, если прикинуть, полтора года одна капуста. Исключая рождественскую селедку, исключая и меня; я уже давно получал на техническом складе приличную еду. Но другие-то не получали. Другие-то получали капусту.

И неожиданно-негаданно, задолго до рождества, в октябре еще, дежурные разносят совсем другой суп. Вдвойне незнакомый; в этих стенах мы с ним еще не сталкивались и ни в каких других стенах тоже. Пахло от него восхитительно, сладковато и кислотовато одновременно. Выглядел он восхитительно, светло-желтый, густой, хоть ножом режь. На вкус он был восхитительный, ни кислой капустой не отдавал, ни мужской камерой, на вкус он был совсем-совсем другой.

Полагаю, все теперь поняли, что в тот вечер я тоже ел суп. Позже мы даже рады были этому обстоятельству. Однако тогда только, когда опять в состоянии были радоваться. Когда избавились от маисового супа. От всего-всего супа и от всего-всего, что еще было внутри нас.

И еще я успел подумать: история эта тоже началась с газовщика. Смешно, сколько всяких дел уже началось с газовщика. От него я впервые услышал, что существуют военные преступники. С него, с его рассказа о присвоении власти, началось разделение в нашей камере, и даже гауптштурмфюрер не в силах был его сдержать. Газовщик первый попытался повеситься в клозете, и только после него сделал свое прощальное заявление о повешении Ян Беверен, и даже Нибур понял тогда, что гауптштурмфюрер Ян Беверен находился в Аушвице не только ради тюльпановых грядок. И газовщику же первому стало дурно после того супа.

Он вдруг вскочил и побежал за железную загородку, но хотел ли он свой желудок облегчить или водопроводные трубы собой утяжелить, никто не знал. Зато все знали, что ни то, ни другое не позволено, ибо многие еще глотали свой суп.

Однако все враз остановились, когда газовщик выдал поглощенное наружу. Кто-то тут же вскочил и побежал за ним; оттуда до нас донесся словно бы хор труба-

чей. И еще до нас доносились чужеродные звуки; видимо, блюющие стукались головами. Однако хор мы слышали лишь до тех пор, пока они пытались попасть в надлежащий сосуд — подобные честолюбивые помыслы очень быстро увяли.

И вообще многое очень быстро увяло; сила сфинктеров прежде всего и сила договоров, которые человек имеет обыкновение заключать с окружающим миром и окружающими. Поначалу все еще пытались укрыться за ширмой, затем пытались прильнуть к пустым оконным рамам и к решеткам, далее, искали уже на полу местечко, которое можно было бы сохранить за собой, в конце концов, хотели только остаться в живых, условие же для этого было одно — все внутренности из себя вывернуть и выбросить. А уж каким манером, значения не имело. Куда — тоже не имело.

Да, все это не имело значения, ведь в камере было и тогда тесно, когда мы друг с другом считались. Но сейчас считаться и думать нечего было, считаться мы просто не в силах были; всех нас заботило одно — как полнее вывернуться наизнанку! Нет, не совсем это, а очень скоро и вовсе не это; очень скоро никто уже не был озабочен тем, чем бывают озабочены люди, очень скоро здесь начали сумбурно командовать природные силы, с которыми не стоворишься, они выворачивали и выкачивали, давили и рвали, душили и резали, врубались в кишки, грызли потроха, ввинчивались боевой палицей по пищеводу вверх, к горлу, лишали тебя каких-либо мыслей, кроме одной-единственной, которая еще едва теплилась в твоём сознании: это конец.

Однако идея эта вовсе не последняя, которая приходит тебе в голову, ибо ты вовсе не жаждешь конца, ты жаждешь жить, и оттого в kloкочущих хрипах слышится слезливо-требовательный тон Гейслера, каким изничтоженный и негодующий человек, проклиная, молит о пощаде.

Никогда еще поговорка «каковы обстоятельства, такова и вера» не была более уместна, чем в этот час, никогда еще не верил я так свято, что теперь уж наверняка лечу вниз — и точка, никогда еще не был я так свободен от сомнений, никогда еще не было у меня так мало сил, чтобы спросить: а теперь ты это знаешь?

Я знал: они решили нас прикончить.

Я знал это, ибо узнал за это время: так именно и приканчивали. Не зря же я был камадом камада Гейслера.

И тут я заметил, что эти три мысли пришли мне в голову одна за другой. Я заметил, что я думаю, да, что я опять думаю. Я не слышал больше, как я дико реву, я слышал, как я думаю, я слышал, как дико режут еще многие вокруг меня, я слышал, как дико ревет вся тюрьма, а ведь говорят, что в ее стенах сидят пять тысяч человек, я слышал, как из этих пяти тысяч многие и многие режут, но главное, я слышал, что я опять думаю, я видел, что я опять вижу. И ощутил горечь желчи; я ощутил, как пахнет кругом, как всю тюрьму выворачивает наизнанку. Я видел восемьдесят стонущих, дрожмя дрожавших, задыхающихся, хрипящих человек, одних на коленях, коленями в блевотине, других у стен, лицом уткнувшихся в стены, но и со стен текла блевотина, третьих — повиснувших друг на друге, и блевотина на их лицах могла быть блевотиной как того, так и другого.

Но я все-таки подумал: кажется, все проходит. Тут я увидел, что в камеру входят солдаты; они тащили тяжеленные бабьи, и один из них крикнул нам, чтобы мы скорее начинали пить, да, пить, и сами наливали нам в миски какую-то жидкость. Я влил в себя все содержимое своей миски и точно погрузился в бездонное соленое море, жуткий промывочный раствор, попав в меня, точно кувыркнулся в моем нутре, а кувыркнувшись, вернулся назад, поднялся вверх тем путем, каким попал внутрь, и с трубным звуком вырвался фонтаном наружу, после чего я еще раз безропотно выbleвал остатки, а ведь казалось, что вывернулся наизнанку.

Думать я уже мог, правда в самой примитивной форме, но все-таки мог. Жижка соленая, горькая, теплая, выbleваем ее. Соленое море гонит кисло-сладкий суп. Суп пакостный, выbleвать его. Соленая вода тоже пакостная, но исправно выгоняет вредный суп. На вкус — точно тепловатое Северное море, я его всегда терпеть не мог. На вкус — точно яма, полная слезами и мочой, ах ты, мой зеленый конь, что же мы будем делать с этим добром? Да выbleваем его, ведь место, куда попадем, мы только сполоснем. Здесь кругом все сполоснуть не мешает. Вот уж будет уборки, газовщику одному в жизнь не справиться. Да он все еще блюет, первый начал и все еще

ему мало. Да он рехнулся, ему нужно дать хорошего пенделя. Это уж точно дело старшего.

Я едва-едва одолел ту милю, что отделяла меня от газовщика; до его зада было высоковато, но до его коленки я своей деревяшкой как раз достал; это, видимо, такое местечко, что стоит попасть в него точно, психоз как рукой снимет.

Тут я увидел двух одеревенелых крестьян, которых терпеть не мог, но сейчас они действовали умело, приподнимали тех, кто не хотел глотать рассол, сами наполняли их посудины и даже вливали рассол в их блюющие рты. Так мало-помалу все снова вернулись к жизни.

Но дикий рев еще долго слышался во всем здании и доносился из женского корпуса; мысль, что Вальбурга и Хельга сейчас выглядят, как газовщик, Лунденбройх и я, была мне неприятна, и потому, когда оба молчаливых крестьянина начали обрабатывать асфальт водой и метлами, я, едва двигая руками-ногами, принялся им помогать.

А через неделю, все в том же октябре, воскресным вечером я вместе с ними и учителем-фольксдойче прогромыхал вниз по лестнице; вызвали добровольцев, но ни один черт не вызвался, и тогда я подумал: ну, если там что-то для людей с железными нервами, так эти как раз сгодятся. Только пусть никто не просит, чтоб они потом рассказывали об этом. Да и не надо, с ними Нибур; знаете, тот, что весьма укрепил свой авторитет старшего, когда однажды вонюче-липким утром после ночи, все еще воняющей смертоубийством и блевотиной, свою измызанную братию приветствовал на своем северомешкотном наречии:

— Посмей мне только кто-нибудь словечко вкнуть против кислой капусты!

Усатый сторож плевать хотел как на мой новый пост, так и на мой юмор, он приказал нам с учителем брать веники и ведра, распахнул обе створки ворот и выслал нас на улицу. Оба крестьянина шли следом с носилками.

У входа горели все фонари, прожектора с башен заливали улицу светом, машины с включенными фарами стояли кругом — слишком много света, чтобы сразу что-то разглядеть. Улица гудела, с обеих сторон ее оцепили солдаты и полицейские: у ворот лежало нечто, прикрытое пятнистым брезентом, мостовая вокруг была мокрая, пахло кровью.

Крестьяне перетащили оба тюка в передний двор, а мы с учителем стали отмывать улицу. За нами наблюдали полицейские в форме и в штатском, словно бы могло еще что-то стрястись, а я все еще полагал, что произошел несчастный случай.

Усатый солдат одной ногой шагнул за ворота, а другой остался еще в своей служебной сфере; он счел, видимо, что у его дверей достаточно чисто, и послал нас во двор. Несколько штатских тоже вошли во двор, они сдали пистолеты в окошечко и отправились в канцелярию. А потом появились врач-арестант и господин Эугениуш, они принесли вторые носилки, но держали их так, словно никакого отношения к ним не имели. И тут же передали их нам с учителем.

— Да это не наш ли юный разбойник с беденькой ручонкой? — удивился врач.— Вы все еще шляетесь по земле? Разве вас еще не закопали?

Мне не пришлось ему отвечать, усатый страж так злобно рыкнул на него, как мне еще ни разу не случалось слышать, чтоб он рычал; арестант-медик, а вместе с ним и господин Эугениуш встали лицом к стене, послушно держа руки за спиной, а язык за зубами.

Зрелище было даже тягостное, и потому я обрадовался, когда учитель сказал, что нам нужно положить второй тюк на вторые носилки.

Весьма распространенное убеждение, будто мертвые тела удивительно тяжелые, не спасает от удивления. Мы с учителем потрудились, и нам помогли оба крестьянина.

Мы довольно долго чего-то ждали, и я слышал, как врач-арестант изрыгал на стену свои злобные речи, а потом из нас сформировали небольшую профессию: впереди молодой надзиратель, вызывавший добровольцев, дальше крестьяне с первыми носилками, мы с учителем со вторыми, за нами врач и Эугениуш, заключал шествие второй надзиратель.

Мы принесли мертвецов в баню, соорудили из деревянных решеток и шпек по-

мост, развернули тюки и положили на него оба тяжелых тела. Это были начальник тюрьмы и тюремный врач.

Надзирателю, что постарше, стало дурно, он выскочил вон, его коллега, дав нам указания, последовал за ним.

Врач-арестант тотчас почувствовал себя старшим по званию; польский приказ надзирателя он передал по-польски же Эугениушу, но тот не пожелал оставить его себе и пересказал его учителю — также по-польски. Тот с минуту пребывал в растерянности, кому бы передать перевод, но поскольку в нем содержалось распоряжение, а я был старшим по камере, он в конце-то концов объявил безмолвствующим крестьянам:

— Мертвецов раздеть и обмыть.

— Мертвые тела,— поправил Эугениуш, и тут все три знатока польского заспорили, сказал ли надзиратель «мертвецов» или «мертвые тела».

Крестьяне и я слушали их спор, крестьяне одеревенев, а я с растущим изумлением. Когда они вдоволь накричались, я сказал:

— Если они вернутся и окажется, что мы даже не начинали, нам влетит по первое число.

Все мы были тут заключенными, и потому мне сразу поверили, но раз уж они меня слушали, я добавил:

— Если все будут говорить по-немецки, мы сэкономим время, и не сочтите мой вопрос за праздное любопытство, но знает кто-нибудь, что здесь стряслось?

Врач явно тщился показать, что вопрос относится не к нему, и хотя он уже не раз непрошенный лез ко мне с мерзкими разъяснениями, сейчас он предоставил слово Эугениушу. Тот, поначалу делавший вид, что со мной даже незнаком, теперь сказал:

— Ах, знаете, Марек, чего только не услышишь в коридорах от служащих. Пан начальник и пан доктор собрались было домой, мимо мчит машина, там, похоже, два автомата — и конец. С тех пор как вы к нам пожаловали, у нас палат без передышки.

Крестьянам достаточно было услышать эти слова, как они тут же принялись за работу, чтобы им не надоедали с подобными речами. Они подняли начальника тюрьмы, стащили с прошитого очередью тела костюм и белье. Обращались с покойником они столь же ловко и осторожно, как недавно с полупокойниками, блевавшими супом и соленой водой. Не будь того происшествия, мне бы сейчас наверняка стало дурно, особенно когда обнажились части тела пана начальника, никак не предназначенные для моих глаз, но великое блевание, видимо, чуть притупило мою чувствительность.

Скорее я надеялся, что это так, вернее сказать, я хотел этого, к тому же я охотно предоставил бы и мертвого тюремного врача заботам крестьян, но для этого нужно было показать им, что я очень занят, поэтому я сказал:

— Но связи я все-таки не улавливаю.

— Какой связи?

— Связи между мной и тем фактом, что поляка — начальника тюрьмы и поляка — тюремного врача застрелили у польской тюрьмы, и, похоже..

— Можете спокойно продолжать: похоже, поляки.. И вы не видите, как это событие связано с вами? Даже в том случае, если не принимать этого заявления лично на свой счет?

— Этого я не умею. Если мне говорят, что существует связь между мной и мертвецами, я принимаю это заявление лично на свой счет. Я с трудом освоился с этой мыслью, и я еще в процессе освоения, так не мешайте же этому, процессу, господин Эугениуш.

— Ну, вы, кажется, с рождества многому научились,— сказал мой учитель польского,— почти не слышно дальневосточного прононса в шипящих, и дрожем вы не дрожите больше.

— Дрожем? Да, вы, конечно, переводчик, но, право же, я не знаю, есть ли такое слово «дрожем».

— Или слово «ручончокка»,— вставил врач-арестант, и я получил истинное удовольствие, поняв, что здорово поддел его в тот раз.

Эугениуш, казалось, перебирал свой запас слов и хотел сказать, что в вопросе «ру-

чонкочки» со мной следует согласиться, но ему явно не хотелось портить отношения с врачом.

По всей вероятности, Эугениуш ни с кем не хотел портить отношения, и я мимоходом подумал, что такая жизненная установка должна создавать ему, профессиональному аферисту, трудности, но сказал я другое:

— Возможно, я и дрожал — дрожем. Моя вина, знаю. Но до меня дошли тогда кой-какие слухи обо мне, а раз они были обо мне, я не мог не принять их на свой счет.

Врач-арестант подошел к своему бывшему шефу и стал внимательно его рассматривать, но нити нашего разговора не упустил.

— Знаете,— сказал он,— кой-какие слухи дошли и до меня, а именно — о вас. И меня весьма удивляет, что ваш вид все еще так сильно отличается от вида тюремного врача.

Он кивнул в сторону наспех сооруженного помоста с покойниками, я же в душе только порадовался, что сильно отличаюсь от тюремного врача. Арестанту-врачу я сказал:

— Знаю, вас это не только удивляет. Будь по-вашему, так мне бы бетон на руку лягнули, и я подох бы от цементного кашля.

Оба крестьянина, видя, как я спорю с поляками, вдвойне прониклись ко мне уважением; они показали на мертвого врача, и один даже спросил:

— А его тоже?

— Его тоже,— ответил я.

Живому врачу явно не по вкусу пришлось, что его обходят, но он посторонился, уступив им место, и сказал мне:

— А ручонкочка, кажется, опять вполне исправно функционирует, и глядите-ка, разве это справедливо: вы исправны, а врач, как это говорят, нет, не бесправный, это другое слово, он бездыханный. Ни вдоха больше, ни выдоха. А вы опять как огурчик. Доктор наложил вам гипс, доктор послал вас работать вашей бедной ручонкочкой, строго проверял, как идет лечение, и вот результат: пациент жив, врач мертв — разве это справедливо? Пациент больше не дрожит дрожем, а врач рад был бы, если бы еще в состоянии был дрожать. Разве это справедливо?

Я хотел, по правде говоря, сказать что-то совсем другое, хотел спросить его кое о чем, но от злости забыл обо всем и вместо этого сказал:

— Не знаю, при чем тут справедливость, но полагаю, если бы от вас что-нибудь зависело, мы бы очень скоро узнали: да, между мной и мертвым доктором есть связь.

— Видите ли, Марек,— вставил Эугениуш,— в этом все дело: мы, поляки, принимаем все, что связано с вами, немцами, на свой счет.

— Пан Эугениуш, я до сих пор еще помню, как вы меня высмеяли, оттого что я не отличал поляков от поляков и не видел разницы между паном Домбровским и прокурором и юным паном Херцогом и дуболомами пана Домбровского. Не вы ли только что сказали: мы — поляки, вы — немцы?

— Это я в шутку сказал, Марек. Кстати, ваша тогдашняя идея, эта восхитительная идея: польские подследственные — пан Домбровский, пан Херцог, я, все мы — соберутся с польскими следователями и сравнят результаты всех ваших опросов, чтобы помочь вам очиститься от этих жутких подозрений, ох и дрожали же вы тогда дрожем, да, но получилось ли что-нибудь из этой вашей идеи?

Кому нравится, когда ему тычут в нос его дурость? Мне это не нравится; я покраснел как рак и ответил:

— Не сказать чтоб получилось, я надеялся на большее. Видимо, пан начальник не попался пану Домбровскому на глаза.

Эугениуш кивнул было, но потом покачал своей мудрой головой старого афериста и, бросив взгляд на врача, склонившегося над окровавленным телом начальника тюрьмы, сказал тихо и раздумчиво:

— Кто знает. Похоже на то, что все-таки попался.

На что он намекал, на что он мог бы намекать, мы уточнять не будем; тюремщики пришли в себя и разлучили нас. Наша работа — собственно говоря, работа обоих

молчаливых крестьян — их удовлетворила. Оставив Эугениуша и врача-арестанта с мертвым начальством, они отвели добровольцев назад в камеру.

Вот когда у добровольцев нашлось что порассказать и вот когда вышло как нельзя лучше, что с добровольцами был и Марк Нибур, ведь оба крестьянина только и могли сказать, что носили туда-сюда каких-то мертвецов, на учителя-фольксдойче рассчитывать не приходилось, хоть он был фольксдойче и учитель, а вот на Нибура можно рассчитывать: если уж он где-то побывал, добровольно или вынужденно, так выдаст и обстоятельные речи и краткие изречения, лучше умел это делать только лапландский доктор; но Нибур тоже был на высоте, вот на днях, к примеру, когда мы изблевались; а уж если он в ударе, так иной раз в рифму свои перлы выдает.

Но рассказывая о чрезвычайном происшествии у ворот тюрьмы, я не нашел ни единой рифмы. Слишком многое осталось неясным, слишком многое было явным, что мне претило.

Связи: Марк Нибур, мертвый начальник тюрьмы и мертвый доктор в том смысле связаны между собой, что все трое имеют какое-то отношение к тюрьме.

Марк Нибур и начальник тюрьмы: Нибур сидит, сидел у начальника тюрьмы.

Марк Нибур и доктор: доктор был тюремным врачом в тюрьме, где сидел Нибур, и после одного из дурацких несчастных случаев Нибура им пришлось встретиться трижды. В чем-то, кажется, были еще точки соприкосновения у Нибура и у тюремного врача, кое-какие намеки на это имели место, но Нибур не удосужился спросить, когда еще было время для вопросов.

Нет, говорить они друг с другом не говорили. Все, что было связано с Марком Нибуром, задевало доктора лично.

Связь: между Марком Нибуром и доктором связь имеется и в том смысле, что жена и ребенок доктора были расстреляны как заложники, а приказ о расстреле был отдан неким генералом Эйзенштеком, который впоследствии сидел с Нибуром в одной камере, а прежде был с Нибуром в одной армии.

Дополнение: генерал разъяснял своему солдату (в камере, но не прежде), что подобные расстрелы, цель которых — защита от враждебных акций, совершаемых жителями оккупированной местности и противоречащих международному праву, вполне законны, а солдат (в камере, но не прежде) пытался даже возражать генералу.

Противоречие: немецкий генерал приказывал расстреливать поляков, а польского начальника, у которого он сидел в тюрьме, расстреляли поляки. Противоречивейшая бессмыслица: генерал, начальник, доктор, расстрелянные поляки, стреляющие поляки, мертвая женщина, мертвый ребенок, множество мертвых женщин и детей, мертвый город, молчаливые крестьяне, врач-арестант, блюющие газовщики, тюрьма, тюремные ворота и залитая кровью улица перед ними, тюремщики и тюремная братия—и вместе со всем вышеназванным Марк Нибур из Марне.

И связан со всем и всеми вышеназванными Марк Нибур, лично связан.

Нет, не укладывается это в голову. Не всякое обстоятельство можно принять на веру.

Счастье, что меня вряд ли поймут. Я хочу сказать, кто удивится тому, что я гордил, тот живет благополучно.

Это не упрек, а если и упрек, так он и меня касается. Я сам удивляюсь, когда слушаю себя. В скольких случаях я уже задавался вопросом: может ли человек быть таким — не бестолковым и в то же время таким бестолковым? Сносно образованным и так несносно плохо осведомленным? Всегда готовым на выдумки, но вовсе не готовым понимать других людей? Явно усвоившим дикие нравы и в то же время таким мирным и смиренным?

У меня есть только один ответ: я был именно таким.

Но успехи тот человек делал: сначала он так дрожмя дрожал, что вряд ли мог размышлять, зрело размышлять, видеть связи. Ему тогда казалось, что все его нутро выворачивается наизнанку, и это его тогда очень занимало, это его целиком занимало.

Дважды, точнее говоря, можно было видеть его в этом состоянии: когда он выпал из родного гнезда — городка Марне — и очнулся в огромной яме-могиле и позже, когда очнулся во второй, меньшей, но более глубокой.

Нужно признать: в той общей яме он уже делал кое-какие усилия. Был там парикмахер, который ему кое-что прояснял, и банкир тоже иной раз. Он, правда, не пожелал вникнуть в объяснения, которые хотели дать ему, хоть он их и не спрашивал, те двое с красно-белыми повязками, но беззвучное разъяснение некой врачихи, с каким разнообразием интонаций можно произнести слово «немец», занимало его очень и очень долго.

Правда, кое-какие знания у него были, хоть он и не умел извлечь из них пользу. Вот, например, если уж он знал, как по-разному можно произнести слово «немец», почему же прошло так много времени, прежде чем он попытался приложить эти знания и к слову «поляк»? Откуда эта необычайная готовность с одинаковой интонацией говорить о всех поляках, хотя для немцев он уже давно научился подбирать разные интонации? Он столкнулся с самыми разными немцами и также — несмотря на возражения некоего усталого поручика — с самыми разными поляками. Возражение поручика, высказанное им во время довольно длительной прогулки от улицы Генся до улицы Раковецкой, было обоснованным: с большинством поляков Марк знаком был только по слухам, а большинство тех поляков, которых Марк знал чуть получше, так или иначе имели отношение к той области жизни, где все двери разом запираются на замки, а ключи попадают далеко не ко всем. И все-таки он видел четкое различие, такое же четкое, как между живыми и мертвыми, и, несмотря на это, оставалась в силе уравнительная формула: все поляки — все немцы. Они и мы.

Нужно, однако, сказать в оправдание Марка: самые разные поляки, с которыми ему приходилось иметь дело, тоже придерживались той формулы, они говорили «мы» и «они», мы, поляки, и они — все немцы.

Ничего себе оправдание — а как еще они могли говорить, эти поляки? Может, так: да, правда, вы убили миллион-другой поляков, но кто же из-за этого будет относиться к вам с предубеждением? Нет, мы будем воспринимать каждого немца как отдельную личность. Правда, рассуждая логически, надо считать, что среди вас найдется парочка убийц, ведь все-таки это цифра, шесть миллионов, одному такое не под силу, но нет, каждый немец пусть считается до тех пор невиновным, пока вина его не будет доказана. Правда, вина-то доказана, вина миллионнократная, но его вина еще не доказана, стало быть, мы должны считать его невиновным. Правда, однажды этого Нибура подозревали в чем-то ужасном. Из-за того, что кто-то поднял крик, тогда его тут же взяли и засадили в катажалку; ничего удивительного, что у него такой односторонний взгляд и что занял он только собой.

Но хватит, не считайте его таким уж дурным — он перестраивается, и время от времени ему удается перестраиваться. Время от времени он размышляет о других людях, от одних отгораживается, хотя они и немцы, о других думает долго, хотя они поляки.

К примеру, о тюремном враче, о нем он долго-долго еще думал; и чем дольше он о нем думал, тем больше злился на себя и презирал себя за то, что он, когда был случай, не узнал больше о мертвом теперь докторе и о том, чем, возможно, обязан живой Нибур мертвому доктору.

Но нет, свидетельствую: я собрал воедино все, что знал о тюремном враче или мог с некоторой уверенностью предположить, и постепенно из всех этих частиц создался величественный образ. Образ, который я, к своему счастью, никогда более не упускаю из виду, думая о Польше.

И пусть не говорят мне о врачах и Гипократе — в ответ я сообщу, как мои образованные сокамерники переводили мне слово «эвтаназия». Да что там, я же не для того отучался так просто, без всякой интонации произносить слова «поляки» или «немцы», чтобы потом так же просто говорить «врачи».

Нет, тюремный врач мог считать во всех отношениях возможным, что я, я, я, лично я, вполне материальный Марк Нибур, был тем солдатом, кто однажды в воскресенье вечером перезарядил винтовку и направил ее на женщину, вполне определенную, лично с кем-то связанную женщину, или на вполне определенного ребенка.

У этого польского врача в любую минуту, когда он возился со мной, могла вспыхнуть мысль: это он, он отнял ее у меня. Вот этой левой он держал винтовку, вот этой правой он послал в магазин патроны, этими руками он убил. Эти глаза видели мою

жену и моего сына в последний раз живыми и в первый раз — мертвыми. Два скрючившихся человеческих комка.

Может быть, мысль эта рождалась у него и кричала: это он! Но уж наверняка рождалась у него и кричала, криком кричала другая мысль: это мог быть он!

Врач этот по своей должности имел дело далеко не с самыми благородными людьми: плуты, мошенники, аферисты, хулиганы, воры, сутенеры и проститутки, спекулянты и убийцы — вот кто его окружал, и наверняка он был не слишком высокого мнения об этих людях.

Но от всех этих людей я отличался в одном, для него решающем вопросе: если собрать всю эту шайку подонков и меня с ними и спросить, кто из нас мог быть последним, видевшим живыми его жену и ребенка, когда лишь прорезь прицела и мушка разделяли его и тех двоих,— если задать такой вопрос, так рассеется вся эта шайка и останется на месте лишь один, ибо из всей этой шайки подонков, которые при подобном сравнении выглядят необычайно благородно, ни один не был немецким солдатом, но я был немецким солдатом, а совершали расстрелы немецкие солдаты.

К тому же хотя большого значения этот факт не имеет, но знать о нем нужно: меня привели к тюремному врачу не как обычного немецкого солдата; меня привели к нему как одного из камеры немецких подонков, генералов-подонков, газовщиков-подонков, подонков, расстреливавших заложников.

И такому немцу он вынужден был вправлять кость, накладывать гипс, снимать гипс, проверять, как срослись кости, так неужели же он ни разу при этом не подумал о жене и ребенке и о том, что их уже нет на свете, потому что на свете существовали такие, как я? Потому что существовал я? Существою я?

Невозможно, чтобы его не посетила эта мучительная мысль.

Но тюремный врач сделал свое дело, он не передал его коллеге-арестанту, на что имел полное право, а уж в моем случае — само собой разумеется, и кто бы его не понял? Но он сделал свое дело и даже больше того, если я правильно понял врача-арестанта, значительно больше того.

А если я правильно понимаю самого себя, так еще куда, куда больше. Он оказал мне первую помощь и ту последнюю помощь, которая так нужна была, чтобы наконец-то привести в движение мои мозги.

Когда я в камере заговаривал о докторе, мои соподонки всем своим видом показывали, как я им осточертел. А на вопрос, почему же доктор мне помог, они говорили: поди разберись в этих поляках! А на вопрос, какие же поляки стреляли в польского доктора, они говорили: не все ли равно, в конечном счете поляки остаются поляками; а когда я задавал себе вопрос, почему же те поляки стреляли как раз в этого поляка, они хором отвечали: спроси об этом поляка.

И я спросил поляка.

Не тотчас, ибо кое-кто из моих соподонков не в силах был все-таки оставить свои знания при себе и передал мне свои познания, как, впрочем, они делились со мной своими познаниями с самого начала.

Благодаря им я знал, что не следовало отбрасывать идею использования дирижаблей, она сыграла бы решающую роль; и еще я знал, как мучительна для независимого предпринимателя мысль, что он должен с кем-то делиться; и я знал, что если бы державы-победительницы оставили нам Того, мы бы и сегодня еще были их друзьями, и я знал, что законно, и что незаконно, и что такое присвоение власти, и что такое «гуманное убийство», благодаря моим соподонкам я знал так много, что всю свою дальнейшую жизнь был занят тем, как бы большую часть всего этого забыть.

Но кое-что я все-таки запомнил.

Из высказываний о поляках, о польском государстве, о польском подполье и о польском докторе я, кроме всего прочего, вот что запомнил: существуют народы, способные к государственности и к ней неспособные, к последним извечно относились поляки; объективно, с исторической точки зрения, в современном конфликте исторически-объективная польская народная идея сопротивляется чуждой ей идее польского государства. Поляк по своей натуре словно создан для подполья, это можно проследить вплоть до их склонности ко всему горячечному, даже в Рурской области каждого второго звать Кукушински. Польское подполье собиралось освободить заключенных, всю

охрану нужно было для этого отравить, но подкупленный повар наложил в штаны, а нести отраву назад домой он побоялся и разбросал ее по всем котлам, вот почему мы все блевали, но представьте себе, Нибур: то же самое количество яда для одной охраны! С ума сойти, только вот что: а зачем же давали маисовый суп, ведь бросалось же в глаза после вечной капусты. Да, бросалось, но кислая капуста обладала свойством нейтрализовать яд, кислота соединялась с основанием, или щелочью, или чем-то там еще. А доктора, столь дорогого нашему Нибуру, доктора подпольщики прикончили за то, что он возглавил спасательные работы и подал идею о соляном растворе. Если бы вся тюрьма была отравлена, была бы создана международная следственная комиссия, это в конечном счете и нужно было польскому подполью, им нужно было, чтобы международная следственная комиссия проникла за железный занавес, одни они со своими трудностями не в состоянии справиться, да, как сказано, есть народы, способные к государственности, а есть неспособные, могу одно вам сказать, Нибур: если бы афера с супом удалась, это все бы решило.

Для меня подобные разъяснения многое решили. И можно было говорить теперь о десятом чрезвычайном происшествии в октябре.

В-десятых: с той поры Нибур предпочитал спрашивать поляка.

XXVII

Поляк, которого я в последний раз так называю, большей частью представлял передо мной в таком обличье, что вопрос замирал у меня на губах. Напомню: одни поляки хотели от меня только ответов, другие — только послушания; почти все обладали надо мной полнотой власти, они либо владели ею по должности, либо присвоили ее; они вооружены были званиями и связками ключей, а вне тюрьмы — огнестрельным оружием или хоть и были такими же арестантами, как я, но в собственной стране, теперь опять их стране, а что мы равно сидели под замком, не делало нас братьями.

Мы подчинялись одной власти — власти ключа, но уж тут они как раз получали надо мной столько власти, чтобы отбить у меня охоту задавать вопросы.

Я упомяну только пана Домбровского, который никак не мог решить, кого он больше терпеть не может — татар и монголов или меня, и который для начала все-таки решил, если верить предположениям переводчика Эгениуша, что не терпит больше всего поляка — начальника тюрьмы и поляка — тюремного врача.

О трудностях, возникающих в общении с тюремщиками, я уже кое-что говорил: трудности эти, с одной стороны, были языкового характера, с другой — человеческого характера, но они всегда были. Так обстояло дело с часовыми у ворот и на башнях тоже.

Усталый поручик, тот, кто прошагал со мной по разрушенному, хоть и разными способами, но начисто разрушенному городу, тот в силу столь тесного знакомства, может, и выслушал бы разок мой вопрос, но он очень долго не появлялся. А такого порядка, чтобы, подав заявление, просить о визите допросчика, еще не было.

Кое-какую надежду я возлагал на прокурора. Правда, судя по разъяснениям, какие давал он моим знакомым, правильнее было держаться от него подальше, но, с одной стороны, я лишен был свободы передвижения, с другой — я считал, что разъяснения лучше, чем слухи. Но и встреча с прокурором могла состояться только в том случае, если он о ней просил. Но он не просил о ней, на мое счастье и на мое несчастье тоже.

Таким образом, мне оставалось обращаться к лицам полугражданским, вдобавок женского пола, мне оставались пани Бася, и пани Хеня, и панна Геня. Несмотря на всю их миловидность, больших надежд я на них не возлагал: женщины молодые и образования хватает лишь на то, чтобы вскрывать ящики и считать до семисот сорока.

Да о чем тут говорить, в ином обличье Польши для моих вопросов не существовало.

Но если пани Бася начинала блажить, то вопросы задавала она. Хельга переводила, а я обязан был отвечать; истари заведенный порядок и в этом случае.

— Она говорит, умеешь ты петь?

— Нет.

— Она говорит, умеешь ты кувыркаться?

— Нет.

— Она говорит, умеешь ты колдовать?

— Нет, не умею, и не повторяй все время: она говорит. Я же слышу, что она говорит.

— Она... не придирайся. А карточные фокусы ты знаешь?

— Нет, и петь с тирольскими переливами не умею и кружева плести тоже.

— Ну хоть что-нибудь ты умеешь?

— На это ты ответишь лучше меня.

Пани Бася не настаивала на ответе. Она достаточно знала обо мне и объявила пани Хене, и панне Гене, и моему конвоиру, что этот фриц — человек, кажется, не слишком-то знающий. Хельга с радостью перевела. Вот опять двое, понимающие, чем меня можно расшевелить.

— Так скажи ей, что я сочиняю стихи.

— Да ладно тебе.

— Нет, скажи, скажи, что я сочиняю стихи.

— Да ладно, хватит.

Но Хельгина настойчивость раздражила любопытство пани Баси, и Хельга сообщила ей, что я сочиняю стихи.

Пани Бася снабдила свое сообщение комментарием, выдержанным в насмешливом тоне, а Хельга довольно точно передала этот тон:

— Она говорит, теперь ясно, почему ты так много жрешь. Она говорит, она-то удивлялась, а теперь ясно, все поэты голодуют, и она говорит, она рада за тебя, что ты приехал в Варшаву, где наконец-то найдется что поесть бедному немецкому поэту.

Здорово поддела меня Хельга, и пани Бася поддела меня здорово, а пани Бася пересказала пани Хене, и панне Гене, и моему конвоиру тут же еще раз, как здорово она меня поддела. Хотя те и сами еще не забыли, как я набросился на еду.

Я понимал, что сейчас последует, а потому поторопился, и когда Хельга сказала, пани Бася-де сказала, чтоб я тогда уж что-нибудь сочинил, я и сочинил:

Фирма «Сименс» — штепселя,
Фрицманштадт — шлет жлам на выбор,
Эх, сестрицы, брат — друзья,
Этим сыт по горло Нибур.

Я по многим причинам был доволен. Я выдал доказательство, едва у меня его потребовали, а это кое-что значило в тех кругах, в которых я тогда вращался. Рифму нельзя было не слышать, многое упомянутое в стихотворении было взято из нашего окружения. Хельге нелегко дался перевод, и на сей раз ей пришлось проглотить насмешки пани Баси. Я избежал рокового названия Лицманштадт, а назвал тот город так, чтобы понравилось пани Басе. Я хотел, правда, сказать, может, и резковато, что вся эта история сидит у меня в печенках, но вовремя нашел более изящное выражение: этим сыт по горло Нибур.

Но пани Бася все еще была настороже. И Хельга тоже:

— Она говорит, как это тебя утوراзило их всех назвать сестрицами, а господина конвоира — братом. Она говорит, таким близким родственником она тебя до сих пор не считала, тем более последние пять-шесть лет. Она говорит, ты уж поймешь, какие она имеет в виду годы.

— Я понял, — сказал я и подумал: хорошо еще, что она не поняла, что я сложил стихи в ритме германского гимна; и теперь обратился непосредственно к пани Басе, собравшейся было, по своему обыкновению, ретиво напустить на меня: — В поэзии нельзя придирается к «сестрицам» и «братьям». Я имею в виду, в поэзии ничего нельзя понимать буквально. У поэзии иной язык. Кто, к примеру, скажет «этим сыт по горло Нибур», имея в виду себя самого? Только маленькие дети говорят так про себя, называя самих себя своими именами, и поэты тоже так поступают.

Я добился своего, но только слишком упирал на поэзию; и пани Бася довольно пренебрежительно сказала мне, и Хельга сказала мне это же, сохранив все оттенки пренебрежительного тона:

— Поэзия,— услышал я,— вряд ли занимается хламом.

Стало быть, необходимо предъявить нечто истинно поэтическое, что было бы трудно перевести прямой подстановкой слов «сыт» и «сестрицы», а также детскими оборотами; ясно, однако, что подобным требованиям мои собственные стихи не отвечали, а занимствуя у Шиллера и Гёте, я рисковал, что меня разоблачат как обманщика, поэтому требовалось выдать нечто совсем далекое, и поэт Флеминг, избранные стихи которого мой отец выкрикивал из окна склада, был самым для этого подходящим, далекий и взятый из прежней жизни, каким был и мой отец.

Я выбрал стихотворение «В Великом Новгороде российском, 1634 год», невероятно трудное, длиннющее, со смыслом кое-где темным, а кое-где все освещающим, его я когда-то с превеликим трудом вызубрил, чтобы доставить радость отцу и произвести впечатление на дядю Йонни. Но, между прочим, отец и без меня знал поэзию Флеминга, а потому после моего вдохновенного выступления они с дядей Йонни лишь обменялись озабоченными взглядами.

Я, стало быть, выбрал «В Великом Новгороде российском, 1634 год», назвав сие, однако, «В Варшаве польской, 1946 год», а Хельгу предупредил, чтобы к переводу она приступила позже, сам же с подъемом читал стихи, в чем мне очень и очень помогли и прошлогодняя зима, и стужа, и одиночество, и спасительные занятия далекой поэзией, не упускал из виду последующие строчки и был все время начеку, дабы своевременно внести в текст необходимые исправления.

Да это и не нужно было; барокко торжествовало победу над недоверием и насмешками пани Баси, тем более что с самого начала шла строки, где Флеминг говорит о себе как о Флеминге, и там я, понятно, поставил Нибура:

...самим собой отчасти
Сумей же быть, сие в твоей, мой Нибур, власти:
Тебя лишь у тебя не можно отобрать —
Фортуна суждено тому свою пограть,
Кто раздаёт себя...

Барокко торжествовало победу не только над пани Басей и ее настроением: оно торжествовало победу и над Нибуром, а в кое-каких местах едва не изничтожало его, осыпая издежкой или вызывая к нему из глубины сердца:

...ускорит гибель нашу.
Питье чрезмерное, излишество еды,—
Лишь меру соблюдая, избегнешь ты беды!

Или:

Ты сам себе — свой мир, себя же днесь узри —
Все славно учинишь, вняв сути изнутри!

И теперь — вот он, мощный удар, потрясение, дьявольски меткий финал:

Война творит войну. Твое ль сие деянье,
Святая простота, дней древних достоянье
И будущих равно? Здесь та же ли страна,
Где честь и праведность исчерпаны до дна?*

Барокко торжествовало победу; оно убедило польских дам, что Нибур — истинный поэт, помогло Нибуру, с внутренней тревогой вслушивавшемуся во взаимы взятого Флеминга, убедиться, что Нибур никакой не поэт.

Как только я это понял, я хоть и огорчился, но испытал облегчение, однако довести до сведения дам то, что понял, остерегся. Им я предоставил право считать меня поэтом.

Я не мог вот так просто взять и отбросить приобретенный авторитет, к тому же

* Перевод Е. Витковского.

от него была мне только польза. Бася, и Хеня, и Геня не страдали теперь от утрызений совести, давая одному из немцев так много есть. Конвоир теперь меньше уделял мне внимания; видимо, считал, что поэты не сбегают. Вальбурга, в которой мне единственно не по вкусу было имя, поглядывала на меня с чуть меньшим страхом, а Хельга получила объяснение, отчего это меня так трудно постичь и в минуты желанья и нежеланья.

Она заметно охладела ко мне из-за нетерпимости, которую я проявлял, когда она в переводе явно шла на сокращения. Мы все чаще обсуждали вопрос, кто же из нас знает польский и кто нет, а это заметно влияет на отношения.

Верно, я не очень хорошо владел языком этой страны, но когда «питье чрезмерное» по-польски превращается в «беспробудное пьянство», «излишество еды» — в «безудержное обжорство», а слова Флеминга «ускорит гибель нашу!» обращаются в Хельгины польские слова «прикончат человека!», так этого нельзя не заметить, даже если ты не истинный творец тех слов; со временем такие превращения подтачивают самую искреннюю симпатию.

Наряду с поэзией в нашу с Хельгой игру вторглись и другие помехи. Миловидную фюрершу несколько не интересовали мои сомнения и мнения, но именно свое мнение приходилось мне доводить до ее сведения, когда я настаивал на точном переводе.

Просто представить себе невозможно, как отдаляешься от женщины, не придя с ней к согласию в толковании слов «война творит войну».

Бася, и Хеня, и Геня выслушали, правда, стихотворение «В Варшаве польской, 1946 год» в моем исполнении целиком, все до конца, весь немецкоязычный оригинал с незначительными правками, однако позднее они пожелали углубленно изучить кое-какие места, дабы лучше понять, о чем же в принципе шла там речь, что подвигло меня на столь бурное словозаливание.

Но именно это и привело к трениям совсем иного характера между Хельгой и мной; я считал, что суть стихотворения можно понять по его самым сложным местам, и еще я считал, что «война творит войну» хоть и не очень трудное место, но очень важное. А Хельга не желала понять, почему я так настаиваю на «творит», и мы никак не могли прийти к согласию в толковании текста.

Она считала, что я (о Флеминге она знать не знала) имел при этом в виду такое непрерывное саморазмножение войн, то самое, чему нас с ней учили в школе, о чем я, пожелай я того, ежедневно мог бы слышать в камере. Я же мыслил о несколько иных связях. В конце-то концов, как обнаружил наш спор, не все слова, сказанные мне, были истрачены попусту, и со мной, многое давая мне тем самым понять, не зря играли в молчанку, и мне хоть беззвучно, но таким мрачным тоном сказали «немец», что я внутренне ужаснулся. И кое-что смутно осознал.

Думаю, что я возместил Паулю Флемингу украденное, дав нам, ему и мне такую возможность сказать: нет, мол, мы хотим сказать — если не хочешь одной войны, так не начинай другой, а если ты начал войну, так ничему не удивляйся, и если ты вел себя в чужой стране без чести и совести, так тем более ничему не удивляйся; к тому же я за это время узнал кое-что о тюльпанах и грудях пепла, и к черту, к черту все, всему этому должен же быть положен конец.

Но Хельгу со мной не примирило и то, что ей пришлось перевести и эту бурную речь поэта дамам со склада, а с Хельгой меня не примирило то обстоятельство, что, сохраняя невозмутимое выражение на своем миловидном лице, она умела бросить мне по-немецки реплику среди польских слов, к примеру что для войн полякам мы, немцы, как известно, не нужны, а если и нужны, так затем, чтобы мы потом отмывали улицу от крови.

Это было предательством; я доверился ей со своими сомнениями и мучительными вопросами, я рассказал ей, о какой заслуге убитого врача догадываюсь и какую возможную связь вынужден увидеть между собой и этим врачом, его убитой женой и его убитым ребенком. Я проверил на ней нового Нибура; она же хотела видеть только прежнего.

Тогда я стал спрашивать польских женщин.

Тому живется счастливо, кто не подозревает, какой это означало для меня перелом.

Немец спрашивает поляков? Как это так, разве поляки знают больше немца? Он спрашивает — значит, он считает, что может верить ответу? Он спрашивает врага по делу, которое и с друзьями трудно обсуждать? Спрашивает по делу, которое враг должен рассматривать как сугубо личное и для него болезненно-неприятное? Разве он не понимает, как дурно может это для него обернуться? С таким коварным врагом? Это же не какой-нибудь там враг, это же польский враг; разве он забыл об этом? Забыл, что его держат в тюрьме и запрещают задавать вопросы? Да в своем ли он уме, он же их заключенный — и у них он хочет получить совет? Искать объяснение политических вопросов у польских женщин? У женщин? По польским делам? У врага? Он, немец?

Я спрашивал, и, конечно же, использовал стихотворение «В Варшаве польской, 1946 год» как щит, и, конечно же, твердо рассчитывал на то, что отвечающие знают, как ранимы поэты, и, конечно же, я прекрасно понимал, какие вопросы могут задать человеку, который задает политические вопросы польским женщинам, но я задал вопрос:

— Кто здесь, собственно говоря, стреляет и в кого и почему они стреляют?

Хельга дала мне понять, что я не в своем уме, а при переводе взгляд ее говорил: вот сейчас поймешь что к чему.

По лицу же пани Баси я видел: без Флеминга у нас ничего бы не получилось. Нет, так мы не договаривались: сестрицы и брат, да чтоб братом нам был один из немцев.

Но пани Бася взяла себя в руки, и это все решило.

— Зачем тебе это знать?

— Я этого не понимаю, а если человек чего-нибудь так явственно, так ощутимо не понимает, он должен спрашивать.

— А ты всегда так делал?

— То-то и оно, что нет.

— А что дальше?

— Нужно же когда-то начать.

— Именно здесь, у нас?

— Так я же у вас.

— Ты жалуешься?

— Я знаю, меня никто не звал.

— Значит, жалуешься?

— Нет. Вернее, не вам. К вам у меня только вопрос.

— Много еще у тебя в запасе таких хитрых вопросов?

— Так это трудный вопрос?

— Трудный. Эта стрельба — за власть. У одних власть в руках; другие хотят получить ее. Сейчас она в руках у наших.

— Вроде, значит, гражданской войны?

Хельга была в затруднении со словами «гражданская война», у других дам были другие затруднения, но они пришли к единому мнению, и Бася ответила:

— Да, что-то вроде этого. Лондонцы хотели бы такую войну.

— Лондонцы?

— Ты что, не знаешь, что в Лондоне сидит правительство, которое заявляет, что оно наше правительство?

— Нет, кажется, знаю. Они там с начала войны, во время войны там были многие.

— Да, вы вели с очень многими войну.

— Вот и еще связь, — сказал я, и предназначалась эта реплика только для меня, но Хельга перевела ее, а Бася не поняла.

Мне пришлось объяснить, я объяснил, но сокращенно:

— Мне кажется, я понимаю связь между теми, кто здесь стреляет, и войной.

Они обсудили мое высказывание, и Бася сказала:

— Между всеми нами и войной существует связь.

Панна Геня что-то вставила, Хельга перевела ее слова, радуясь, но не слишком:

— Она говорит, связь существует между всем вообще и вами.

— По этому поводу у всех, кажется, единое мнение,— ответил я.

— А у тебя другое? — спросила Бася.

— Я спрашиваю, чтобы разобраться. Но одно ясно: без нас никакому польскому правительству не было бы нужды перебираться в Лондон.

Геня опять вставила какое-то резкое замечание, и я подумал: а ведь с ней у нас были хорошие отношения! После перевода Хельги я еще раз об этом подумал, потому что Геня сказала:

— Ах, как вы добры, господин поэт, покорно благодарю!

Теперь, спрашивая, я предпочитал смотреть на Басю:

— Так почему они не вернулись, когда кончилась война?

Бася опять засомневалась во мне, но ответила:

— Здесь уже были русские, коммунисты, и народное правительство.

Опять эта Геня и опять какая-то двусмысленная интонация в переводе:

— Она говорит, между ними и вами тоже есть связь; господин поэт ведь так интересуются связями. Она говорит, без вас и у русских не было бы основания входить в Польшу.

— Мне кажется, я понимаю, что она имеет в виду,— сказал я.

— Надо надеяться! — сказала на это Геня.

Я продолжал обращаться к Басе:

— Да, все это трудно понять, но вот так, кружным путем дойдя до сути, я понимаю, почему можно сказать, будто существует связь между спором поляков и нами, и мной.

Пани Бася сказала:

— Ну так нечего кружить.

А панна Геня раздраженно добавила:

— Не за это ведь он сидит!

Тут и пани Хеня впервые тоже что-то сказала:

— Тот спор родился куда раньше, чем он.

У них опять чуть до драки не дошло, тут уж Бася стала переводчиком Хени; теперь у меня было их две, и я услышал:

— Она считает, что спор очень старый. Но теперь суть его в другом и обстоятельства теперь иные. Спор этот существовал во время войны и до войны. Во время войны он не очень давал о себе знать, другой спор вышел на первый план. Пани Хеня считает, что немцы позаботились, чтобы наши господа и батраки в кои-то веки поняли друг друга. Она считает, что тот спор родился куда раньше, чем ты, и куда раньше, чем лондонцы и люблинцы.

Услышав последнее слово, я вздрогнул; с названием этого города был связан некий слух, и слух этот был связан со мной.

Свой страх я скрыл вопросом:

— Люблин, так это там было создано новое правительство, да? Летом сорок четвертого года, не в июле ли?

Сначала все кивнули, но потом пани Хеня сочла это указание неточным.

— Нет, еще не правительство. А правительство, правда временное, было создано в январе следующего года. В июле был создан Комитет освобождения, а двадцать второго июля сорок четвертого года был опубликован Манифест освобождения.

— А нас, я хочу сказать — немцев, уже не было тогда в Люблине?

Их развеселило, что я этого не знал, но я несколько не развеселился, когда Бася сказала:

— Были, но только такие, как ты, и для того, для чего там был ты!

И Геня, вставив опять замечание, ничуть меня не развеселила:

— Да наш поэт, удирая, потерял календарь.

Имелся, однако, пункт, по поводу которого я не боялся никаких споров, даже сталкиваясь с поляками. Как раз сталкиваясь с поляками. Вот он, этот пункт.

Я сказал:

— В июле я был еще далеко, далеко отсюда, я был дома, и в январе я тоже не был в Люблине.

Я долго не встречал никого, кому я мог бы это доказать; и потому, видимо, доказывал слишком горячо, что поначалу их неприятно удивило, и пани Хеня, сегодня так необычайно решительно говорившая со мной, сказала:

— Ну, не заводись; ты еще вовремя поспел.

Кто-то когда-то уже сказал мне что-то похожее, но и тогда от этих слов мне веселее не стало.

Когда мы кончили работу, я так и не понял, умно ли было так обо всем спрашивать. Умно ли было спрашивать.

22 июля сорок четвертого года? Довольно трудно было перенестись мыслью в тот день. Несуразные извилины ведут меня туда по стране пыльной и снежной, по стране, что лежит под бледным солнцем и морозными лунами. Надо выйти из подвала с ящиками и дойти до кирпичной стены, пройти по улице, где булыжник отсвечивает кровью, войти в ворота, охраняемые усачом, и через два двора с кухнями и подвалами и банями — в одной на деревянном решетчатом помосте между шайками лежат два мертвых, кроваво-красных тела, пусть лежат спокойно, а ты поднимешься по лестнице, и какой-то Бесшейвый запрет тебя в асфальтированный загон. Там собирается вся шайка подонков, кое-кто из них уже вышел отсюда, но все они возвращаются, они же хотят попрощаться, как принято среди воспитанных людей. Из Голландии привозят садовника, а двое прибывают из Треблинки. оба еще в хлопьях пепла, он покрыл их при обходе мест преступления, один раскаивается, причем шумно, другой не раскаивается и не шумит. А теперь мой путь ведет к приборам: господин почтовый советник мастерит машинку, с помощью которой можно нацедить золотого из нечистой фантазии; бауэрнфюрер вешается на колоколе Вульфилы; генерал надеется очиститься, потянув за цепочку; газовщик бессилен — в камере нет газовых труб; гаупштурмфюрер — сама холодность, и холодом пахнуло в камере, мы греем свои ручонкочки, играя в «отбивные», а вот блюем маисом, нет, самым радостным событием это не стало, ну, хватит, кажется, нагляделись на этих подонков. Переходя из коридора в коридор, попадаем в отделение одиночек, попадаем в одиночнокамерное существование на довольно долгое время; старшим я остаюсь и здесь, одиночное скрежетозубное существование, но в час переключки я смело выкрикиваю рапорт по-польски. Близится рождество. Бог-отец приходит и уходит, но селедка остается надолго, а кто хочет воды, тому надобно иметь расписную ложку. Питье чрезмерное вызвано очень уж скудной едой. Очень уж частые размышления вызваны очень уж трудными обстоятельствами. Но тут все пришли в движение! Сигнал трубача, татары на пороге, давай ходу, и точка, давай ходу, и точка, для начала по стеклянным брускам, а стекло не поддается дереву. Гипс мягче дерева, дерево тверже капусты, капуста полежит и перебродит. Стена хоть и высокая, но ее нужно снести до самого низа. Высоко забирается Нибур-разрушитель и ухает с высоты, где грелся на солнышке, — дурацкий перелом, но подоспел тюремный врач. Да разве не его мы только только видели мертвым, кроваво-красным? Вопрос этот тут же забывается, ведь пан Домбровский возвещает наступление татар и монголов; он выводит углем дату на красной стене, а юный пан Херцог смертельно бледнеет. Тут уж лучше покинуть это здание и пуститься дальше по дороге моей жизни, покинуть улицу Раковецкую, пройти мимо тюльпанного представительства и, то и дело натываясь на цветы — венки милостью генерала Эйзенштека, — снимать шапку, так все будет законно. Слева от меня шагает усталый поручик, со дня битвы за Новый Мир он так ни разу и не поспал; рядом с ним по страшной сказке проходит Марк Нибур. Новейший мир; мы пробираемся по нему, идя вдоль трамвайной линии. Правда, она засыпана, эта линия, но все-таки видна, а вон там линия «Треблинка — улица Генся» делает петлю. Петлю?

Кто о петле болтает?
Небось меня пугает.
Я, простой стрелок,
Нужен вам в залог?
Вез Марка не начать войну,
На Марка спишем всю вину.

Проклятое рифмоплетство, щелкающее пустословие, ты только замедляешь бег извилин, которым пытается следовать Нибур, чтобы найти путь домой.

Домой — какое громкое слово среди гробового молчания. Так помолчи-ка и ты, Нибур.

Тут молчат все. Молчит эсперанто. Слово это происходит от слова «надежда». Нибур надеется на своих товарищей. Но они молчат. Молчит его товарищ из Пирны. Не было у него никогда товарища из Марне. Молчит, ничего ровным счетом не помнит, не помнит ничего из жизни Нибура, все силы израсходовал на пересказы фильмов. И такого в лепешку расквашенного лица он в жизни не видел. Identyfikacja negatywna.

Марк не узнан, окутан тайной, отягощен грузом вины и вместе с конвоем танцует в такт летящим в них камням мимо тюрем, от которых остались одни тени, торопится по обрыву, покрытому струпами и шрамами, к Висле, и вот уже выстроились шалеры по сторонам улицы, и вот уже меняются конвоиры и можно переходить реку, а на другом берегу кончается, как приходит к концу всякий крик, моя глубокая яма-могила.

Кто бы ни предписал нам наш извилистый путь, ему, видимо, доставляло удовольствие вести нас, стремившихся на запад, все дальше на восток и к югу, вверх по Висле. Город, куда мы прибыли, назывался Пулавы; он кажется обезлюдевшим; говорят, здесь жил какой-то избранный народ. Здесь мы остаемся на всю осень, на зиму, доживаем до весны, и наступает миг, когда все мы снова походим на всех: не знаем ровным счетом ничего, не знаем даже наших имен. Но миг этот проходит; мы перебываем рельсы на широкую колею и теперь обретаем все свойства русских. А значит, как русские, загадочны и загадываем загадки и кроссворды. Описание цели из шести букв, вписываем по вертикали и по горизонтали, начинается оно на эс, как «смерть», и кончается мягким знаком, как кончается этим знаком «смерть».

Но извилины нашего пути выводят нас назад, в жизнь; она то течет вполне сносно, то идет вкривь и вкось и начинается с похорон. Фолькер-шпильман поет о тоске по родине, нажимает на педаль швейных машин, и челноки летят в кучу на станции Люблин, а всего-то в двух шагах от Люблина находится Майданек. Никогда о таком не слышал. Может ли это быть? Никогда этого не было. У нас нет времени, мы сами себя срочно вызываем. Прочь отсюда. Подножки качаются, мы разеваем рты, глядя на девушек за стеклом, устраиваем дебош, ведем себя шумнее всех матросов, попадаем в лазарет. Но разве я уже здесь не был и разве не пытался вслед за учительницей, личностью во всех отношениях для меня темной, повторять с разной интонацией некое темное еще слово, и разве здесь я самую чуточку не поздоровел?

Но когда кто-нибудь собирался здесь умирать, его отволакивали в отгороженный угол, и венцы, словно на празднике молодого вина, вопили: «Сыграет скоро в ящик он, что сам себе сколотит!» — а как только ящик был сколочен, один из них присваивал осиротевшую пайку хлеба, и из угла мертвецов вывозили ногами вперед, точно поленья на телеге.

Но извилины зовут нас дальше. Эге-гей, мы едем в Лодзь, пусть же спокойно спят мертвые: парикмахер из Брица, и надо же, чтобы это ему перерезали шею; пусть спокойно спит инженер, создавший первый звуковой фильм, чтобы некий извозчик нам этот фильм рассказал и оттого даже осип. Мы едем в Лодзь, а пейзаж вокруг, видимо, не приглянулся бы Гейнсборо, здесь не было ни красок, ни света, и нам смысла нет здесь что-либо разглядывать, это имеет смысл только на почерневшем от дыма дворе, где приходится перелезть через обледеневшие горы, и они кажутся тебе очень высокими оттого, что ты еще не знаешь о других высоких горах, каменных. Но наконец ты их осилил; и вот уже прохожие на улицах размахнулись для броска.

Вслед за этим извилины моего пути, ведущего в конце-то концов на запад, обретают некоторую протяженность. Но сама линия бежит как-то вяло, воняет навозной жижей, сторает со стыда после опрометчивых ночевок в яслях и ларях, спотыкается в огромных деревяшках, но главным образом дрожит, и пока еще о цирке никто не упоминает. Но вот бросим взгляд в помещение другой тюрьмы, еще одной, последней или первой, как будет угодно, время — ночь, здесь впервые упомянуты

артисты цирка, и только когда восторженные женщины некоему артисту смажут ноги салом, ты удивишься, что не вспомнил другую артистку, в весьма прозаическом месте, она создала цирковой номер как истинный эксцентрик-эквилибрист, но услышала зловещую реплику, и ее тут же стошнило.

По всей вероятности, потому не вспомнил, что мы не всех же артисток можем помнить. Иначе мы, чего доброго, вспомним еще одну, она так артистически умела лечь на ящик с электродетальями, что над нами рассыпались искрами звезды-треугольники. Эти воспоминания заведут нас слишком далеко и наведут на мысль об одном артистически выполненном ящичке, они уведут нас в ужасающе, ужасающе ином направлении, куда нельзя даже глядеть тому, кто хочет здоровым и невредимым добраться в западный июль; не то он, пожалуй, слетит с четкой линии своего извилистого пути.

Но кому бы это удалось? Той пожилой женщине? Что так артистически разрисовывает дощечку? Дощечку с розочками? Почему же нам следует страшиться встречи с ней? Что же столь многообещающе рисует она? Искусно выводит на дощечке чье-то имя? Ядвига Серп? Да, ну и что, что такое особенное скрывается в этом имени? Ах, это имя особенное? Ах, так это...? Ах, так...? Ах... Ах, горит звезда, уйдем скорей отсюда, Серп... Скорей уйдем, вырвемся из его острорежущего круга, давайте сменим звезду. Где можно спрыгнуть с этой звезды?

Спрыгнуть с нее, кажется, да, нам кажется, спрыгнуть с нее, кажется, можно у того самого дома; там можно выбраться из ямы-могилы. Весьма своеобразное место, через которое можно выбраться,— в пыли под кроватью. Зато, выбравшись, ты бежишь во весь дух. Проскакиваешь хлева и леса, посылаешь в какого-то кашевара кое-что, что посылает его в царство теней, мчишься, преследуемый тенью зеленого самолета, по белому снегу, находишь себе компанию, с ней продолжаешь путь на танке, а потом сам расстреливаешь танк и как раз поспеваешь вовремя к упражнениям на выносливость и закалку. Клодаву можно удержать, в Гнезене нужно задержаться, обязательно нужно посмотреть собор в Гнезене, мы же путешествуем с образовательной целью. И путь наш лежит в Кольберг, где река Персанте впадает в Балтийское море и где после рождественских песен и поучительного рявканья, в сочельник мы совершаем обмен, упоительный, словно обмен кислой капусты на сладостный персик: военное обмундирование сдаем, гражданское платье получаем и ничего мелкопятнистого при этом.

Оно, правда, попахивает казенным складом, но оно пахнет и городком Марне; а до него рукой подать. Вот еще только солдатскую книжку, которой ты, кстати говоря, как-то раз лишился, обменять на военный билет, который, кстати говоря, лежал здесь на хранении, действительная мера, кстати говоря, в случае, если возникнет вопрос об идентификации.

Но такой вопрос не возник; это наверняка Марк Нибур, тот, кто рвется к западному берегу материка; и что может помешать ему? Никто и ничего не мешает ему, только железнодорожник уже у самого Марне оторопел, он едва успел подумать: ну, вот наш печатник и вернулся! — как тут же увидел: тот исчертил свои путевые документы вдоль и поперек извилистыми линиями, всю картину почему-то измарал, а ведь парень слыл когда-то в Марне порядочным и даже послушным.

Вот мы и приехали.

Уже забыли? Мы же хотели еще дальше ехать. Мы же хотели вернуться к 22 июля; некая пани Хеня что-то говорила об этой дате и о манифесте.

Манифест?

Ну да, что это с тобой, ты же не мог об этом забыть. Ты же так разволновался тогда. Все выяснял связи, а потом отчего-то разволновался. Когда речь зашла о Люблине.

Люблин? Ах, Люблин, теперь припоминаю. Ну, между нами пролегло немало земли. Но я уже все вспомнил. Какой-то слух переправил меня в этот Люблин, и чтобы освободить себя от этих зловещих пересудов, я попытался вернуться к тому самому дню 22 июля года сорок четвертого, решил вспомнить, где был я в этот день и, это же очень важно, кем я тогда был. И потому я двинулся в путь.

Верно, но ты почему-то загнулся, сказал: вот мы и приехали. Хотя на дворе только еще декабрь.

Прошу прощения. Все оттого, что поездка была напряженной. В голове у меня все спуталось. На вокзале, к примеру, я ищу мать, а вокруг вокзала, считаю я, уже созрела кукуруза. Но тут я опомнился; мать же не знает, что я тут. Она сидит у себя на кухне. И кто знает, пришла ли бы она, если бы даже знала. Она бы обрадовалась мне, но подумала бы обязательно: отсюда уехали трое.

Я понимаю мать и знаю, что город Марне никогда больше не будет таким, каким он был. В этом гнезде должен быть мой брат, пусть он своему брату иногда обеими ладонями враз стучал по ушам.

Но в первую голову здесь должен быть мой отец, он должен выглядывать из окошка, ведь что станется с городком, если ему все снова и снова не напоминать: нынче ветер, стужа зла, но настанет день тепла?

Что станется с Марне без призыва, который следует за хорошо рассчитанной паузой: ты ж пребудь вовек собой?

Только дяди Йонни и меня нашему Марне мало. Я-то лучше всех знаю, что ни дядины, ни мои реченья не бывают годны при всех обстоятельствах. Я знаю...

Ну, хватит, не заговаривайся, не забалтывайся, не завирайся. Твоя цель — иждь, 22 июля.

Ах да, эта дата. Так я точно помню: о манифесте речи не было, а о том, что была Польша, страна Польша, я вообще, можно сказать, не помнил. Не только потому, что у нас в ту пору она называлась иначе, а просто потому, что я ею не интересовался. Помню, звучит это чудовищно, если вспомнить, что совершалось в этой стране, и если к тому же вспомнить, что эта Польша уже ждала меня.

Но так оно было.

Меня занимали другие события. Кого это возмущает, того я понять могу, но помочь ничем не могу и должен сказать: за бомбардировщиками в небе я и вполонину так пристально не следил, как пристально разглядывал известные бретельки, а когда начинали выть сирены, я думал о том, что в щели опять буду обниматься с Леной; она работала в Эделаке на фабрике пряностей, и как от нее чудесно пахло!

Нет, за бомбардировщиками я вскоре следил едва ли не так же мало, как за облаками, над которыми они летели — высоко над ними в глубь страны. Другие чувства волновали меня, воздействовали на меня, побуждали к действию. Городок Марне с каждой бомбардировкой все больше и больше оживлялся. Погорельцы, бесквартирные, квартиранты, дальние родственники со своих пепелищ — дерзкие кухни и незнакомки.

Еще раз прошу прощения и еще раз повторяю: так много дел на земле Марне требовали моего безотлагательно-спешного вмешательства, что мне было не до неба и не до Польши. Тем более не до Польши.

Последний год ученичества у братца и сестрицы Брунсов, первый год ученичества в обхождении с сестрицами разных прочих людей. Вот-вот сдавать экзамен на звание подмастерья и другие самые разные экзамены. Рекомендуются поспешать, ибо вслед за повесткой о явке на экзамен приходит повестка о явке на призывной пункт, а ведь еще многое не сделано.

Ты знаешь, где-то для тебя готова форма — и эта уверенность хорошо действует на твою северную неуверенность. Если уж формы, считаешь ты и даже говоришь об этом, так совсем, совсем иные, скрытые чем-то голубым или розовым, а не холодным мышино-серым...

Нибур, нечего небылицы городить, ты же должен нам сооб... ты должен нам рассказать, где ты был 22 июля сорок четвертого года!

Хельга сказала:

— Она говорит, чтобы ты сказал, где ты был два года назад в июле, если ты не был в Люблине. Она называет тебя Марек, когда говорит о тебе. Сказать ей, что тебя зовут Марк?

— Зачем? Марек мне нравится. Или Мирон, Мирон нравится мне еще больше.

— Ты что, рехнулся? Плохо спал? Асфальт особенно жестким показался?

— Так jest, сейчас, пани Хеня!

— Но она злится, говорит, долго ей еще ждать? Она говорит, мы что, обсуждаем ответ?

— Скажи ей, что я прошу извинить меня. Przepraszam! Что, акцент сильно китайский?

В подвале поднялось настоящее волнение: Марек осмелился произнести слово по-польски, хотел извиниться по-польски, ах этот Марек. Ну если уж так, давай, Марек, еще раз.

— Она говорит, чтобы ты еще раз попытался. Вот тебе.

— Przepraszam!

— Очень хорошо, Марек, для первого польского слова это очень хорошо.

Ну, самым первым это слово не было, но я не мог же признать, что «извините, пожалуйста» как Первое Слово куда больше годится, чем истовый выкрик: «Господин надзиратель, старший по камере рапортует...»

— Она говорит, ну а что же было в июле?

22-е, да, помню.

— Скажи ей: сегодня ночью я пробился к этому дню, я..

— Пробился?

— Да, можно сказать. Я должен так сказать. Между мной и этим днем оказались непролазные заросли. Но эта дата следовала сразу же за двадцатым, и потому я все точно вспомнил. Точно и вперемешку.

— Так что же — точно или вперемешку?

— Точно и вперемешку — такое вполне возможно. Меня занимало многое одновременно, события были самые разные, но для меня все они были одинаково важными. Я был в Марне, где же мне еще быть, и кругом все только и говорили что о покушении, а я только удивился, как это офицеры такое могли сделать. Я не знал ни одного офицера. Однако, посидев кое с какими в камере, я еще больше удивляюсь.

— Она говорит, ты был рад, что они совершили покушение на фюрера, был ли ты рад?

— Нет, я только удивился... но она же сказала не «на фюрера», она сказала «на Гитлера».

— Благодарю, известно, как прекрасно вы владеете польским, господин Марек... или надо сказать — господин Мирон?

— По мне, хоть Марек, хоть Мирон, по мне, хоть Мордехай. Нет, пожалуй, не стоит. Надо же, Мордехай.

— Ты, видно, спятил. Она говорит, чтоб мы спорили, когда останемся одни. Ты тогда огорчился?

— Огорчился? Что с бомбой не вышло?

— Нет, огорчился, что такое задумали против него, против Гитлера?

— Удивился я только, только удивился. Надо сказать, что мой дядя, тот говорил иной раз — их бы всех, к чертям, подорвать, ну так ведь то мой дядя.

— Она говорит, ты разве не был в гитлерюгенде?

— Был, но как-то давно все засохло. Я просто перестал ходить туда. Поначалу я еще сомневался, но дядя сказал: ты, верно, боишься, что тебя тогда в солдаты не возьмут?

— А ты боялся стать солдатом?

— Мне это было малосимпатично.

Я не понял, что в моем заявлении их так насторожило, но Бася, и Хеня, и Геня минуту-другую обсуждали его. Сначала они смеялись, но потом панна Геня по какой-то причине возмущалась, и они стали спорить о чем-то.

Хельга сказала: кто так четко может выговорить «Мордехай», тот может сам себе перевести их спор; но тогда собралась с силами Вальбурга и заговорила:

— Они не могут прийти к согласию, симпатично ли, что ты говоришь — тебе было малосимпатично стать солдатом. Панна Геня считает, тебе не положено так говорить, ты же все-таки стал солдатом, а пани Бася считает это симпатичным, ей такая позиция знакома, а пани Хеня говорит, пусть они тебя не спрашивают, если ждут, что ты как-то иначе ответишь, а не так, как можешь.

Хеня снова вспомнила о своей дате — 22 июля.

— Она говорит, ты сказал, тебя многое занимало одновременно, а что же?

— Правда, совсем разные вещи. Если о войне говорить, так, собственно, вторжение союзников, оно еще только-только началось. Заварилось дело чуть южнее, даже юго-западнее моего берега, и все говорили, что они каждый день могут начать высадку и у нас.

— Что стал бы ты тогда делать?

— Об этом я думал, и ответ такой: наверное, то, что мне бы приказали.

— А если бы тебе ничего не приказали?

— Я и об этом думал: все идет очень быстро, того и гляди все разбегутся, обо мне могут позабыть. Тогда я отвел бы мать в подвал к Брунсам, он надежнее нашего, а там бы уж мы посмотрели. Во всяком случае, здесь меня бы не было.

— Она говорит, тебе бы больше хотелось быть у англичан в плену?

— Вообще ни в каком не хотелось бы, мне всякий поверит.

— Она говорит, тебе, видно, в плену малосимпатично?

— Да.

— Но если уж плен, так лучше у англичан?

— Безусловно.

Панна Геня сочла мой ответ непозволительным; Бася нашла симпатичным, что я не пытаюсь ловчить, а пани Хеня заявила: мнения той и другой ее в эту минуту не интересуют, она и ту и другую уже давно знает, но таких, как я, она не знает, во всяком случае не знает, какими бывают люди вроде меня при подобных обстоятельствах, и какими они были у себя дома, она тоже не знает, но это ее интересует, и пусть я скажу, почему я бы хотел лучше быть у англичан.

Вальбурга держала меня в курсе дела, но Хельга в конце концов опять взяла перевод в свои руки.

— Неужели в Польше так плохо, что ты с такой горячностью говоришь: безусловно ты бы лучше был у англичан?

— Разве я это с горячностью сказал? *Przepraszam!* Это только потому, что англичане не стали бы говорить, будто я что-то сделал в Люблине, если я в Люблине не был.

— Пани Хеня говорит, если ты в июле сорок четвертого сидел на своем берегу и глядел на юго-запад, выматривая второй фронт, так ты, значит, не был в Люблине, почему же ты боишься?

— А панна Геня говорит, ты что же, не веришь, что власти все выяснят?

— А пани Бася говорит, это же симпатично, что ты переживаешь, она бы тоже переживала.

Тут все три запереживали и никак не могли прийти к согласию, как я услышал от Вальбурги, а от Хельги я услышал только слова Хени:

— Пусть лучше рассказывает, что его еще занимало. Вот вспоминаю, что меня в то время занимало, и очень мне любопытно, что ж занимало эдакого, как он.

Я охотно спросил бы, чем она тогда занималась, но они все были раздражены, а пани Хеня умела проявить такую настойчивость, что брала верх и над шумливой Басей и над язвительной Геней; что-то появилось в ней в последнее время от моей матери, вполне может случиться, что она швырнет в меня сименсовским ящиком, если мой вопрос придется ей не по вкусу. А потому уж лучше было мне ответить:

— Ну, сколько-то я занимался своим экзаменом. Это я помню, ведь пришла по-вестка, что в октябре он состоится, я еще подумал: если в Нормандии дело так пойдет и дальше, то в октябре они будут здесь, об экзаменах, пожалуй, никто и не вспомнит.

— Панна Геня говорит, ты, видимо, считал, что ни русские, ни поляки не способны помешать тебе сдавать экзамены?

— Поляки?

— Да, поляки.

— Скажи ей — да, и скажи еще, что я сразу же прошу извинить меня, но так оно и было: о поляках я в этой связи вообще не думал.

Хельга уже хотела было переводить, и я видел, что она не собирается осторожничать с моим ответом; но Вальбурга, надо думать, тоже это увидела, она внезапно

взяла слово и говорила гораздо горячее и гораздо дольше, чем я, из чего я понял, что она пытается не только переводить, но и содействовать взаимопониманию.

Однако и в том и в другом она, надо полагать, опытом не обладала, что можно было предположить и что видно было по результатам: все три милостивые польки помрачнели, став едва ли не безобразными, и мне даже кажется, что кое-какие их мысли я улавливал, и уже по одному этому почувствовал себя неуютно, и уже по одному этому Геня сослужила мне неоценимую службу, когда выпалила в меня словами:

— Зато теперь поляки думают о нем в определенной связи.

Вальбурга обладала талантом, которым я уже восхищался у господина Эугениуша: она безо всяких церемоний переводила что говорилось, точно воспроизводя также интонацию и мимику говорившего.

Но и это шло мне только на пользу; Геня, и Хеня, и Бася видели и слышали, что ответ при переводе не терял остроты. И никому не было нужды что-либо добавлять; Геня здорово меня одернула — ну и хватит с него, с Марека, — а Геню можно похвалить и можно чуть расслабиться и заметить, какая Геня остроумная.

Теперь можно было от души посмеяться, а потом опять посмеяться, когда Геня, дав волю своему юмору, вышла из-за стеллажа, где наводила порядок, сделала перед Марекком книксен и, подражая его комичному акценту, сказала:

— Przegraszam!

Обычно чувствуешь минуту, когда тебе следует включиться в такую игру; я правильно уловил эту минуту, пани Бася пожелала узнать, все ли я назвал, о чем думал тогда, в том почти уже забытом июле.

— Она говорит, все ли ты сказал — второй фронт, пробная работа для экзамена и бомба для Гитлера. Можно ли тебя спросить, говорит она, можно ли видеть в связи с тобой...

Тут вмешалась Вальбурга:

— Нет, не так: не имелось ли в связи с ним какой-либо девушки.

— Я же так и говорю, — рассердилась Хельга, но Вальбурга покачала головой.

Да, переводчицы.

— Да, — сказал я, и небо, которое в этот день мне явно благоволило, помогло мне подняться. Я предстал перед моими пятью видными дамами, чуть выдержал паузу, заставив их ждать, не без успеха повторил Генин реверанс и сказал:

— Przegraszam!

XXVIII

Я едва помню, какой выдалась та осень. Вторая. Вторая осень за кирпичной стеной. А с того июля, о котором я так удивительно рассказывал чужим женщинам, уже третья.

Она провалилась куда-то на дно моей памяти.

Прошлую я еще отчетливо помню — каждую струйку дождя, каждое растаявшее облачко, каждое полуоблетевшее дерево, все поникшие астры у искромсанных стен.

А ведь я прошел только одной дорогой — несколько шагов от ворот тюрьмы до подвала не в счет. Но, как видно, та дорога была особенная. Ее оказалось достаточно. Первой осени мне было достаточно на всю мою жизнь.

От второй сохранились лишь отрывочные воспоминания, и природа в них в виде облаков и ветра почти не присутствует.

Помнится только уныло-серый День поминовения, но я не уверен, что он был серым и за стенами тюрьмы. Не знаю, была ли та осень теплой или особенно дождливой, была ли она долгой или, может, рано сдала позиции зиме. Но из жизни ее не выбросишь, хотя из нее и было выброшено многое, к чему я привык.

Например, в осеннее небо так и просятся бумажные змеи, но за четыре года в Польше я ни одного змея не видел. Возможно, я попал в такие места, где не принято их запускать, или просто людям было не до того, или в Варшаве это настолько же не в обычае, насколько обычно у нас. Может, было в обычае до войны, а потом пришли мы.

Примета осени в Варшаве — белокочанная капуста, в этом я убедился. Хотя мне давно уже известно, что не всегда Варшава имела нужное количество капусты. Когда я там находился, капусты хватало. По-моему, даже с избытком. Помню, что и в мою вторую тюремную осень на большом дворе сгужали капусту, и я было подумал о под-

вале, о бане, но то были нехорошие мысли, и я их разом отчищал ножницами. В этом искусстве я наловчился.

С тех пор как с меня сняли опалу и я опять участвовал в обмене мнениями с моими сокамерниками, во мне заработало какое-то странное выключающее устройство. Пока рот у меня был на замке, я слушал и не мог наслушаться, теперь же, едва уловив до тошноты знакомый тон, затыкал уши. Намека, начала фразы было довольно, чтобы я сразу глух.

— Авранш,— начинал майор Мюллер, и мне становилось до ужаса ясно, что ни в коем случае нельзя было допустить прорыва под Авраншем.

— Лангусты,— говорил железнодорожный советник, и нам опять представлялось, как в томительном ожидании операции «Морской лев» советник до тонкости изучил вкус и строение съедобных ракообразных.

— Произведения искусства,— заводил капитан Шульцки, в двадцатый раз всучивая нам сообщение, из коего следовало, что он, капитан Шульцки, был всего только командиром специального подразделения, занимавшегося поисками бесхозных картин, чтобы они не попали в руки мародеров или невежд. Сам капитан Шульцки не питал интереса к искусству, он увлекался только перевернутой буквой «п». Лучшим экземпляром его коллекции была вывеска кабачка в Амьене «Chez Veuito»³. Шульцки сам ее снял, заплатив за нее хозяйину двадцать марок.

Этому рассказу капитана Шульцки я верил целиком и полностью. Возможно, он и полотно Гейнсборо оставил бы у себя лишь в том случае, если бы оно было подписано: Gaiusbohough. А вот в его роль защитника искусства поверить было труднее. Я уже хорошенько наслушался о присвоении власти и о садоводстве.

Так вот слух мой выключался сразу же, как только начинались декламации по поводу искусства или ракообразных. Мне даже удавалось наполовину ослепнуть, когда майор Мюллер становился в простенке между окнами и выбрасывал вперед руки. Мне было уже тошно смотреть, как майор правой рукой накрывает город Авранш, а левой в то же время орудует в Па-де-Кале, тошно было слушать, что, взяв Сен-Ло, следовало наступать на Авранш.

Правда, я понимал, что мои соседи просто заговаривают друг друга, отвлекаясь от пугающего соседства прокурора, но даже несмотря на это я не желал с ними общаться. Слова рассыпались, картины заволакивались туманом; то, что еще по-настоящему меня трогало, я бы выразить не сумел, а потому это и не привлекло бы их внимания.

Вначале я был дерзким острословом, теперь стал истуканом. Я чуть было не сказал «одеревеневшим», но это обозначение лучше оставить для двух крестьян, которые так умело обращались с мертвыми и насмерть перепуганными людьми. Из разъяснения прокурора стало известно, что это умение они приобрели в одном лечебном заведении.

Деревянным истуканом я не был, но грубым был, прекратив общаться с остальными. Я строил убежища внутри себя, а снаружи обеспечил себе жизненное пространство, пользуясь весьма крепкими ругательствами.

Так еще можно было существовать — в изоляции, на сей раз добровольной, присутствовать ровно настолько, чтобы к тебе не преминули обратиться, когда ты сам того хотел; существовать в оболочке отчужденности, сквозь которую редко кто пытался проникнуть; держать наготове фильтры, не пропускавшие ничего мерзко знакомого, и тем не менее оставаться достаточно чутким, чтобы уловить, увидеть и осмыслить перемены.

Думаю, что если бы меня покинуло мое любопытство, жажда нового, я чувствовал бы себя действительно покинутым, но только поистине нового, а не старого, не навязшего в зубах и без-конца-вновь-и-вновь-перетираемого.

Новое сразу же заставляло меня взбодриться, оно всегда могло рассчитывать на мое неослабное внимание. Так, например, я пристально наблюдал за эволюцией гауптштурмфюрера на всех ее стадиях. Дело дошло до того, что этот грозный воин в один прекрасный день показался мне просто смешным. Вот что делал с людьми прокурор; и таким способом, который гауптштурмфюрер окрестил «варварским формализмом».

³ «У Венито» (франц.)

— Эти поляки ведут себя так, будто взяли в плен неодоушевленный предмет, — возмущался он.

Его это мучило, а мне было смешно. Однако стоило мне подумать, что этот тип попал в руки к истинным мастерам своего дела, как сразу ударяла в голову мысль: эти мастера ждут и тебя; а для такой мысли срочно требовались ножницы.

Я уже говорил, что изрядно наловчился в обращении с этим инструментом, и, в общем, так оно и есть, хотя я не всегда достаточно хорошо с ним справлялся. Например, мне никак не удавалось перерезать ток, соединявший Амьен капитана Шульцки с Мюллеровым Па-де-Кале. Многие я мог выбросить из головы: претензии Шульцки на роль защитника искусства, мнение Мюллера об армии, которая поджидала в Кале противника со стороны Дувра, вместо того чтобы занять Сен-Ло. Но если однажды ты прочел в письме, что твой отец взлетел на воздух, когда ехал через Пикардию на север, — был тихий осенний день, ничто не предвещало беды, и вдруг взрыв, от «опеля» оторвало заднее сиденье и заднюю ось, а обер-ефрейтор Нибур исчез, смерть его была мгновенной, и это может служить утешением, — так вот, если ты прочел нечто подобное в письме, близко тебя касавшемся, то, целый день проплакав и как никогда сблизившись с матерью, ты начинал размышлять, и тебе приходило в голову, что главный город Пикардии — Амьен, город, который надо было иметь в виду, когда в кроссвордах подразумевалась «резиденция франц. епископа» или «город во Франции со знаменитым готич. собором», да и в школьном атласе ты искал дороги, ведущие на север через Пикардию: одна идет от Парижа в Кале через Амьен, а если хочешь проехать в Кале из Реймса, другого «гор. во Франции с готич. собором», путь опять-таки лежит через Амьен и Пикардию.

Ток мысли, соединявший два полюса — Кале и Амьен, не удавалось прервать еще и потому, что человек, безуспешно пытавшийся это сделать, был родом из Марне.

Этот человек особенно внимательно прислушивался, когда при нем впервые рассказывали о Марнском чуде. Потому что в то время он думал, будто чудо свершилось в его родном городе, и даже когда все выяснилось, он часто обращался пылливой мыслью к битве на Марне, зная уже, что здесь лихое наступление обернулось изматывающей окопной войной. А только что завоеванный городок Амьен пришлось сдать, равно как и другой, о котором тебе частенько приходилось слышать, если ты рос в Марне. Он звался Компьен, с ним был связан пережитый позор и смытый позор, а где-то летом сорок четвертого победа вновь была сведена на нет победой противника. Когда именно это произошло, человек, которого звали Марк Нибур, не знал: на исходе сорок четвертого Компьен интересовал его ничуть не больше, чем могло бы заинтересовать известие, что некогда в этом городе Жанна д'Арк попала в плен к англичанам.

В июле, августе и сентябре того года я был занят в другом месте, никакая Жанна, никакая Иоанна, никакая Дева при том не присутствовала, и я был слишком занят, чтобы заметить вторичную потерю Компьена и даже потерю другого города — она могла произойти в тот же день, — который звался Пулавы и стоял в верховьях Вислы, недалеко от Люблина.

Я бы слегка удивился, предскажи мне кто-нибудь, что в июле, августе и сентябре будущего года я буду находиться в русском, а затем польском плену, в местечке под названием Пулавы, которое примерно в то же время, что и Компьен, снова перешло к своим исконным владельцам. Я бы слегка удивился, но не слишком, ибо моей родиной были места Всадника на белом коне⁴ и в то время я был всецело занят девчонками, которые тогда еще большей частью носили толстые косы. Я бы, конечно, надолго отвлекся от всех и всяческих кос, если бы осознал, что западные союзники катят через Пикардию на север именно по той дороге, до конца которой так и не добрался мой отец.

И только когда в третий раз наступили июль, август, сентябрь и даже октябрь и городок Пулавы стал уже казаться мне совсем далеким — только тогда нашел я время задуматься о судьбе отца.

⁴ «Всадник на белом коне» — повесть Теодора Шторма, основанная на народном поверье, бытующем в Северной Германии: перед бедствием появляется призрак всадника на белом коне.

Шульцки очередной раз произнес «Амьен», а Мюллер очередной раз сказал «Кале», и я было хотел пресечь связь между этими двумя названиями, но между ними вдруг легла географическая карта, возникла Пикардия, тихий день, кто-то ехал на север по личным делам и никак не ждал беды.

У меня и сейчас перехватывает дыхание, лишь подумаю: вот как далеко понадобилось мне забраться — в одну камеру с подонками, в Варшаву, в Польшу сорок шестого года, в зарешеченную осень, а мысленно пойти еще дальше — до неоднократно рисовавшегося мне конца; вот сколько всего понадобилось мне увидеть своими глазами, услышать озверелую болтовню вокруг, чтобы меня наконец проняло то место в письме, где говорилось: через Пикардию на север, ничто не предвещало беды.

Кто же это ехал тогда по дороге из Амьена в Кале? Складской рабочий Нибур, направлявшийся на север, в Марне, с честно оплаченным грузом куриного корма? Тогда бы он был вправе не ждать беды.

Но через Пикардию на север ехал обер-ефрейтор Нибур, ехал по местности, которая давно уже была на устах у многих военных: битва на Сомме, Марнское чудо, захваченный и отданный Амьен. Обер-ефрейтор Нибур ехал по личному делу, вез что-то награбленное, возможно, оплатил добычу оккупантскими бумажками, — то был, наверное, воз трактирных вывесок столетней давности, ручного лигтя, все с перевернутой буквой «п», или груз произведений искусства из не столь отдаленного Компьена, где Франции святая Иоанна, а потом и сама святая Франция попала в плен.

Обер-ефрейтор Нибур не ждал беды, когда ехал по стране, где «нынче ветер, стужа зла» — и по его милости и не без его участия. Он был не злым оккупантом и мало что отнял у той страны, может тележку гостинцев по случаю отпуска да еще всякую всячину, которая может пригодиться человеку средних лет во время оккупации. А приехать из Франции в Марне с пустыми руками было никак нельзя, это было бы новое Марнское чудо, и брюки гольф он привез тоже, чтобы в который раз озадачить город Марне, а от своего сына Марка в который раз потребовать твердости характера. Тихоня парень-то, наверно, не раз попадет в переделку.

Я и правда совсем притих, раздумывая о своем отце, солдате-оккупанте, не ожидавшем беды в тот тихий осенний день, когда он взлетел на воздух.

Нет, я не отрекся от отца, но наконец по-настоящему понял, почему он погиб. И наконец увидел взаимосвязи.

Тут оказалось кстати, что я слыл грубияном; я мог спокойно предаться своим мыслям. И у меня было достаточно досуга подумать, почему ничто не шевельнулось во мне раньше, например когда я рассматривал иллюстрированные брошюры, где во всю страницу изображались взрывы, — ничто не шевельнулось и не открылась связь между рассказом о взрывающихся минах и внезапной гибелью отца во Франции.

Нет, ничто такое во мне не шевельнулось, а причина тому простая и скверная: мне было, если воспользоваться уже известным словом, малосимпатично представление, что придется привязывать гранаты к убитым русским, однако никакой связи между этими представлениями и моим погибшим отцом я не видел. Не видел никакой связи между моим погибшим отцом и погибшими русскими, или погибшими поляками, или погибшими французами. Мой отец был мой отец, и только его смерть что-то значила.

И еще долго-долго только я сам и грозившая мне смерть что-то значили для меня. В этом я признаюсь откровенно и не возьму свое признание назад, даже если оно кому-то не понравится. Я и надеюсь, что оно не понравится.

Мне понадобилось огромное количество кирпича, и железных решеток, и мерзкой болтовни вокруг, и шумливых надсмотрщиц, и сникших гауптштурмвоаяк, пока я научился взаимосвязно думать о своем отце и о некоторых других живых и мертвых людях.

Однако от этих размышлений уютнее в камере не стало.

Зато вполне уютно было на складе электротехнического снабжения польских мест заключения. Так стал называться наш подвал, с тех пор как из ящиков соорудили полки, а выключатели занесли в списки.

Многое зависит от людей, с которыми ты делишь подобные места. Мне поряд-

ком повезло. Правда, пани Бася руководила иногда слишком шумно, а пани Хеня владела в инквизиторскую суровость, когда хотела что-нибудь узнать о моей былой жизни, но вот общество паньки Гени в последнее время стало гораздо приятней. Она открыла для себя любовь, и ее резкости как не бывало, да и ехидничала она теперь редко, а весь свой пыл предназначала кому-то другому. Лицо Вальбурги уже не так часто превращалось в пористую пемзу, когда разговор касался темы, которую ни за что, ни за что не хотела оставить Гени, а Хельга перестала настойчиво звать меня в темный угол за ящиками.

Конвоиры менялись часто, и новичкам нелегко было привыкнуть к царившему в подвале тону, но в этом им помогали женщины, а привыкали или не привыкали они ко мне, мне было безразлично. Правда, мне действовало на нервы, когда новоиспеченные конвоиры показывали свои автоматы, будто я сроду не видел такого замечательного инструмента, я пытался изолироваться и от них тоже — и не без успеха.

Короткий путь от тюрьмы до подвала на углу улицы Нарбута я проходил всегда словно сжавшись, словно запеленатый. «Запеленатый» — точное слово: мне казалось, будто я обвязался платком и в то же время — и это осложняет дело — будто этот платок частица моего существа, я заползаю в себя самого и себя самого на себя накручиваю множеством витков.

Не удивительно, что по утрам женщины находили меня таким подавленным, и они не переставали удивляться, что, немного посветлев к середине дня, к концу его, когда близилось окончание работы, я опять заметно мрачнел.

Как бы я мог им это объяснить? Что, по-моему, мне не место там, куда меня отводили на ночь? Разве кто-нибудь встречал человека, сидевшего в тюрьме и считавшего, что там ему и место? Что я охотнее остался бы здесь, на сименсовских досках, нежели отправился на асфальт к вонючим лоткам? А может, завтра я захочу еще перину? Что я готов изо всех сил уцепиться за их беспечную человечность? Что, что он сказал, этот Марек, за что он готов уцепиться? Ах боже ты мой милостивый!

Боюсь, я задал им достаточно загадок, потому что уже сработалось объяснение, что Марек — это арестованный поэт и в то же время, по слухам, нешуточный злодей, а уж при таком сочетании удивляться нечему.

Все-таки мои дамы не могли не удивляться, когда я, едва выпугавшись из своих витков и складок, принялся многословно рассказывать о виденном мною почтовом ящике и о женщине, бросившей туда какую-то бумагу, — подумать только: почтовый ящик на пути из тюрьмы сюда и женщина, которая использовала его по назначению!

Я и сам замечал, как мой механизм после ночного бездействия включался в жужжащее движение дня, заметил и с какой странной болтливостью выражал свой интерес к пишущей перьям женщине и к почтовому ящику. Меня это немного смущало, но я никак не мог остановиться, и в этом не было ничего необъяснимого.

Человек, выключенный из жизни, долгое время думает, будто жизнь и для других тоже кончилась, но, замечу вскользь, когда я размышлял о смерти, меня внезапно и жестоко поразило открытие, что дело обстоит совсем не так.

Нет, мое участие к женщине у почтового ящика не было необъяснимым. Оно было связано с моим неучастием в жизни. Скоро уже два года, как мой обратный адрес значит только на воображаемых письмах. Я никогда не отличался особой любовью к писанию писем, но весточку о том, что я более или менее здоров и нахожусь под надежным присмотром, охотно бы послал.

Я представил себе мою мать, получившую от меня за все время моей военной службы две открытки. Одну я послал ей из Кольберга, и, кажется, изобразил Кольберг в несправедливо мрачных тонах. Вторую опустил в Гнезене еще до начала тренировок на выносливость и закалку, а так как хотел сообщить матери что-нибудь утешительное, то написал ей, что немецкий солдат обязан тщательно одеваться. На какое-то время эта открытка должна была вызвать у нее чувство удовлетворения, потому что у нас с ней не раз возникала перепалка из-за моих озябших до синевы коленок, перепалка, неизменно кончавшаяся маминой присказкой: «Вот погоди, узнаешь! В солдатах тебя научат». И сообщение о тренировках на закалку несомненно тоже вызвало бы у нее чувство удовлетворения, ибо в армии поняли, чего мне не хватает.

На какое-то время да, но два года без единой весточки — время слишком дол-

гое. Поневоле перечитываются уже полученные, весьма содержательные послания, и однажды встает вопрос, действительно ли парнишка приобрел необходимую закалку.

Вот чем оборачивается оторванность от жизни: если тебе посчастливится, дело, в котором ты больше не можешь участвовать, словно исчезает из мира — с тех пор как почта больше не существовала для меня, а я для почты, я стал считать, что почты просто нет. «Считать» не совсем точное слово. То место в моей картине мира, которое занимала почта, было просто вымарано, так же как многие другие места.

Вот чем, наверно, объясняется та лихорадочная болтливость, с какой я рассказывал пятерым женщинам о шестой, бросившей в ящик письмо. Но тогда у меня никто не требовал мотивов, а сам я их сообщать не стал.

У нас слишком часто возникали слишком резкие стычки, когда назывались мотивы моих действий или моего бездействия. Даже когда Геня вышла из тройственного союза, найдя счастье в любви, пани Бася и пани Хеня по-прежнему обладали таким превосходством надо мной, что я неохотно с ними схватывался. Этим превосходством они обладали изначально, так как были гражданами и служащими польского государства, а меня оно содержало под замком, но превосходство заключалось не только в их статусе, а прежде всего в том, как они им пользовались.

Предположим,— это всего лишь пример — я упомянул бы свою мать и то обстоятельство, что я долго не подавал о себе вестей, тут Бася немедленно налетела бы на меня с вопросом: знаю ли я, сколько матерей... и не напомнить ли мне, по чьей вине почтовая связь... И она не преминула бы сделать ужасающе меткий вывод: с тех пор как пришли вы.

А если бы я пожелал честно ответить на вопросы, которые в подобных случаях возникали у Хени, мне пришлось бы кое-что поведать о себе, однако и здесь, на складе электротехнического снабжения польских мест заключения, склонность к откровенности у меня ничуть не усилилась.

Хеня непременно осведомилась бы, имел ли я раньше привычку писать письма, и еще прибавила бы: «А может, до визита к нам ты не так уж часто бывал за границей? И твоя мать больше ни о чем не беспокоилась, кроме как о прозябших коленках сына? Как напутствуют матери в Марне своих сыновей, когда те отправляются в страны, где они ничего не потеряли? Не было ли разговора о том, что от настроений сына, возможно, когда-нибудь будет зависеть жизнь других людей, и не советовала ли тебе твоя мать сохранять всегда ровное настроение? Может, она даже намекнула тебе, что хорошо бы сыну вести себя так, чтобы не пострадал никто другой? Или она не решилась, потому что немецкие сыновья иногда передавали подобные материнские слова нехорошим людям? И ведь верно, Марек нам говорил, что он пустился в путь незадолго до рождения,— так, значит, эта добрая женщина захотела получить от своего доброго сына рождественский подарок? А позволь тебя спросить, какой именно? Чтобы ты по крайней мере в святую ночь вел себя как христианин?» Но тут пани Хене вдруг приходило в голову: «Христианин он у нас довольно относительный. Не знал даже, что такое День всех святых и День поминовения».

Всеми святыми и Днем поминовения они меня корили без конца, хотя в самих этих словах, казалось, содержится нечто умиротворяющее. Я был посрамлен надолго тем, что ничего не знал об этих праздниках, и мне не помогла ссыла на то, что хоть я и был крещен и конфирмован, но с трудом ориентировался даже в евангелической сфере христианства.

— При чем тут это?

— Надо же, первого и второго ноября сидит у себя в камере и ждет, что его выведут на работу. Запомни, Марек, раз и навсегда: рождество, Новый год, пасха и троица тоже нерабочие дни. Успение богородицы и праздник Тела господня — тоже. И еще... Ладно, пока а тебя хватит. Мы будем предупреждать тебя накануне. Скажем: завтра мы, Марек, не работаем, завтра День покаяния. Знаешь ты, что такое День покаяния?

— Да уж, это я с некоторых пор узнал.

В моем ответе содержалась не только ирония, и бдительная Хеня уже собиралась мне ответить, но когда пани Бася была чем-то взволнована, отчего-то весела

или сердита, то ее не мог остановить никто, кроме нее самой, а ей был известен еще один праздник, мой праздник, только пусть я не беспокоюсь, 25 апреля мы работаем, но, может, в тот день в мою честь будет особенно хороший обед.

Откуда ей было знать, что 25 апреля я надеялся обедать уже совсем в другой кухне, она заметила только мое недоумение и восторженно воскликнула:

— Ай да Марек, дня своих именин и то не знает! Носит имя святого, а не знает, когда День всех святых и день его ангела!

У пани Баси, оказывается, был дядя, его звали дядя Марек, и он о себе что-то навоображал, потому что атрибутами евангелиста Марка были лев, книга и перо.

— Ты, Марек, наверно, и понятия не имеешь, что лев, книга и перо — атрибуты твоего святого?

Я подумал: а теперь я это знаю! Но поскольку степень моего невежества заставила пани Басю на минуту смолкнуть и задуматься, я успел найти соответствующие польские слова: *aię teraz ja wiem!* Однако на дальнейшее мне уже их не хватило.

— Только я не евангелист Марк и не Марек, меня зовут просто Марк, а это совсем другое, *to coś innego*, и святые тут ни при чем.

Пани Бася попросила перевести ей только последние слова и еще пуще развеселилась:

— Конечно, это совсем другое. Евангелист Марк, по-нашему Маркус, — святой, которого изображают со львом, книгой и пером. Марек, если говорить о моем дяде, не святой и не лев, а просто дядя с пером и книгой. Имя все укорачивается: Маркус, Марек, Марк. Бедный Марк, его зовут еще короче, чем дядю Марека. У него ни святости, ни льва, ни книги, но, может, у него есть перо — кто его знает!

Это рассуждение показалось им смешным, и Хельга постаралась интонацией и мимикой довести до меня всю его комичность. А Вальбурге она сказала, разгладив лоб:

— Теперь ясно, почему он хотел бы называться Мироном. Или Мордехаем.

Я подумал: никогда нельзя откровенничать с бабами. Разоткровенничаешься, а они поднимут тебя на смех.

В понедельник они меня спросили, почему у меня такой угнетенный вид, и я сказал, что меня допекли три дня в вонючей кутузке и в голову невольно лезли кое-какие мысли.

Да, можно это назвать и так: кое-какие мысли. Например: сегодня тебя не вывели на работу — что это означает? Это могло означать, что тебя поведут в другое место, где работать будет кто-то другой. Придут помощники прокурора, чтобы посмотреть акт, который они на меня завели. Начинается мой следующий акт. Скажите, когда кончится эта пьеса?

В день таких тяжелых раздумий лучше не пользоваться славой грубияна, способного пришибить словом. Тогда среди соседей, возможно, объявится знаток местных нравов и он тебе объяснит: «Не жди зря, старший, нынешняя пятница — День всех святых, сегодня не работает никто, ни мужчины в прокуратуре, ни женщины на складе, а уж завтра, в День поминовения, тем более. Сегодня и завтра вся Польша на кладбищах. Сегодня они не пересчитывают лампы, а зажигают свечи. В День всех святых прокурор тоже выходной».

Но таких сведений мне никто не сообщил, а когда я услышал краем уха в углу камеры извечный спор о том, что значит на старославянском название Ремниц — Деревня мужа Совета, или Деревня сумасшедшего, — то и вовсе замкнулся в себе.

Погода соответствовала моему состоянию: серый, сумрак заливал все пространство от одной кирпичной стены до другой. Это могло бы напомнить мне родину, но не напоминало.

Когда радио донесло к нам со стороны кухни сигнал о приближении татар, стало ясно, что на работу меня уже не выведут. Но к прокурору еще вполне могли позвать, а там наступило и время обеда, и пришлось мне довольствоваться капустным супом по рецепту поваров-арестантов. В этой жиже в последнее время попадалась крупа, что было, несомненно, задумано как улучшение. Но лучше было ее не пробовать.

Ел я совершенно механически и все время прислушивался, не раздастся ли среди чавканья и стука ложек о миски звяжанье ключей. Но ничего хорошего в таком ожидании не было, и я пытался переключиться на какие-нибудь более приятные мы-

сли. И не находил их. Необъяснимое безделье, хмурая погода, слишком много капусты и слишком мало крупы — все вместе действовало на меня угнетающе. Воспоминания не подсказывали ничего радостного — что за жизнь я прожил? В голову лезли сплошь мысли для ножниц. Трубный сигнал, доносящийся из Кракова через кухню, вызывает в памяти лишь пана Домбровского, о котором — сходство со мной — ходит некий слух, слуху этому можно верить, ведь и юный Херцог боялся пана Домбровского — сходство со мной. Неприятно вспоминать, что при опросе у тебя перед таким вот паном Домбровским ноги подкосились, и еще неприятнее вспоминать: ты даже надеялся, что этот тип сообщит результат опроса следственным органам как поляк полякам. А это опять подводит к мысли о прокуроре — ножницы, где вы? Направить мысли в другое русло, подальше от мрачных мужчин, поближе к светлым женщинам. Но... Но вдруг меня больше никогда не поведут в тот подвал? Терпение, скоро тебя поведут в другой подвал. Ножницы! Если женщины больше не позовут меня к себе, то выйдет: мы расстались, поссорясь и без прощальных слов, как будто прощальные слова — залог счастья в пути! Разве тебе это не известно после прощальных слов на некоей кухне? Ножницы! Без прощальных слов Бася и Хени, Гени, Вальбурги и Хельги. От Хельги я услышал напоследок только злые слова. Тожеотрежем.

Стоп, теперь ты хочешь отвертеться от незаконченного эпизода. От законченного, от думанного и передуманного отвертеться можно, но с тем спором ты еще не покончил. Возможно, ты был не прав, а потому гонишь эти мысли прочь. Есть подозрение...

Кто сказал «подозрение»? Где у нас ножн...?

Тебя подозревают в том, что ты совершил несправедливость, — выждав некоторое время, ты можешь проверить, так это или не так. Это подозрение проверять разрешается.

Ладно, итак — женщины повесили над дверью подвала плакат с надписью, и Хельга мне ее перевела: «Мы, работники склада электротехнического снабжения польских мест заключения, обязуемся напряженно работать, ибо это необходимо для нашего будущего».

Я подшучивал над этим плакатом — я не придавал значения подобным художествам. На локомотиве, который тащил мой поезд из Марне, тоже красовалась надпись: «Пусть все колеса вертятся ради победы».

Хельга поначалу со мной согласилась, и с ее помощью я восстановил в уме надпись на стене безмолвного лагеря на улице Генся, смысл которой давно хотел узнать. Она гласила: «Пленный, когда ты вернешься домой, борись против войны!»

Хельга смеялась над моими попытками произнести эту фразу по-польски. Потом сказала:

— Пусть только отпустят нас на родину, да поскорей. Мы уж найдем, против чего бороться.

Тут-то я и совершил несправедливость. Странный призыв поверг меня в необъяснимую растерянность, и я попытался обратить ее против Хельги. Я спросил, что она подразумевает под словом «родина».

Она успела произнести только «Лиц...», расплакалась и сказала, что я бы тоже по-иному думал о родине, если бы мой дурацкий Марне отошел теперь к Польше.

Это соответствовало действительности, и то, что я этого не учел, было несправедливо.

Пришла пани Бася, и когда она пожелала узнать, из-за чего мы ссоримся, я ничего не сказал ей о родине. Я ответил, что Хельге не понравились мои шутки по поводу одного призыва на лагерной стене: «Когда ты вернешься домой...» Словечко «когда» мне нравится. Когда ты вернешься домой... Если ты вернешься домой... В том случае, если... Допуская, что когда-нибудь ты все же вернешься домой...

Бася в виде исключения уделила этому инциденту мало внимания. Рабочий день вот-вот кончался, и у нее было много дела. Позднее я понял: предстояли маленькие каникулы: пятница — День всех святых, суббота — День поминовения и воскресенье.

Она резко заявила, что не допустит никаких сомнений в серьезности польских настенных надписей, сообщила Хельге и Вальбурге, что они могут идти мыться, нет, постойте, сперва переведите ему следующее: «Если бы я, Маркус, была твердо уве-

рена, что ты последуешь призыву, который содержит эта надпись, я посадила бы тебя в мешок, взвалила бы к себе на спину и потащила, при переправах через реки зубами придерживала бы ношу, но доставила бы тебя в твой чертов Марне. Тогда я бы могла считать: по крайней мере, один уже там».

Потом за мной пришел конвоир, а потом пришли бесконечные нерабочие дни, а потом пришел понедельник, и бабы принялись надо мной потешаться за то, что я не знаю осенних католических и особенно польских праздников.

Они меня дразнили всю неделю. Поэтому я ни одной из них не рассказал, о чем однажды думал в День всех святых. Как ждал посланцев прокурора и все-таки старался о них не думать, как уверил себя, что больше не увижу этих женщин. И тогда меня задело, что Бася так говорит обо мне и о моей родине. И тогда у меня явилась некая мысль, но за ножницы я не схватился: я, правда, не знаю, как должен человек вроде меня бороться против войны, но в том, что я постараюсь бороться, вы, пани Бася, можете быть совершенно уверены.

Эту мысль можно было не отрезать, но и нельзя было высказать вслух. Меньше всего перед этой пятеркой милостивых женщин, смеющихся, когда одна из них называет Марка Нибура Маркус с пером. Но когда они еще десять дней спустя после Всех святых, вторую неделю подряд продолжали изощряться в шутках на тему Маркус-Марек-Марк, я распалился и сказал, что они ничуть не лучше директора марнской школы, который весь период нашего знакомства резвился по поводу моего имени:

«Можно носить имя Менно, или Онно, или Йоахим, но только не Марк. Во всяком случае, немец так зваться не может. Американец может, надо надеяться, это все знают. Но немец никак, уж это-то следовало бы знать. Марк Нибур, Марка Нибура — это что еще такое? Чтоб ты знал, Марк Нибур: на мой взгляд, марки ты не стоишь. Так, что-нибудь около пфеннига. А до марки тебе не хватает еще девяноста девяти пфеннигов».

Я пережал: я предложил им сесть и хорошенько взвесить, не могут ли они, наприящи все свои силы, придумать хотя бы еще одну шутку. Что-нибудь без Маркуса, Марека и Дня поминовения. Может, про День реформации или этого окаянный День покаяния.

Или же, если они весь свой юмор израсходовали на меня, пусть придумают что-нибудь серьезное, какой-нибудь настенный лозунг или текст для плаката над дверью. Жаль, что мы не догадались это сделать 31 октября, в праздник Реформации, тогда это было бы кстати — в годовщину того дня, когда Мартин Лютер прибил свои тезисы на дверь собора. Но, к сожалению, тогда у всех в голове были Все святые. Кроме Марка Нибура, но этот вопрос мы уже проработали.

Я пережал во всем: в тоне, силе звука и выборе темы. Хотя и заметил, что, пока переводились мои слова, католические дамы делались все холоднее, а таких слов, как «Реформация», «тезисы», «Лютер» и «окаянный День покаяния», вообще не желали слушать, но на Нибура нашел стих, кто бы мог его остановить? Я его не остановил, я сказал:

— Прошу прощения, что своевременно не напомнил о дне Реформации, *bardzo przegryszam*, но с недавних пор я что-то стал забывать о годовщинах. Представьте себе, милые дамы, я пропустил даже собственный день рождения, двадцатый по счету, думаю, прокурор специально позаботился о том, чтобы меня отвлечь. Но этот день рождения был не так уж важен, всего двадцатый. Следующий будет важнее — я стану совершеннолетним, самостоятельным, полностью ответственным за все, что делаю и чего не делаю. Это важно на тот случай, если когда-нибудь окажешься поблизости от прокурора или от тюрьмы, но это, разумеется, шутка. Еще одна. Однако перестанем шутить и придумаем какой-нибудь серьезный тезис для двери склада, или лучше пусть каждый придумает свой, пусть каждый напишет свой *imperativ*, мой звучит так: «Да будет каждый день Днем покаяния!»

Мои слова оказали неприятное действие, это было видно. Пани Бася готова была взорваться. Хеня смотрела на меня как на совершенно незнакомого немца, о котором ходят всякие слухи. У Гени нашлось бы о чем горячо рассказать своему дружку.

Вальбурга испугалась, а Хельга от мстительного удовлетворения забыла разглядеть лоб.

Прежде чем Бася успела разбушеваться, Хеня сказала:

— В религии и датах он не силен, зато много чего знает про тридцать первое октября. Побольше, чем о двадцать втором июля сорок четвертого.

Я подумал, что мог бы разрядить обстановку, наговорив еще с три короба, а потому живо ответил:

— Это объясняется тем, что однажды я получил письмо из Ремесленной палаты, мне предписывалось тридцать первого октября явиться сдавать экзамен на звание подмастерья, имея при себе пробную работу и ученическое свидетельство. Но потом пришло второе письмо: произошла ошибка, ведь тридцать первое — День реформации, экзамен переносится на первый вторник ноября. Это разве не завтра? Будет как раз два года. Нет, завтра уже второй вторник ноября. Теперь вы можете убедиться, как обстоит у меня дело с датами: я забываю собственный день рождения, забываю вторую годовщину экзамена на звание подмастерья. Удивительно, как я еще не забыл свое имя.

— Ничего удивительного,— неприветливо сказала Хеня,— мы тебе в этом помогли. А что должен был представить печатник в качестве пробной работы — тезисы Лютера или сборник экстренных сообщений?

— Нет, об экстренных сообщениях в худшем случае могли спросить на устном экзамене, но в то время сообщать особенно было нечего. Нас уже отовсюду погнажи, из Югославии и Венгрии, из Греции и Франции.

— А вскоре и из Польши,— сказала Хеня.

— Да, вскоре,— ответил я.

И тут я не поверил своим ушам: заговорила Вальбурга, хотя ее никто не спрашивал. Заговорила очень осторожно, едва слышно пролепетала:

— Он напечатал стихотворение литерарами, которые сам изготовил.

Только ее не хватало! Но поскольку мне было выгодно отвлечь их от моей дерзкой выходки, я с благодарностью подхватил ее слова:

— Да, но, конечно, только буквы — начальные буквы. А заголовком было факсимиле старинной рукописи. Я и стихотворение-то взял ради заголовка, это был сонет Пауля Флеминга, у него есть... У него есть еще другие стихи, но заглавие этого сонета одно из самых прекрасных: «Когда голштинский корабль «Фридрих» вновь воссоединился с персидским флотом, от которого он третью неделю как оторвался по причине противного ветра». Я напечатал это в виде грамоты эпохи Флеминга, а какие там были прекрасные места, например: «Вон наконец и караван, что взорам нашим вновь открылся после столь горестных часов, что задержались мы в пути...»

Моим переводчицам пришлось попыхтеть над переводом Флеминга, но, должно быть, они верно донесли текст до слушательниц, потому что пани Хеня мрачно заметила:

— Охотно верю, что эти стихи тебе нравятся, раз ты незаслуженно провел здесь столько дней покаяния — сплошь горестных часов. А тем фашистам, что тебя экзаменовали, они понравились тоже?

— Фашистам? А! Им стихотворение понравилось. Правда, им было бы приятнее, если бы корабль, который третью неделю как оторвался, был не голштинским, а шлезвигским, я даже подумывал, не изменить ли заглавие для пробной работы, но такие вещи дозволяются только в исключительных случаях...

Этого уж пани Бася не стерпела. Так и сказала. Обладели все, что ли? Стихи и пробные работы! Неужели они мне спустят, что я насмехаюсь над польскими лозунгами? Она не ослышалась: Лютер, и День реформации, и тезисы на дверях? И этот фашист в самом деле сказал «окаянный День покаяния»?

— Сказал,— ответила ей Хеня, а фрейлейн Вальбурга позаботилась передать мне это по-немецки,— но ведь сказал-то кто? Несовершеннолетний мальчуган. Подумай только, этому невинному дитяти всего двадцать лет, и оттого, что здесь ему придется так горестно каяться, он и ищет для себя корабль или караван, который доставил бы его обратно к его нацистским учителям.

Пани Бася кивала в ответ на эти разоблачения, словно наконец поняла, почему меня держат в плену, вслед за чем разразилась:

— Я тебе покажу караван! Я тебе покажу корабль! Сказать, какой корабль подходит тебе больше всего? Скажи ему, скажи этому швабу: ему подходит галера, где его заставят без передышки грести. Грести до Дня покаяния шестьдесят шестого года, еще двадцать лет, тогда он будет вдвое старше, чем теперь, и, может, не так скор и не так дерзок на язык. Ничего не знает, кроме стихов, которые нравятся его учителям-нацистам, ничего не знает про Всех святых и ни о чем не сожалеет, кроме как о самом себе, и еще хочет справлять День реформации. Недавно высмеивал лозунг на польской стене, а сегодня высмеивает лозунг над дверью в польский подвал. Знаю я, что за этим кроется. Знаю, что его так смешит. Он не верит в будущее Польши. Но запомни, что я тебе скажу: я тебя суну в мешок и оттащу на галеры, и уж я послежу, чтобы тебя крепко приковали цепью к скамье и дали весло потяжелее, а не какое-нибудь Марково перо, и тогда гляди во все глаза, где твой персидский флот и где твое будущее, пес ты эдакий!

Я понял не всю речь, но увидел в глазах у Баси слезы, с ужасом подумал: доигрался, шут гороховый! А когда Хеня энергично указала большим пальцем вверх, без проволочек и колебаний не прощаясь поднялся по лестнице к своему конвою.

В камере я подумал: намного хуже на галере не будет, там и воздух свежий и можно повидать свет. Но двадцать лет — это слишком много. Так же как двух лет в этой камере было ровно на два года больше чем нужно. Если я кого-то оскорбил, я готов принести покаяние. Но два года тюрьмы за оскорбление? Не хочу больше здесь оставаться. Я уже тринадцать месяцев сижу в этих стенах, за это время успел стать совершеннолетним, а теперь хочу выйти отсюда взрослым человеком.

Хочу уйти подальше от всех этих типов, которые, поедая капусту, спорят о ветчине — какая лучше, пармская или падерборнская. Которые ссорятся из-за очереди в клозет, а о прусском рыцарском ордене твердят, что это было предвосхищение истинно немецкого начала как такового. Которые знают, где в Дронтейме водилась самая лучшая водка, но не имеют понятия, сколько зарабатывает складской рабочий в Шлезвиге. Которые столкнут с плота каждого, кто послабее, но временами затягивают хором «Анке из Тарау»⁵.

Не хочу больше попадать в одну камеру с такими людьми. Не хочу больше попадать ни в какую камеру. Не хочу больше попадать к таким типам. Не хочу больше быть над ними старшим и младшим среди них тоже.

С меня хватит. Я словно ракообразные, у меня имеются ломкие места, и я предпочту лишиться руки или ноги, нежели еще раз попасться в лапы чудовищу, каким была та камера.

Ущербное чудовище, если такое бывает, дракон-подагрик, у которого из пасти вырывалось не пламя, а вонь. Таким оно было, когда я оказался поблизости от него. Так было, когда все мы сидели в клетке.

Или еще точнее: таким оно мне показалось. Дракон не мог причинить мне вреда, лапы у него были связаны, когти обрезаны, а пасть в наморднике.

Он мог трепать мне нервы, но был не властен над моей жизнью. Раньше он был властен и над жизнью, над жизнью других людей.

Иногда это можно спутать. Я это говорю для того, чтобы люди не рисовали себе такую уж острую опасность, представляя меня в этой яме. Она была отвратительна, как тухлая пища, но лишена остроты, присущей топору.

Конечно, временами я думал: как можно попасть в яму, так можно ступить и на дверь люка. А чтобы ты не провалился слишком глубоко, тебя обвязывают веревкой за шею.

Но этого, как читатель уже догадался, со мною не сделали. Только заставили ждать. Я целых три недели и еще немного дольше был в отрыве от остатков моего флота. Передо мной разверзлась могила, так пусть уж буланый заботится о себе сам.

⁵ Стихотворение немецкого поэта Симона Даха (1605—1659), положенное на музыку его другом Генрихом Альбертом и ставшее народной песней.

Год еще можно было терпеть. И еще месяц сверх года. И еще неделю сверх того. Но три дня после второго вторника ноября были горестными днями.

Потому что на сей раз я не удержался и спросил, неужели в Польше опять праздник, а старший по камере не должен спрашивать своих подначальных, это вредит его репутации.

Мои подначальные принялись выдумывать для меня праздники, польские праздники. Я полагаю, что достаточно ясно изобразил этих людей, так что нетрудно представить себе, какие праздники изобретали они для Польши. Не было среди них ни одного, в котором я предложил бы участвовать порядочному человеку. Но на самом деле в календаре никакого праздника не значилось, когда я второй раз остался в камере без работы и без известий, хотя должен был в это время сортировать сименсовские коробки и выключатели. Это вызвало в моей душе смятение.

Пани Бася, пани Хеня, панна Геня, что мы будем делать друг без друга? Если меня сошлют на галеры, кого будете вы кормить и дразнить? Что станете делать, если...

Но эти вопросы вдруг утратили всякую важность. На какое-то время перестали быть важными. В одну прекрасную пятницу во второй половине дня все, что до того было важным, перестало таковым быть.

Важно было только, что надзиратель Бешейный крикнул:

— Лунденбройх и Нибур — к прокурору!

Для Лунденбройха это было важно, потому что он наконец-то мог сообщить компетентной инстанции, что следует считать законным, а что нет.

А для Нибура было важно, что надзиратель крикнул: Нибур!

He Pan Tyfus, или Starszy celi, или Blondy, или доктор метрдатель, или эксцентрик, или капитан, или солдат, или только Марек — нет, он крикнул: «Нибур!» Осень сменялась осенью, покамест наступил этот весенне-радостный миг, когда меня впервые назвали моим настоящим именем — Нибур.

И важнее этого ничего уже быть не могло.

XXIX

От большей части привычек, которые я приобрел на Раковецкой, я избавился, как избавился и от адреса. Я уже давно не чертыхаюсь, поворачиваясь во сне с левого бока на правый.

Другие вьелись в мою натуру, преобразовавшись в черты характера: немногие, правда, и не слишком приятные. Мне слишком хорошо известно, куда нужно нанести удар, если хочешь наверняка поразить. А мне слишком часто хочется наверняка поразить. И слишком многих. И слишком хорошо у меня получается, если я хочу отделаться от того или иного человека.

Я умею изымать себя из общества, когда ощущаю в том надобность. Я как-то нашел слово, оно мне очень полюбилось, оно точно определяет мое состояние, когда я выключаюсь из человеческих отношений; это слово — *incommunicado*. И слово и определяемое им состояние мне по душе. Склонность рассматривать самого себя насквозь тоже у меня осталась. Мое отношение к ней колеблется.

Вряд ли я человек доверчивый.

Я люблю женщин. Несмотря на крик, который они иной раз поднимают. Я их очень люблю. По весьма распространенным резонам, но прежде всего потому, что с ними я выпутываюсь из своих витков и складок. С ними я едва ли не ошеломительно *communicado*. Один из резонов: я ничуть не похож на них.

На тот сброд, с которым я распрощался в Варшаве, что в Польше, в третью пятницу месяца ноября в году тысяча девятьсот сорок шестом, я был слишком похож, как две капли воды похож; и это усугубляет антипатию.

Мы и не знали, что прощаемся, когда меня вызвали к прокурору. И не очень-то мне любопытно, что было бы, знай мы, что прощаемся.

Все было как обычно, и это уже стало у нас обычаем: прокурор кого-либо вызывал; человек отправлялся немедленно; а кто оставался, тот умолкал. Кто оставался, тот застывал на месте, стоял он или сидел в ту минуту, и больше рта не раскрывал, хотя только что безумолчно расписывал стародавние **новости**.

Вот так рождаются обычаи: прежде всего в неположенный час является тюремщик; выкрикивает фамилию, и это уже что-то необыкновенное; соседи уходят в незнаемое — вслед им молча глядят оставшиеся. Все всегда настороже, ибо внимательно следят за тем, что как-то выламывается из заведенного порядка, и немеют, если уж нельзя исчезнуть.

Следующий этап утверждения обычая: те, кто уходил, возвращались и рассказывали о прокуроре. Тот, мол, не скупится на обвинения. И когда он опять вызывает, каждый настораживается, не его ли фамилию выкрикнут, и, глядя на соседей, думает: да что им нужно от этих славных ребят?

И последний шаг, закрепляющий обычай: кое-кто из славных ребят не возвращается; прокуратура, что сыплет обвинениями, потребовала для них одиночек, а это что-нибудь да значит. Потому-то, когда являются прокуроровы посланцы, все умолкает, ведь может быть, что тот, кто уходит, уходит в свою последнюю одиночку. Известно, как подбаивает себя вести в подобных случаях.

Так ушли и мы с майором Лунденбройхом из камеры смрадной и в этот миг при- молкшей.

Посланец прокурора был еще молод, но куртка сидела на его тощей фигуре криво, провисала справа от долгой и постоянной нагрузки, а правый карман оттопыривался, хотя оружие он оставил при входе у ворот.

— Звать?— спросил он Лунденбройха, и тот назвал ему свою фамилию.

Посланец заглянул, проверяя, в какую-то бумагу и кивнул. Та же процедура была проделана со мной, только я громче выкрикнул свою фамилию и у посланца она была вписана в другой лист. Мы прошли через всю тюрьму по кратчайшему пути — через административный корпус, — что, видимо, было привилегией прокурорских гостей. В конце нашего пути, не доходя до двери, за которой некогда, в доисторические времена, было занесено в книгу мое прибытие, посланец скомандовал:

— Стой! К стене!

Я заметил, повернувшись лицом к стене, что Лунденбройх поглядывает на меня и во всем подражает мне. Колотилось ли его сердце так же громко и бурно, как у меня, не знаю, мы с ним по душам не беседовали.

Посланец приказал нам вывернуть карманы. В моем, кроме облезлой деревянной ложки, ничего не было.

Я обшарил глазами зеленую стену, пытаюсь найти запись «Ханя», и, найдя ее, счел сам не знаю почему признаком верности писавшего, что это имя все еще здесь оставалось. Не зная, что же будет со мной дальше, я вознамерился и себе найти девчонку, имя которой я тоже смог бы писать на подобных стенах.

Минута для того была не самая подходящая, но начало изысканий приостановилось само по себе: я не знал ни одной, ради которой я осмелился бы исписать стену или на которую я имел бы столь неоспоримые права; чтобы писать имя девчонки на стене тюрьмы, нужно, конечно же, обладать обширными полномочиями. Меня ни одна таковыми не наделила, я еще раз вспомнил всех девчонок, но слышал при этом каждый шаг за спиной, и каждый скрип дверей, и польские голоса тоже, из которых один показался мне знакомым.

Девчонки в Марне, подумал я, стараясь не сосредоточивать внимание на знакомом голосе, были бы в одном только смысле подходящими для записей в этом коридоре: у них были короткие имена. Какая-то особенно дурашливая часть моих мозгов предупреждала меня: эй, гляди, чтоб не налететь на Франциску, или Элизабет, или Вальбургу. Особенно же здравомыслящая часть моих мозгов говорила: а еще лучше тебе и близко не подходить к подобным стенам и подобным надписям. Здравомыслие, конечно, но начисто излишнее.

Майор Лунденбройх рядом со мной тяжело сопел. Ему, видимо, непривычно было видеть зеленую краску всего в тридцати сантиметрах от глаз, а может, он считал, что незаконно так ограничивать нашу перспективу.

И опять открылась какая-то дверь, и опять один из голосов показался мне знакомым.

Посланец прокурора крикнул:

— Идти сюда!

Лунденбройх, как и я, оторвался от стены, и мы плечом к плечу зашагали туда, откуда нас позвали.

Поручик, которому хорошо известны были мои биографии, благодаря которому я узнал историю Мордехая Анелевича и от которого усльпал о потоплении улицы Заменгофа, стоял рядом с посланцем. Он выглядел хорошо и, кажется, даже выпался. Посланец сказал:

— Идти!

И показал нам выход, где тюремщик уже отпирал решетку.

— А вам сюда! — сказал поручик мне.

Он посторонился у какой-то двери, и я прошел в нее, повинувшись его жесту. Майор Лунденбройх на какое-то мгновение заколебался, но его провожатый в провисшей куртке ни чуточки не колебался, а потому и майор продолжал следовать своим курсом. Я не тревожился за него; они ему точно скажут, куда ему идти и где ему стоять.

Я тревожился за себя, встречи с поручиком чаще всего бывали многословными и выматывали все силы.

Одно из тех помещений, какие обставляются весьма неприятельно: стол, два стула, да, все-таки два, вешалка. На столе лампа, которую допрашивающий может включить, если его заинтересует выражение лица допрашиваемого. На столе много места, никаких бумаг, стало быть, сегодня биографию не писать, а если уж поручика осенят какие-то важные мысли, придется ему их запомнить. А может, в коробке, словно кем-то забытой в углу, найдутся ручки и чернила.

Поручик сел и указал мне на второй стул.

— Машина еще не пришла, — сказал он, — вам это знакомо.

Я подумал: будем надеяться, что придет. Сегодня он в форме; не очень-то сыграешь тут в родичей.

Я увидел на его погонах новые звездочки; мне каждый раз нужно было заново высчитывать: одна звездочка — подпоручик, две звездочки — поручик, три — капитан.

— Теперь уже капитан?

— Теперь уже капитан, — сказал он и покосился на правое плечо. — Двигается быстро. Людей мало.

Только теперь мне пришло в голову, кто же из нас ставит вопросы, но он, казалось, и внимания на это не обратил. Нет, все-таки и он задал вопрос:

— Когда мы ходили на улицу Генся?

— Когда? Даты я не помню. Весной, у меня рука еще была в гипсе.

— Да, — подтвердил он, — у вас еще было такое толстое лицо. Послушайте, военнопленные не разрешается бить, но если вы встретите ваш камрад Эрих, хозяин транспортная контора, он еще так странно разговаривать на вашем языке, так ему можете сделать толстое лицо. Но, конечно же, мой совет не официальный.

Он и без лампы видел, что я ни черта не понял. Он вздохнул и ногой подтащил к себе коробку. Это потребовало времени, но капитан был честолобив. И терпелив. Кто знал это лучше меня? Он поставил коробку на стол и вынул из нее папку средней толщины. Искал он довольно долго, но кое-что все-таки нашел.

— Восемнадцатого апреля, — сказал капитан, — прошло ровно семь месяцев. Ничего особо важного этот человек о вас не знал, но вполне мог бы сказать. Стоит, глаза-стекляшки и не говорит: этот камрад я знаю, по фамилия Нибур. Нет, стоит и с вами несколько не знаком. Вполне могло быть, вы ему лгали, но как же он не сказал — документов не видел, но он всегда говорил: он Нибур и солдат совсем недавно. А вполне мог бы сказать и сэкономить вам семь месяцев Раковецкой. А он стоит, глаза-стекляшки.

Мало-помалу я понял, о чем говорит капитан. Мало-помалу я понял, что он обращается ко мне как к солдату Нибуру. Мало-помалу я понял, что он хоть и не посланец прокурора, а все-таки называет меня Нибур. Он никогда раньше не признавал моей фамилии, а вот теперь называет меня Нибур. Это же значит не иначе, как...

Ничего это не значит. Это значит только, что Нибур зовут человека, которого зовут Нибур.

Где записано, что он во всем остальном другой, если у него другая фамилия? О другой фамилии речи не было, речь была о Люблине, о mordersca. Где записано, что все уладилось? А что, если до сих пор у них был mordersca из Люблина без имени-фамилии, а теперь у них mordersca из Люблина по фамилии Нибур?

Нет, это не так, поручик, капит... да что там, поручик же сказал что-то о сэкономленных семи месяцах. Ну и что, разве он сказал: если бы я знал, вы и правда Нибур, то... разве он так сказал? Нет, он так не сказал. Он сказал: могло быть так. Нет, нет, он же сказал о сэкономленных семи месяцах!

Я спросил:

— Могу я задать вопрос?

— Конечно, можете задать вопрос,— отвечает он,— пока мы ждем машина, вы можете задать вопрос.

— Но он касается моего дела.

— Ну, это меня не удивляет. Так что же?

— Мы сейчас поедem в лагерь, чтобы Эрих сказал, что он меня знает?

— Во-первых: мы не едем. Вы едете. Во-вторых: Эрих уже сказал. В-третьих: ничего важного он не знает.

— Не понимаю. Когда же он сказал?

Поручик недовольно буркнул:

— У вас что, стовор с шофером министерства внутренних дел?

Я еще все-таки немного «дрожем дрожал», а потому ответил, что такого стовора у меня не было.

Вот теперь я, кажется, внушил ему расположение, и он сказал:

— Ну, это я проверить. А ведь это повторение, что мы беседовать, пока нет машина. В криминалистике повторение следует внимательно изучать. Вы хотите быть криминалист?

— Я же печатник.

— Это не аргумент. Но не надо вам быть и криминальный элемент. Не печатайте фальшивых денег. Вас сей же час ловить, на ваш лицо все заметно. Вылезаете из подвала, и все на лице заметно, печатать вы стомарковые бумажки или пятидесятимарковые. И даже когда толстое лицо, все равно заметно, проходите вы мимо незнакомого камада или знакомого камада Эриха. Вы даже говорить плечами. Не печатайте денег.

— Не буду,— обещал я.

После чего я едва не целую вечность словно отсутствовал.

Поручик углубился в чтение моих документов, точно впервые видел их. Он задержался дольше с какой-то бумагой, о которой я было решил, что это одна из моих многочисленных биографий. Я подумал: но и на его лице все заметно. Я заметил, что моя биография пришла ему не по вкусу.

— Я все обдумал,— сказал он наконец,— нет, не давайте этому камаду по морде. Во-первых: вас накажут. Еще опять пошлют назад на Раковецкую. Во-вторых: не было бы большой разницы оттого, что он знал. В-третьих: он боялся. Вы это понимает?

— Я это понимаю.

— Но... что вы не понимает?

— Да вот с Эрихом. Вы еще раз туда ходили?

— Вы хотели сказать: еще раз пошли пешком? Нет, не еще раз, а еще много раз куда-скуда ездил. Хотел сразу вам сказать, да нет времени. Очень много плохих людей, вы не поверите.

— Но тогда он сказал, что я Нибур?

— Он сказал, вы говорил, вы называетесь Нибур, но больше он ничего не знает. Он еще идиотское объяснение давал: вы все время разговаривать о старых кинокартинах.

— Верно.

— Я верю, что верно, но разве это не идиотизм?

— Мне так не казалось. Вы считаете, что если бы мы больше рассказывали друг другу о себе, так Эрих знал бы обо мне больше, и тогда вы скорее заметили бы, что я и раньше уже рассказывал свою биографию так, как позже писал ее для вас.

— Нет, я это не считаю.

Видимо, я ему надоел; так я уж лучше помолчу. Он вытащил карманные часы, и ему очень не понравилось то, что он увидел. В конце концов он, наверное, сказал себе, что утекающее время он может потратить и на меня.

— Сами подумайте, не идиотизм ли это: люди сидят в плену в чужой стране, которую они потопляли как по чрезвычайному сообщению, так и без чрезвычайного сообщения. Но потопляли. Теперь их взяли в плен, и они рассказывают друг другу старое кино. Не о том говорят, хорошо ли было, что страну потопляли, хорошую ли вели они жизнь... они говорят, хороший ли был фильм. Не обсуждают, как им теперь иначе жить, обсуждают Пат и Паташон и Ян Кепура. Я ценю Ян Кепура, он патриот, и я патриот, но это же идиотизм — говорить о Ян Кепура и не говорить о стране Ян Кепура, если тебя в ней взяли в плен. Не говорить, почему же у них теперь жизнь в плену. И что со своей жизнью теперь делать.

— Мы хотели отвлечься,— сказал я.

— Ясно,— продолжал он,— но лучше бы вы.. как будет противоположность к отвлечься? Привлечься?

— Нет, не думаю, чтобы так можно было сказать, но я понимаю, что вы хотите сказать.

— Это было бы прекрасно.

— Может быть, говорят — привлечь, привлечь внимание.

— Может быть, это ваш язык, но теперь это не так важно. Когда было время, вы говорили о Грете Гарбо, а не об этой стране или о своей стране. И даже о себе вы не говорили. Ну скажите, разве это не идиотизм?

— Похоже на то,— сказал я, но признанием своим остался недоволен и потому добавил: — А все-таки я хочу, чтобы вы знали — с тех пор я не только над старыми картинами размышляю, но и о себе, и о своей жизни, и о моих соотечественниках, а также о вашей стране и ваших соотечественниках.

Он сделал характерный для него жест, обрывающий чужую речь, и тон его словно влепил мне оплеуху:

— Мне уж наверняка не легко о чем-то просить немца, но я вас очень прошу, очень, очень прошу: в ближайшую сотню лет, сделайте милость, избавьте Польшу от вашего интереса.

Надо было бы ему сказать, что он сию минуту говорил совсем другое, но лучше было не говорить, и кто себе не враг, тот промолчит, сидя напротив человека, который чуть ли не зубами скрежещет, вспоминая обстоятельства, при которых проявился интерес немцев к его отечеству.

Но в конце концов поручик оторвался от своих мрачных мыслей, не без усилий, но он заставил себя избавиться от всплывших в памяти черных от дыма картин, он вернулся назад, к той точке, оттолкнувшись от которой мы уходили в мрачные лабиринты воспоминаний. Мы.. хоть и совсем немного, совсем чуть-чуть, но и я мог следовать за ним.

— Тем не менее,— сказал он,— прежде чем вы и ваши камрады отправились в кино, вы им еще сообщили — вас зовут Марк Нибур и вы попали в вермахт в Колобжеге.

Я едва сдержался, чтобы не выкрикнуть, что это не совсем так,— я вспомнил весьма напряженный разговор с одним из усталых поручиков, когда он меня убедил называть впредь Кольберг Колобжегом.

— Это записано в моей биографии,— сказал я.

И он ответил:

— Понятно, это записано в вашей биографии. Как вы думаете, кто знает ее лучше, вы? Но вот только в вашей биографии ничего не записано про биография города Колобжега. Там не записано, что Колобжег после Варшавы самый разрушенный город на территории нынешней Польши. Ваши камрады абсолютно не желали отдавать Колобжег, а мои камрады абсолютно желали им овладеть. Может, ваши камрады и мои камрады знали — в этом городе лежат чрезвычайно важные документы знаменитого кинознатока Нибура. Потому они так бились, может быть. Но наверняка другое — город

Кольберг сгорел и потоплен со всеми его казармами и документами, на его месте осталась кучка камней, разбитых камней, которую называют Колобжег.

— Можно мне задать вопрос?

— Теперь это уже все равно.

— Если бы машина не опоздала, я бы ничего не знал, вы ничего бы мне не рассказали, что вы спрашивали Эриха и что в Кол... что в Колобжеге нет моих документов? Что там и найти-то ничего невозможно?

Он очень резко спросил:

— Вы что, хотите отчет получить или что вы хотите? Может, вы хотите оправдания? Так говорят?

— Да, так говорят.

— Так, значит, вы хотите оправдания?

— Я только хотел бы знать, что будет со мной.

— Только? Всего только? А больше вы не хотите? Целая кипа бумаг говорит, что с вами. И они не сами собой написались. И не добрая фея их наколдовала. Ах, добрая фея, скажи нам, что же такое этот немец? Кому нам верить — польской женщине, когда она кричит и рыдает — этот немецкий солдат убил ее дочь, или верить немецкому солдату, когда он говорит, что это не он? Он говорит, что не был в Люблин. Вы не получите оправдания, но пока нет машина, вы получите ответ. Вы можете задавать вопросы, но при этом помните: несколько миллионов дочерей, несколько миллионов убийц. Задавайте вопросы, но помните: сколько вероятность при таких обстоятельствах, что та женщина права?

— В этом-то вся трудность.

— В чем трудность?

— В том, что я, говоря вообще, должен признать: да, вероятность велика. Но что я, если говорить обо мне, должен сказать: нет, нет и намек на вероятность. Это женщина целиком и полностью не права. Говоря обо мне. Это был не я.

— Вы так и полагаете: вы могли бы быть убийцей, потому что вы были немецким солдатом, но вы не можете им быть, потому что вы Марк Нибур?

— Да, я давно уже понял: это вполне могло бы быть. И еще я понял, что каждый поляк, которому мы причинили зло, может думать, может обо мне думать, что это был я.

Он подвинулся и так посмотрел на меня, что мне показалось — он хочет меня прикончить, но он сказал только:

— Это вы поняли?

— Да, понял.

Он смотрел на меня как на какой-то громоздкий предмет, который нужно ухватить, да не знаешь как, но тут вошел надзиратель и сказал, что пришла машина.

— Пусть подождет, — сказал мой допросчик, а мне он сказал:

— Вы суеверный?

— Не очень.

— Вам неинтересно, тринадцать — число счастливое или несчастливое?

— Нет, неинтересно.

— А разве вы бы не сказали, что тринадцать — счастливое число, если вы тринадцать месяцев сидели в Раковецкой?

— Да кто мне поверит? — сказал я и услышал, что этого и он не знает, но слышал я его как-то глухо, его голос заглушался криком и воплями, гремевшими где-то во мне, подсказывая, что сейчас, сейчас меня отпустят на все четыре стороны.

Об этой минуте я уже не раз мучительно мечтал и, мечтая, едва не лишился жизни; а потому шепнул, успокаивая рев: да умолкните же! Если это должно сбыться, так сбудется.

Но я заметил, что мой шепот обрел молящие нотки, а из сказанных слов половина тут же потерялась, и вот что осталось: это должно сбыться! Это должно сбыться!

Молящих ноток не смеет себе позволить человек, если он хочет выстоять. Нужно срочно вмешаться. Нужно срочно навести порядок. Нужно срочно подумать о чем-то другом. Вспомнить, что было до того, как прозвучали эти губительные нотки. Не торопясь, спокойно вспомнить — что было сказано до того, как дошло до этих изнуряющих

поток? А сказано было: это должно сбыться; половина сказанного ранее — если это должно сбыться, так сбудется. Только половина. Вторую половину точно обрубали.

Да, обрубали. Словно приказали: руби! А «руби» — это же из имени Марк Нибур. Имя Марк Нибур состоит из девяти букв. Девять — счастливое число. Отнимем от него пять букв (а пять — простое число) — м, а, р, к, н. Останутся четыре буквы. Останутся буквы: и, б, у, р. Из них, если прочесть их наоборот, складывается одно только слово — «руби». Девять минус пять равняется «руби». Марк Нибур — руби! Как будет неопределенная форма от «руби»?

Поручик позаботился, чтобы я окончательно не свихнулся.

— Несколько вопросов. Первый: правда ли, что польские уголовники устроили вам опрос, когда вы у них были гость? Вы помните такое дело? — Он глянул в папку и добавил: — Имело место год назад.

— Его мне в жизни не забыть,— сказал я.

— Кое-кто тоже не забыть,— продолжал поручик.— Один псих вышел из тюрьмы и написал в инстанции, конечно же, попадает не по адресу, так что письмо лежит чуть-чуть и чуть-чуть путешествует. Но написал. Во время одного допроса, свидетелем которого он был, выяснилось, что случай с тем немцем скорее всего ошибка. Вы не понимаете всего комизма ситуации, но человек этот зовут Херцог.

— Нет,— сказал я,— комизм ситуации я понимаю.

— Так почему вы не смеетесь?

Этого я сам не знал, но ощутил, что вот-вот поднимутся где-то во мне крики и вопли, к счастью, поручик уже задал следующий вопрос:

— Известно ли вам, что в городе Марне вас считают, ну, как это называется... ага, фантазером? Чутьочку фантазером. Эту справку я получил, но справку, что вы поэт, я не получил.

Я, правда, разозлился, что Марне обо мне так говорит, но сейчас самое главное заключалось в другом — в том, что Марне говорил с моим поручиком. Значит, Марне ему сказал. Значит, поручик знает. Значит... А ну прекратите вопить и орать!

— Но этого я не понимаю.

— Чего вы не понимаете?

— В Марне я словечком не обмолвился, что я поэт.

— А это так важно?

— Просто я этого не понимаю.

— Но концовку этой истории вы понимаете?

— Я едва понимаю начало.

— Плохо... Жаль, но вот уже машина... Придется вам самому искать начало вашей истории. А что касается поэта, так об этом написано не в справке из Марне.

Он подтянул к себе папку и полистал бумаги.

— Нет, инстанции поэтом вас не считают, однако порядочно же инстанций: польское министерство внутренних дел — польскому министерству юстиции, это министерство — польскому прокурору в Нюрнберге, американские оккупационные власти, британские оккупационные власти, немецкие инстанции в Марне, пишут туда, пишут сюда, но нигде такого слова, как «поэт». Такое слово имеется лишь в заявлении польских граждан. Они считают, что должны подать заявление, они убеждены, что вы не были летом сорок четвертого года в Польше. А зачем мне убеждение польских дам, если мне помогает такое множество инстанций? Убежден я и сам, но в такой истории нужны документы.

Он закрыл папку и небрежно, будто не сам сию минуту подчеркивал ее важность, опустил в коробку. Поднявшись, он направился к двери. Там он еще раз остановился и спросил:

— Можете себе представлять, что было бы, если бы немка кричала — польский солдат убил ее дочь?

Тут мне пришел на помощь некий газовщик, и я себе кое-что представил. А потому сказал:

— Да, но все еще зависело и от того, на кого нарвешься. Иные все же знали, что законно.

— Вы так думаете?

— Наверняка. Наверняка была разница, нарвешься ли ты на гауптштурмфюрера или на такого офицера, как майор Лунденбройх. Это я для примера только.

Поручик все это время отнюдь не был любезным, но под конец он все-таки стал разговаривать со мной, не делая над собой усилий. А тут вдруг опять весь напряжился и сказал холодно, резко, как я и привык:

— Прекрасный пример... Этот майор Лунденбройх как раз на днях излагал в прокуратура связь между право, правовые взгляды и своя деятельность в Радогощ. Он рассказывал вам об эта деятельность, или вы отвлекались старый кинокартина?

— Нет,— сказал я, и мне показалось, что я все-таки поплачусь за свою болтливость.

— Что нет?

— Мы не очень-то разговаривали, а о своей деятельности в Радогоще он ничего не рассказывал.

— Еще бы. Хотите узнать о ней?

— Ваш тон не предвещает ничего хорошего.

— А можно что-нибудь сказать о вас хорошее? Господин майор Лунденбройх чутьочку помогать эсэсовцам со свое подразделение вермахта при поджоге Радогоща. Можно понять, они торопились. Две тысячи пятьсот заключенных не должны остаться в живых, когда придут польские и советские солдаты, вот майор Лунденбройх и помогает. Можете себе представлять, как бы это выглядело здесь, в Раковецкая, здесь все в огне, а за воротами стоит майор Лунденбройх с пулеметом?

— Лучше не надо,— сказал я и почувствовал дурноту. И хотя я уже догадывался, я спросил:— А где это было?

— Радогощ? Это тюрьма в Лодзи, известной вам под именем Лицманштадт.

— Я ее знаю,— сказал я.

— Ну вот вам и начало,— сказал он и открыл дверь.

Это было начало. Еще одно. Одно из многих. И это был конец, конец моих отношений с усталым поручиком.

Если при этом иметь в виду словесный или письменный обмен мнениями. Но если учесть воздействия, влияния, подтверждения доказательств или коррективы, так я по временам опять очень даже comunicado с поручиком.

Но он тоже будет меня помнить, считаю я. Я был тот человек, которого он не передал прокурору. Быть может, единственный. А это уже событие в его жизни, как событием бывает для человека, когда приходится писать биографию, чтобы получить место, которого ты вовсе не домогаешься.

Он не попросился, и это соответствовало характеру отношений, какие сложились между нами. Он не здоровался со мной. Он не говорил «до свидания», это звучало бы цинично. Я полагаю, все обстояло куда проще. Он беседовал со мной, потому что я слыл особенным немцем. Но уйти от него я мог потому, что был обыкновенным немцем. А с таковыми он не беседовал.

В годы, что мне еще суждено было прожить в Варшаве, я встречал людей, походивших в этом смысле на поручика.

Вот все, что я хотел сказать о поручике, обо мне и других людях. Не знаю, о чем бы я мог еще рассказать. Да и зачем, ведь продолжение уже давным-давно известно.

А что нужно было еще сказать мне в Раковецкой, сказал дежурный с жнигой записей. Ему все было обо мне известно, а что ему было не известно, он прочел в ордере, который оставил ему посланец прокурора, чтобы я мог покинуть тюрьму. В ордере стоял и номер, под которым я значился в списках. Я увидел, что тем временем они растянулись еще на парочку-другую страниц.

Дежурный был таким, какими бывают иной раз чиновники. Он напустил на себя важность. Он сравнивал ордер со страницей в книге, словно надеялся обнаружить расхождение.

Я спокойно ждал. Я стоял очень спокойно, не проронив ни звука. Даже дыхания моего слышно не было, ведь я и не дышал. И ударов моего сердца слышно не было; я сдержал его.

Странно, но, несмотря на это, я все слышал. Мое имя — истинное, дату моего рождения — истинную. Место моего рождения — истинное. Профессию и адрес — все

истинное. И дату моего поступления в тюрьму — тоже истинную. А уж вот дата выхода поистине доставила мне радость.

Затем человек этот сказал слова, одно из которых звучало как «адрес», после чего погрузился в оглушительное молчание.

В книге регистраций была одна пустая графа, а в ордере была какая-то пометка, которая вызвала у дежурного недоумение.

Значит, все-таки что-то неясно? Но что, ради всего святого, может быть неясно у Марка Нибура из Марне?

Однако дежурному что-то показалось настолько неясным, что он раза два-три с сомнением покачал головой.

Я же, увидев это, едва не ослеп.

По прошествии некоторого времени, примерно тринадцать месяцев, дежурный преодолел свои сомнения и стал заносить в книгу предписание ордера.

Ему, как оказалось, следовало внести в регистрационную книгу мой будущий адрес, и адрес этот его так удивил, что он даже вслух повторял то, что выводило наконец его перо.

Тут я вновь бурно задышал, и вновь бешено заколотилось мое сердце. И я вновь прозрел, и услышал, и увидел, что он вписывает в книгу, кроме всего прочего: «Улица Генся». Теперь я знал место моего назначения. Теперь я знал, почему дежурный пришел в такое замешательство: он, видимо, считал, что там больше никто не живет.

Перевели с немецкого И. КАРИНЦЕВА и С. ШЛАПОВЕРСКАЯ.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

В. И. ЧУЙКОВ,
гважды Герой Советского Союза,
Маршал Советского Союза



МИССИЯ В КИТАЕ*

Записки военного советника

ВСТРЕЧИ В ЧУНЦИНЕ

О некоторых изменениях в настроениях Чан Кайши после событий в южном Аньхое первыми нам дали знать английские и американские дипломаты в Чунцине. Дело в том, что к этому времени (начало 1941 года) появились первые признаки перемен в их подходе к проблемам японо-китайской войны. Японцы к тому времени захватили не только Северный Китай, но довольно основательно вторглись в его восточную часть.

В этот период политика «дальневосточного Мюнхена» еще продолжалась. Англия и США еще не отказывались от возможности подтолкнуть Японию к выступлению против Советского Союза и ради этого продолжали идти на уступки японским агрессорам. Но война в Китае затягивалась. Япония осуществила огромные захваты китайской территории, не обнаруживая пока реальных намерений двинуться на север, против Советского Союза. Наоборот, укрепив свои позиции в Китае и воспользовавшись поражением Франции в Европе, Япония простерла свои руки к французскому Индокитаю. Ее продвижение в Индокитай, создание там экономической и военной базы для возможного движения дальше на юг не могло не встревожить США. В случае поражения Англии в Европе Япония малыми силами могла бы прибрать к рукам и ее дальневосточные владения. А от Индокитая рукой подать до американских морских коммуникаций и баз в районе Тихого океана.

Полное поражение Китая означало бы угрожающее (в том числе и для Соединенных Штатов) усиление позиций Японии. Ведь в тот момент никто еще не мог точно предсказать, куда после Китая устремятся японские милитаристы: в Сибирь, на Филиппины, в Малайю или Индонезию? В США знали, что с середины 30-х годов Япония взяла курс на увеличение военно-морского флота, как надводного, так и подводного. Выпуская джина из бутылки, в Америке надеялись, что он будет послушным, а джин, выпрямившись в полный рост, грозил замахнуться на своих покровителей. На Дальнем Востоке вполне могла повториться европейская история с Гитлером...

Эти мысли, правда не сразу, постепенно, все же стали овладевать умами западных политиков и дипломатов. Продолжая политику «дальневосточного Мюнхена», западные державы начали в то же время медленно, осторожно менять свой подход к Китаю. Появились первые, правда пока еще очень робкие, признаки их заинтересованности в консолидации усилий Китая для оказания отпора японцам. Проявилось это и в подходе к проблеме взаимоотношения гоминьдана и КПК.

Уже и по докладам моего заместителя Н. В. Рощина, который часто встречался с английскими и американскими дипломатами и офицерами военной миссии, я знал,

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

что ни те, ни другие не одобряют враждебных действий Чан Кайши против коммунистических войск.

Здесь все следовало читать между строк, каждое слово, каждый жест имели свой подтекст. И ранее ни английские, ни американские дипломаты не признались бы, что им очень хотелось примирения Китая и Японии, с тем чтобы Япония напала на Советский Союз, в надежде, что после замирения с Японией Чан Кайши сумеет расправиться с коммунистами. И ранее наши западные коллеги осуждающе покачивали головами, как бы сокрушаясь, что в Китае тратятся силы на гражданскую войну, а не на отражение агрессора. Однако на этот раз, как отмечал Рошин, недовольство действиями Чан Кайши было серьезным.

В Чунцин я прибыл в звании генерал-лейтенанта. По протоколу первым нанес мне визит исполняющий обязанности военного атташе США полковник Баррет. Я знал по опыту прошлой работы, что это старый опытный разведчик, специалист по Дальнему Востоку, в Китае провел более десяти лет, превосходно владеет китайским языком, завязал очень обширные связи в среде китайских промышленников и военных. Всегда осведомлен о том, что происходит в чунцинских правительственных кругах, чем живет биржа, чем дышит черный рынок в Китае.

Мне предоставлялся случай попросить моего западного коллегу поделиться опытом работы в Китае. Под этим предлогом я мог ставить любые вопросы. Рассчитывать на полную откровенность было бы наивно, но при случае даже из заведомой дезинформации всегда можно извлечь пользу, хотя бы установить, что скрывает твой партнер. Ожидал я и с его стороны острых вопросов, ибо в этот период отношения с США и Англией у нас были сложными. Наша страна находилась в договорных отношениях с Германией, а она — в состоянии войны с Англией, США же демонстрировали всему миру, что их симпатии на стороне англичан.

То, что полковник Баррет вскоре после моего приезда сразу же нанес мне визит, подсказывало, что американцы чем-то озабочены и хотят прощупать наше мнение по каким-то вопросам. Отмечу из опыта общения с дипломатами, что всегда легче иметь дело с разведчиками, чем с дипломатами чистой воды. Разведчик не мелочен, он легко ломает условности в беседе и, желая что-то получить от собеседника, сам вынужден делиться своими сведениями.

Первая же встреча с Барретом превзошла мои ожидания. Американец не хитрил, подкупала его манера свободно вести диалог, он ничуть не чувствовал себя скованным и не боялся высказывать свою точку зрения по любому вопросу. Прежде всего я, конечно, поинтересовался, как он смотрит на обострившиеся отношения Чан Кайши с коммунистами, как он расценивает «инцидент с Новой 4-й армией». Баррет имел возможность притвориться неинформированным и уйти от ответа. Он сразу же с большим одобрением отзывался о нашей военной помощи Китаю, отметил важность пребывания в Китае советских военных советников и сказал, что разногласия между гоминьданом и КПК лично его очень тревожат.

— Ранее мы не очень-то волновались по поводу разногласий между различными группировками в Китае, — заявил Баррет. — Китай и междуусобица в понимании европейского человека неразделимы. Об этом говорит многовековая история.

Я не перебивал полковника Баррета, хотя и мог заметить, что европейским колонизаторам междуусобица в Китае всегда на руку и никто не мог бы зафиксировать их действий по ликвидации междуусобицы, зато можно привести много примеров, когда они ее разжигали. Но меня интересовало отношение американской стороны к сегодняшней междуусобице.

— Сейчас, — продолжал Баррет, — мы ощущаем неудобства от этих традиционных междуусобиц... Мы высказали свое отрицательное отношение по поводу действий гоминьдановского правительства в инциденте с Новой 4-й армией. Это мешает отражению японского наступления.

Он все же был осторожен в выражениях, этот полковник. Ни разу он не назвал Чан Кайши виновником разжигания конфликта, нигде не обозначил Японию как агрессора. Но дело, конечно, не в словах, а в сущности тех взглядов, которые он излагал.

— Мы искренне заинтересованы в том, чтобы китайцы по-настоящему сражались с японцами. Мы не должны забывать о том, что Япония связана обязательствами

военного характера с Германией и Италией¹. Если японцам станет горячо в Китае, они умерят свои экспансионистские устремления и на юг и на север...

На север! Это я отметил про себя. Мой партнер не очень-то и скрывал своих надежд, что Япония не обострит отношений с Америкой. Он вообще не касался этой последней темы, хотя к тому времени обострение японо-американских противоречий наметилось довольно четко.

Напомню читателям, что наш разговор с исполняющим обязанности военного атташе США в Китае происходил в конце января 1941 года. Полковник Баррет не преминул поинтересоваться моим личным мнением, как складываются отношения СССР с Германией.

— Не опасается ли Советское правительство,— поставил он довольно остро вопрос,— что Германия весной или летом устремится на восток?

— Не покончив прежде с Англией на западе? — задал я контрвопрос, но вместе с тем и уходя от прямого ответа.

— Прыжок через Ла-Манш был возможен прошлым летом,— ответил он мне.— Английское командование и наши военные специалисты считают, что весной сорок первого года такой прыжок просто нереален. Возросла мощь английского воздушного флота. Англия укрепила свои берега и подготовила сухопутные войска для отражения удара. Нарастает с каждым днем наша военная помощь Англии... Наши поставки вооружения существенно меняют соотношение сил... Мы даже в настоящее время не имеем возможности помочь вооружением Китаю...

— Да, но США не вступили в войну, чтобы помочь Англии была бы более эффективной...

— Так же как и Советский Союз,— отпарировал он.— Если вы меня спросите как частное лицо,— продолжал он,— то я вам скажу, что отсрочка военных действий очень благоприятна для вашей стороны, так же как и для моей, хотя вам было бы выгоднее, чтобы США объявили войну Германии, так же как и нашей стороне было бы выгодно, чтобы Советский Союз вступил в войну с Германией. Однако добавлю: я лично считаю, что война приобретает такой характер, что ни США, ни Советский Союз не смогут уклониться от прямого участия в ней... Это вопрос времени. Отношения между Германией и США значительно ухудшились из-за того, что мы оказали действительную помощь Великобритании. Всякое нарушение международного равновесия в Европе не может не отразиться и в других уголках земного шара...

В ответ на эту доверительную декларацию я четко заявил, что советская политика есть политика мира, но что всякое нападение на СССР будет отражено самым энергичным образом.

— По нашим данным, которые доходят до меня и в Чунцин,— продолжал Баррет,— Германия начинает передвижение войск из Франции и из своих западных областей на восток... Не думаю, что это связано лишь с ее интересами на Балканах...

Эти слова звучали уже как предупреждение. Я мог их оценить по-разному. Он и сам не скрывал, что в США определенные круги хотели бы втянуть Советский Союз в войну. Это его заявление могло быть и расчетом, что я передам его высказывание в Москву, этим он как бы подталкивал нас на неосторожные шаги в отношениях с Германией. Но я склонен был оценивать его откровенность более реалистично. Я и сам считал, что тучи на западных границах сгущаются. Это еще не было прямым предупреждением, но полагаю, что наша военная разведка к тому времени располагала достаточными данными о передислокации немецких войск на восток. Такие перемещения невозможно сохранить в тайне.

А. С. Панюшкин, когда я его проинформировал о своей первой беседе с Барретом, отметил, что полковник был со мной откровенен, что он значительно переменял тон бесед, которые ранее вел с моими предшественниками, что это один из признаков того, что США обеспокоены военными планами Японии.

По случаю двадцать третьей годовщины Красной Армии советская военная миссия устроила специальный прием в советском посольстве. Все послы и военные представители, аккредитованные при чунцинском правительстве, сочли необходимым от

¹ В сентябре 1940 года Германия, Италия и Япония подписали тройственный пакт

кликнуться на наше приглашение. Событием днл можно было считать приезд в посольство Чан Кайши. Он впервые посетил советское посольство в день праздника Красной Армии, что особенно старались подчеркнуть все должностные лица чунцинского правительства, присутствовавшие на приеме. Это тоже было признаком некоторого изменения настроений в правящей верхушке. Мы с А. С. Панюшкиным поняли, что англичане и американцы все более активно воздействуют на Чан Кайши, чтобы он активизировал военные действия против Японии и воздержался на время от обострения внутренней борьбы с компартией.

В свою очередь, мы очень внимательно следили за всеми политическими маневрами Чан Кайши, ибо он делал все возможное, чтобы столкнуть нас с Японией и вовлечь в открытую войну. В этом Чан Кайши видел одну из своих главных задач, упорно добиваясь ее реализации.

Мне некоторое время пришлось наблюдать за деятельностью его супруги Сун Мэйлин. Она претендовала на роль влиятельной политической деятельницы (невольно на ум приходит сравнение с женой Мао Цзэдуна Цзян Цин). Сун Мэйлин охотно снабжала советскую военную миссию информацией о состоянии дел в Китае, о положении на фронте, о планах японского командования. В ее данных содержалось больше дезинформации, чем информации, а в словах — больше провокационных намеков, чем искренней дружбы к Советскому Союзу. Она не раз ставила вопрос о том, что большой помощью Китаю явилось бы объявление Советским Союзом войны Японии. Ее неофициальное положение давало ей возможность более свободно ставить такого рода вопросы.

Не ограничиваясь такими заявлениями, Сун Мэйлин иной раз переходила к решительным действиям, намереваясь спровоцировать наше столкновение с Японией. Так, весной и особенно летом 1941 года, уже после нападения фашистской Германии на СССР, она и связанные с ней журналисты поместили несколько сообщений в китайских газетах о военной помощи Советского Союза Китаю. Газетные выступления содержали слова благодарности за вооружение, которое Китай получал из СССР. В этих статьях были даже упреки в адрес англичан и американцев, что они, дескать, имея не меньшие возможности, чем Советский Союз, не поставляют в Китай военное снаряжение. Эти выступления вызвали у меня тревогу. Я не думаю, что японское командование, имея разветвленную шпионскую сеть в Китае, не было осведомлено подробнейшим образом о нашей помощи. Но одно дело неофициальные сведения, другое — открытые заявления в китайской печати, да и не от кого-нибудь, а от имени самой мадам Чан Кайши. За этим стояло желание вызвать раздражение японцев, показать, что Советский Союз им опаснее, чем США и Англия. Тут уже чувствовалась рука моего коллеги полковника Баррета. Как мог и как умел, он отводил удар Японии от своей страны.

Иные деятели чунцинского правительства не очень-то скрывали свои помыслы. Так, заместитель премьер-министра и министр финансов чунцинского правительства Кун Сянси² однажды в беседе со мной распоясался и, объясняясь в любви к Советскому Союзу, начал меня уверять, что в интересах СССР начать войну с Японией. В продолжительной беседе мне пришлось напомнить ему 1929 год, историю конфликта на КВЖД как красноречивое свидетельство «любви» китайского правительства к Советскому Союзу. Кун Сянси поморщился, но ответить ему было нечем. Еще более вызывающе повел себя однажды в беседе со мной министр торговли. По договору с Советским Союзом Китай должен был поставлять в нашу страну шерсть, необходимую для выделки сукна для шинелей. Наш торгпред просил меня напомнить министру о китайских обязательствах, ибо поставки шерсти вдруг прекратились. Встреча состоялась в присутствии работников министерства. Министр осмелился мне заявить:

— Помогите разбить японцев, тогда китайские товары будут беспрепятственно поставаться в Советский Союз.. Вы хотите разбить Японию китайскими руками...

— Был бы я командующим китайскими войсками,— ответил я ему,— я в первую

² Кун Сянси (1881—1967) — реакционный китайский политический деятель, один из лидеров гоминьдава.

очередь отправил бы вас на фронт как самого большого патриота Китая! Армия теяет такого храброго солдата!

Шутку приняли, раздался смех. Работники министерства смеялись над собственным министром. Я не сомневался, что в его лице нажил личного врага...

А. С. Панюшкин неоднократно говорил мне, что Чан Кайши всегда стремился столкнуть Японию с Советским Союзом. Особенно он активизировался весной 1941 года. Это вполне отвечало интересам тех империалистических кругов, которые проводили политику «дальневосточного Мюнхена». Однако в начале марта надежды Чан Кайши и его западных покровителей вызвать обострение советско-японских отношений были серьезно поколеблены. Сообщение о переговорах в Москве весной 1941 года руководителей Советского Союза с японским министром иностранных дел Мацуокой поразило чунцинских правителей как гром. Китайские чиновники особо отметили, что провожать Мацуоку на вокзал приехал сам И. В. Сталин, который тут же на вокзале любезно вел беседу как с министром иностранных дел Японии, так и с германским послом. Только близорукий мог истолковать приезд Сталина на вокзал как обычную вежливосгь, принятую в дипломатическом протоколе. Чья же менялась позиция? Советского Союза? Отнюдь нет! Проводя миролюбивую внешнюю политику, Советский Союз не собирался воевать ни против Японии, ни против Германии. Напротив, японские милитаристы вынашивали планы нападения на советский Дальний Восток и Сибирь. Переговоры в Москве означали, что Япония меняет курс своих устремлений, что ей нужна уверенность в спокойствии на границах с Советским Союзом.

Вопрос о миссии Мацуоки интересовал, конечно, не только чунцинских политиков, но и представителей Великобритании и США, которые буквально осаждали нас просьбами встретиться. Напросился на встречу со мной и полковник Баррет. Я не видел причин уклоняться от беседы с ним, будучи уверен, что бестактного вопроса он мне не задаст, а если и задаст, то я сумею поставить его на место. Предполагал, что и Москву могла интересовать реакция на советско-японские переговоры такого американского разведчика, как Баррет.

Я не ошибся. С Барретом можно было иметь дело. Ни разу во время встречи он даже не упомянул имени Мацуоки. Разговор повел квалифицированно, не ставя меня в затруднительное положение будто бы сторонними вопросами. Был откровенен, когда я ему задавал вопросы. Хотя полковник и умел владеть собой, но я заметил, что он крайне встревожен. Баррет спросил:

— Правильно ли доносят нам американские миссионеры, что в Ланьчжоу поступает тяжелая артиллерия советского производства?

Вопрос деликатный и тонкий. В Москве, как он мог предполагать, достигнуты важные соглашения с Японией, а мы продолжаем военную помощь Китаю. Однако скрыть эту помощь от американцев не представлялось возможным. Они могли узнать об этом не только через миссионеров. Сам Чан Кайши не стал бы скрывать от них поступлений советского оружия. Но я не спешил с ответом, задал контрвопрос:

— Правильно ли, что США готовят к посылке в Китай свои самолеты «П-40»? Эти данные я получил из китайских источников.

Баррет ответил, что такая посылка вполне возможна в самое ближайшее время. Тогда я подтвердил, что в Ланьчжоу прибыло 150 орудий калибра 75 миллиметров. Баррет был удовлетворен, он понял, что визит Мацуоки в Москву не изменил нашего отношения к японской агрессии. Со своей стороны он подтвердил стремление правительства США всячески содействовать победе Китая вплоть до изгнания японцев из страны, а также намекнул, что с их стороны будет оказано воздействие на Чан Кайши, чтобы тот не провоцировал столкновений с коммунистическими войсками.

С большей подозрительностью к визиту Мацуоки в Москву отнеслись английские военные представители. Я все время чувствовал при встречах с ними холодок. Их очень тревожила позиция Японии. Много лет спустя я нашел объяснение поведения английских дипломатов в мемуарах У. Черчилля.

2 апреля 1941 года У. Черчилль направил министру иностранных дел Японии письмо. В нем он ясно давал понять, чем было бы чревато для Японии вступление в войну против Англии и США. Черчилль писал:

«Правда ли, что в течение 1941 года выплавка стали в США достигает 75 миллионов тонн, а в Великобритании около 12,5, что составит в общей сложности почти 90 миллионов тонн? Если Германия потерпит поражение, как в прошлый раз, то не мало ли будет для самостоятельной войны 7 миллионов тонн стали, выплавляемых в Японии?»

Может быть, благодаря ответам на эти вопросы Япония избегнет серьезной катастрофы и будет достигнуто заметное улучшение в отношениях между Японией и двумя великими морскими державами? Если Соединенные Штаты вступят в войну на стороне Великобритании, а Япония присоединится к державам оси, то не сумеют ли две говорящие на английском языке нации использовать свое превосходство на море, чтобы расправиться с державами оси в Европе, прежде чем бросить свои объединенные силы против Японии?»³.

Думаю, как дальновидный политик, У. Черчилль уже тогда видел вероятность агрессии Японии против английских и французских колониальных владений, а также возможность нападения Японии на США. Отсюда и замкнутость английских дипломатов, отсюда и их нервозность, ибо война, продвинувшись в бассейн Тихого океана, затронула бы и колонии Англии в этом районе.

Как раз весной 1941 года мне довелось встречаться и с французским военным атташе полковником Ивоном. Его положение было не из завидных. Со второй половины 1940 года китайцы не особенно считались с представителями Франции в Чунцине. Ивон представлял в Китае правительство «Виши», но всем сердцем ненавидел французских капитулянтов, считая их предателями. Искренний патриот Франции, он скрывал свои патриотические чувства, чтобы не потерять своего поста, на котором хотел принести пользу родине.

Наши доверительные отношения с ним завязались не сразу, помог случай. В то время я уже занимал пост главного военного советника Чан Кайши. В один из налетов на Чунцин японская авиация разбила здание резиденции главного военного советника. Китайское правительство поспешило предложить мне дом, в котором ранее размещалось французское посольство. Мы посоветовались с А. С. Панюшкиным и пришли к выводу, что китайские чиновники задумали мелкую провокацию, чтобы поссорить нас с французами. Мы решили туда не переселяться. Об этом я сообщил полковнику Ивону. Он оценил нашу позицию. Со временем Ивон стал со мной откровенен. Он не скрывал своего отношения к правительству «Виши», старался поделиться всякого рода информацией, которая попадала ему в руки через англичан и американцев, главным образом об Индокитае. Он много рассказывал мне о боях во Франции, о немецкой технике, о взаимодействии танковых соединений с авиацией. Его анализ был грамотным, но запоздавшим, французской армии к тому времени уже не существовало. Во Франции росло Движение Сопротивления.

Некоторые его сообщения уже весной 1941 года заставили меня задуматься над обстановкой на юге, в частности в Индокитае. Ивон рассказал мне о том, что происходит во французском Индокитае, куда проникли японские войска. Японцы оккупировали огромные провинции в бывшей французской колонии, выселяли жителей из отдельных районов, сооружали военные базы, аэродромы, перебрасывали туда значительное вооружение. Для ведения военных действий в Китае, тем более для подготовки удара против Советского Союза, им это было не нужно. По своим каналам Ивон получал информацию из Индокитая о создании там баз для действия японского флота в Южных морях. По-видимому, у французов, в частности у полковника Ивона, оставалась широкая сеть осведомителей как в Китае, так и в Индокитае.

— Сейчас,— говорил он,— японцы выжидают, в каком направлении будут развигаться военные действия в Европе. Они могли бы активнее действовать в Китае, но почувствовали, что здесь возрастает сопротивление, и приостановили свои усилия. Они ждут...

— Чего же они ждут?

³ У. Черчилль. Вторая мировая война. Лондон, 1950, т. 3, стр. 168 (на английском языке).

— Они уверены, что война против России предрешена... В зависимости от хода военных действий в России определится и направление их удара...

— А если Гитлер, соблюдая договор о ненападении, не выступит против Советского Союза?

— Тогда Японии пригодятся базы в Индокитае... Япония не сможет стоять в стороне... Она выступит против США... Лишь в этом у нее шанс помочь Германии, ибо поражение Германии в Европе и для Японии чревато тяжкими последствиями...

Сообщение крайне серьезное. Естественно, что я заинтересовался, откуда у него такая уверенность.

— Мне мои друзья сообщают из Франции, что Гитлер вывел из страны важные боевые части и перебрасывает их в Польшу.

Ивон даже раскрыл мне источники своей информации. Немецкие офицеры вели переписку со своими коллегами в оккупационных войсках, расквартированных во Франции. Некоторые письма попали в руки бывших сотрудников «Сюрте Насиональ»⁴. По письмам, по штемпелям, по отдельным наименованиям французские разведчики установили, что пришли они из Польши.

Перемещение огромных войсковых объединений не может не оставить следов. Кто-то напишет письмо, кто-то чрезмерно болтлив. Многие французские офицеры, перейдя на службу «Виши», в душе оставались патриотами. Они ненавидели оккупантов и следили за каждым их шагом. От них Ивон и получал свои сведения.

В те годы различными путями шла миграция населения оккупированной Франции. Кое-что об оккупантах Ивон узнавал от французских эмигрантов.

По некоторым признакам я мог судить о том, что Москва знает об опасности вторжения.

В этой обстановке Чан Кайши делал ставку на выжидание, смотрел, как развернутся европейские события, и не спешил с военными действиями против агрессора. Японцы, наоборот, стали наносить чувствительные удары по китайским войскам и городам, особенно авиацией, по-видимому преследуя цель склонить Чан Кайши к капитуляции или лишить его возможности к наступательным действиям.

В РОЛИ ГЛАВНОГО ВОЕННОГО СОВЕТНИКА ЧАН КАЙШИ

Выполняя задачу, поставленную передо мной в Москве, — подготовиться к выполнению обязанностей главного военного советника Чан Кайши, — я постепенно изучал стиль и методы работы наших военных советников как в центре, в Чунцине, так и на местах, в районах и армиях. Задача непростая, если учесть разбросанность советников по многим фронтам. Уже по опыту предыдущей работы в Китае я знал, что сработаться нашим людям с китайскими должностными лицами не так легко.

Беседуя с комдивом К. М. Качановым (Волгиным) и другими советниками, находившимися в Чунцине, я уяснил, что некоторые наши товарищи не всегда правильно строили свои взаимоотношения с военным министерством и китайскими генералами в районах и армиях. Все наши советники были полны горячего желания помочь китайскому народу по-настоящему бить японцев. Ради этого многие из них рисковали жизнью. Но слабым местом некоторых из них было недостаточное знание Китая, его сложившихся традиций. Между тем по опыту своей прежней работы в этой стране я знал, насколько это важно.

Во взаимоотношениях с военными руководителями Китая нашим военным советникам следовало быть особенно осторожными, учитывать их особую чувствительность к сложившимся обычаям, нетерпимость к критике, даже самой разумной. Тут нужен особый подход. Скажем, китайский генерал принимает решение обороняться или наступать. В этом решении бывает много несуразностей, е с л и не сказать больше. Е с л и советник открыто раскритикует этот план, он этим наживет себе врага, в лучшем случае китайский генерал будет его игнорировать и не станет приглашать к разработке планов и решений.

⁴ С ю р т е Н а с и о н а л ь — французская разведка.

Во всех случаях советник, изучая решение или план китайского военачальника, должен во всеуслышание признать и объявить его хорошим, если не гениальным или превосходным. Но под предлогом, чтобы подчиненные китайского генерала лучше поняли и усвоили план, попросить разрешения внести несколько уточнений. Можно ручаться, что после такого восхваления решения или плана китайский руководитель позволит внести «некоторые» уточнения. Этими уточнениями советник может вложить в решение все что нужно. Такая помощь будет принята, и предложение советника станет проводиться в жизнь как решение или план самого китайского командующего.

В случае успешного выполнения этого решения или плана операции советник должен оставаться в стороне, все лавры победы или успеха во всеуслышание адресовать своему генералу, а при неудаче найти причины, оправдывающие действия командира и войск, и даже поздравить с победой. Замечу, что во время своей первой встречи с Чан Кайши накануне нового, 1941 года я начал разговор с ним именно с поздравления по случаю побед китайской армии, хотя таковых и в помине не было. Но Чан Кайши оценил мой жест.

Мне и моим помощникам пришлось основательно поработать, чтобы направить деятельность наших советников в русло правильных взаимоотношений с китайцами.

Я продолжал тщательно изучать военно-политическую обстановку в Китае, страну и народ, сражающийся против японской агрессии, силы и средства Японии, а также перешедших на ее сторону предателей китайского народа. Таковыми были: на севере, в Маньчжурии, — правительство Маньчжоу-го во главе с отпрыском цинской династии императором Пу И; во Внутренней Монголии — марионеточное правительство под руководством князя Дэвана; в Бэйпине (Пекине) — политический совет Северного Китая во главе с Ван Итаном; в Нанкине — прояпонское правительство во главе с Ван Цзин-вэем. Получалось что-то вроде лоскутной империи прояпонских марионеток во главе с микадо. Японское правительство сознательно раздробило захваченную территорию Китая, проводя испытанную империалистическую политику — раздели и властвуй.

Уже к концу 1939 года фронт японо-китайской войны стабилизировался, как бы застыл на одном месте. Я считал, что в связи с развитием военного конфликта в Европе и постепенным втягиванием в этот конфликт США для Японии наступил долгожданный период, когда она могла приступить к выполнению своих далеко идущих планов под демагогическими лозунгами «Азия — для азиатов», «Япония — защитница Азии от несправедливости англо-американской политики», «наступление сферы процветания» и т. д.

События 1939—1940 годов в сочетании с разведывательными данными подсказывали мне, что Япония, отложив на время решение своих задач в Китае, может рискнуть воспользоваться сложившейся обстановкой для броска в сторону Южных морей и бассейна Тихого океана. Японцы, по-видимому, считали, что теперь, когда у их империалистических противников связаны руки в Европе, они сумеют реализовать свои агрессивные планы, бросив на чашу весов свои стратегические резервы.

Японские милитаристы никогда не отказывались от нападения на Советский Союз. Но, наученные горьким опытом, они выжидали благоприятного момента, когда Советский Союз будет ослаблен.

Таков смысл «Программы национальной политики империи в соответствии с изменением обстановки». «Империя будет по-прежнему прилагать усилия к разрешению конфликта в Китае: будет продолжать продвижение на юг для обеспечения основ самостоятельности и обороноспособности. Решение северной проблемы будет зависеть от изменения в обстановке»⁵. Эта программа была утверждена 2 июля 1941 года на имперской конференции в Токио.

Чем ближе подходил 1941 год, тем яснее виделось, что приближается начало схватки фашистского блока с Советским Союзом. Этого ожидали все великие и малые державы. Это понимало советское руководство и готовило надлежащий отпор фашизму. Это понимали японцы, рассчитывая, что в результате нападения гитлеровской Гер-

⁵ «История войны на Тихом океане». М. 1958, т. 3, стр. 379.

мании ослабеет Советский Союз и это до известной степени развяжет им руки для дальнейшей экспансии. Англичане и американцы, наоборот, не хотели, чтобы у Японии оказались свободными руки на севере и в Китае для захвата их владений в бассейне Тихого океана. Стремясь не допустить развертывания японской экспансии в южном направлении, США вместе с Англией начали в этот период осуществлять экономический нажим на Японию и вступили с ней в длительные переговоры. Это был торг, цель которого была все та же — направить японскую агрессию против Советского Союза. В самом Китае правительство Чан Кайши, в свою очередь, считало, что нападение японцев на юг или на север приведет к ослаблению их военного давления на Китай, что даст возможность расправиться с КПК и укрепить свои силы.

В феврале — марте 1941 года обстановка в районе Южных морей продолжала накаляться. Показателями этого для меня являлись следующие факты: распоряжения посольств Англии и США об эвакуации английских и американских граждан с Дальнего Востока; минирование англичанами побережья Малайского архипелага и Сингапура; переброска индийских и австралийских войск, а также австралийской авиации в район Сингапура и Малайских штатов; сосредоточение английских (точнее — индийских) войск на границе Малайи и Таиланда (Сиам); экономическое давление Англии на Таиланд; объявление американцами ряда своих морских и воздушных баз на Гавайских островах, Аляске и в других районах запретными зонами; прекращение американскими банками кредитования торговых сделок на Дальнем Востоке; заявление Рузвельта, что в случае, если США будут втянуты в войну на Тихом океане, они не ослабят своей помощи Англии. Но главным показателем являлась дальнейшая активность японцев в районе Южных морей в целях усиления их позиций на подступах к британским, американским и голландским владениям. Так, под давлением Японии власти французского Индокитая вынуждены были удовлетворить территориальные требования Таиланда. Активность японцев как в Аннаме, так и в Таиланде объяснялась их стремлением превратить эти богатейшие страны в стратегический плацдарм для дальнейшей экспансии в направлении Индонезии.

По данным, которые я получил от китайцев, общее количество японских самолетов на юге составило около 600 машин, из них около 200 дислоцировалось в Аннаме. Японцы вели усиленное военное строительство на острове Хайнань: создавали аэродромы, убежища, площадки для зенитных орудий. Порт Дайявань был превращен в базу подводных лодок. По данным разведки, на острове Хайнань сосредоточивались японские танковые части. В начале марта японцы провели в районе Южно-Китайского моря совместные учения флота, авиации и сухопутных сил. По данным, которыми я располагал, сильное давление на японское правительство в тот момент оказывали немцы, толкавшие Японию на юг. В одном из сообщений говорилось, что в марте состоялось совместное заседание японского кабинета министров с представителями высшего командования, на котором обсуждались немецкие требования. Приняли решение закончить подготовку к южной экспансии в течение марта.

Заявления министра иностранных дел Японии Мацуоки и японских послов в Лондоне и Вашингтоне, что Япония не намерена добиваться удовлетворения своих притязаний в районе Южных морей вооруженной силой, не разрядили напряженной обстановки на Тихом океане. Японские приготовления противоречили этим заявлениям.

В январе 1941 года президент США Рузвельт по просьбе гоминьдановского правительства направил в Чунцин одного из своих помощников — доктора Л. Кэрри. В задачу его миссии входило всестороннее изучение политического, экономического и военного положения Китая. При определении своей дальневосточной и европейской политики Соединенным Штатам важно было знать, что из себя реально представляет Китай, в какой степени на него можно опереться в случае возникновения войны с Японией. Ясно, что за короткий срок своего пребывания в Китае Кэрри не мог полностью изучить весь этот вопрос. Видимо, в его задачу входила личная проверка уже имевшихся в распоряжении правительства США материалов и дополнение их новыми фактами. Насколько я мог понять из бесед с американцами, у Кэрри сложилось невыгодное для китайского правительства впечатление о положении в стране. Кэрри в первую очередь обратил внимание на тяжелое экономическое и финансовое положение и опасность дальнейшего расширения экономического кризиса, на неспособность китайского правительства спра-

виться с создавшимся положением, на наличие явно выраженной диктатуры гоминьдана. Однако в тот момент я считал, что независимо от личного впечатления Кэрри обстановка складывалась таким образом (я имею в виду дальнейшее обострение отношений между США и Японией), что Америка оказывалась вынужденной предоставить реальную помощь Китаю.

Наибольшее беспокойство в Чунцине проявляли англичане. Это понятно, ведь их дальневосточные владения оказывались под непосредственной угрозой японского нападения. Больше всего англичан беспокоило состояние экономики и финансов Китая. Некоторые из английских дипломатов в тот момент считали, что без экономической помощи со стороны Англии и США Китай в состоянии продержаться шесть — двенадцать месяцев. Англичане выдвинули проект англо-американской экономической миссии в Китае, члены которой являлись бы экономическими советниками правительства Чан Кайши. В феврале 1941 года проект утвердил Чан Кайши, а затем английский посол в Чунцине А. Кэрр передал его на утверждение английскому правительству. В Чунцине в то время циркулировали слухи о переговорах Англии и Китая о военном сотрудничестве.

Важное значение в тот момент придавалось миссии начальника канцелярии Военного совета генерала Шан Чжэна в Бирму, Сингапур и Малайю. Предполагалось, что он установит непосредственный контакт с командованием британских военных сил на Дальнем Востоке и, возможно, договорится о координации действий между англичанами и китайцами, если английские владения подвергнутся японскому нападению. В Гонконг выезжал начальник заграничного ЦИК гоминьдана У Тэчен, который незадолго до этого вернулся из длительной поездки по странам Южных морей. Целью его пребывания в Гонконге, по всей видимости, были переговоры с местным английским командованием о координации действий.

Китайское командование создало новые армейские группы (1-ю и 9-ю), сосредоточив их в Юньнани, для обороны и подготовки к активным действиям на юге в случае возникновения англо-японской войны. По данным, которые я имел, в ходе англо-китайских контактов обсуждался вопрос об охране силами китайской армии Бирмано-Юньнаньской дороги (эта миссия была возложена на Шан Чжэна). Длаться было несомненно одно — переговоры о военном сотрудничестве имели место, хотя вопрос о формах этого сотрудничества оставался открытым.

Таким образом, Англия и США свою политику в Китае начали строить в тесной связи с резко обострившимся положением в Южных морях. Они стояли перед необходимостью военной защиты своих дальневосточных владений от посягательств Японии. Но шли на это весьма неохотно. И объяснялось это не только напряженной обстановкой в Европе, но и нежеланием ослабить Японию, силы которой могли быть использованы в нужный момент против СССР. Об этом откровенно заявлял А. Кэрр, английский посол в Китае. Для меня было понятно, что чем напряженнее складывалась бы обстановка в районе Южных морей, тем активнее США и Англия стали бы подталкивать Китай на продолжение войны с Японией; чем явственнее начинала бы вырисовываться угроза возникновения войны на юге, тем более реальные формы стала бы принимать англо-американская помощь Китаю. И наоборот — если бы представилась возможность договориться с Японией, то Англия и США пошли бы на это, не останавливаясь перед принесением в жертву китайских интересов.

Внешняя политика Чунцина по-прежнему включала в свои расчеты возможность возникновения войны между Японией, с одной стороны, и Англией и США — с другой. Поэтому китайское правительство в еще большей степени стремилось сблизиться с этими странами. В то же время оно трезво учитывало огромное значение политики СССР на Дальнем Востоке. Сильное беспокойство в китайских правительственных кругах вызвало известие о японо-советских переговорах по поводу заключения пакта о ненападении. В связи с этим, очевидно, китайцы в тот момент старались усиленно подчеркнуть дружеское отношение к СССР. Это проявилось и на приеме в советском посольстве 23 февраля, на который специально приехал Чан Кайши, и на банкете, который устроил Хэ Инцин в честь военного атташе СССР и советских советников. Хэ Инцин распинался там в любви к СССР, к нашим советникам и заявил о скором переходе в контрнаступление против японцев.

В конце зимы и начале весны 1941 года главное внимание китайские государственные деятели и все дипломаты в Чундине обращали на события, которые происходили в Европе: в каком направлении станет дальше развиваться гитлеровская агрессия — на запад против Англии или против Советского Союза? Другие государства, как например Румыния, Болгария, Югославия или Греция, мало интересовали китайские власти. Они считали, что эти страны особого влияния на большую военную политику оказать не могли. Все ожидали вступления в войну таких гигантов, как СССР и США.

Английских и американских представителей в Китае особенно интересовал вопрос о вступлении в войну СССР. Американцы прямо ставили передо мной вопрос: будем ли мы в дальнейшем помогать китайцам оружием? В беседах с американским военным атташе Барретом мы дали понять друг другу: наши страны заинтересованы, чтобы китайцы продолжали оказывать сопротивление агрессору и не капитулировали перед японцами. В ходе этих бесед я выяснил, что американцы, кроме финансовой поддержки, решили оказать Китаю помощь и оружием, что они против развязывания гражданской войны в Китае, понимая, что это ослабило бы его сопротивление японской агрессии.

Вступив в должность военного советника Чан Кайши, я понимал, что без надежной и прозрительной информации, без налаживания важных для моей работы контактов мне будет трудно выполнить поставленные передо мной задачи. Большую помощь мне оказали мои помощники, хорошо говорящие по-китайски, — Фомин и Андреев, которые имели большие связи с прогрессивными китайцами. Мы широко общались с ними. Зная, что Советский Союз искренне помогает китайцам, к нам приходили журналисты, корреспонденты, чиновники различных ведомств, чтобы познакомиться, поговорить по различным вопросам внутренней и международной обстановки. Это давало нам возможность следить за настроениями, вникать в проблемы, волнующие различные круги общества. Мы старались вселять в наших посетителей надежду на успешное развитие революционных событий, укрепить уверенность в конечную победу Китая в национально-освободительной борьбе с японскими захватчиками. Они воспринимали наши слова с искренним воодушевлением. Короче, гостей у нас всегда было много, но и помощь в работе они приносили немалую.

Соответствующие китайские службы пытались подсылать к нам и агентов контрразведки. Мы быстро разоблачали их с помощью наших китайских друзей, но от себя не отталкивали и, держась при них осторожно, не давали возможности узнать круг интересующих нас вопросов. Мы знали, что в наших помещениях установлены аппараты подслушивания, и считали напрасным трудом их обезвреживать или ликвидировать. Наоборот, стремились через эту аппаратуру дезинформировать соответствующие службы.

Во главе китайской контрразведки, агенты которой следили и за нами, стоял Дай Ли. Этот деятель сумел войти в большое доверие к Чан Кайши. Главу китайской контрразведки никто из наших людей, а также из знакомых нам китайцев не знал. Это был глубоко засекреченный деятель, конечно, антикоммунист, которого боялись все китайцы, но никто не мог похвалиться, что видел его или знаком с ним лично. Возможно, я, часто бывая у Чан Кайши, видел его, здоровался с ним, вместе сопровождал Чан Кайши на смотр советской военной техники. Откровенно говоря, я не добивался встречи с этим человеком и не собирался о чем-либо с ним советоваться. В этом я не видел смысла.

Я никогда не замечал за собой наружную слежку, но только потому, что ее организовали весьма искусно. Я не боялся этой слежки, поскольку, как главный военный советник, и вел себя и делал все открыто. Я и мои помощники не имели каких-либо намерений вмешиваться во внутренние дела Китая.

Каждую неделю под председательством начальника генерального штаба и военного министра Хэ Инциня происходило заседание Военного совета, председателем которого официально являлся сам Чан Кайши, но его почти всегда заменял Хэ Инцинь. Присутствие главного советника на этих заседаниях считалось обязательным как заместителя председателя Военного совета. Членом совета являлся Чжоу Эньлай, но при мне он ни разу не участвовал в его заседаниях. Я считал это большой ошибкой. Такой демонстративный бойкот Военного совета со стороны представителя КПК подрывал

основу совместной борьбы против японцев, свидетельствовал о непрекращающемся разногласии между КПК и гоминьданом.

Знакомясь все ближе и ближе с китайской обстановкой, я пришел к выводу, что Чан Кайши и его генералитет не были заинтересованы по-настоящему вести войну с японцами. Они знали о подготовке Японии к большой войне и, по-видимому, не хотели ей мешать своей активностью. В то же время чанкайшисты смотрели очень зорко за коммунистическими войсками и держали вокруг районов сосредоточения последних свои самые надежные части. Этими войсками в районе Лояна и Сиани командовал, как уже говорилось, генерал Ху Цзуннань. Чан Кайши выделял ему лучшие войска. В армейской группе Ху Цзуннаня наших военных советников не было, но информировали о нем представители КПК, находившиеся в Чунцине. По-видимому, разгром колонны Новой 4-й армии научил их устанавливать неплохие связи с работниками китайского генерального штаба, а также среди гоминьдановского руководства. Встречи с представителями КПК были полезны для меня, помогли в выяснении обстановки, а также той политики, которую проводил Чан Кайши. В то же время из этих встреч я уяснил, какие непримиримые разногласия существуют между гоминьданом и КПК, какая имеет место несогласованность действий их войск в борьбе против общего врага. Это грозило расколом единого фронта.

Чжоу Эньлай, Дун Би и другие представители КПК в Чунцине имели хорошие связи с прогрессивными китайцами, с военными, а также с политическими работниками, которые всячески помогали им в работе, предупреждали о возможных конфликтах и провокационных действиях со стороны гоминьдановцев. Генерал Е Цзяньин как начальник штаба 8-й Народной армии большую часть времени пребывал в Яньани.

Моя официальная резиденция главного военного советника Чан Кайши находилась рядом с кабинетами военного министра, начальника разведки и начальника оперативного управления китайского генштаба. В интересах дела я стремился наладить с ними нормальные деловые взаимоотношения. Сверяя и перепроверя поступающие ко мне сведения, я и мои сотрудники имели достаточно полные данные о главных замыслах китайского руководства и, исходя из складывавшейся обстановки, вносили свои предложения и рекомендации.

В ходе работы передо мной все больше раскрывались глубины чунцинской политики...

ТЕНЕВАЯ СТРАТЕГИЯ МАО ЦЗЭДУНА

Ко времени моего приезда в Китай вполне определились взгляды Мао Цзэдуна и его сторонников в КПК на ход японо-китайской войны и на развитие революции в Китае.

Известно, что в мае 1938 года, в момент наивысшей активности японского агрессора в Китае, Мао Цзэдун опубликовал свои военные работы — «Вопросы стратегии партизанской войны против японских захватчиков» и «О затяжной войне». На месте, в Чунцине, когда я ознакомился с обстановкой в стране, положением на фронте, состоянием китайских вооруженных сил, разобрался в какой-то мере во взаимоотношениях КПК и гоминьдана, для меня многое прояснилось. Если в установке Мао Цзэдуна на развертывание партизанской войны и содержалось рациональное зерно, то в его теоретическом разборе хода военных действий с Японией желаемое выдавалось за действительность.

Мао Цзэдун выдвинул положение, что война с Японией будет иметь затяжной характер. Так оно и случилось, но вовсе не в силу исторической неизбежности. Китай, несмотря на всю свою отсталость, не раздирай его политическая междоусобица, мобилизуя он все ресурсы, закончил бы войну в два-три года, нанеся сокрушительное поражение агрессору. Скажу больше: Япония не решилась бы на эскалацию агрессии, если бы с самого начала натолкнулась на полное единство страны.

Проводя курс на уклонение от активных боевых действий с японскими захватчиками, Мао Цзэдун постарался свое решение обосновать теорией, специально разработанной им для руководства партий и войсками. Он утверждал, что война с Японией пройдет **три «стратегических этапа»:**

- 1) наступление японских войск, отступление и оборона китайских;
- 2) «равновесие сил», когда японская армия уже не сможет вести наступление, а китайская еще не в состоянии будет развернуть генеральное наступление на противника;
- 3) контрнаступление китайских войск и разгром японских.

Если следовать схеме Мао Цзэдуна, то с 1939 года японо-китайская война вступила во второй стратегический этап — накопления сил для перехода в генеральное контрнаступление на японцев, которые якобы утратили силы и боеспособность для дальнейшей экспансии в Китае. Мао считал, что на втором этапе «противник... перейдет к стратегической обороне», китайские регулярные войска (в том числе и регулярные части КПК) тоже будут «находиться в обороне на фронтах», а «основное значение будет иметь партизанская война...». Из всего этого вытекал основной вывод Мао Цзэдуна — войска КПК на втором этапе свертывают активные боевые действия против японцев и стремятся накопить силы и оружие для дальнейшей борьбы. С кем, против кого — это показало будущее.

Как известно, теория должна подтверждаться практикой, тем более если это сказано человеком, к словам которого прислушивался народ, а подчиненные или зависимые от него организации и люди выполняли их как директиву.

Правильно ли Мао Цзэдун оценивал силы Японии, которая, по его мнению, к концу 1938 года израсходовала свои возможности и резервы и дальше не могла вести наступательные действия в Китае? На этот вопрос можно твердо сказать — нет.

Япония, оккупировав значительную часть территории Китая и его главные промышленные центры, приступила к освоению захваченных районов. Начавшаяся вторая мировая война заставила японское руководство пересмотреть свои стратегические планы с учетом складывающейся обстановки на западе. Понимал ли это Мао? Японский военно-морской флот и значительная часть ВВС еще не включились в войну. Исходя из всего этого, японские милитаристы, очевидно, пришли к выводу, что лучшего времени для реализации своих экспансионистских планов в Юго-Восточной Азии у них не будет. Ясно, что не бессиле заставило Японию приостановить дальнейший захват территории Китая, а новая обстановка на мировой арене.

Утверждение Мао Цзэдуна, что на новом стратегическом этапе будет происходить накопление сил для перехода в контрнаступление, также не соответствовало действительности. Я не говорю о людских мобилизационных ресурсах Китая — их было больше чем достаточно. Но Китай был раздроблен территориально и политически. В стране по-прежнему существовали милитаристы, которые в любой момент могли переметнуться в лагерь захватчиков. При том расколе, который был в то время в Китае, трудно сказать, кто кого считал для себя врагом номер один. Гоминьдан и КПК, входя в единый фронт, открыто враждовали друг с другом, и в тот период не находилось сил, которые могли бы размотать клубок их противоречий.

Для накопления сил против Японии как у гоминьдана, так и у КПК не имелось ни развитой промышленности, ни достаточного количества оружия. Накопить оружие за счет ввоза его из-за границы не представлялось возможным. Оно главным образом шло в Европу. В Китае не хватало вооружения даже для организации обороны. Империалисты Запада продолжали смотреть на Китай как на разменную монету. Обещали, но реально пока ничего не давали, а когда начали предоставлять помощь сражающемуся Китаю, она оказалась и запоздалой и недостаточной — китайский фронт не смог стать существенной преградой на пути реализации новых стратегических планов японских милитаристов и не помешал им ринуться в новые военные авантюры.

Чжоу Эньлай при встречах с нами, советскими работниками, категорически отказывался обсуждать вопросы военных действий войск КПК. Он всячески пытался доказать, что войска гоминьдана готовятся к решительному наступлению на Особый район. То, что Особый район блокирован, не подлежало сомнению, но пока еще ни один милитарист с начала японо-китайской войны не решался наступать на него.

После неудачного наступления войск Чан Кайши с целью ликвидации японской группировки в районе Уханя (декабрь 1939 года) на всех фронтах наступило затишье. Только во второй половине 1940 года командование 8-й и Новой 4-й армий организовало крупную партизанскую операцию, которая вошла в историю антияпонской войны под названием «битва ста полков», — единственное с начала войны и до августа 1945 года

крупное наступление народных армий против японских захватчиков. В нем участвовало более 400 тысяч бойцов. Несмотря на свои масштабы, наступление имело ограниченную оперативную задачу: внезапным одновременным ударом по гарнизонам и коммуникациям противника дезорганизовать его тылы, нарушить связь, создать благоприятную обстановку для расширения территории освобожденных районов и установления взаимодействия между ними. За три с половиной месяца боев народные армии вывели из строя более 20 тысяч вражеских солдат и офицеров, освободили от противника территорию с населением более 5 миллионов человек. Но в ноябре 1940 года японцы развернули контрнаступление и вынудили народные армии отойти на исходные позиции. После «битвы ста полков» японское командование усилило всенные операции против освобожденных районов.

Эта операция не была согласована с Чан Кайши и его генеральным штабом, более того, ее засекретили от центрального правительства. Это не могло не отразиться на взаимодействии войск КПК и гоминьдана. Изолированная «битва ста полков» в то же время насторожила Чан Кайши, который решил, что войска КПК стремятся захватить больше территории Северного Китая и закрепить ее за собой, не допуская туда войска и администрацию центрального правительства.

После «битвы ста полков» основные армейские силы КПК по настоянию Мао Цзэдуна, по существу, прекратили войну с японцами. Пассивность войск КПК особенно проявилась после разгрома штабной колонны Новой 4-й армии. С этого момента о едином фронте гоминьдана и КПК в борьбе с агрессором можно было говорить лишь формально. В дальнейшем основным помыслом Мао Цзэдуна была не борьба с интервентами, а сбережение и по возможности увеличение и лучшее вооружение своих войск, расширение и создание новых баз и районов под руководством КПК. Мао Цзэдун выдвинул перед КПК задачу: иметь под своим влиянием районы с населением не 100 миллионов человек, что якобы достигнуто в 1940 году, а с населением до 200 миллионов человек, иметь армию численностью не менее миллиона солдат, с хорошим вооружением и т. п.

Некоторые военные дехтели КПК под давлением Мао Цзэдуна распространяли версию, что эти цели и задачи могли быть достигнуты другими силами и другими (партизанскими) методами, если бы не «битва ста полков», что эта битва проводилась не на пользу Китаю и КПК, а якобы для предотвращения японской агрессии против Советского Союза. Мао Цзэдун объяснял принятое им решение об этой битве желанием сорвать «дальневосточный Мюнхен» и новое японское наступление. На самом деле это все не так.

Стремясь расширить районы влияния КПК, Мао Цзэдун намеревался также накопить силы для борьбы за власть в Китае. Трудно сказать, кого Мао Цзэдун считал наиболее опасным противником — японцев или Чан Кайши. Ведь впоследствии выяснилось, что не без ведома Мао Цзэдуна, более того, по его указанию долгое время поддерживалась связь высшего руководства КПК с японским оккупационным командованием. Факт позорный, но от него не спрячешься⁶.

Было видно, что Мао Цзэдун и его группа разочарованы результатами войны с японцами в 1937—1940 годах, которую в основном вел Чан Кайши. Мао считал, что война с Японией ему навязана Коминтерном, который якобы связал КПК руки в рамках единого фронта с гоминьданом, что в военных действиях с японцами КПК мало приобрела, но многое потеряла, поскольку помощь Китаю со стороны западных держав и Советского Союза шла центральному правительству, то есть Чан Кайши, а последний ничем не помогал КПК и ее вооруженным силам. Понятно, что Мао Цзэдун, имея в качестве основной цели в будущем захват всей власти в Китае, стремился получить как можно больше современного оружия и создать базу для борьбы с гоминьданом. Вопросы борьбы с японскими захватчиками отходили для него на второй план.

За время пребывания в Чунцине я неоднократно был свидетелем того, как срывалась организация взаимодействия регулярных войск КПК и гоминьдановской армии. Ответственными за это были в равной степени и Мао Цзэдун и Чан Кайши.

⁶ См. П. П. Владимиров. Особый район Китая. 1942—1945. М. 1973, стр. 640, 641.

Весной 1941 года японцы активизировали свои действия на фронте и в начале мая перешли в наступление в провинции Шаньси. В районе Лояна они в нескольких местах форсировали реку Хуанхэ и угрожали перерезать Лунхайскую железную дорогу⁷.

Немедленно собрался на заседание Военный совет. О японском наступлении подробно доложил начальник оперативного отдела генерального штаба. Я понял, что наступил самый подходящий момент активизировать китайские войска и разгромить наступающие японские войска. Я взял слово и предложил простейшую операцию, решение которой напрашивалось при первом взгляде на карту. Японцы, наступая на юг, подставили свой фланг армейской группе коммунистических войск, а их тыл оставался открытым для удара войсками 2-го района, которым командовал генерал Янь Сишань. Я предложил немедленно провести подготовку этой операции и дать приказ означенным войскам перейти в контрнаступление во фланг и тыл наступающим японцам.

Члены совета и высшие представители военного министерства внимательно, не перебивая выслушали мои предложения. Я ждал возражений. Возражений не последовало. Но никто не подал голоса и в поддержку. А казалось бы, наступил как раз тот момент, когда необходимо в полной мере использовать взаимодействие войск КПК и гоминьдана против агрессора.

Из этого заседания я понял, что перед членами Военного совета не имело смысла настаивать на осуществлении такой операции, в этом надо прежде убедить самого Чан Кайши. Должен заметить, что мое предложение дать приказ о выступлении коммунистических войск и войск Янь Сишаня вызвало на лицах членов Военного совета улыбку. Мне дали понять, что такой приказ никто не будет отдавать, ибо его никто не станет выполнять. Вот тут я и решил спросить у Чжоу Эньлая и Дун Биу, выступят ли они против японцев в сложившейся обстановке.

Чжоу Эньлай и Дун Биу очень охотно и подробно обрисовали мне обстановку в Китае, они оказались целиком в курсе японской политики и военной обстановки на Дальнем Востоке. Их выкладки о возможных путях японской агрессии могли заинтересовать собеседника, но вопрос о действиях коммунистических войск они наотрез отказались обсуждать со мной как главным военным советником. Мне удалось добиться от них лишь признания, что время для ударов по японским войскам еще не пришло.

Мои старания объединить действия войск гоминьдана и КПК при наступлении японцев на Лоян не осуществились. Войска КПК, гоминьдана и Янь Сишаня, официально подчиненные Чан Кайши как главнокомандующему, оставались самостоятельными силами, которые при благоприятных оперативных условиях не захотели поддерживать друг друга. Хорошо еще, что японцы не имели достаточных резервов для развития успеха.

Мао Цзэдун требовал от партии неуклонного осуществления своих теоретических положений о трех фазах войны с Японией, что срывало сотрудничество с гоминьданом в антияпонской войне.

Одно из положений, которое легло в основу политики КПК в отношении гоминьдана, Мао Цзэдун выдвинул еще в 1937 году. В докладе на Всекитайской партийной конференции он спрашивал: «Действовать ли так, чтобы пролетариат пошел за буржуазией, или так, чтобы буржуазия пошла за пролетариатом?» Сам же он и отвечал на вопрос: «От того, кто из них будет руководить китайской революцией, зависит ее исход».

Странно было бы ожидать, чтобы коммунисты отказались от ведущей роли в революции. Союз с гоминьданом они расценивали как обусловленный моментом и каждый раз говорили о необходимости отстаивать независимость КПК от гоминьдана. Но ведь «нормальное» течение китайской революции было нарушено нашествием агрессора, который легко мог пойти на соглашение с противниками компартии, с гоминьдановцами, и никогда не пошел бы на соглашение с коммунистами. В этих условиях под удар ставились все цели революции, а не только полная или частичная независимость КПК от гоминьдана в военных действиях против агрессора.

В то время, когда главную опасность для китайской революции представляли

⁷ Лунхайская железная дорога (длина 1380 километров) протянулась в широтном направлении с востока на запад от гавани Ляньюнь (через Сюйчжоу — кайфилн — Сиань) до станции Тяньшуй.

японские захватчики, Мао Цзэдун настойчиво проводил в жизнь линию на фактический раскол в стране, а не на ее единство. «Отходить в какой-либо мере от принципиальных позиций партии,— говорил он,— затушевывать ее политическое лицо, приносить интересы рабочих и крестьян в жертву буржуазному реформизму — значит неизбежно привести революцию к поражению». Можно было подумать, что КПК сумела бы сбечь интересы рабочих и крестьян, если бы победили японские захватчики. Руководство КПК не могло не знать, против кого в основном нацелена репрессивная политика захватчиков на оккупированных территориях. Именно против рабочих, крестьян, патристически настроенной интеллигенции. Захватчики в то же время охотно вступали в сотрудничество с представителями компрадорской буржуазии и крупными феодалами и находили с ними общий язык. Мао Цзэдун ни на час не переставал нацеливать КПК на борьбу за власть, не желая подчинить ее политику стратегическим целям победы над фашизмом.

Война — это не лабораторное исследование, в войне очень многое решает инициатива, смелость, решительность в ходе неожиданных ситуаций, которые невозможно предусмотреть ни в каких расчетах. Даже перевес в силах иногда теряет смысл. Теория «равновесия», которую проповедовал Мао Цзэдун, всего лишь маскировала его желание отойти от активного отпора агрессору ради накопления сил для борьбы с Чан Кайши. Стратегия Мао отдавала инициативу в руки противника. Ни в коем случае нельзя было ждать, когда образуется так называемое равновесие сил, его предстояло создавать активными военными действиями. Временное затишье, или, точнее говоря, приостановку японского наступления, Мао пытался выдать за создавшееся равновесие сил. На самом деле Япония просто пересматривала свои планы в связи с развитием войны в Европе, выбирая новые объекты для агрессии. Тогда никто не мог сказать точно, куда устремятся агрессоры — на юг или на север, но было ясно, что приостановка крупных наступательных операций в Китае связана лишь с выбором Японией нового главного направления для удара.

Мао в этот момент предпочитал отсиживаться, чем помогал и Чан Кайши уклоняться от активных военных действий. Один переживал другого, в равной степени пренебрегая национальными интересами страны.

Из-за пассивности и политических разногласий между КПК и гоминьданом китайские вооруженные силы серьезной опасности для Японии не представляли. Как показали дальнейшие события, все попытки гоминьдановских войск и войск КПК в 1942—1945 годах отвоевать что-либо из захваченных японцами районов терпели крах. Китайские войска не имели успеха до тех пор, пока в августе 1945 года союзники по антигитлеровской коалиции, особенно Советские Вооруженные Силы, не нанесли сокрушительное поражение японским захватчикам. Не произошли это, трудно сказать, сколько лет длился бы второй этап войны по теории Мао Цзэдуна.

Японское командование, готовясь к дальнейшей агрессии, стремилось экономически, политически и в военном отношении закрепить за собой захваченные районы Китая. В начале июля 1941 года японское правительство добилось дипломатического признания правительства Ван Цзинвэя Германией и Италией. Японцы оснащали войска Ван Цзинвэя оружием и под руководством своих генералов привлекали к операциям против партизанских районов, которые существовали у них в тылу. Эти карательные операции японских войск совместно с войсками Ван Цзинвэя в Шаньдуне, Аньхое и Шаньси — Чахар — Хэбэе нанесли чувствительные потери силам КПК. В результате некоторые партизанские районы были ликвидированы или сокращены.

Таким образом, установка Чан Кайши и Мао Цзэдуна на пассивное ведение войны против японских захватчиков, а также военный конфликт между гоминьданом и КПК дали Японии передышку для подготовки к дальнейшей агрессии.

ЧАН КАЙШИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫЖИДАЕТ

Весной 1941 года мало кто сомневался, что Советский Союз будет вынужден сражаться на два фронта — на западе против фашистской Германии и ее сателлитов и на востоке против Японии. Однако 13 апреля 1941 года Япония неожиданно подписала с Советским Союзом пакт о нейтралитете сроком на пять лет. Этот договор свидетель-

ствовал о том, что Япония, хотя и заключила Тройственный пакт с Германией и Италией, собиралась проводить свою собственную политику на Дальнем Востоке.

Реакция правительственных кругов Чунцина на советско-японский договор о нейтралитете первоначально была чрезвычайно нервной. В первые дни после получения сообщения о подписании договора среди правительственных и гоминьдановских деятелей царил растерянность и даже паника. Об этом, в частности, свидетельствовали бесконечные совещания, которые проводил Чан Кайши с участием самых разнообразных лиц. Например, 14 апреля состоялось заседание президиума ЦИК гоминьдана, затем заседание постоянного комитета НПС, 24 апреля — специальное совещание у Чан Кайши и т. д. Сам Чан Кайши производил впечатление растерявшегося человека.

Однако постепенно первоначальная растерянность стала проходить. Большое значение имели беседы В. М. Молотова с китайским послом в Москве Шао Лицзы и встреча с Чан Кайши А. С. Панюшкина, разъяснившего позицию Советского правительства.

Правительство Чан Кайши решило не обострять отношений с СССР, сохраняя их на достигнутом уровне и добиваясь продолжения нашей материальной помощи Китаю. Всем газетам и журналам было дано указание не выступать с нападками на Советский Союз и не касаться моментов, побудивших нас заключить договор с Японией.

К этому времени Чан Кайши стал настойчиво проводить в своих выступлениях идею оборонительного союза Америки и Китая и резко обрывать тех лиц из своего окружения, которые допускали возможность компромиссов США с Японией. Кроме высказываний Чан Кайши, имелся целый ряд других признаков, свидетельствовавших о более тесном, чем это было раньше, сближении этих двух стран. Например, министр иностранных дел Китая Го Тайци возвращался из Англии в Китай через США, где предполагал встретиться с президентом Ф. Рузвельтом и государственным секретарем К. Хэллом. Представители американской администрации, которые в те дни появлялись в Чунцине, продолжали изучать обстановку. Их, в частности, интересовали возможности увеличения пропускной способности магистральной, связывающей Китай с Бирмой. В качестве практического мероприятия американцы предложили организовать переброску грузов из Бирмы в Юньнань на транспортных самолетах, причем сами самолеты в количестве 50—100 штук они согласились предоставить Китаю.

Материальная помощь Китаю со стороны США к тому времени несколько усилилась. От Сунь Цзывэня я узнал, что правительство США разрешило вывезти в Китай партию груза стоимостью 25 миллионов долларов (туда входили материалы для железнодорожного строительства, 4 тысячи автомашин, текстильные изделия для нужд армии). Предполагался приезд в Китай американской военной миссии.

Огромное значение для Китая бирманской дороги заставляло китайцев идти на ряд совместных с англичанами военных мероприятий по ее обороне. В частности, существовал проект переброски китайской 5-й армии в Бирму в случае наступления японцев.

Весной 1941 года внешняя политика китайского правительства основывалась на двух основных принципах: 1) уверенности в том, что в ближайшие шесть месяцев в бассейне Тихого океана начнется война между англо-американским блоком и Японией. Китайцы рассчитывали, что эта война закончится поражением Японии; 2) предположении, что между СССР и Германией должно начаться военное столкновение, причем Япония, несмотря на заключенный договор о нейтралитете, станет на сторону Германии и выступит против СССР.

Приближающаяся война на Тихом океане и вооруженное нападение Германии и Японии на СССР, по мнению чунцинских правящих кругов, должны были сыграть положительную роль в улучшении их собственного положения. Поэтому китайское правительство продолжало оставаться на позициях выжидания развития событий на Дальнем Востоке и в Европе. Оно считало, что выгоднее выждать время, чем бросать войска в наступление и тем самым ослаблять их и подвергать опасности частичного уничтожения. Войскам дали директиву ограничиться удержанием занятых рубежей. Эта позиция непосредственно отражалась на военных мероприятиях Чунцина. Я по-прежнему был твердо убежден, что впредь до выяснения обстановки китайское командование и Чан Кайши не пойдут на активные действия против японцев.

Стремление сохранить свои войска диктовалось и сложным внутренним положе-

нием страны. После событий в провинции Аньхой наиболее реакционная часть китайского генералитета (Хэ Инцин, Гу Чжунун, Бай Чунси, Лю Вэйчжан и другие), а также правая часть гоминьдановской верхушки стояли за открытый разрыв с КПК и за ликвидацию ее вооруженных сил. Под давлением этих кругов в непосредственной близости от южных границ Особого района, как уже говорилось, была сформирована трехсотысячная группировка войск под командованием генерала Ху Цзуннана. В задачи этой группы, помимо использования ее при удобном случае непосредственно против Особого района, видимо, входило также блокирование войск КПК, если они начали бы активные действия против чунцинских войск. Последнего обстоятельства гоминьдановцы весьма опасались после аньхойских событий. Таким образом, политический кризис привел к фактическому разрыву между двумя партиями, составлявшими основу единого фронта, хотя формально этот разрыв провозглашен не был.

В апреле японцы предприняли очередной зондаж позиции Чан Кайши по вопросу о мире. В Чунцине появился американец Стюарт, ректор одного из университетов в Бэйпине, который должен был передать Чан Кайши желание японцев установить с ним личный контакт и договориться о мире. Чан Кайши отказался обсуждать японские предложения, заявив, что будет о них говорить лишь в том случае, если эти предложения передадут через Рузвельта.

Отказываясь в тот момент от ведения мирных переговоров с японцами, Чан Кайши тем самым стремился добиться усиления поступления вооружения от США, СССР и частично Англии. Поступающее вооружение он хотел использовать для укрепления армии, главным образом своих личных войск, находившихся в тылу. Укрепление армии, в свою очередь, дало бы возможность Чан Кайши более твердо чувствовать себя внутри страны, а также более твердо разговаривать с японцами, если обстановка заставила бы его пойти на мирные переговоры.

Как развивались в это время боевые действия на фронтах японо-китайской войны?

Развертывание экспансии в направлении Южных морей диктовало японцам необходимость обезопасить свой фронт в Китае. Последний вместе с французским Индокитаем, Сиамом, прилегающими к китайскому побережью островами являлся как бы тылом японского продвижения на юг. Японское командование стремилось как максимум добиться полной капитуляции правительства Чан Кайши или, по крайней мере, нанести ряд ударов по живой силе китайской армии и тем самым вывести ее из строя на продолжительное время. Японцы, безусловно, учитывали свой собственный опыт, когда захват обширных районов Китая без разгрома основных сил китайской армии не привел их к победе. С января по май 1941 года на целом ряде участков фронта японское командование предприняло ряд операций, имеющих целью уничтожение живой силы китайской армии, а также захват материальных ценностей и блокаду территории Китая.

Так, в марте почти на всем гуандунском побережье на территории около четырехсот километров были высажены японские части. Забрав сосредоточенные в этих пунктах значительные запасы соли, продовольствия, горючего, японцы затем эвакуировались. Эта операция преследовала цель пополнения запасов японских войск. Подобного рода операции наблюдались и на других участках фронта. Они наносили значительный материальный ущерб китайцам, продовольственное положение которых было достаточно тяжелым.

Китайское командование активности не проявляло, действия китайской армии по-прежнему носили оборонительный характер.

В апреле 1941 года китайцы по нашим рекомендациям подготавливали переход к наступательным действиям. Главный удар должны были нанести войска 5-го и 6-го районов по ичанской группировке японцев при одновременной активизации действий во всех остальных районах.

Однако у меня не было уверенности, что китайцы это сделают, несмотря на имеющийся приказ Чан Кайши. Резко обострившиеся отношения между КПК и гоминьданом, происходившая концентрация центральных войск против коммунистических частей — все это отрицательно сказывалось на подготовке наступления. У большин-

ства командующих районами отношение к предстоящему наступлению было недоверчивым и пессимистическим. Вэй Лихуан (1-й район) считал, например, что его войска смогут наступать не раньше как через три-четыре месяца; Чжу Шаолян (8-й район) подготавливал свои войска к борьбе с коммунистическими частями; Ли Цзунжэнь (5-й район) считал, что он сможет наступать не раньше осени; Гу Чжугун (3-й район) хотя и готовился к наступлению, но, видимо, не против японцев, а против отрядов Новой 4-й армии.

Несколько благополучнее обстояло дело в 6-м районе — Чэнь Чэн готовился наступать. Советники стремились наладить взаимодействие войск 6-го и 5-го районов, а также добиться активизации действий 1-го, 9-го и 3-го районов. В этом случае намеченное наступление могло рассчитывать на успех. Однако внутренняя борьба с КПК заслоняла у многих китайских генералов вопрос войны с японцами.

Более серьезные события на фронте развернулись в апреле — мае 1941 года, когда японцы нанесли удар по побережью приморских провинций Чжэцзян и Фуцзянь и предприняли наступление в южной части провинции Шаньси.

Возможность для Китая поддерживать связи с внешним миром и осуществлять торговые операции через провинции Чжэцзян, Фуцзянь и Гуандун свелась почти к нулю после того, как японский флот вошел в китайские территориальные воды. Тем не менее порты этих провинций продолжали оставаться центрами оживленной контрабандной торговли, главным образом с оккупированными районами Китая. Косвенные данные свидетельствовали о том, что контрабандные торговые операции имели широкий размах. В крупных портах сосредоточились большие запасы товаров — чая, риса, горючего и др.

Появление японского десанта на побережье Чжэцзяна и Фуцзяни явилось для китайского командования полной неожиданностью. Никаких предупредительных мероприятий не предпринималось. Они начали осуществляться с большим опозданием, когда высадка японцев стала фактом. К 17 апреля японцы закончили все приготовления к операции, а 19 апреля одновременно на всем побережье провинций Чжэцзян и Фуцзянь от Нинбо до Фучжоу началась высадка японских частей. Она прикрывалась корабельной артиллерией и действиями авиации. Наиболее сильными группами японских войск явились северная, высадившаяся северо-восточнее Нинбо, в районе Чжанхая, и южная (в районе Чучжоу).

Наступая с юга и севера, японцы овладели Нинбо, Фучжоу, затем крепостью Мавэй. 7-я и 80-я пехотные дивизии китайцев отошли на север от Фучжоу. Вскоре в столице Фуцзяни японцы создали марионеточное фуцзяньское правительство, собираясь надолго обосноваться в Фучжоу.

По мере того как развивались события, китайское командование спешно перебрасывало к месту боев новые части. В начале мая войска 3-го района перешли в контрнаступление, поставив целью овладеть районом Чжужзисянь, Нинбо, Фучжоу. Вывезя запасы продовольствия и сырья, японцы вскоре оставили пункты Хаймэнь, Тайчжоу, Хунянь, Вэньчжоу, Лэцин и Хуйань. Всего в контрнаступлении участвовало 7 китайских дивизий. На чжужзисяньском и нинбоском направлениях китайцы добились частичного тактического успеха, нанеся урон отдельным японским отрядам. Однако в целом контрнаступление китайских войск оказалось безуспешным. 10 мая оно окончательно захлебнулось и было приостановлено приказом Чан Кайши.

В результате предпринятой операции японцы закрепили за собой ряд важных пунктов на восточнокитайском побережье, а также нанесли большой материальный ущерб китайцам, захватив большие запасы сырья и продовольствия.

В мае 1941 года японцы предприняли наступательную операцию в южной части провинции Шаньси. Для ее проведения японское командование не привлекало дополнительных сил из Японии или Маньчжурии. Пользуясь пассивностью китайских генералов и отсутствием взаимодействия между отдельными военными районами, японцы смело производили перегруппировки, обнажая или ослабляя целые участки фронта.

В ходе операции выяснилось, что главной целью японского командования были разгром и уничтожение почти двухсоттысячной группировки китайских войск, находившейся в южной части Шаньси, создание плацдарма для последующего овладения

находившимся в руках китайцев участком Лунхайской железной дороги, а также захват Лояна и полный разгром 1-го района. Японцы рассчитывали породить среди китайцев панику и способствовать активизации капитулянтских элементов в чунцинском правительстве. Японских войск, находившихся в южном Шаньси, оказалось недостаточно для успешного проведения операции. В течение всего апреля происходила перегруппировка частей. В направлении главного удара создавались две группы: восточная (сколо двух пехотных дивизий и кавалерийская бригада) и западная (около трех пехотных дивизий и двух пехотных бригад). Эти группы, наступая навстречу друг другу, должны были соединиться и отрезать китайцев от переправ на Хуанхэ. В общей сложности в операции участвовало около 7 дивизий численностью 100 тысяч человек и 172 самолета.

К началу операции китайцы имели в этом районе 19 дивизий, одну бригаду, 3 партизанских отряда общей численностью 160 тысяч человек (то есть соотношение 1,6 : 1 в их пользу).

Для китайского командования перегруппировка японских войск и их подготовка к наступлению не являлась секретом. Примерно за две недели до начала наступления китайцы были о нем осведомлены. Это признавал даже Чан Кайши в специальной телеграмме, отправленной на имя командующего 1-м районом Вэй Лихуана уже после шаньсийского поражения. И тем не менее ни главное командование, ни командование района не приняли никаких реальных предупредительных мер, хотя китайские генералы имели полную возможность усилить угрожаемые направления за счет 34-й АГ и войск 2-го района. Но это означало бы ослабление сил, сосредоточенных против Особого района, против войск КПК. И главное командование китайской армии, по существу, предпочло поражение ослаблению сил, нацеленных против коммунистов.

Начав наступление 7 мая, японские войска уже к вечеру следующего дня добились решающего успеха. Части китайской 9-й армии под натиском восточной группы японцев были отброшены на двадцать пять километров. Наступая в направлении Цзянсянь — Юаньцзюй, противник энергичным ударом прорвал фронт 43-й армии, в образовавшийся коридор бросил кавалерию, вслед за ней, не задерживаясь для борьбы с оставшимися китайскими частями, двигалась пехота. К вечеру 8 мая японцы захватили Юаньцзюй. Японские кавалерийские части, не останавливаясь в Юаньцзюй, продолжали выдвижение на восток, в тыл 9-й армии.

К 12 мая японские войска полностью выполнили задачи, стоявшие на первом этапе наступления. Японские части восточной и западной групп соединились к северо-востоку от Юаньцзюй, в районе Шаоюаньчжэнь. В их руках оказались все важнейшие переправы через Хуанхэ. Японцы полностью отрезали китайские части, находившиеся на северном берегу реки Хуанхэ, от остальных войск 1-го района, располагавшихся на южном берегу, а также от баз снабжения. Войска 1-го района были расчленены на две изолированные группы.

Китайское командование на первом этапе боев проявило полную растерянность и бездеятельность. Некоторые указания войскам были даны только 9 мая, когда, по существу, поражение в южной Шаньси уже определилось. Рекомендованный мною как главным военным советником план организации взаимодействия войск 1-го, 2-го и 8-го районов китайское командование не приняло. Войска 2-го района в течение всей операции бездействовали, такое же положение наблюдалось и в 8-м районе. Две дивизии Фу Цзюй перешли в наступление только 25 мая, когда операция в Шаньси уже закончилась. Взаимодействие с частями 18-й АГ (войска КПК) не только не было организовано, но можно с уверенностью сказать, что китайское командование и не хотело его организовывать. Оно предпочло бы, чтобы части 18-й АГ встретились один на один с японцами.

После разгрома китайской группировки в юго-западной части Шаньси и выхода японцев к реке Хуанхэ создалась непосредственная угроза захвата Лояна и Сиани. Захват Лояна означал бы полный разгром 1-го военного района. Кроме того, создавалась непосредственная угроза левому флангу 5-го военного района, а в дальнейшем (если бы японцы ударили в центре) и всему району в целом. Опасаясь этого, китайское командование по нашим рекомендациям спешно приняло меры для усиления обороны южного берега Хуанхэ. В частности, в район Лояна была переброшена 13-я ар-

мия из составов войск Тан Эньбо. В общей сложности на южном берегу расположилось 16 пехотных дивизий, одна отдельная бригада, до 7 батарей артиллерии.

Однако японцы ограничились действиями в южной Шаньси и дальше не пошли. В результате шаньсийской операции они приобрели плацдарм, который серьезно нависал над районом Лоян — Сиань.

Главной причиной поражения китайской армии в южной Шаньси в мае 1941 года явилось нежелание китайского командования ослабить силы, сосредоточенные на северо-западе против Особого района.

СЕВЕР ИЛИ ЮГ?

Один из важнейших вопросов, который встал перед нашей страной к лету 1941 года, накануне гитлеровского вторжения, и в решении которого пришлось принять участие и нам в далеком Чунцине, — в каком направлении развернется дальнейшая агрессия японского империализма? Все понимали, что войны на западе нам не избежать. А на востоке? Проявят ли японские милитаристы в этом случае солидарность со своими союзниками по оси и ударят нам в спину? Или...

В тот период я и посол А. С. Панюшкин получили официальные указания из Москвы взвесить всю обстановку и твердо сказать, куда, по нашему мнению, на данном этапе пойдут японцы. Москва ждала от нас, находившихся ближе к источнику вероятного удара по нашей стране с востока, варившихся в котле дальневосточной дипломатии, ясного и по возможности четкого ответа на этот вопрос.

Так две проблемы перерастали в одну: возможность нападения Германии на Советский Союз и определение в этом случае позиции Японии. Будет ли открыт с первых дней войны на западе и второй фронт против нас на востоке? Общеполитическая обстановка не исключала нападения Японии одновременно с Германией на наш Дальний Восток. Поэтому некоторые работники нашего посольства не без основания могли считать, что Япония выступит против Советского Союза если не одновременно, то вскоре после нападения на нас Германии.

Япония, безусловно, готовилась к нападению на СССР. Японское правительство и командование сразу же после оккупации Маньчжурии стали укреплять маньчжурско-корейский плацдарм. Число укрепленных районов у границ Советского Союза в 1941 году достигло 18. В 1939—1940 годах Квантунская армия увеличилась с 9 до 12 пехотных дивизий и имела в своем составе примерно 350 тысяч солдат и офицеров. Генеральный штаб армии планировал в 1941 году ее дальнейшее усиление за счет роста численного состава дивизий и оснащения частей и соединений новым оружием. В 1940—1941 годах возросли войска марионеточных правительств Маньчжоу-го и Внутренней Монголии.

Однако, изучая обстановку в Китае и на Дальнем Востоке, анализируя ее на основе данных, поступавших в мое распоряжение, я все более и более приходил к выводу, что Япония на данном этапе вероятнее всего выступит не против Советского Союза, а развернет агрессию на юге, против англо-американцев. Мое убеждение основывалось на целом комплексе обстоятельств и конкретных фактов. Не требовалось особых доказательств тот факт, что Япония не имела достаточно сырьевых, стратегических ресурсов, таких, как железо, уголь, нефть, олово, и других, без которых она не могла считать себя достаточно сильной и готовой выйти на мировую арену борьбы с высокоразвитыми промышленными странами. Прежде чем вступить в большую войну, ей требовалось выбрать подходящий момент, когда основные силы ее противников будут связаны, ударить по слабо защищенным и богатым сырьевыми ресурсами районам, с тем чтобы в дальнейшем получить возможность вместе с Германией и Италией успешно бороться с англо-американцами или Советским Союзом.

По мощи военно-морского и военно-воздушного флота Япония в тот период оказалась сильнейшей державой на Дальнем Востоке. Эти силы в значительной степени еще не были пущены в ход и ожидали своего часа.

В то же время представлялось очевидным, что если между Гитлером и Муссолини к 1940 году существовало тесное военное взаимодействие, то Япония, несмотря на тройственный союз и антикоминтерновский пакт между державами оси, все же

проводила свою захватническую политику самостоятельно. Какого-либо координирующего центра между Японией и ее союзниками по оси не было.

Япония выжидала удобного случая и подыскивала очередную жертву, наиболее слабую, чтобы совершить новый молниеносный агрессивный бросок, но без особого риска еще больше увязнуть в длительной войне, как это случилось в Китае. Даже на китайском фронте Япония тогда действовала осторожно, берегла свои силы, нанося удары на наиболее уязвимых и слабо обороняемых направлениях.

Используя разгром Франции в 1940 году и ослабление позиций французского империализма в Юго-Восточной Азии, японцы без особого сопротивления захватили северную часть Индокитая. База для развертывания морских и авиационных сил Японии на юге постепенно расширялась за счет ослабления французами обороны этих районов. Из данных разведки, которыми я располагал, было ясно, что захваченный еще в 1938 году Гуанчжоу, остров Хайнань, порт Хайфон постепенно превращались в исходный плацдарм для дальнейшего продвижения японцев на юг. Быстрыми темпами там велась необходимая для этого подготовка.

Особенно это подтвердил один случайный источник. В марте 1941 года самолет, на котором один из японских адмиралов направлялся в Хайфон, пролетая над провинцией Гуандун, потерпел аварию и сел в горах. Адмирал со всем своим багажом и документами попал в руки китайских партизан. Об этом я вскоре узнал от китайцев, работавших в генеральном штабе. Судя по всему, документы, которые вез японец, имели большую ценность.

Я решил обратиться за этими документами прямо к самому Чан Кайши, зная, что если я адресуюсь в его штаб, все равно не получу нужного ответа без его разрешения. Я сказал Чан Кайши, что мне как советнику желательно познакомиться с этими документами, чтобы разработать соответствующие планы по борьбе с японцами на юге в связи с возможной их агрессией. Чан Кайши мне ответил, что эти документы к нему еще не прибыли, они еще в пути, а когда придут — не знает. Это была правда.

Меня заставляло торопиться важное обстоятельство. В то время через Маньчжурию в Германию ехал министр иностранных дел Японии Мацуока, и по газетным сообщениям было известно, что он остановится в Москве для важных переговоров с руководителями Советского Союза по вопросам взаимоотношений между двумя странами. Я сообщил в Москву о захвате японских документов китайскими партизанами в горах Гуандуна. Вскоре пришел ответ — постараться как можно скорее получить эти документы и срочно доставить их в Москву. Для этого из Москвы в Ланьчжоу выслался специальный самолет. Такая просьба Москвы и ее срочность вызывались тем, что Мацуока находился уже в пути.

В конце концов документы прибыли и поступили ко мне. Фотокопии я срочно направил в Ланьчжоу, откуда их на самолете доставили в Москву за несколько суток до приезда туда Мацуоки. Я и мои помощники С. П. Андреев и Н. В. Роцин, бегло просмотрев кадры второй копии, поняли, что документы представляли особо большую ценность: адмирал, потерпевший аварию, вез весьма ответственное задание о подготовке военного плацдарма на юге в районе Хайфона и острова Хайнань как базы для дальнейшего наступления на юг. К документам прилагались планы и схемы по организации аэродромов, морских баз и пунктов высадки сухопутных войск. По нашей оценке, эти документы соответствовали действительности, что подтвердилось дальнейшими событиями. Сопоставляя данные, полученные от французского военного атташе Ивона, а также по другим каналам, я лично не сомневался, что японцы готовятся к нападению на юго-востоке Азии.

В своих выводах я основывался на ленинской оценке о назревании тихоокеанской проблемы и войны между США и Японией. В. И. Ленин еще в 20-х годах писал: «Перед нами растущий конфликт, растущее столкновение Америки и Японии, ибо из-за Тихого океана и обладания его побережьями уже многие десятилетия идет упорнейшая борьба между Японией и Америкой, и вся дипломатическая, экономическая, торговая история, касающаяся Тихого океана и его побережий, вся она полна совершенно определенных указаний на то, как это столкновение растет и делает войну ме-

жду Японией и Америкой неизбежной»⁸. Данные, которые я получал в тот момент из многих источников, подтверждали ленинский прогноз. Я склонен был считать, что на том этапе японцы пойдут не против Советского Союза, а на юг с целью захвата англо-американских владений в Юго-Восточной Азии и бассейне Тихого океана. Не скрою, я очень волновался в тот момент, много думал: а что, если я ошибаюсь? Но согласиться с теми, кто утверждал иное, не мог. Как и многие, я понимал, что мы не могли ослабить на какую-то долю наши западные границы, и считал, что если мои выводы окажутся правильными, то в случае нападения гитлеровской Германии на нашу родину часть наших войск с Дальнего Востока можно было бы передислоцировать на запад для отражения фашистской агрессии.

Конечно, я был не единственным, кто в тот момент пришел к подобным выводам. Много лет спустя стало широко известно, что в этом же духе информировал Москву и находившийся в то время в Японии Рихард Зорге.

Милитаристская Япония не напала в 1941 году на Советский Союз. На это были многие объективные причины, о которых уже сказала свое веское слово история. Прежде всего это объяснялось мудрой политикой нашей партии и правительства, которые сумели правильно учесть сложившуюся обстановку на Дальнем Востоке, и в частности то обстоятельство, что Япония, готовясь к нападению на американцев и англичан на юге, была вынуждена пойти на временное соглашение с нами. Наше руководство располагало на этот счет проверенными данными. Заключение договора о нейтралитете с Японией при подготовке Гитлером нападения на Советский Союз было большой победой нашей дипломатии. Ведь в то время японцы знали, что Германия вот-вот нападет на Советский Союз. Это лишний раз подтвердило, что согласованности в военных планах держав оси пока не существовало.

Дипломаты ряда западных стран, находившиеся в Китае, особенно англичане и американцы, вместе с Чан Кайши стремились любыми способами втянуть Советский Союз в конфликт с Японией. Японии они всячески старались показать, что, несмотря на договор о нейтралитете, Советский Союз помогает Китаю и тем самым якобы нарушает договор. Нам они внушали, что, по их данным, японцы систематически усиливали свою армию в Маньчжурии, стремясь этим посеять недоверие к японцам. В то же время их давление на Чан Кайши говорило о том, что американцы и англичане имеют точные сведения о подготовке японцами плацдарма на юге Китая и в Индокитае для наступления в сторону Южных морей. США и Англия делали некоторые уступки японцам, но было видно, что эти уступки лишь поощряли агрессора.

Провокационная возня чанкайшистов и западных дипломатов с целью обострить советско-японские отношения особенно активизировалась с весны 1941 года.

Весной 1941 года в Чунцине начали усиливаться слухи, что немцы вот-вот нападут на Советский Союз. В то время начальник отдела внешних сношений ЦИК гоминьдана генерал Чжан Цюнь клятвенно заявил мне, что, по его данным, СССР должен ожидать нападения Германии в июне или самое позднее в июле. Вплоть до июня тот же Чжан Цюнь строго доверительно и только в личных беседах заверял меня, что Гитлер и Риббентроп усиленно давят на министра иностранных дел Японии Мацуоку, а также действуют через немецкого посла в Токио Отта, добиваясь, чтобы Япония как можно скорее совершила нападение на английские владения в Юго-Восточной Азии, в частности на Сингапур. Гитлер рассчитывал, что удар по Сингапуру сломит сопротивление Англии, а это, в свою очередь, изолирует США и предотвратит их вступление в войну в Европе. Об этом же предупреждал нас и руководитель военной разведки гоминьдановцев адмирал Ян Сюаньчэн.

Особенно усилилось поступление ко мне лично и в аппарат военного атташе данных о готовящемся нападении гитлеровцев на нашу родину после того, как в Англию был прилетел ближайший соратник Гитлера Рудольф Гесс. Миссия Гесса в Англию была воспринята в Чунцине как решение Гитлера уговорить англичан пойти на компромисс, чтобы затем напасть на Советский Союз. Этот факт как бы подводил черту всем кривоотлкам. Предлагалось считать, что нападение фашистской Германии на СССР — вопрос времени, причем очень близкого.

⁸ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 94.

Зная напряженное положение на наших западных границах, мы старались добывать объективную информацию о положении на Дальнем Востоке, чтобы предупредить Москву по важнейшему для нашей безопасности вопросу: куда направят свою агрессию японцы — на север или на юг. Поступающие материалы, которые говорили об опасности для Советского Союза со стороны Японии, мы не задерживали и срочно передавали в Москву. Вопрос окончательной проверки и выводов, конечно, являлся прерогативой центра. Но сведения о том, что японцы готовили базу на юге Китая и в районе Хайфона, поступали ко мне все в большем количестве.

Приблизительно за месяц до нападения на нашу страну гитлеровской Германии тяжело заболел начальник отдела внешних сношений ЦИК гоминьдана Чжан Цюнь, который считал своим долгом информировать меня как главного военного советника о положении не только в Китае, но и в тех странах, где были китайские военные атташе, в том числе и в Германии. Как подтвердили дальнейшие события, Чжан Цюнь достаточно точно назвал даже вероятные сроки готовившегося нападения на Советский Союз немецких фашистов. Его болезнь сопровождалась тяжелыми приступами, после которых он умер.

Международное положение Китая в этот период в значительной степени определялось обстановкой в бассейне Тихого океана, то есть взаимоотношениями между Японией, США и Англией. Ситуация в этом районе сложилась весьма противоречивая.

США и Англия, желая избежать обострения отношений с Японией, по-прежнему стремились найти с ней общий язык путем уступок. Именно об этом свидетельствовало, в частности, соглашение, заключенное между Сиамом (нынешним Таиландом) и Англией, по которому последняя обязалась снабжать Сиам нефтяными продуктами. Но Сиам к тому времени уже превращался в японский плацдарм в районе Южных морей. Об этом же свидетельствовали заявления президента США Ф. Рузвельта о неизменности политики США по отношению к Японии, заявление государственного секретаря США Хэлла, что поставки нефти в Японию будут продолжаться, и т. д.

Однако обстановка в районе Южных морей продолжала обостряться. Это проявилось, в частности, в срыве переговоров Японии с властями Голландской Индии. На собрании китайских деловых кругов в Сянгане (Гонконге) английский посол в Китае А. Кэрр заявил, что основной политической задачей Китая является продолжение войны, и до тех пор, пока Чан Кайши будет оказывать сопротивление Японии, Англия будет ему помогать. Пока это были одни слова. Правда, в тот момент Англия приняла некоторые меры военного характера, но не в плане оказания реальной помощи Китаю, а для защиты своих владений в Юго-Восточной Азии. В прессе появились сообщения о прибытии в Сингапур партии американских военных самолетов, продолжалось усиление Малайи и Сингапура австралийскими и индийскими войсками. Иными словами, обе стороны (Япония — с одной, Англия и США — с другой) использовали путь экономического и военного давления друг на друга с целью добиться компромисса. Так, японцы, перед тем как англичане согласились снабжать нефтью Сиам, сосредоточили 18-ю пехотную дивизию и другие части в непосредственной близости от Сянгана и увеличили количество своих боевых кораблей в примыкающих к нему водах. Прекращение переговоров между Голландской Индией и Японией также могло рассматриваться как давление США на Японию с целью сделать ее более уступчивой.

Допуская возможность вооруженного столкновения с Японией в районе Южных морей, США и Англия на словах заявляли о поддержке Китая и даже начали договариваться с последним о совместных военных мероприятиях. Этой цели посвятил свою поездку в Бирму генерал Шан Чжан. К этому сводились переговоры китайских представителей с английским командованием в Сянгане. В своем выступлении в Сянгане А. Кэрр даже признал существование де-факто англо-американо-китайского военного сотрудничества и заявил, что оно будет усилено, если японцы начнут наступление на юге. Мне стало известно, в частности, что оперативное управление китайской армии разрабатывало планы использования китайской армии для обороны Бирмы. Однако соглашение о взаимодействии не состоялось по вине англичан, которые не пожелали в тот момент пускать китайские войска в Бирму.

В начале лета 1941 года в Китай прибыла американская военно-воздушная мис-

сия во главе с генерал-майором Клэгтетом. Она продолжила работу миссии Л. Кэрри. Если последний должен был выяснить, в какой степени Америка может рассчитывать на Китай в случае японо-американской войны, то Клэгтет получил те же задачи, только значительно суженные и специализированные. Ему предстояло изучить состояние китайских воздушных сил и аэродромов (поскольку американская военная помощь Китаю в тот момент вырисовывалась в форме предоставления самолетов с летным и наземным обслуживающим персоналом), а также ответить на вопрос, в какой степени китайские ВВС и аэродромы могли быть использованы США в случае возникновения войны с Японией. Клэгтет и сопровождающие его лица значительное время уделили ознакомлению с китайскими военно-воздушными базами в Чэнду и Куньмине. 14 июня командующий ВВС генерал Мао вылетел в Рангун и Сингапур, а группа китайских летчиков направилась в Рангун за получением американских истребителей.

В тот момент предполагалось, что американцы передадут Китаю 100 самолетов с летным и техническим персоналом. Готовность этих самолетов к боевым действиям относилась на осень 1941 года, когда обычно кончался период бомбежек. Однако в июне 1941 года в Китае не было еще ни одного американского боевого самолета. Предварительно наброски американской военной помощи Китаю (шли разговоры о 40 миллионах долларов) не выходили за рамки благих пожеланий. К концу июня 1941 года Китай от Америки реально ничего не имел. Правда, США в качестве широкого жеста заявили об отказе от прав экстерриториальности в Китае после окончания японо-китайской войны. Но в тот момент это ничего не давало Китаю и должно было лишь символизировать американскую линию подчеркивания дружественных отношений к Китаю.

Надо сказать, что еще Л. Кэрри во время своего пребывания в Китае проявлял особый интерес к размерам советской помощи Китаю. Некоторые официальные лица гоминьдановского руководства, в частности помощник Дай Ли Чжэн Цзэмин, в тот период говорили мне, что американцы вообще не возражали бы, чтобы СССР побольше помогал Китаю, а они ограничились бы теплыми словами о дружбе и заявлениями о моральной поддержке.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Грянула Великая Отечественная война.

Мне тяжело было в те дни в Китае. Сердцем я находился дома, со своими товарищами, которые отстаивали родину, но задачу свою я еще не выполнил. Известие, полученное в далеком Чунцине, о нападении гитлеровской Германии на нашу страну не явилось неожиданным для нас. О возможности такого нападения в ближайшие месяцы мы сами информировали Москву. Однако начавшаяся война тяжело отразилась на всех нас. Условия и обстановка, в которых мы продолжали работать, намного усложнились. Наши первые неудачи на западном фронте вызвали радость у тех, кто всегда относился недоброжелательно к нашему присутствию в Китае. Несмотря на выражение в официальной прессе сочувствия СССР, подвергнувшемуся агрессии германского фашизма, многие из китайских руководителей откровенно злорадствовали.

С момента нападения на нас гитлеровской Германии мы все почувствовали особо возросшую ответственность, которая возлагалась на нас за точность информации, передаваемой в Москву, о положении на Дальнем Востоке. Непроверенные, тем более ошибочные информационные данные исключались, но не так просто было получить интересующие нас сведения, тем более ручаться за их точность. Ведь Япония, где разрабатывались планы дальнейшей агрессии, находилась от нас за сотни и сотни километров. А между тем нам требовалось точно знать, чтобы предупредить центр, куда же японцы бросят свои крупные ударные силы флота и авиации, которые у них находились наготове, а также армейские соединения, не пущенные в ход в Китае.

Второй фронт на востоке мог возникнуть для нас в то критическое время, когда на западе мы несли тяжелые потери и отступали. Теперь, когда многие документы преданы гласности, известно, что 24 июня 1941 года министр иностранных дел Германии Риббентроп советовал японскому послу в Берлине Осиме «не упускать из виду русский вопрос и использовать этот год для того, чтобы энергично атаковать противника и совместными действиями окончательно вывести его из войны».

Если до лета 1941 года Гитлер и Риббентроп усиленно нажимали на Японию, чтобы она скорее вступила в войну против Англии и захватила Сингапур, то с момента нападения Германии на Советский Союз дипломатия Гитлера резко меняется. Теперь он добивался быстрее вступления Японии в войну против СССР. В зашифрованной телеграмме Риббентропа германскому послу в Токио Отту от 10 июля 1941 года говорилось: «Однако прошу я Вас, примите все меры для того, чтобы настоять на скорейшем вступлении Японии в войну против России. Как я уже упомянул в моем разговоре с Мацукой, чем скорее это произойдет, тем лучше. Наша цель остается прежней — пожать руку Японии на Транссибирской железной дороге еще до начала зимы. После поражения России положение держав оси будет таким прочным, что разгром Англии или полнейшее уничтожение Британских островов явится только вопросом времени. Америка, полностью изолированная от всего остального мира, будет стоять перед фактом захвата нами тех владений Британской империи, которые имеют важнейшее значение для наших трех стран».

Из документов видно, что Гитлер не особенно доверял японцам свои планы. В одной из его директив указано: «Японцам не следует предоставлять никаких данных по поводу плана „Барбаросса“». Судя по шифротелеграмме германского посла в Токио Отта, направленной Риббентропу 14 июля 1941 года, японцы также держали в секрете от немцев свои планы.

Отт писал: «Я пытаюсь всеми средствами добиться вступления Японии в войну против России в самое ближайшее время. Для того чтобы убедить лично Мацуку, а также МИД, военные круги, националистов и дружески настроенных людей... считаю, что, судя по военным приготовлениям, вступление Японии в войну в самое ближайшее время обеспечено».

Да, в июле и в августе японская пресса подняла сильный шум против Советского Союза из-за каких-то шхун, якобы потопленных в Японском море по вине нашего морского командования. Но, по-видимому, это была лишь маскировка активной подготовки японской агрессии в южном направлении...

Начавшаяся война между СССР и Германией стала фактором, оказавшим большое влияние на положение на Дальнем Востоке и на внешнеполитическую линию гоминьдановского правительства. Она показала большое чувство симпатии к Советскому Союзу, которое жило в китайском народе. В то же время за подчеркнутым дружелюбием к СССР со стороны официальных лиц гоминьдана, и в частности Чан Кайши, в тот момент скрывались корыстные расчеты и соображения. Чан Кайши считал, что в создавшейся ситуации война между СССР и Японией неизбежна и что сближение между СССР, Англией и США может привести к военному союзу этих государств и Китая на Дальнем Востоке. 2 июля 1941 года гоминьдановское правительство заявило о разрыве дипломатических отношений с Германией и Италией и присоединении Китая к блоку антиагрессивных государств. Этот дипломатический жест имел далеко не бескорыстный характер. Правящие круги Китая намеревались заставить США, Англию и Советский Союз оказывать большую помощь Китаю и втянуть их, в первую очередь СССР, в вооруженный конфликт с Японией. Война между СССР и Японией, по мнению китайского правительства, должна была стать тем моментом, который коренным образом изменил бы положение на Дальнем Востоке в благоприятную для Китая сторону. Поэтому китайское правительство в тот момент стремилось добиться военного союза с СССР. Мы получили на этот счет совершенно определенные предложения Чан Кайши, по-видимому предварительно согласованные с американцами и англичанами, стремившимися разрядить положение в районе Южных морей за счет обострения отношений между СССР и Японией.

Могли ли мы быть уверенными в искренности китайского правительства? Не существовала ли в тот момент опасность, что Чан Кайши, воспользовавшись нападением гитлеровской Германии на СССР, не придет к компромиссу с Японией и не попытается ликвидировать КПК и ее вооруженные силы? Такую возможность исключить полностью было нельзя. У меня имелись данные, которые свидетельствовали о том, что этот вариант обсуждался в окружении Чан Кайши, в частности между ним и Бай Чунси. Однако я приходил к выводу, что правительство Чан Кайши встало бы на этот путь лишь в том случае, если США и Англия, сговорившись с Германией,

стали бы поддерживать последнюю в войне с СССР. На Дальнем Востоке это означало бы их сговор с Японией и натравливание ее на СССР. Был еще один фактор, который удерживал Чан Кайши от сговора с японцами,— боязнь возмущения широких народных масс, симпатизирующих СССР, невозможность для него в тот момент пойти на развязывание гражданской войны. О своих выводах я доложил в Москву.

Официальные заявления гоминьдановских руководителей сводились к заверениям, что СССР не должен опасаться капитуляции со стороны Китая и в случае японского нападения на советскую землю может полностью рассчитывать на китайские вооруженные силы. Явная демагогия! В трудный и напряженный для нас момент Чан Кайши по-прежнему вел линию на обострение советско-японских отношений, более того — на провоцирование войны между Японией и СССР. Нашему послу требовалось быть все время начеку, чтобы вовремя информировать наше правительство о замыслах Чан Кайши. Тяжелое бремя ответственности ложилось и на аппарат военного атташе, на главного военного советника, на весь наш советнический аппарат.

После вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз войска Чан Кайши и особенно войска, находившиеся под руководством КПК, казалось, должны были развить активную боевую деятельность против Японии и тем самым сковать ее силы. Однако вместо активной помощи Советскому Союзу в этот трудный и напряженный для нас момент Чан Кайши по-прежнему занимал выжидательную и провокационную позицию. Он лично через меня предложил нашему правительству, чтобы СССР первым напал на Японию и разбил ее. Этим Чан Кайши разоблачил свои тайные намерения, показав свое истинное лицо политика-провокатора.

Какую же позицию в этот период занимали Мао Цзэдун и его окружение?

Забегая несколько вперед скажу, что осенью 1941 года, когда для Советского Союза сложилось очень тяжелое положение, когда враг подходил к Москве, а Квантунская армия была приведена в полную боевую готовность для нападения на Советский Союз, Мао Цзэдун, вместо того чтобы сковать военными действиями в Северном Китае японские войска и тем самым помочь нашей стране, распространял утверждения о неизбежности поражения Советского Союза. Тогда же Мао Цзэдун начал националистическую кампанию «чжэнфэн» — «движение за упорядочение стиля работы». Фактически под этой маскировкой проводилась антисоветская политика, подрывавшая прежде всего единый фронт борьбы китайского народа против Японии и направленная на установление маоцзэдуновской диктатуры как в партии, так и в войсках. Лучшим свидетельством тому служит выступление самого Мао Цзэдуна в ноябре 1941 года в партийной школе в Яньане. Мао так распределил свои силы: «10 процентов на борьбу с японцами, 20 процентов — на борьбу с гоминьданом и 70 процентов — на рост своих сил». В соответствии с этой установкой войска КПК во второй половине 1941 года не вели активных боевых действий против японцев. Когда гитлеровцы подходили к Москве, Мао Цзэдун высказался за отвод Красной Армии на восток, за Урал, за ведение против фашистов партизанской войны по примеру китайцев, за ожидание наступления англо-американских войск на западе. Маоисты утверждали, что защита Китая является главной задачей всего человечества. Газета «Цзефан жибао» в октябре 1941 года писала, что «китайской нации принадлежит главная роль в руководстве угнетенных наций мира».

...И Чан Кайши и Мао Цзэдун каждый по-своему преследовали свои корыстные, эгоистические цели в политике, по-прежнему пренебрегая высшими интересами национально-освободительной борьбы, которую вел народ Китая.

ПОДГОТОВКА ИЧАНСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Придерживаясь пассивной тактики в борьбе с японцами, гоминьдановское командование в то же время хотело создать видимость активности своей армии на фронтах. Чан Кайши, его генеральному штабу и штабам районов нужно было что-то говорить народу о боевых действиях. Они стремились показать китайской и международной общественности, что 300 дивизий, которые числились под их командованием, активно сражаются с японцами и их марионетками. Для этого китайское командование не стеснялось идти на обман. Из армий и районов регулярно шли сводки в гене-

ральный штаб о боевых действиях на многих участках фронта. Эти сводки, обработанные в оперативном управлении генерального штаба, регулярно докладывались Военному совету и иногда с топографическими картами, вводящими в обстановку, помещались в газетах. Военный совет регулярно заслушивал эти сводки, но решения по ним принимались редко. Они подшивались «к делу» со ссылкой на принятые меры командующими на местах. При проверке через военных советников в районах и армиях эти сводки чаще всего опровергались. Выяснилось, что никакие военных действий не велось. Имея эти данные, я не хотел открыто выступать с ними на заседаниях Военного совета, полагая, что это не помогло бы делу и выполнению задач, стоявших перед нашими советниками в районах и армиях. Китайское командование могло еще больше засекретить от нас обстановку. Китайские штабы умели, как говорят, пускать пыль в глаза.

Как китайские генералы умели обманывать общественное мнение, официально распространяя решения и сводки о «крупных сражениях», свидетельствует следующее. Чтобы показать видимость, что китайская армия сражается крупными силами против японцев, генеральный штаб отдавая приказ какому-нибудь району провести операцию половиной своих сил, а остальные иметь в резерве. Командующий районом в свою очередь отдает свой приказ командующим армиями перейти в наступление половиной своих войск (например, из четырех армий только двум). Командующие армиями в свою очередь отдают приказ половине наличных у них дивизий перейти в наступление. В результате количество войск, участвующих в планируемых операциях, доводится до нескольких рот или батальонов, которые, конечно, ничего серьезного предпринять не могут. Но создается видимость, что приказ официально выполняется, время идет, пишутся сводки, и на Военном совете один из работников генерального штаба докладывает о «боевых действиях» на фронте, фактически не проводимых.

Весной 1941 года одновременно с операцией в провинции Шаньси японцы предприняли массированное воздушное наступление на Чунцин, столицу гоминьдановского Китая. Начиная его, японское командование рассчитывало вызвать панику у населения и сломить волю китайского народа к борьбе. Японцы настолько обнаглели, что не стеснялись даже объявлять в печати о бомбардировках Чунцина, зная, что их авиация не встретит сильного сопротивления. Например, японцы объявляли сточасовую бомбардировку китайской столицы. Нужно отдать должное терпению китайцев, стойко выдержавших многочисленные налеты. Дух народа не был сломлен.

Со второй половины 1941 года западные державы, в особенности американцы, стали проявлять явные признаки беспокойства по поводу того, что японцы не увеличивали контингенты своих войск в Китае. В то же время подготовка ими наступательных плацдармов на юго-востоке Азии нарастала быстрыми темпами. По-видимому, англо-американская, а также китайская разведки не могли не обнаружить подготовки японцев к активным действиям на юге. Китайские высшие руководители, включая самого Чан Кайши, несколько приободрились и почувствовали себя увереннее. Они рассчитывали, что в скором времени Япония нанесет удары вне Китая, и надеялись тем самым приобрести партнеров по борьбе.

Начиная со второй половины 1941 года американские представители в Китае не скупились на обещания финансовой и военной помощи Чан Кайши. В Чунцин прибыл новый посол К. Гаусс и военный атташе полковник Дэлас. Вслед за ними в конце августа 1941 года туда прибыла военная миссия во главе с бригадным генералом Мэргрудером для изучения положения в Китае. Несколько раньше (в начале августа) в составе китайских ВВС была создана группа американских летчиков на самолетах «П-40» под командованием генерал-майора К. Ченнолта. Эти мероприятия американцев правительство Чан Кайши встретило с одобрением.

Китайские летчики начали изучать американские приемы воздушного боя, которые, по существу, мало чем отличались от тактических приемов советских летчиков. Американцы не захотели воспользоваться авиационными базами, которые были подготовлены и использовались нашими летчиками в районе Чэнду, Ланьчжоу и других городов. Они больше ориентировались на районы к югу от Янцзы и размещались на аэродромах близ Куньмина, Гуйяна и других южных городов. Выбор аэродромов и авиационных баз американцами на юге Китая мы расценивали как подготовку

к возможным совместным действиям китайских сухопутных войск с авиацией США против японских баз, создававшихся на юге. Это до известной степени подтверждало наши соображения, что японцы готовят агрессию в районе Южных морей.

Прибытие американской миссии во главе с Мэгррудером и особенно американских летчиков свидетельствовало о том, что американцы, несмотря на переговоры с японцами, обеспокоены их действиями и решили начать реальную помощь Китаю всеными, особенно авиационными, средствами. От командующего китайской авиацией Мао мы знали о прибытии в Чунцин американских инструкторов, какие самолеты и сколько он думает получить. Я лично через Мао познакомился с некоторыми американскими авиационными инструкторами, которые откровенно рассказывали, с какой целью они прибыли в Китай.

В то же время мы, советские советники, принимали все меры, чтобы активизировать военные действия китайской армии. Это должно было показать в первую очередь самим китайцам, что их армия окрепла, что японцы, которые увязли в Китае, не так уж сильны, что они уже не в состоянии в сложившейся обстановке успешно проводить крупные наступательные операции. В вопросе активизации войск Чан Кайши нас поддерживали американцы и англичане. Кроме того, мы добились хороших результатов в подготовке оборонительных укреплений, и все попытки японцев где-либо прорвать оборону китайцев на широком фронте и захватить новые районы в 1941 году успехом не увенчались. Их частные наступательные операции успешно отражались.

В этой обстановке летом 1941 года аппарат главного военного советника стремился активизировать подготовку наступательной операции китайских войск, которую планировалось осуществить на центральном участке фронта в районе Ичана (к западу от Ханькоу). План ичанской наступательной операции разработал наш советнический аппарат еще в марте — апреле 1941 года, и затем он дорабатывался оперативным управлением совместно с советниками генштаба и с привлечением начальников всех родов войск.

Основная цель операции состояла в разгроме группировки противника, оборонявшейся к западу от реки Сянхэ, в треугольнике Ичан — Цзинмэньчжоу — Цзинчжоу, овладении городом Ичаном и выходе армий 5-го и 6-го районов на реку Сянхэ для дальнейшего наступления на Ханькоу. Выполнение этой задачи возлагалось на войска 5-го и 6-го районов с привлечением войск 9-го и 3-го районов, которые, выйдя на Янцзы и перерезав основную коммуникацию противника, должны были отвлечь на себя его резервы и лишить возможности свободно ими маневрировать. Для выполнения операции предполагалось создать мощную ударную группировку — 33-ю армейскую группу (5-й район) и 26-ю армейскую группу (левое крыло 6-го района) общей численностью до 200 тысяч человек (включая резервы), с большим усилением их артиллерией. Одновременно предполагались активные боевые действия войск других районов.

Японские силы в этом районе состояли из двух пехотных дивизий, в частности 13-й и 39-й, которые совместно с марионеточными войсками предателя Ван Цзинвэя оккупировали плодородный Ичанский район в долине реки Янцзы, являвшейся богатой рисовой житницей Центрального Китая. Борьба за его возвращение была настоятельной необходимостью. Многие видные китайские деятели видели в этом решение продовольственной проблемы и укрепление финансов гоминьдановского Китая.

Мы учитывали также, что Чан Кайши в ответ на обещанную американскую помощь сам должен был как-то показать, что его войска могут не только обороняться, но и отвоевывать захваченные японцами районы. Мы понимали, что в наступлении китайских войск весьма заинтересованы наши западные союзники. Для нас тоже было выгодно отвлечь японцев в момент, когда они усиливали Квантунскую армию в Маньчжурии.

В августе планы наступательных операций были разработаны во всех районах и спущены в армии для их дальнейшей конкретизации. Командование 6-го, 9-го, 3-го районов в основном правильно спланировало наступательные действия своих войск, создав ударные группировки и поставив задачи в духе оперативного плана генштаба. Однако в 5-м районе уменьшили состав ударной группировки на одну армию, не по-

ставили конкретных задач перед армейскими группами, предоставив все решать им самим. Важнейший вопрос взаимодействия между армиями и армейскими группами командование 5-го района выпустило из своих рук.

Кроме того, в ходе подготовки операции было значительно уменьшено количество придаваемой 5-му и 6-му районам артиллерии главного командования: вместо 287 стволов тяжелых и средних калибров фактически выделялся 141 (в 2 раза меньше!). Такое большое уменьшение войсковых единиц и артиллерии, предназначенных в главную группировку, сильно ее ослабляло. Кроме того, артиллерия не распределялась по войскам, а стояла на прежних местах, вдали от войск. Артиллерийское командование не знало даже, кого поддерживать и в каком направлении действовать. Докладывая Чан Кайши о ходе подготовки ичанской операции, я настоятельно рекомендовал ему провести еще целый комплекс мероприятий.

...Прежде чем предложить Чан Кайши и его генеральному штабу детальный план наступления на Ичан, я решил со своим помощником и переводчиком С. П. Андреевым в сопровождении китайского генерала из оперативного управления генштаба побывать в войсках ближе к фронту, побеседовать с командующим войсками 6-го военного района генералом Чэнь Чэном, части которого должны были играть главную роль в боях за Ичан. Хотелось, чтобы план наступления исходил от генерала Чэнь Чэна, а я только всячески поддерживал бы его.

Эта поездка отняла у меня около трех недель, но польза от нее оказалась весьма ощутимой. При встрече с командующим районом генералом Чэнь Чэном и его штабом удалось договориться о плане операции, принятом с нашими исправлениями.

6-й район, один из главных районов японо-китайской войны, располагался к югу от Янцзы, на чунцинском направлении. Во главе района стоял один из лучших гоминьдановских генералов, тесно связанный с Чан Кайши, — Чэнь Чэн. Фронт обороны района составлял около шестисот километров, хотя приличных коммуникаций, идущих с востока через Ухань на Чунцин, было немного. Лучшая сухопутная дорога — южная, по которой мы ехали в штаб района, дислоцировавшийся в городе Эньши. Второй, речной путь шел по Янцзы. От Уханя до Чунцина и выше могли ходить пароходы. От Чунцина на восток сухопутные дороги проходили по горам, через крутые подъемы и глубокие ущелья, оборонять которые можно было малыми силами. Но ближе к Ичану долина Янцзы была равнинной, хлебородной. Главные культуры здесь — рис, чай и бобовые злаки.

Наш путь лежал из Чунцина на юг с резким поворотом на восток из района Цицзян на Наньчуань, Пэншуй и далее на Эньши, где находился штаб Чэнь Чэна.

Поездки по Китаю в то время лимитировались отсутствием горючего в запрачных колонках или на станциях отдыха. Все горючее было на строгом учете, а то, которое каким-то образом попадало в частные руки, к торговцам, невозможно было приобрести — за него ломали невероятные цены.

В районе Наньчуаня нас встретил командующий 5-й армией, которая считалась лучшей в гоминьдановских войсках. Она находилась в резерве на основных оперативных направлениях Ухань — Чунцин, Ухань — Гуйян. Армия была укомплектована до полного штата, хорошо обучена и вооружена лучшим оружием, главным образом нашим советским. Личный состав поголовно грамотный, подобран по классовому признаку — сыновья из зажиточных семей, обработанные в духе политики правящих кругов Китая. Эта армия являлась опорой гоминьдана. Ее контролировал непосредственно Чан Кайши.

Мы проезжали по горным районам, изредка пересекаемым речками, текущими в глубоких ущельях. Иногда встречались поселки, главным образом вдоль рек и ручейков. Вода в горах — редкое явление, поэтому жители селились в низинах и долинах. Здесь культивировались бобы и соя, да и то на маленьких площадках-террасах по склонам гор.

В каждой фанзе ютилось по 10—15 человек. Бедность и грязь выливались наружу из всех дверей и проулков, в которые мы могли случайно заглянуть. Но, несмотря на это, нас удивляло гостеприимство простых китайцев, которое они проявляли к нам, советским людям. Иногда нам приходилось останавливаться в пути около

населенных пунктов, чтобы отдохнуть, размяться от долгой езды. Наши машины медленно окружали десятки ребятишек, которые прежде всего спрашивали, кто мы. Мы вначале отделялись общими ответами — «вайго жэнь» (иностранцы). Это их не успокаивало, вопросы продолжались. И когда они узнавали, что мы советские, ребятишки извещали о нас весь поселок и стремились чем-то нас угостить, прежде всего тащили металлический закопченный чайник с чаем, иногда печенье и фрукты. Когда мы их спрашивали, за что они нас угощают, ответы везде были одни и те же — советские люди хорошо помогают Китаю бить врага. Такое отношение к советским людям, конечно, шло через головы гоминьдановских правителей. Простой китайский народ помнил и знал, как советские добровольцы сражались с их смертельными врагами — продажными китайскими милитаристами и японскими агрессорами.

После долгого путешествия мы наконец прибыли в Эньши, где находился штаб командующего 6-м районом. Нас встретил генерал Чэнь Чэн. Среди гоминьдановских генералов он считался одним из прогрессивных. Советником при Чэнь Чэне был полковник Гончаров, которого я знал как хорошего командира еще по войне с белофиннами. Генерал отвел нам лучшие помещения в городе, но одновременно окружил шпиками, которые работали так неуклюже, что мы тут же их распознали.

Мои беседы с командующим районом носили довольно откровенный характер. Я знал, что уговорами его не увлечешь на активные действия против японцев. Для китайского генерала в то время понести потери в войсках и материальных средствах и не добиться при этом успеха значило потерять авторитет и ощутить личный материальный ущерб. Ему нужно было пообещать нашу материальную помощь и поддержку со стороны Чан Кайши.

Итак, мы обещали Чэнь Чэну добиться у Чан Кайши, чтобы на главное направление наступления было придано как минимум 100 орудий с тремя боекомплектами снарядов за счет группы Ху Цзуннаня, хотя понимали, что получить разрешение Чан Кайши на такое перемещение будет нелегко. Вместе с генералом мы изучили обстановку предстоящей операции. Наиболее слабым местом в обороне японцев оказался участок севернее Ичана, который почти со всех сторон окружали китайские войска, кроме одного выхода по дороге на Ухань. Каких-либо прочных укреплений в районе Ичана у японцев не было, если не считать окопов и глинобитных стен домов в китайских поселках.

По словам полковника Гончарова, сам Чэнь Чэн не раз продумывал операцию по захвату Ичана. Генерал предложил мне рассмотреть план, разработанный им вместе с его советником. Когда я ознакомился с ним, то увидел вполне приемлемый и почти законченный план операции, с которым тут же согласился. Я сделал несколько дополнений — не ограничиваться дневными боями, шире применять ночные действия и привлечь к операции дополнительно артиллерию как маневренный резерв в руках командующего. Я знал, что эту артиллерию будет трудно взять от Ху Цзуннаня, что Чан Кайши будет этому сопротивляться. Но я надеялся, что командующий 6-м районом при моей поддержке сумеет уговорить Чан Кайши. Изъятие 100 орудий у армейской группы генерала Ху Цзуннаня, которая была нацелена против Особого района, несколько снижало ее боеспособность и разряжало напряженность между войсками гоминьдана и КПК. Собственно, в этом также состоял наш расчет.

Возвращались мы из этой поездки пароходом по Янцзы, которая почти от самого Ичана была с обеих сторон стиснута горами. Плавание вверх по течению многоводной и быстрой реки на паршивеньком пароходе отняло у нас более трех суток, но зато мы провели хорошую рекогносцировку, убедились, что непосредственно вдоль реки дорог нет. На Чунцин можно наступать только по самой реке на пароходах или самоходных баржах. Китайцы для защиты этого направления имели несколько оборонительных узлов с орудиями, установленными в пещерах, выдолбленных в обрывистых берегах и хорошо замаскированных. Они могли держать русло реки под огнем прямой наводкой, будучи сами малоуязвимы для артиллерии или авиации японцев. По пути мы два раза выходили на берег, чтобы ознакомиться с этими оборонительными узлами. Эту оборону я искренне признал хорошей.

Не знаю, случайно или нет, но японские самолеты несколько раз появлялись над рекой Янцзы, что заставляло наш пароход останавливаться и прижиматься к

берегу: стоящий у берега пароход с выключенной машиной трудно обнаружить с самолета. Эти остановки, быстрое встречное течение реки сильно замедляли наше путешествие. Часто на пароход садился лоцман и медленно проводил нас через особо опасные пороги.

Прибыв в Чунцин, я представила на имя Хэ Инциня доклад о своей поездке. Отметил, что дорога на Чунцин вдоль Янцзы прикрыта надежными войсками и укреплениями, которые японцам трудно преодолеть. Я также подчеркнул, что войска генерала Чэнь Чэна могут не только обороняться, но и наступать, а японцы, находясь долгое время в пассивном состоянии, утратили наступательный дух. С теми силами и резервами, которые имелись у них в этом районе, они не смогут развернуть широкие наступательные действия. На этом направлении малыми силами можно было обороняться против более сильного противника. В своем докладе я обращал внимание на слабость изолированных японских гарнизонов, часто удаленных один от другого на несколько десятков километров. Такие гарнизоны, сплошь и рядом без тактической и даже без оперативной связи между собой, представляли удобные изолированные объекты, которые можно было без особого труда окружать со всех сторон и громить по частям. Я подчеркивал, что таким отдельным изолированным гарнизоном являлся Ичан, который обороняла 13-я японская дивизия.

Мой доклад был представлен Чан Кайши и, как мне сказали потом, ему понравился. Тогда же я узнал, что этот доклад стал известен послам и военным атташе США и Англии.

ПРОВАЛ ЯПОНСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ НА ЧАНША

В конце лета 1941 года обстановка на нашей родине сложилась очень тяжелая. Враг овладел Киевом, рвался к Москве, подходил к Ленинграду. Многие китайцы, англичане и американцы открыто заявляли нам, что японцы вот-вот нападут на наш Дальний Восток. Китайцы подсовывали приметы якобы скорого наступления против нас Квантунской армии: японцы выкрасили автомашины в особый цвет, которым они всегда камуфлировали автотранспорт перед наступлением; утверждалось, что из северных провинций Китая идут переброски войск японцев в Маньчжурию через порт Дайрен (Дальний), что в Сеул поступает много боевой техники, в том числе и танков,— все это направляется к границам Советского Союза...

К этим данным следовало относиться осторожно, критически. Чан Кайши, американцы и англичане хорошо видели, как японцы готовили плацдарм на юго-востоке для нападения на страны, омываемые водами Тихого океана. Соответствующих мер обороны западные державы не приняли и, конечно, за это заплатились. Но нам они внушали, что Красной Армии выгодно первой ударить по Квантунской армии. Мы удивлялись наивности наших «информаторов». Они воображали, что мы, военные советники, верим их провокационной болтовне. Хотя данные разведки свидетельствовали о том, что японцы выдвигали свои войска в Маньчжурии ближе к нашей границе, но они не усиливались за счет дополнительных контингентов из Японии или Китая. В то же время другие источники вновь и вновь подтверждали усиленную подготовку японских баз на юге, в районе острова Хайнань и в Индокитае. Я снова и снова взвешивал все данные, чтобы не ошибиться в оценке обстановки...

В этой сложной обстановке я получил очень интересную и важную информацию от начальника разведывательного управления генерального штаба китайской армии адмирала Ян Сюаньчэна, который был сравнительно прогрессивно настроен, хорошо относился к нам, советским людям, и лично ко мне. Я часто с полковником С. П. Андреевым заходил к нему в кабинет, рассказывал о своих поездках по стране, делился впечатлениями. Адмирал Ян Сюаньчэн в осторожных выражениях дал мне понять, что все разговоры о подготовке Квантунской армии к наступлению ни на чем не основаны. Он мне прямо сказал, что японцы, застряв в Китае, запоздали с захватами стратегических ресурсов на юге, без которых Япония не может считать себя подготовленной к серьезной войне с более сильным противником, чем Китай. Он не отрицал возможности нападения на советский Дальний Восток, но только в том случае, если немцы овладеют Москвой, и другими промышленными

районами, например Уралом, то есть когда Советский Союз настолько ослабевает, что для войны с ним японцам не потребуется много сил и материальных средств.

Мы понимали, что нападение японцев на Советский Союз или на Англию и США выгодно Чан Кайши в любом случае. Чан Кайши считал, что наступление японцев на юге в первую очередь имело бы отрицательные последствия для связей Китая с капиталистическими странами Запада, в частности по бирманской дороге, которую японцы в этом случае постарались бы прервать. Кстати, в начале 1942 года они это осуществили. Прокладывать новый автомобильный путь в Китай через Тибет и Индию западным державам было трудно, долго и небезопасно. Удар японцев на юг отрезал и изолировал Китай от Америки, от ее военных поставок. Наоборот, наступление японцев на СССР облегчало бы Чан Кайши борьбу с КПК и ее войсками.

Я учитывал, что начавшееся поступление в Китай военной помощи из Америки, прибытие в Чунцин военной миссии во главе с Мэгррудером и затем американских летчиков, а также подготовка наступления китайских войск на Ичан заставит задуматься японское руководство. Японцы наверняка знали, что американцы намерены всерьез начать оказывать помощь Китаю. Они этого боялись, особенно американской авиации, «летающих крепостей». Это обстоятельство также заставляло их ускорить подготовку к большой войне в бассейне Тихого океана.

Параллельно японские дипломаты вели длительные переговоры с американцами. Последние то незначительными подачками, то наложением эмбарго на некоторые виды стратегического сырья по-прежнему стремились умиротворить агрессора, отвлечь его внимание от юга, косвенно толкая на север, против Советского Союза. Между Вашингтоном и Токио все время курсировал японский дипломат Курусу. Хотя это происходило втайне, но о торге между Америкой и Японией знал весь мир.

Прибытие в Чунцин нового американского посла Гаусса и военного атташе полковника Дэпаса, с одной стороны, вроде бы свидетельствовало о том, что американцы уже не рассчитывали на дальнейшую стабильность политической обстановки на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого и Индийского океанов. Вместе с тем парадоксально было то, что они, американцы, по-видимому, не очень верили и в возможность нападения японцев на свои колониальные владения.

Конечно, в этот момент ни я, ни мои коллеги не верили в искренность японцев, заключивших с нами договор о нейтралитете. Наша страна не собиралась нападать на кого-либо, но была готова отразить нападение с любой стороны. Верить японским милитаристам, которые в конце 30-х годов дважды нападали на наши вооруженные силы на Дальнем Востоке, спали и видели своим наше Приморье, было бы большой наивностью, если не сказать больше. В своих донесениях в Москву я утверждал, что мирная обстановка на нашем Дальнем Востоке целиком и полностью зависит от результатов сражений на западе. Наши успехи и срыв гитлеровского плана «Барбаросса» будут лучшим отрезвляющим средством для Японии. Китай, несмотря на все попытки японских агрессоров сломить его волю к борьбе, продолжал оказывать сопротивление.

Бурное негодование всех прогрессивных сил страны вызвало дипломатическое признание Германией и Италией прояпонского правительства Ван Цзинвэя, чего давно добивалось правительство Коноэ⁹. Последовал ряд выступлений китайских ученых и деятелей культуры, в которых выражалась воля и решимость бороться до конца. 7 июля 1941 года была опубликована декларация компартии Китая с призывом к тесному союзу СССР, Китая, США и Великобритании против фашистского блока. Надо сказать, что такую реакцию прогрессивных сил страны на дипломатическую акцию Германии и Италии Чан Кайши воспринял положительно, ибо мечтал как можно скорее втянуть в военные действия против Японии СССР и западные державы.

...Вскоре в Чунцин прибыл командующий войсками 6-го района генерал Чэнь Чэн. Генерал кратко проинформировал меня о готовности войск к наступлению. По его словам, он прибыл в Чунцин, чтобы лично получить одобрение самого Чан Кайши на проведение наступательной операции. У меня появилась надежда, что подготовка

⁹ Германия и Италия официально признали прояпонское марионеточное правительство Ван Цзинвэя 4 июля 1941 года.

наступления на Ичан вступила в завершающую фазу. Я и мои помощники — советники при отделах военного министерства, а также в военных районах и в армиях — работали не покладая рук, помогая китайцам как можно лучше спланировать и скорее начать эту операцию.

Разрабатывая ичанскую наступательную операцию, я ожидал, что Чан Кайши и его генеральный штаб как-то постараются привлечь для участия в ней силы 18-й армейской группы и партизан, которые находились под командованием или влиянием КПК. Но ни в генеральном штабе, ни в районах и армиях никто об этом не обмолвился ни словом. Гоминьдановские генералы в лучшем случае делали вид, что таких сил как будто не существует. Некоторые генералы высказывали даже опасения, как бы армия КПК не ударила в тыл гоминьдановских войск в случае неудачи наступления. Чжоу Энлай во время моего разговора с ним о предстоящей операции заявил, что КПК об этом наступлении даже не информирована.

Вскоре после приезда генерала Чэнь Чэна в Чунцин я встретился с ним на ужин, на котором также присутствовал генерал Бай Чунси. Как человек, близкий к Чан Кайши, Бай Чунси постарался меня уверить, что решение о наступлении на Ичан якобы уже состоялось на самом высоком уровне. Теперь нужно было опасаться одного — как бы Чан Кайши не изменил своего решения и не дал отбой подготавливаемому наступлению. Мы знали по опыту, что причины для отбоя китайское руководство всегда могло найти.

Доклады наших советников из районов и армий как будто подтверждали выдвижение, хотя и медленное, китайских войск и средств усиления к району боевых действий.

Мне трудно сказать, насколько японское командование знало о подготовке ичанской операции. Если японцы и знали о ней, то, вероятно, считали, что китайские войска вряд ли окажутся способны предпринять серьезные активные действия в этом районе. Об их уверенности в этом свидетельствовала переброска в конце лета наиболее сильных подразделений с ханькоуского участка фронта под Чанша, где японцы сами готовили в это время крупное наступление.

В самом конце августа 1941 года нам объявили, что китайские войска перешли в наступление на Ичан. В первые дни китайские войска имели некоторый успех. Нас уверяли, что многие опорные пункты вокруг Ичана захвачены китайскими войсками, что бой завязался за самый город. На заседании Военного совета, а затем на митинге в Чунцине, организованном в честь прибытия американской военной миссии Мэгрудера, военный министр Хэ Инцинь даже докладывал, что город Ичан уже находится в руках китайцев. В честь «победы под Ичаном» на этом митинге затрещали китайские хлопушки и фейерверки.

Но это был обман. По данным, полученным мною от наших советников, у китайских генералов не хватало мужества довести дело до конца. Вопреки решению командующего, 6-м военным районом Чэнь Чэна ввести в бой имеющиеся резервы, чтобы окончательно сломить сопротивление японцев, Чан Кайши приказал прекратить наступление.

Фактически никакого широкого наступления в районе Ичана в тот момент не велось. Судя по всему, имели место изолированные атаки на отдельные японские опорные пункты, которые не могли привести к существенным результатам. В середине сентября я с сожалением констатировал в своем донесении в Москву: «В общем, маловероятно, чтобы Чан Кайши в ближайшее время пошел на активные наступательные действия».

И все же мой прогноз в данном случае не совсем оправдался. Буквально через две недели гоминьдановские войска перешли в наступление в районе Ичана. Обстановка, которая сложилась к этому времени на фронте, заставила таки Чан Кайши решиться на этот «отчаянный» шаг. Произошло это уже в ходе японского наступления на Чанша, явившегося последней крупной военной акцией японцев в Китае в 1941 году, акцией, окончившейся неожиданно для них полным провалом...

Период, предшествовавший японскому наступлению на Чанша, характеризовался относительным затишьем на фронте. Пользуясь отсутствием единых действий гоминь-

дана с КПК и пассивностью их войск. японское командование летом 1941 года предприняло ряд карательных операций — в июне против Шаньдунского партизанского района, в июле против партизанских баз Новой 4-й армии в провинции Цзянсу и в августе против Шаньси — Чахар — Хэбэйского партизанского района. Для их проведения японское командование привлекло часть марионеточных войск Ван Цзиньвэя.

Главная цель предпринятых во второй половине 1941 года карательных операций японцев — уничтожение народных войск и партизанских районов на оккупированной китайской территории. Одновременно ставилась и политическая цель: объединить все антикоммунистические силы Китая, примирить ванцзиньвэевское и чанкайшистское правительства, толкнуть их на гражданскую войну против народных армий. Если бы это удалось, японское командование могло использовать большую часть своих экспедиционных сил для усиления группировки на севере — против СССР и на юге — против Великобритании и США. Хотя для полного разгрома 8-й и Новой 4-й армий японскому командованию не хватало войск, от этих карательных операций сильно пострадали партизанские силы и регулярные части КПК.

Летом 1941 года японцы приняли решение организовать наступление на Чанша, второе за период войны¹⁰. Главный удар наносила 11-я армия, усиленная за счет ханькоуской группировки. Китайское командование в это время неправильно оценило перегруппировку японских войск на ханькоуском участке фронта, происшедшую в течение июля, августа и первой половины сентября 1941 года. Оно считало, что японцы снимают часть своих дивизий и перебрасывают их в Маньчжурию, где вот-вот должны были, по мнению китайцев, начаться военные действия против СССР. Китайское командование считало, что японцы в силу складывавшейся международной обстановки должны будут пойти на северную или южную экспансию, и почти не допускало возможности активных действий японской армии в Китае. Поэтому наступление японцев на Чанша явилось большой неожиданностью для китайского генералитета.

Разрабатывая чаншаскую операцию, японское командование ставило следующие задачи:

- 1) разгром главных сил 9-го военного района. Добившись этого, японцы на продолжительное время обеспечивали бы ханькоуский плацдарм от возможного наступления китайцев с юга. В свою очередь это позволяло бы им в дальнейшем снять часть сил с центрального фронта и использовать для новых военных акций;
- 2) захват Чанша выводил японцев в рисопроизводящие районы провинции Хунань, создавал угрозу Хэньяну, а следовательно, и тыловым коммуникациям китайцев;
- 3) дальнейшее наступление японцев к югу от Чанша при одновременном выдвижении к северу от Гуанчжоу создавало угрозу соединения центрального и южного фронтов по железной дороге Гуанчжоу — Ханькоу.

План японского командования сводился к следующему: главный удар наносился левым флангом к юго-западу от Пинцзяна в общем направлении на Чжучжоу (южнее Чанша). Этим самым охватывались главные силы 9-го района. В дальнейшем совместными усилиями левофланговой и центральной групп предполагалось прижать китайские войска к озеру Дунтинху и здесь их уничтожить. Для того чтобы сковать китайские войска и не дать возможности китайскому командованию частично перебросить их на центральный фронт, японцы начали наступление на севере в районе Чжэнчжоу и на юге в районе Гуанчжоу. Таким образом, помимо воли гоминьдановского командования активные военные действия начались на всех трех основных фронтах Китая — центральном, северном и южном.

Ситуация складывалась серьезная. По оценке самих китайцев, успешное завершение японцами чаншаской операции могло очень тяжело отразиться на дальнейшем ведении войны Китаем. В случае успеха японцы могли захватить всю юго-восточную часть страны и создать угрозу окружения армий сразу трех районов. Крупных дополнительных сил для парирования удара японцев у Чан Кайши не было; кроме того, он боялся, что некоторые его генералы со своими войсками переметнутся на сторону противника. Бросить в бой свои последние резервы — 5-ю и 6-ю армии — Чан Кайши едва ли решился бы.

¹⁰ Первое наступление на Чанша японцы предприняли в сентябре 1939 года.

Забегая вперед следует сказать, что китайское командование свой контрплан выработало уже в ходе японского наступления. В его разработке большая роль принадлежала советским советникам. В основном он сводился к нанесению сильного флангового удара с востока на запад по главной группировке японцев. Кроме того, было начато наступление войсками 5-го и 6-го районов, которое стало важным фактором полного провала наступления японцев на Чанша.

Переход в наступление войск 5-го и 6-го районов был подготовлен всей предшествовавшей работой, проделанной советскими военными советниками. Как уже говорилось, именно ими был разработан план так называемой ичанской наступательной операции. Без этой работы, в ходе которой преодолевалось сопротивление капитулянтских элементов среди китайского высшего генералитета, происходило подтягивание артиллерии, перегруппировка войск и нацеливание их на конкретные объекты, активные действия китайцев в 5-м и 6-м районах были бы обречены на неудачу.

С японской стороны в наступлении на Чанша приняли участие 4 пехотные дивизии, 2 отдельные бригады, части 3-го механизированного полка, артиллерийская бригада, горный артиллерийский полк и авиачасти — всего около 102 тысяч человек. С китайской стороны в операции участвовало 10 армий (около 270 тысяч человек). Японцы ввели в бой 1690 пулеметов, 415 орудий, 80 танков, 40 броневиков, около 200 самолетов, китайцы — 4700 пулеметов, 19 самолетов.

К 12 сентября 1941 года японцы, закончив сосредоточение своих войск, создали две ударные группировки. Главные силы в составе частей 3-й, 6-й, 40-й пд и полков 33-й пд, наступая двумя колоннами, наносили удар западнее Пинцзяна в общем направлении на Чжучжоу, охватывая основные силы 9-го района. Другая группа (часть 4-й пд и бригада 13-й пд) наступала в лоб на Чанша вдоль железной дороги Гуанчжоу — Ханькоу. В состав этой группы входили части морской пехоты и кавалерийский полк, которые действовали на побережье озера Дунтинху.

Во второй половине дня 15 сентября японские войска, не встретив сильного сопротивления частей китайских 4-й и 58-й армий, форсировали реку Синьцзян. К исходу дня на южный берег переправилось около 10 тысяч японских солдат. 15—19 сентября шли бои в междуречье Синьцзяна и Мило. К этому времени японцы переправили через реку Синьцзян все свои силы и продвигались в направлении Синьши, Гуйи, Укоу. Гоминьдановские 4-я, 20-я и 58-я армии отходили на северный берег реки Мило.

В течение 19—23 сентября шли бои за северный берег реки Мило. Японцам удалось форсировать реку и перебросить на ее южный берег все свои дивизии.

В это время на северном берегу реки Мило оставались три гоминьдановские армии (4-я, 20-я, 58-я), которые действовали в тылу японцев, на их коммуникациях, однако настолько осторожно и нерешительно, что существенного влияния на ход боев за южный берег реки Мило они не оказали.

В результате боев 25—27 сентября японским войскам удалось сломить сопротивление китайских частей и подойти к Чанша. Так, части 6-й пд 29 сентября, форсировав реку Люянхэ, заняли Чжэньтоуши (в сорока километрах к юго-востоку от Чанша). Части 13-й и 4-й пд находились в двадцати километрах к северо-востоку от города.

27 сентября японцы выбросили два парашютных десанта — один в пяти километрах восточнее Чанша, другой в десяти километрах восточнее этого города. В тот же день в Чанша ворвался отряд переодетых в гражданское платье японских солдат (из состава 13-й пд). Китайцам удалось разбить как парашютный десант, так и диверсионный отряд.

28 сентября части 3-й пд захватили город Чжучжоу (на южных подступах к Чанша). Для Чанша наступили критические дни. Японские части охватили город с юга. Восточнее Чанша японцы группировали свои главные силы для последнего удара.

...В двадцатых числах сентября я был срочно вызван к Чан Кайши, который принял меня без свидетелей и просил моего совета, какие принять меры против наступающих японских войск. Я обещал срочно доложить ему свои соображения. После обмена мнениями с А. С. Панюшкиным план отражения японского наступления был быстро разработан мною и моими помощниками. План рискованный, но решительный. Он включал три основных момента. Предусматривалось, что центральная группировка

китайских войск, продолжая медленный отход с упорными арьергардными боями, постепенно завлекала противника в узкие горные проходы северо-восточнее и восточнее Чанша. Эти проходы были подготовлены к упорной обороне и хорошо прикрыты огнем артиллерии. К нашему счастью, там имелось несколько батарей орудий советского производства с нашими советниками и большим запасом снарядов. Основной бой предполагалось дать непосредственно перед Чанша, когда противник, растянув коммуникации, лишился бы в горах маневра по фронту своими резервами. Одновременно план предусматривал сильный фланговый удар по главной японской группировке, наступавшей на Чанша. Дело в том, что положение Чанша хотя и было критическим, но отнюдь не безнадежным. Охватывая город своим левым флангом, где у них находились главные силы, японские войска не смогли окружить основных сил 9-го района. Внутри их постепенно суживавшегося полукольца находились только три китайские армии (10-я, 37-я и 99-я) из 10. Остальные 7 армий висели на флангах и тылах японцев. Они являлись для японцев серьезной угрозой, которую необходимо было реализовать. Однако главным и решающим мы считали активные наступательные действия войск 5-го и 6-го районов на центральном фронте против ханькоуской группировки японцев, ослабленной переброской ударных подразделений под Чанша. В этом случае японцы были бы вынуждены приостановить наступление на Чанша и срочно затыкать дыру к западу от Ханькоу. Так оно и получилось.

Когда я пришел с этим планом к Чан Кайши, он не был готов сразу принять его во всем объеме. Мне пришлось настойчиво убеждать его, доказывая, что другого выхода из создавшегося положения не было. После долгого раздумья Чан Кайши наконец согласился с нашим планом и попросил меня проконтролировать его реализацию. Мне он заявил:

— Идите в генеральный штаб и проводите этот план от моего имени. В случае каких-либо задержек докладывайте мне непосредственно.

Это было как раз то, чего я добивался. Кроме того, по моей просьбе Чан Кайши разрешил по мере необходимости использовать всю авиацию для нанесения ударов с воздуха по группировкам противника, наиболее угрожавшим Чанша. Из разговоров с Чан Кайши я понял, что для поднятия авторитета перед американцами ему нужна победа как доказательство боеспособности его армии.

Содержание плана через генеральный штаб передали командующим соответствующих районов, а я в свою очередь сообщил его нашим советникам, находившимся на фронте. Мы дали им строгое указание тщательно следить за точным выполнением плана и в случае каких-либо отклонений немедленно докладывать мне. Учитывая возможность огласки и не имея гарантий, что этот план не будет известен японцам, я упрямил генерала Хэ Инчэня не обсуждать его на заседании Военного совета.

Разработанный нами план удался на сто процентов. Устремившись главными силами к Чанша, японцы не ожидали столь смелого маневра на флангах своей 11-й армии. Китайцы делали все, чтобы задержать продвижение противника. Например, японцы не могли тут же использовать захваченный у китайцев рис, так как те при отходе вывозили все мельницы для очистки. Японцам пришлось подвозить продовольствие из Ханькоу по плохим дорогам, которые к тому же при отходе разрушались китайцами.

Наши советники внимательно следили за точным выполнением плана, называя его планом Чан Кайши, и о малейших отклонениях тут же информировали меня. Когда командующий 3-м районом генерал Гу Чжунун по каким-то соображениям попытался изменить план отвода войск 10-й армии на восток, я тут же лично доложил об этом Чан Кайши, заявив, что командующий районом позволяет себе неточно выполнять его приказ (на самом деле Чан Кайши такого приказа никогда не отдавал). Чан Кайши тут же при мне вызвал по телефону Гу Чжунуна и строго отчитал его. В это время Чанша укреплялся, дороги минировались, строились завалы.

27 сентября к Чанша подошли части 79-й армии из 6-го района, к Люяну выдвигались дивизии 74-й армии, с марша вступившие в бой с японцами. В районе Цзиньцзина китайское командование намеревалось нанести сильный фланговый удар по главной группировке японцев.

Утром 28 сентября японские войска начали непосредственное наступление на

Чанша. К этому времени они стали ощущать недостаток в боеприпасах и продовольствии. Китайцы перехватили радиogramму, в которой командование японских частей, действовавших у Чанша, просило доставить им боеприпасы и продовольствие по воздуху.

Когда японцы вошли в горные проходы перед Чанша и стали подходить к городу и уже чуть ли не праздновали победу, они натолкнулись на плотный артиллерийский огонь китайцев по заранее пристрелянным нашими артиллеристами позициям. Чанша встретил наступающих упорной обороной. В результате завязавшегося сражения японцы понесли большие потери. Только в районе города китайцы насчитали потом около 10 тысяч трупов солдат противника.

Одновременно с атаками японских войск на Чанша начались контратаки китайцев по тылам и флангу главной группировки японцев, находившейся в районе Хуанхуаши. Во фланговом ударе участвовали части 26-й, 72-й, 74-й китайских армий. По скоплению войск противника был нанесен мощный авиационный удар. Теперь уже у китайцев возникла реальная возможность окружения японских войск, которые рвались на юг.

К концу сентября для японцев сложилось угрожающее положение на фронте 6-го и 5-го районов. Перешедшие в наступление китайские части этих районов создали непосредственную угрозу Ичану, Цзиньмэнчжоу, Суйчжоу и другим важным пунктам в бассейне реки Ханьцзян. Вот-вот должен был затрещать весь фронт японцев к западу от Ханькоу, ослабленный переброской на чаншаский участок частей 3-й, 4-й, 13-й и 40-й пд.

В силу этих причин (наступление китайских войск в 5-м и 6-м районах было главным и решающим) японские войска 1 октября начали отходить от Чанша на север. Отход совершался форсированными темпами. 2 октября большая часть японской артиллерии была переправлена на северный берег реки Мило.

В тот же день отступавшие японские части подошли к южному берегу реки Мило. На путях отхода японцы оставляли обозы, уклоняясь от боя с преследовавшими китайскими войсками. При более энергичных действиях на флангах китайцы могли бы окружить в горах всю 11-ю армию. К 10—12 октября все японские дивизии, принимавшие участие в чаншаской операции, отошли на исходные перед наступлением позиции.

Победа под Чанша укрепила престиж китайских войск как среди китайского народа, так и в глазах американцев и англичан. Да и сами японцы не ожидали такого упорного сопротивления и столь согласованных действий гоминьдановской армии.

После завершения операции мы, советские советники, отошли в сторону, как будто нас и не было. Чан Кайши на радостях пригласил всех начальников военных миссий и на своем личном самолете полетел с ними в Чанша показывать район боев и груды японских трупов перед стенами города и в горных проходах. Он любезно пригласил и меня с собой, но я под видом недомогания отказался. Я приказал нашим советникам не присутствовать на этом «параде», чтобы все лавры победы достались самому Чан Кайши и его генералам.

Таким образом, чаншаская операция окончилась полным провалом для японцев. Задачи, поставленные японским командованием, оказались невыполненными. Основной причиной этого провала явилось наступление китайских войск 5-го и 6-го районов. Для того чтобы удержать за собой весь фронт к западу от Ханькоу, японцы были вынуждены прекратить наступление на Чанша и начать спешно перебрасывать свои части в бассейн реки Ханьцзян.

Надо сказать, что китайское командование начало активные действия в 5-м и 6-м районах против своей воли. И поэтому, как только положение в районе Чанша изменилось в благоприятную сторону, Чан Кайши приказал командованию этих районов прекратить наступление. Оно и было прекращено, хотя имелись все возможности до подхода японских войск из района Чанша прочно овладеть бассейном реки Ханьцзян и захватить Ичан. Чаншаская операция, таким образом, могла бы закончиться огромным поражением японцев на подступах к Ханькоу. Однако основная линия Чан Кайши — разбить японцев руками третьих стран (имеются в виду его надежды на возникновение войны между СССР и Японией, США — Англией и Японией) — была

причиной того, что китайское командование не использовало до конца благоприятно складывавшуюся для них обстановку на важнейшем участке центрального фронта.

В ходе этого наступления выявилось и другое — нежелание Чан Кайши усилить ударную группировку за счет тех войск, которые были нацелены против КПК. Между прочим, это понимали и американцы. По крайней мере в ходе сражения за Ичан стало очевидно и для них, что Чан Кайши боялся привлечь резервы, особенно артиллерию, за счет армейской группы Ху Цуннаня, блокировавшей Особый район. Между тем возможность японской экспансии в южном направлении побуждала американцев проявлять определенную заинтересованность в объединении сил гоминьдана и КПК, чтобы активнее сковать японцев в Китае. Мне было известно, что новый американский посол несколько раз беседовал с Чжоу Эньлаем. Было очевидно, что американцы начиная с осени 1941 года начали проявлять большой интерес к Особому району. Как показали дальнейшие события, американские дипломатические и военные представители во главе с послом США К. Гауссом и полковником Барретом (последний все еще оставался в Китае) потратили много времени, чтобы повлиять на позицию Чан Кайши и Мао Цзэдуна в плане их совместных действий против японцев.

Настало время, когда представители США и Англии в Китае уже не стремились сеять вражду между КПК и гоминьданом. Но объединить военные усилия Чан Кайши и Мао Цзэдуна было не так легко. Чан Кайши не желал и не мог допустить, чтобы американцы или кто-либо другой непосредственно снабжали армию КПК оружием. В свою очередь Мао Цзэдун без получения вооружения не хотел объединять свои усилия с гоминьданом. Борьба за власть по-прежнему была главной целью обоих. Каждый желал ослабления другого.

В ходе боевых действий осенью 1941 года стало совершенно очевидно, что китайские войска могут не только обороняться, но и наступать, а при согласованных действиях КПК и гоминьдана возможности их армий для нанесения эффективных ударов по врагу значительно возрастают. Вот один из примеров. Во время боев за Чанша японское командование организовало наступление на северном фронте. 26 сентября 1941 года группировка японских войск в составе подразделений трех пехотных дивизий, форсировав Хуанхэ, перешла в наступление, чтобы овладеть участком Лунхайской железной дороги с узловыми станциями и городами Чжэнчжоу и Лоян. Это могло привести к нарушению оперативных перевозок для войск 1-го и 5-го военных районов гоминьдановского фронта, создать опасность выхода крупных японских сил в район Тунгуань, Сиань и дальнейшего их продвижения на Чунцин во взаимодействии с 11-й армией. Под угрозой могли оказаться и коммуникации, связывавшие Китай с Советским Союзом.

Следует сказать, что на первом этапе наступления японцы добились большого успеха. Создалась тяжелая обстановка на фронте 1-го и 5-го районов. Резервов у Чан Кайши не было. Командующий войсками 1-го военного района генерал Вэй Лихуан и наш советник прямо заявляли, что для отпора японцам сил не хватает.

О создавшейся опасной обстановке мы с послом А. С. Панюшкиным доложили в Москву и просили убедить Мао Цзэдуна нанести удар в тыл и во фланг наступающих японских войск, чтобы помочь армии Чан Кайши в сражении на этом участке фронта. Кроме того, на Военном совете я посоветовал министру Хэ Инциню дать приказ 18-й армейской группе ударить по тылам и во фланги японцев. Мое настойчивое предложение Хэ Инцинь понял правильно, решив, что на этот раз его приказ будет выполнен. В результате совместными ударами войск КПК и гоминьдана противник был побит и отброшен на исходные позиции.

Бои на Хуанхэ показали, что в этот период только в особой ситуации, да и то под большим нажимом войска КПК сражались с японцами. Я видел, с какой неохотой руководство КПК отдавало приказ о наступлении своим войскам в то время, когда для них были открыты фланг и тыл японской армии. Между тем стоило нанести короткий удар во фланг и создать угрозу тылам противника, как японские войска немедленно прекратили бы наступление и начали бы отход на старые позиции.

В то же время я видел, с какой осторожностью генеральный штаб Китая решал — давать приказ на наступление войскам 18-й армейской группы или нет. Скажу прямо, что только после того, как Хэ Инцинь поверил мне, поняв, что войска КПК на

этот раз действительно нанесут контрудар, он решил дать такой приказ. Я не сомневаюсь, что при согласованных действиях армий гоминьдана и КПК, при их доверии друг другу можно было бы не только отбивать наступление японцев, но и наносить им сокрушительные удары, положив начало полному разгрому японской армии.

...На следующем заседании Военного совета зачитали сводку главного штаба о том, что коммунистические войска нанесли удар, который заставил японцев отступить на прежние позиции. Некоторые китайские газеты напечатали сообщения, что коммунисты оказали помощь войскам Чан Кайши. Но это продолжалось недолго. Не желая, чтобы народ знал об успешных действиях коммунистических войск против японцев, гоминьдановцы прекратили давать какие-либо сведения в газетах об этой операции. В то же время данные, полученные от Чжоу Эньлая и Е Цзяньина, говорящие о том, что войска 8-й армии нанесли серьезные потери японским частям.

Результаты боевых действий на берегах Хуанхэ укрепили в народе и войсках уверенность, что бить японцев можно, что они не так сильны и когда их бьют объединенными силами, то успех обеспечен. Мы, советники, имели возможность показать китайскому руководству, что при правильных взаимоотношениях между КПК и гоминьданом их войска могут успешно сражаться с японцами.

Провал японских наступательных операций, проведенных осенью 1941 года, объяснялся не только возросшей боеспособностью китайских войск. Главная причина заключалась в том, что высшее японское командование было занято в это время подготовкой к большой войне в бассейне Тихого океана. На юг тянулись японские транспорты с боевой техникой, горючим, боеприпасами и войсками. Одновременно японцы продолжали усиливать свою армию в Маньчжурии против Советского Союза. По-видимому, японское командование сохраняло свои резервы для предстоящих агрессивных акций и не могло усилить наступающие группировки в Центральном Китае.

Теперь, когда секретные планы воюющих сторон преданы гласности, многое стало ясным. Но тогда, когда гитлеровцы рвались к Москве и в Маньчжурии на наших дальневосточных границах сосредоточилась семисоттысячная Квантунская армия, сделать вывод, что японцы готовят нападение не на севере, а на юге, было весьма трудно и рискованно.

На западе сражение нашей армии с гитлеровскими войсками приняло затяжной характер. Обстановка на советско-германском фронте несомненно влияла на политику осторожного Коноэ, который не хотел рисковать, а выжидал удачного момента, когда бы он мог малыми силами, малой кровью захватить большие пространства советского Дальнего Востока и Сибири. Однако героическая оборона советских войск, срыв плана «Барбаросса» лишали правящие круги Японии такой возможности.

Большое впечатление на Дальнем Востоке произвел парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Когда в Китае услышали, что в Москве состоялся парад, многие этому не поверили. Откровенно говоря, мы тоже не ожидали, что традиционный парад на Красной площади состоится в то время, когда немецкие войска стояли на подступах к Москве. Парад 7 ноября 1941 года как моральный фактор трудно переоценить. Это был неотразимый удар по врагу, по его союзникам, по всем нашим недругам, желавшим скорейшей гибели Советского государства.

Еще в октябре 1941 года, когда шли серьезные бои под Москвой, осторожное правительство Коноэ ушло в отставку и на смену ему пришло правительство генерала Тодзио, в котором, как известно, большое влияние имела военно-морская клика. «Моряки» ратовали за южное направление японской экспансии, за захват английских и американских, французских владений в Индокитае, Бирме, в странах Южных морей и бассейне Тихого океана. Подготовка баз и плацдармов на юге Китая и в Индокитае шла форсированными темпами. Все это подтверждало наши оценки и выводы, что японцы готовят удар на юге. В конце октября я получил очень важную информацию о большой переброске авиации японцев на юг. По нашим подсчетам, в сентябре — октябре 1941 года на юг перебросили около тысячи японских самолетов. Об этом знал и Чан Кайши.

Следует учесть еще одно обстоятельство. На протяжении 1941 года японцы ни в одной из своих наступательных операций в Китае не добились решающего успеха,

кроме как в партизанских районах. Каждый раз они успешно начинали сражение, имели вначале некоторые успехи, но в конце концов отступали на прежние позиции. Но японцы знали, что с юга по бирманской дороге в Китай поступает в нарастающих размерах материальная помощь и оружие, что, естественно, повышало его возможности к сопротивлению. Задушить Китай, по мнению японского командования, могла бы только его полная блокада с юга...

ЯПОНИЯ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ДЛЯ БРОСКА НА ЮГ

Правительство Японии не сразу приняло решение начать агрессию в южном направлении. Оно тщательно следило за происходящими в Европе событиями и, ориентируясь на них, готовилось к войне или против Советского Союза, или против англо-американцев на юге. Несмотря на договор о нейтралитете, подписанный весной 1941 года с Японией, над нашим Дальним Востоком нависла серьезная угроза войны. 5 июля 1941 года военный министр Японии Тодзио утвердил план войны против Советского Союза под названием «Кан-Току-Эн» («Специальные маневры Квантунской армии»).

До сентября 1941 года японское правительство стояло на распутье. К этому времени японский генеральный штаб уже имел окончательно разработанные планы развертывания агрессии как в северном, так и в южном направлении. Казалось, что успешные действия немецко-фашистских войск летом 1941 года благоприятствовали нападению Японии на дальневосточные территории Советского Союза. В то же время японский генеральный штаб учитывал, что молниеносная война германских войск против Красной Армии срывается, а сопротивление советских войск увеличивается. Расчет японцев, что советское командование снимет с Дальнего Востока основную часть войск и перебросит их на запад, не оправдался. Это явилось для них неприятным сюрпризом. Японцы боялись втянуться в затяжную войну с Советским Союзом. В то же время они боялись упустить удобное время для захвата тихоокеанских владений США, Англии и Голландии, которые постепенно приступили к их укреплению, начав строительство там оборонительных сооружений и постепенно увеличивая контингенты войск. Военная промышленность США тем временем наращивала выпуск новых видов вооружения.

Как теперь стало известно, 9 августа 1941 года, через месяц после принятия плана «Кан-Току-Эн», когда на западе начал срываться план «Барбаросса», императорская ставка приняла решение отложить нападение на Советский Союз и переключить все внимание на подготовку агрессии в южном направлении. В сентябре это решение стало окончательным. В дальнейшем руководители Японии предусматривали совместно с партнерами по оси также захват стран Американского континента. В соответствии с этим решением японские генеральные штабы армии и флота в середине августа договорились между собой, приняв за основу вариант совместного внезапного нападения на тихоокеанские владения США и Великобритании. ВВС должны были оказать максимальную поддержку этим ударам.

Таким образом, потуги Гитлера и его дипломатии открыть второй фронт против Советского Союза на Дальнем Востоке терпели провал. Главная причина этого — героическое сопротивление Красной Армии и как следствие — срыв гитлеровского плана молниеносной войны против СССР.

С лета 1941 года процесс подготовки японских милитаристов к большой войне вступил в стадию завершения. Он характеризовался ростом военных ассигнований и значительным развитием военной промышленности, увеличением армии и флота, усилением идеологической обработки населения и личного состава вооруженных сил.

18 октября 1941 года к власти в Японии пришел кабинет генерала Тодзио, который занял в нем посты премьер-министра, военного министра и министра внутренних дел. Это повлекло за собой усиление полицейского террора в стране, лишение населения политических прав под флагом «всеобщей мобилизации нации». В стране установилась военно-фашистская диктатура. Пропаганда агрессии развертывалась под лозунгами «Азия — для азиатов!», «Япония — защитница Азии от несправедливой англо-американской политики», «сфера процветания улучшит экономическое поло-

жение Азии». Внутри Японии были запрещены все политические партии и создана единая политическая организация «Ассоциация помощи трону».

Если в октябре 1940 года японская армия насчитывала 1694 тысячи человек, то к концу 1941 года — свыше 2400 тысяч. Сильным преимуществом японских вооруженных сил было хорошо организованное взаимодействие между флотом и авиацией. Кроме того, Японии удалось организовать скрытую переброску сухопутных войск на южные плацдармы.

В то же время морские, сухопутные и авиационные силы США и Великобритании были разбросаны на широких пространствах Тихого и Индийского океанов. Это давало возможность японцам бить по частям силы своих противников, пользуясь при этом их несогласованностью как в планировании операций, так и в управлении войсками.

Кроме того, правительство США до последнего момента считало, что японцы не решатся напасть на их владения. Этого мнения придерживалось и американское военное командование, которое, стремясь выиграть время, усиленно рекомендовало правительству США продолжать политическое маневрирование с целью оттягивания конфликта с Японией. Незадолго до нападения японцев на вооруженные силы США начальники штабов армии и флота генерал Дж. Маршалл и адмирал Г. Старк в совместном меморандуме подчеркивали, что Советский Союз и Япония находятся накануне войны. Эти стратеги до последнего часа чувствовали себя застрахованными от войны за счет Советского Союза.

Настроение английского правительства было несколько иным. Оккупация Японией Индокитая создавала непосредственную угрозу колониальным владениям Англии. У. Черчилль пытался повлиять на правительство США, чтобы последнее заняло более решительную позицию относительно японской агрессии в южном направлении. 10 августа 1941 года на первом заседании Атлантической конференции У. Черчилль предложил Рузвельту выступить с совместным предупреждением Японии об опасности ее дальнейшего продвижения на юг и юго-запад. Рузвельт от этого отказался. Он лишь обещал Черчиллю предупредить японское правительство, что в случае нападения на Голландскую Индию (Индонезию) США предпримут такие меры, которые могут привести к войне между США и Японией. Правительству Великобритании, связанному войной в Европе и Африке, трудно было повлиять на японское правительство. Потому-то англичане и стремились подтолкнуть американцев на более решительное противодействие японским погрозам в Юго-Восточной Азии. Американцы видели, как японские вооруженные силы подступают к Малайе, Сингапуру, Голландской Индии и Филиппинам. Правительство США было не прочь оказать экономическое давление на Японию, стараясь тем самым усилить ее зависимость от импорта необходимых материалов. В первую очередь 25 июля оно ввело эмбарго на экспорт нефти в Японию и заморозило все ее активы. За США этому примеру последовали Великобритания и Голландская Индия. Япония осуществила аналогичные действия в отношении активов этих стран. Началась холодная война. С 1 августа США запретили ввоз в Японию почти всех материалов, кроме хлопка и продовольствия.

По военной линии филиппинская армия подчинялась командованию США, сюда направлялись американские войска и, главное, морской флот. Как уже говорилось, в Китай прибыла американская военная миссия, а вслед за ней американские летчики и самолеты. В октябре 1941 года США предоставили Китаю заем на сумму 50 миллионов долларов. Китайская сторона взяла на себя обязательство построить необходимое количество аэродромов, складов, дорог в районах базирования американской авиации. Все китайские летчики начали переучиваться летать и вести воздушный бой по-американски.

Но эти полумеры лишь разжигали воинственные настроения в японских правящих кругах и служили темой для пропаганды против западных держав, захвативших дальневосточные и тихоокеанские «жизненные пространства».

Чан Кайши и его генеральный штаб во главе с военным министром Хэ Инцинем перестраивались на американский лад. Они не могли игнорировать толстый американский карман, распространение ленд-лиза на Китай, развертывание военного

производства в США и прочие факторы. Наблюдая растущее влияние американцев в правительственных и военных кругах Китая, мы, советские представители, могли только приветствовать их помощь китайцам в войне сопротивления. Мы лишь стремились, чтобы эта помощь не использовалась для обострения внутренних конфликтов между политическими группировками, а целиком шла на борьбу с японской агрессией.

Японское верховное командование решило начать большую войну с нанесением внезапного удара по военно-морскому флоту западных держав. По примеру гитлеровской Германии японцы, по-видимому, рассчитывали на большой эффект внезапного удара. В результате, как показал весь последующий ход событий, противник оказался не в нокауте, а только в нокадауне. И все же остается вопрос: как японцы смогли нанести этот внезапный удар? Как английская и американская разведки могли проглядеть длительную и сложную перегруппировку сил Японии с севера на юг? Мероприятия, которые начало проводить японское правительство во главе с генералом Тодзио как внутри, так и вне страны, не могли быть полностью скрыты от внешнего мира.

Конечно, готовясь к реализации «южного варианта» агрессии, японцы уделяли особое внимание сохранению в тайне всех своих военно-политических замыслов и планов. Как выяснилось, японское правительство в этот момент резко ограничило свою дипломатическую переписку и даже своих союзников крайне скупо информировало о своих намерениях. Факт поразительный — Германия и Италия узнали о японских планах тогда, когда о них узнал весь мир, то есть после удара по Пёрл-Харбору. Японское командование выбрало сложный маршрут движения авианосного ударного соединения к Гавайским островам, вело ложный радиообмен между кораблями и авиацией и использовало другие приемы, чтобы ввести в заблуждение противника.

И все же главное, на наш взгляд, было не в этом. Правительствам США и Англии все эти годы очень хотелось, чтобы Япония повернула свою агрессию против Советского Союза. На это и направили они свою политику «умиротворения», поверив, что рано или поздно их желание осуществится. Вплоть до нападения на Пёрл-Харбор американское правительство продолжало вести дипломатические переговоры с японцами, которые в свою очередь использовали их в целях маскировки своих планов. Тот факт, что правительству и командованию вооруженных сил США не удалось определить направление основных ударов агрессии и время их нанесения (а ведь американцы знали код дипломатического шифра Японии!), явилось прямым следствием политики «дальневосточного Мюнхена».

С августа 1941 года на меня как военного атташе и советника Чан Кайши ложилась особо ответственная задача — не поддаваться на провокационные разведывательные данные и тем самым не ввести в заблуждение Наркомат обороны нашей страны. Тем более что провокационными были не только слухи, но и документы, в изобилии поступавшие из многих источников, особенно из военных миссий, в том числе и из генерального штаба Китая. Я не буду перечислять документальную дезинформацию, поступающую к нам в аппарат военного атташе от американцев и англичан. Нам старались внушить, что японцы вот-вот нападут на советский Дальний Восток. Больше всего в доставке этой дезинформации усердствовали сами китайцы, внушая нашим военным советникам в Чунцине и в районах, что японские войска как в Маньчжурии, так и в Корее изготавливаются для нападения на советские территории. Даже на заседаниях Военного совета, проходивших под председательством Хэ Инциня, главный докладчик об обстановке в Китае — начальник оперативного отдела — явно тенденциозно повторял измышления о якобы готовившемся нападении японцев на Советский Союз.

Начиная с сентября и особенно в октябре 1941 года началась массовая переброска японской авиации с севера, из Маньчжурии и Северного Китая, на юг. Эту переброску не раз подтверждали наши советники в районах и армиях. Но китайцы и американцы расценивали этот факт как японскую контрмеру в связи с прибытием

на юг Китая, в район Куньмина и Гуилиня, американских самолетов из группы генерала К. Ченнолта. Не исключено, что американцам очень хотелось именно так интерпретировать эти факты. Но все же какое-то беспокойство они испытывали и стали более активно, чем раньше, оказывать Чан Кайши военную помощь.

Сухопутные войска японское командование переправляло морем, о чем, хотя и с запозданием, мы узнавали с мест их выгрузки в южных портах. О военно-морских силах Японии мы почти ничего не знали, эти сведения японцы держали в большом секрете.

После подтверждения о переброске более тысячи самолетов с севера на юг я убедился окончательно, что это уже реальная подготовка войны на просторах Тихого океана. Уверен, что подобные данные имел и Чан Кайши, который в октябре послал на юг, в провинцию Юньнань, Хэ Инциня для изучения на месте обстановки. С Хэ Инцинем отправились два моих помощника (по артиллерии и по инженерным войскам и сооружениям), помогавшие ему детально разобраться с оборонительной системой на южной границе Китая. По возвращении с юга Хэ Инцинь зашел ко мне в кабинет с топографическими картами и (случай небывалый!) лично проинформировал меня о положении в южных районах, об организации обороны, особенно автомобильной дороги Рангун — Куньмин. По словам Хэ Инциня, оборона южных провинций, в том числе и автомобильной дороги, была неудовлетворительной, что подтвердили мои помощники.

Я подумал, что подобные сведения имели и американцы и англичане, но сделать что-то реальное с целью укрепления обороны юго-западных районов Китая и коммуникации Рангун — Куньмин они не могли — не хватало сил. Один уже факт поездки Хэ Инциня в южные провинции говорил мне, что Чан Кайши и его генеральный штаб обеспокоены складывавшейся обстановкой на юге, что они ждут там серьезных событий.

Я УЕЗЖАЮ СРАЖАТЬСЯ НА РОДИНУ

В первых числах декабря 1941 года я выехал из Чунцина в Чэнду для лечения открывшейся у меня старой раны.

Был самый разгар битвы за Москву, когда немецко-фашистские войска обошли с юга Тулу и подходили к Кашире, а на севере захватили Яхрому и форсировали канал Москва — Волга.

Город Чэнду — столица Сычуани. Там находилась база наших советских самолетов. Здесь же намечалась развертываться одна из авиационных групп, прибывших в Китай под руководством американского генерала К. Чейнолта.

В субботу 6 декабря 1941 года, находясь в одной из гостиниц Чэнду, я узнал, что туда прибыл американский посол вместе с военным атташе и американскими летчиками. С ними несколько английских офицеров. Встретившись в зале ресторана, мы обменялись мнениями о положении на Дальнем Востоке. Американцы и англичане заявили мне в один голос, что опасаться им сейчас каких-либо крупных осложнений в этом районе особенно не приходится. После победного исхода сражения под Чанша, а также победы Советской Армии в районе Ростова и в связи с упорными боями под Москвой едва ли японцы, по их мнению, сейчас решатся развязать войну на Дальнем Востоке против кого-либо, тем более что в Китае они связали себе руки. Поэтому, не опасаясь, что за это время что-либо произойдет, мои собеседники решили приехать в Чэнду и здесь спокойно отдохнуть от трудностей и неудобств Чунцина. На самом деле — в этом я не сомневался — они приехали в Чэнду ознакомиться с условиями дислоцирования их авиации. Возможно, они рассчитывали, что тяжелые бои за Москву подтолкнут японцев начать наступление на наш Дальний Восток.

Я не мог не удивляться: неужели американская и английская разведки, обладавшие давней разветвленной сетью агентуры как в Китае, так и в Японии, настолько глубоко заблуждаются в своих выводах? Ведь не могли же они не заметить всех передвижений, которые японцы производили в южном направлении. Я также подумал, что Чан Кайши и Дай Ли умышленно не делились с англичанами

и американцами имевшимися в их распоряжении разведывательными данными, чтобы не мешать японцам скорее ударить если не на севере против СССР, то на юге против Англии и США.

Еще в начале осени мне пришлось по делам службы послать своего помощника Н. В. Рощина в Гонконг. Пользуясь тем, что наши страны союзники, Рощин зашел в резиденцию английской разведки в Гонконге, имевшую глубоко законспирированную и действующую разведсеть, которая, по нашему мнению, не могла ошибиться в прогнозах. Его приняли очень любезно ответственные офицеры разведки и обменялись с ним оценкой обстановки.

Вернувшись из Гонконга, Рощин доложил мне о твердой уверенности англичан, что они ни в коем случае не упустят возможных действий со стороны японцев. Англичане поделились с Рощиным богатыми разведывательными сведениями, полученными ими, несомненно, на пах с американцами.

Будучи уверен в своих выводах, я в то же время подумал: а вдруг я ошибаюсь? вдруг моя информация, которую я посылал в Москву, что японцы вот-вот выступят на юге, окажется неправдой, что я дезинформирован теми источниками, которыми пользовался?

В ночь с 7 на 8 декабря 1941 года я заснул лишь на рассвете. Утром только собрался спуститься в ресторан позавтракать, как ко мне быстро вошел мой помощник по авиации полковник Рыбаков и доложил, что американцы и англичане в срочном порядке покинули Чэнду и уехали в Чунцин. Этот факт меня сразу насторожил. Без каких-либо серьезных причин они не могли столь быстро сорваться из Чэнду.

Спустившись вниз, я услышал за завтраком тревожные разговоры. Мой переводчик С. П. Андреев быстро раздобыл местные газеты. Экстренные выпуски напечатали сообщение о том, что японские воздушные силы и морской флот без всякого предупреждения напали на американскую военно-морскую базу в Тихом океане Пёрл-Харбор и нанесли сильный удар по судам военно-морского флота, находившимся там. Американский флот понес очень большие потери.

Следующий удар японцы нанесли по английскому флоту и также добились успеха. Они потопили английский линкор «Принц Уэльский» и линейный крейсер «Рипалс», незадолго до того прибывшие в Сингапур. Японская агрессия на Тихом океане началась.

Причинив огромный ущерб американскому и английскому флотам в первые же дни войны, японцы завоевали господство на море и получили возможность проводить широкие наступательные операции на Филиппинах, в Малайе и Голландской Индии, не опасаясь серьезного противодействия противника.

...Вскоре я получил телеграмму из Москвы, в которой мне предлагалось срочно возвращаться на работу в Чунцин.

Итак, политика «дальневосточного Мюнхена», которую проводили правящие круги западных стран, потерпела окончательный провал. Ее творцам предстояло теперь увязнуть в кровавой схватке с агрессором, которому они до поры до времени потакали за чужой счет. В результате мудрой и дальновидной политики нашей партии и правительства Советский Союз сумел избежать второго фронта на востоке, что уже само по себе являлось большой победой.

События разворачивались совсем не так, как планировали их западные державы. Получив удар в декабре от японцев, Соединенные Штаты Америки против своей воли неожиданно оказались втянутыми во вторую мировую войну. Если до Пёрл-Харбора Америка старалась, оставаясь вне войны, сохранить свои силы и вела линию на то, чтобы обескровить и ослабить как фашистскую Германию, так и Советский Союз, то теперь ей пришлось пересматривать свои карты, битые всем ходом событий.

Первые месяцы войны на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии протекали под знаком военного превосходства милитаристской Японии над силами США и Англии. За это время японцам удалось достигнуть своих ближайших целей: к маю 1942 года агрессор овладел Сянганом (Гонконгом), Малайей, Филиппинами, Голландской Индией, Бирмой, рядом островов на Тихом океане и вышел на подступы к Австралии

и Индии. Японцы захватили огромные территории с богатейшими запасами стратегического сырья и населением более 150 миллионов человек. Однако расчеты японской военщины, что после таких успехов ей удастся сломить волю союзников к сопротивлению, не оправдались. Япония оказалась втянутой в затяжную войну с коалицией государств, чей военный и экономический потенциал во много раз превосходил ее собственный.

В этих условиях китайский фронт приобрел в глазах союзников, особенно Соединенных Штатов, гораздо большую значимость.

В Чунцин я вернулся в десятых числах декабря. Меня поразила та откровенная радость, с которой восприняли известие о начале войны на Тихом океане в политических и военных кругах гоминьдана. Радовались все, начиная с самого Чан Кайши, который вместе со своими сторонниками долго ждал этого момента. И неудивительно. Более четырех лет Китай один вел войну против Японии. Теперь на его стороне оказались такие богатые и влиятельные страны, как США и Англия, а также ряд других государств, с которыми ему предстояло бороться вместе против агрессора.

Чан Кайши и другие руководящие деятели гоминьдана рассчитывали теперь получить от западных союзников крупные кредиты и партии современного оружия. (Как известно, на помощь оружием со стороны западных держав рассчитывал в то время и Мао Цзэдун.) Вместе с тем и Чан Кайши и некоторые другие деятели считали, что отныне тяжесть войны с Японией упадет на плечи других государств, а Китай получит некоторую передышку.

Позиция западных держав была иной. Взамен кредитов и помощи оружием они рассчитывали добиться активности китайских войск, чтобы облегчить свое положение на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии. Так, в декабре 1941 года в Чунцине с новой силой столкнулись противоречия сторон, выступавших теперь уже в роли союзников. Основа этих противоречий оставалась старая: одна сторона хотела получить как можно больше и использовать полученное в своих целях, другая готова кое-что дать, но оплату требовала кровью китайского народа.

Генеральный штаб Китая в эти дни наводнили американские и английские военные представители. Американские военные в полном смысле обхаживали китайских генералов, дипломаты всячески заверяли руководителей страны в искренней дружбе.

Помню одно собрание в декабре 1941 года, на котором присутствовали американский и английский послы, а также посол Советского Союза и мы, советские военные представители в Китае. Выступил английский посол Арчибалд Кэрр. Он распрощался перед китайцами, уверяя их в миролюбии Англии и ее благожелательном отношении к Китаю, говорил, что его мечта, его желание, его идеи — стремление объединиться с Китаем, быть с ним союзником в борьбе против общего врага — наконец осуществились и что теперь англичане и китайцы — боевые и кровные друзья.

Мы-то знали, как английские колонизаторы вместе с другими странами делили Китай на сферы влияния, захватили Сянган и Коулун, навязывали неравноправные договоры, помогали душить тайпинов и совсем недавно участвовали в проведении политики «дальневосточного Мюнхена» за счет Китая.

В конце декабря 1941 года Чан Кайши пригласил военных атташе США, Англии и СССР к себе и выдвинул предложение о создании дальневосточного комитета для согласованной борьбы против японцев. Для нас было ясно, что Чан Кайши не оставил своих надежд втянуть СССР в войну с Японией. Он хотел бросить главные силы антигитлеровской коалиции против Японии. На мой вопрос, кто же будет стоять во главе этого комитета, Чан Кайши назвал американцев. Его ответ показал, на кого он стал ориентироваться в первую очередь. В начале 1942 года в Китай в качестве советника Чан Кайши прибыл генерал Дж. Стилуэлл, впоследствии начальник генерального штаба гоминьдановских войск и командующий китайскими экспедиционными войсками в Бирме.

В те дни, присутствуя на заседаниях Военного совета, я наблюдал, как китайские военные руководители не могли скрыть своих радостных ожиданий. Но радоваться пока было нечему. Японцы теснили союзников на всех театрах военных действий. И англичане и американцы хорошо понимали, что их главным врагом явля-

лись не японцы, а Гитлер. Не поставив на колени гитлеровскую Германию, они не могли бросить свои главные силы против Японии. Поэтому потуги Чан Кайши создать дальневосточный комитет успехом не увенчались.

Поражение союзников в первые месяцы войны на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии до некоторой степени разочаровало правящие круги гоминьдана и самого Чан Кайши. Предвидя возможность захвата Бирмы японцами, Чан Кайши через своих генералов, в частности через командующего авиацией генерала Мао, зондировал почву у меня, как Советский Союз отнесется, если военная помощь американцев будет поступать через Персидский залив, Иран и далее через среднеазиатские республики и Казахстан в Синьцзян. Я как главный военный советник китайских вооруженных сил отводил этот вопрос, поскольку он находился вне моей компетенции.

Правительства США и Англии стремились побудить гоминьдановское руководство активными боевыми действиями сковать как можно больше сил японцев и тем самым уменьшить их наступательное давление на войска союзников. В активности китайских войск были больше всего заинтересованы американцы, которые были не прочь для этой цели наладить контакты с вооруженными силами КПК, в частности с 18-й армейской группой. Последняя, как известно, с конца 1940 года фактически не подчинялась центральному правительству и Чан Кайши как главному и какой-либо активности не проявляла.

Однако гоминьдановское руководство во главе с Чан Кайши по-прежнему не было заинтересовано в ведении активных боевых действий против японцев. К тому же захват японцами Бирманской железной дороги привел к сокращению до минимума военных поставок союзников Китаю. Это осложнило положение гоминьдановских войск. Чан Кайши, продолжая вести «войну на сопротивление», по существу бездействовал и выжидал. Его лучшие армии были задействованы американцами с согласия англичан не для разгрома японских сил в Китае, а для защиты английской колонии в Бирме, где чанкайшисты терпели поражение.

Инициативу на фронте по-прежнему держали в своих руках японцы, которые в тот момент ставили своей задачей удерживать линию фронта, сложившуюся к началу декабря 1941 года. Чтобы сковать южную группу гоминьдановских войск и подтолкнуть Чан Кайши на капитуляцию, японское командование решило провести операцию в провинциях Хубэй и Хэнань. 24 декабря 1941 года японцы предприняли силами 11-й армии очередное, третье по счету за период войны наступление на Чанша. Общая численность японских войск в этом районе достигла примерно 100 тысяч человек, а китайских насчитывалось 250 тысяч. В ходе сражения под стенами Чанша японцам удалось ворваться в город, однако 5 января 1942 года китайцы предприняли контрнаступление. К середине января японцы были отброшены от города, и положение на фронте восстановилось.

Я все более приходил к убеждению, что основную задачу, возложенную на меня при направлении в Китай, выполнил. Аппарат военных советников и военного атташе правильно информировал наш Наркомат обороны о положении в Китае и о тех событиях, которые происходили вокруг него. При нашей советнической помощи китайские войска в 1941 году отбили атаки японцев на всех фронтах. Если гоминьдановские войска сами мало проводили наступательных операций, то это происходило главным образом из-за разногласий и вражды между руководством гоминьдана и КПК.

После начала войны на Тихом океане американцы начали оказывать Чан Кайши военную помощь, проявив сильную заинтересованность в активизации китайского фронта. Одновременно все более четко начала проявляться ориентация гоминьдановского руководства во главе с Чан Кайши на Соединенные Штаты.

Я считал, что в такой обстановке мне как главному военному советнику делать в Китае нечего. Конкурировать своими советами с генералом Стилуэллом нецелесообразно и даже вредно. Вмешиваться или давать советы Чан Кайши или генеральному штабу китайской армии, как помогать американцам и англичанам в борьбе с японцами, я не мог, и это не имело смысла, потому что к моим советам стали бы

относиться с осторожностью. Мою же ответственность как главного военного советника с меня никто не снимал, по крайней мере в кругах китайских военных. Отвечать перед китайской общественностью за те поражения, которые понесли лучшие китайские войска в Бирме, выполняя приказы американцев и англичан, я не желал. Я хотел вернуться на родину и влиться в борьбу моего народа с гитлеровским нашествием.

В донесениях в центр я намеками ставил вопрос, что мы, советские военные советники в Китае, лишены возможности проявить свою активность. Наконец я получил короткую телеграмму, которой меня отзывали в Москву для доклада. Из нее я понял, что в Китай больше не вернусь.

Во второй половине февраля 1942 года наш самолет приземлился в столице Казахстана Алма-Ате, где меня встретили представители Наркомата обороны и начальник Алма-атинского училища, мой старый боевой друг по гражданской войне полковник Филатов. В 1919 году я командовал 43-м стрелковым Краснознаменным полком, а он — 44-м стрелковым 15-й бригады 5-й дивизии. Хотя встреча наша была короткой, он все же успел кое-что рассказать мне о событиях на фронте.

По дороге до Куйбышева я видел на каждой станции напряженные и озабоченные лица людей и одновременно собранность и подтянутость, которые бывают в дни опасности. Поезда шли точно по расписанию. Обслуживающий персонал железной дороги постарел, так как молодежь призвали в армию, но работа шла четко и без проволочек. Там, где недавно работали мужчины, теперь стояли женщины в телогрейках, с суровыми **обветренными лицами**.

Я рвался на фронт, чтобы поскорее начать сражаться с нашим главным врагом — фашистской Германией. Вскоре я получил назначение командующим 1-й резервной армией, которая дислоцировалась в районе Тулы и Рязани. В начале июля 1942 года с этой армией я выступил на фронт и сразу попал в самое пекло войны — под Сталинград. Горжусь, что Сталинградская эпопея, одно из величайших сражений XX века, не прошла без моего активного участия.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. КУЗЬМЕНКО



МЕЖ ГОРОДОМ И СЕЛОМ

«**М**не... хочется, чтобы сельский человек, уйдя из деревни, ничего бы не потерял дорогого из того, что он обрел от традиционного воспитания, что он успел понять, что он успел полюбить; не потерял бы любви к природе... Но одно дело я и мои авторские пожелания, другое дело — сам человек: я понимаю всю трудность моего героя... Очень хочется, чтобы это не было чем-то временным, а было у него так же прочно, как было прочно до него веками...»

Эти размышления вслух Василия Шукшина, ставшие известными нам много позднее, — нечто вроде эпиграфа к предлагаемым читателю заметкам.

Понятие «деревенская тема» было условным всегда, а сегодня тем более. Деревня не мыслит себя без города, города полны людей, шагавших когда-то босиком по росе, помнящих запах пашни, вкус парного молока. Город и деревня — тугой узел проблем, завязанных XX веком, решаемых по-своему в разных социальных условиях, на разных континентах. Без этих проблем невозможно представить себе нашу литературу.

1

Необозримые просторы занимала испокон веков крестьянская Россия — забота, тревога, боль, надежда передовой, образованной части страны. Эта Россия начиналась за околицами городов, за оградами дворянских усадеб, была как будто вся на виду — и в то же время всегда хранила в себе что-то непостижимое, загадочное.

«Глянул окрест себя» и до глубины души поразился масштабам народного горя Радищев. Открыл, что «и крестьянки чувствовать умеют», повидавший мир Карамзин.

Создал светлые образы народной жизни, заложил основу реалистического подхода к деревне великий Пушкин. Вписал яркую главу в художественное открытие человека из народа Тургенев. Не только отобразил многие стороны жизни крестьян, но и поэтически выразил их мировосприятие, их эмоции Некрасов. Оставил аналитический портрет российского крестьянства в сложную пореформенную пору Успенский. Всю свою долгую жизнь стремился стать выразителем народных чаяний могучий Толстой...

Заметим, однако, что буквально по пальцам можно сосчитать писателей XIX века, кто бы знал деревню в полном смысле слова изнутри, кто родился и вырос в крестьянской избе. Наиболее одаренный и известный из них — Тарас Шевченко.

Положение решительно изменилось с начала XX века. Волна за волной в литературу стали входить писатели, которым не надо было «идти в народ», изучать народ: они сами были этим народом, его полномочными представителями. Деревенская литература советской поры создавалась и создается в подавляющем большинстве случаев крестьянами по происхождению. Первая значительная группа литераторов — выходцев из крестьян заявила о себе после революции 1905 года, которая пробудила самосознание народа, всколыхнула многомиллионные крестьянские низы. Вторая волна писателей, прямо именовавшихся в ту пору «крестьянскими», хлынула в литературу после Октябрьской революции и гражданской войны. Третья — во время коллективизации и сразу после нее.

Какой представляла деревня в советской литературе 20—30-х годов? Что оказывалось на первом плане в необычайно противоречивой картине деревенской жизни, в отоб-

ражении социально двойственной природы крестьянина — собственника и труженика? Понятно, что обстоятельный ответ на эти вопросы могут дать только специальные исследования. И такие исследования есть. Наиболее основательным из них представляется мне книга В. Сурганова «Человек на земле».

В начале 20-х годов критика больше всего толковала о грядущей пролетарской литературе. А журналы и издательства ломались от рукописей, где разгорались свирепые мужицкие бунты, шумели деревенские сходы, страстно доказывали свою правду бородастые народные вожаки. Деревни в молодой советской литературе было много — и поразительно разной деревни. Нет никакой возможности свести к единому творческому знаменателю то, что писали, например, С. Есенин и Б. Лавренев, И. Волнов и Л. Сейфуллина, Н. Огнев и А. Яковлев, А. Неверов и Вс. Иванов, С. Подъячев и В. Шишков. Книги сплошь и рядом спорили друг с другом, выражали свое понимание событий, менявших лицо российской деревни.

Примечательно, что в голосах первых же писателей, выдвинутых крестьянством в начале века, слышалась тревога за судьбу традиционных начал народной жизни, размываемых процессами социального и экономического развития. Эта линия получила продолжение и в послеоктябрьской литературе. Какова бы ни была, например, эволюция творчества С. Есенина в 20-е годы, мир деревни, мир русской природы продолжал предстать в его произведениях с самой светлой, позитивной стороны.

Века крепостного, помещичьего, полицейского гнета, писал еще при жизни поэт А. Воронский, воспитали в мелком трудовом собственнике — крестьянине «жажду покончить со старым, разбить это старое вдребезги и водрузить общежитие вольных деревень без государства, без податей, чтобы вся земля была крестьянская, «божья», чтобы она утучнена была рожью, овсом и всякими злаками, чтобы не было недостатка в лесе, в скотине». Отсюда, считал А. Воронский, идиллическое изображение С. Есениным и близкими ему по духу писателями деревенского уклада, деревенского быта. Отсюда постоянные обращения в прошлое, «ставшее милым и саднящее сердце своей невозвратностью, своим «никогда»...». Отсюда ненависть к «железному гостю», приуроченная, впрочем, «не столько к действи-

тельному ходу революции, сколько вообще к веку пара и электричества»¹.

Всматриваясь в «крестьянскую» литературу 20-х годов, А. Воронский отмечал очень разный, подчас парадоксальный отклик, который получали в ней бурные события минувших лет. С. Клычков, например, по словам критика, сумел показать «дикую, дремучую Русь в ее плоти. Она встает как заповедный, нетронутый, свежий и пахучий сосновый бор. Ни у Мельникова-Печерского, ни даже у Лескова нет такого телесного ощущения этой Руси. Революция, как ни странно с первого взгляда, помогла литературе заглянуть в такую канонную Русь, так ее почувствовать, как этого не было никогда»².

В целом литературу 20-х годов никак нельзя упрекнуть в приглаженном, идиллическом изображении деревни. То, что когда-то было названо «идиотизмом деревенской жизни», щедро насыщало многочисленные романы и повести. Другое дело, что эта сторона деревенского уклада воссоздавалась под разными углами зрения, обретала под пером различных авторов совсем не одно и то же идейно-эмоциональное значение.

Изображение отсталости, заскорузлости, темноты, жестокости стародавнего быта могло выражать — и выражало в творчестве ряда писателей — тревогу перед гигантским преобладанием в стране крестьянского населения, неверие в то, что революции удастся одержать верх над дремучими инстинктами, над кодовской властью мужицкого индивидуализма. Обратной стороной той же медали оказывались поэтизация анархического крестьянского бунта, самодовлеющее изображение взрыва неуправляемых стихийных эмоций. Отдали дань этой тенденции Вс. Иванов, Вяч. Шишков, А. Веселый и другие известные писатели.

Вышедшие в 1922 году повести «Андрон Непутевый» А. Неверова и «Перегной» Л. Сейфуллиной обозначили собой еще одно направление в деревенской литературе. Как показало время, направление наиболее перспективное и плодотворное: изображение жизни деревни во всей ее неприкрашенной реальности, но изображение не одностороннее, не статичное, ведущее читателя к пониманию того, что в пестрой пу-

¹ А. Воронский И. Литературные типы. М. «Круг». 1925, стр. 47, 43, 51.

² А. Воронский И. Мистер Бритлинг пьет чашу до дна. М. «Круг». 1927, стр. 123.

танице событий, в огненном кипении подчас необузданных страстей просвечивает творимая народом великая история. «...сила таких писателей, как Сейфуллина,— писала чуть позднее Л. Рейснер,— в том, что они бесстрашными глазами умели видеть мрак, ужас, жестокость и мерзость старой, дореволюционной деревни... Потому и изумительна история этих лет, потому и останется она в памяти трудящихся, как нечто небывалое и незабываемое, что русский мужик и рабочий шли в революцию, шаг за шагом выдирая свои ноги из вековой застарелой грязи»³.

Спорили друг с другом писатели. Еще больше спорили между собой времена. Каждое пятилетие приносило в жизнь деревни столько небывалого, нового, ставило такие проблемы, открывало такие перспективы, что литература никак не могла оставаться неизменной. Отступала, не выдерживая напора классовых битв, элегическая деревня Есенина. Уходила в прошлое — вместе с короткой передышкой в жизни села — полоса неторопливого прозаического бытописания. И вместе с тем становилась шире, полноводнее литература «великого перелома» в истории страны. Деревенская тема становилась темой глубокого социально-исторического звучания, обретала новое, эпическое дыхание: приходили в движение вековые жизненные устои, укрупнялись конфликты, поднимался в бой за выстраданные идеалы герой-преобразователь.

Книги, выходявшие на рубеже 20—30-х годов, представляются ныне некими боевыми фортами, обозначающими собой переднюю линию великого социального сражения. Это первая и вторая части «Брусков» Ф. Панферова (1928, 1930), «Девки» Н. Кочина (1928), «Лапти» П. Замоиского (1929), «Стальные ребра» И. Макарова (1929), «Ненависть» И. Шухова (1931), «Последние мужики» В. Кудашева (1932), «Поднятая целина» М. Шолохова (1932). При всех своих индивидуальных различиях эти книги ориентированы в одну сторону, пронизаны одной всепоглощающей страстью — изображением, исследованием, утверждением тех путей, которые выводили деревню на столбовую дорожку новой, пронизанной коллективистскими началами, действительно достойной человека жизни.

Никого из авторов названных произведе-

ний нельзя упрекнуть в незнании деревни. Но, может быть, и крестьянские дети склонны порой к сыновней неблагодарности, к забвению того доброго, что сопровождало жизнь их дедов и прадедов, к чрезмерному выпячиванию всего уродливого и темного?

Нельзя судить об этом абстрактно — относительно ко времени, в котором рождались книги, к задачам, которые решало тогда советское общество. Если воспользоваться словами из «Соти» Л. Леонова, можно сказать, что пафос времени состоял в решительном разрыве с наследием «обветшавшего мира», в скорейшем преодолении «старинного мрака», застилавшего будущее, в глубоком социальном обновлении «великого крестьянского океана». Отсюда и особое внимание ко всему, что стояло на пути этого обновления: к порабощающей человека власти земли, свинцовой тяжести собственных инстинктов. Отсюда убежденность писателей в том, что деревня должна учиться у рабочего класса, у шагнущего далеко вперед социалистического города.

И. Кузьмичев в своей работе о творчестве Н. Кочина пишет о том, что литература тех лет якобы страдала болезнью «депозиции» деревни. Мне кажется более правым В. Сурганов, считающий, что говорить о подобной болезни можно лишь применительно к отдельным крайностям. «В целом же историческая и политическая обоснованность такой «установки» была и остается очевидной, как, впрочем, и ее неизбежная односторонность и ограниченность во времени. Заявлявшийся еще в пламени гражданской войны, захвативший тысячи деревень по всей России, шел бой с вековым невежеством, жадностью, дикостью. И было бы без малого дезертирством, предательством или юродством именно в этот момент искать в дышащем лютой злобой враждебном мраке скрытую за ним поэзию и красоту...»⁴.

2

Всему час и время под небом, счел нужным напомнить себе и другим Виктор Астафьев на последней странице «Царь-рыбы». Время разрушать и время строить, время разбрасывать камни и время собирать камни, время искать и время терять...

Что же: пришло время собирать, время искать, время строить, время внимательно

³ Лариса Рейснер, «Против литературного бандализма» («Журналист», 1926, № 1, стр. 27).

⁴ В. Сурганов. Человек на земле. Историко-литературный очерк. М. «Советский писатель». 1975, стр. 171.

вглядываться в то, уход чего мы так торопили когда-то в святом и великом своем порыве к будущему.

«— Парме-ен? Это где у меня Парменко-то? А вот он, Парменко. Замерз? Замерз, парень, замерз. Дурачок ты, Парменко. Молчи! у меня Парменко. Вот, ну-ка мы домой поедом. Хошь домой-то? Пармен ты, Пармен...»

Иван Африканович еле развязал замерзшие вожжи.

— Ты вот стоял? Стоял. Ждал Ивана Африкановича? Ждал, скажи. А Иван Африканович чего делал? А я, Пармеша, маленько выпил, друг мой, ты уж меня не осуди...»

Многим читателям не требуется пояснять, что перед нами начальные строки повести Василия Белова «Привычное дело».

Нелегкая задача напомнить сюжет произведения, где главное — бесчисленные подробности быта, неспешное, обусловленное множеством больших и малых обстоятельств течение жизни. Живет в северной русской деревне Сосновке в трудную послевоенную пору колхозник Иван Африканович Дрынов. Живет, думая прежде всего не о высоких материях, а о том, как перебиться до новой весны, чем напоить-накормить свою дрыновскую ораву. Да и то особо не думая, живет, как жвется, повторяя по каждому поводу: «Привычное дело!» — по-своему жалеет жену Катерину, радуется скупому северному солнцу, воде и всяческой живности, бражничает с другими мужиками по праздникам, а то и без особых поводов, делает всякую работу — и колхозную, почти не приносящую заработка, и нескончаемую домашнюю, перебивается кое-как за счет огорода да кормилицы Рогули.

С Рогули, впрочем, и начались невзгоды, согнувшие ко всему привычного Ивана Африкановича. Обнаружили у Дрыновых «незаконное», запасенное по кустам и лесным просекам сено, с угрозами и позором свезла это сено со двора. Кончилась безответная Рогулина жизнь. Дойдя до края, отправился Иван Африканович в город на заработки. А вернувшись, не застал Катерины. Победовал, поубивался Иван Африканович, пристроил ребят кого куда, стал жить, навещая изредка могилу жены, чтобы облегчить зажатую горем душу. «Ты уж, Катерина, не обижайся... Не бывал, не проведал тебя, все то это, то другое. Вот рябинки тебе принес. Ты, бывало, любила осенью рябину-то рвать. Как без тебя живешь? Так и живешь, стал, видно, привыкать... Я ведь, Ка-

ты, и не пью теперече, постарел, да и неохота стало. Ты, бывало, ругала меня... Ребята все живы, здоровы. Катюшку к Тане да к Митьке отправили, Анатошка в строительном — этот уж скоро на свои ноги встанет... Ну, а Мишку с Васькой отдал в приют, уж ты меня не ругай... Да. Вот, девка, вишь, как все обернулось-то... Я ведь дурак был, худо я тебя берег, знаешь сама... Вот один теперь... Как по огню ступаю, по тебе хожу, прости. Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя. Уж так худо, думал, за тобой следом... А вот оклемался...»

М. Горький вспоминал, что разглядывал когда-то страницы «Простой истории» Г. Флопера чуть ли не на свет. Как это сделано? Почему простая история, рассказанная самыми обыкновенными, непритязательными словами, оставляет такое неизгладимое впечатление? Думаю, что повесть В. Белова относится к числу таких талантливых произведений. Сколько с той поры читано больших и малых книг, ушедших без следа, не оставивших в душе даже самой малой отметины! А вот то, что происходило давным-давно в далекой северной деревне с Иваном Африкановичем, Катериной, их детьми, коровой Рогулей, щемит сердце, впечаталось, вклеилось в память, остается живым и не стираемым ни временем, ни другими подчас не менее яркими книгами.

Впрочем, появившись «Привычное дело» сейчас — мы бы отметили талант писателя, включили повесть в число наиболее удачных произведений последнего времени, и только. Тогда же, в середине 60-х годов, повесть В. Белова, опубликованная не в столичном даже, а в «провинциальном» журнале, привлекла к себе внимание, вызвала споры, стала определенной вехой в литературном процессе. И все потому, что литература вместе со всем советским обществом вступила в новый этап своего развития, призвана была ответить на неотложные, во многом изменившиеся социальные и духовные потребности.

«Наш паровоз, вперед лети...» — подготавливали мы песней стремительное преобразование страны. Радовались тому, что вчерашние пастухи и пахари покидали свои деревни, становились на знаменитых стройках бетонщиками и штукатурами, станочниками и металлургами. Думали, что веками не будет износа многомиллионному крестьянству, что никакие бури не доберутся до разветвленных, пронизывающих всю страну корней деревенского мира. Но темпы социаль-

ных изменений превзошли все ожидания. 70, 60, 50, 40 процентов — безостановочно меняются цифры демографической статистики, отмечая сокращение сельского населения, исчезают с карт названия тысяч деревень, становится иным образ жизни тех миллионов тружеников, которые берут на себя все более весомую ношу современного сельскохозяйственного производства. И вновь, как когда-то в 20-е годы, едва ли не каждая вторая рукопись, поступающая в издательства, в редакции литературных журналов, попадает в условную рубрику «деревенская тема».

«На Севере я мог быть и не быть», — писал С. Залыгин в «Интервью у самого себя». — Это дело случая. Тема деревни — нечто более закономерное для меня, у меня есть ощущение обязательности по отношению к ней». И потому, что получено сельскохозяйственное образование. И потому, что корни нашей нации — там, в деревне, в пашне, в хлебе насущном. «Еще дальше: видимо, наше поколение — последнее, которое своими глазами видело тот тысячелетний уклад, из которого мы вышли без малого все и каждый. Если мы не скажем о нем и о его решительной переделке в течение короткого срока — кто же скажет?»⁵.

Ярко говорил о том же на VI съезде писателей СССР Ф. Абрамов: «Предстоит в полном смысле заново сотворить русское поле, построить такие селения, где бы зеленая радость деревенского бытия была дополнена всеми благами современного города. А это задача гигантская. Задача, прямо скажем, библейских масштабов, от решения которой зависит наше будущее. Процесс великого созидания и великой ломки... И вот сегодня, когда старая деревня доживает свои последние дни, мы с особым обостренным вниманием вглядываемся в тот тип человека, который был создан ею, вглядываемся в наших матерей и отцов, дедов и бабок. Ох, не много выпало на их долю добрых слов! В чаянии нового, прекрасного человека, в жадном порыве к новой, обетованной земле социализма мы частенько смотрели на них свысока, как на неполноценную породу людей... А между тем на них, на плечах этих безымянных тружеников и воинов, стоит здание всей нашей сегодняшней жизни... Так что же удивительного, что старая крестьянка в нашей литературе на время потеснила, а

порой и заслонила собою других персонажей?.. Большой разговор в литературе о людях старого и старшего поколений — это стремление осмыслить и удержать их духовный опыт, тот нравственный потенциал, те нравственные силы, которые не дали пропасть России в годы самых тяжелых испытаний»⁶.

Широкой, полноводной была деревенская литература в пору становления социалистического общества. Ничуть не обмелела, не стала менее значительной по своей роли эта литература и на этапе развитого социализма. Но общими оказываются лишь масштабы, лишь сама по себе устремленность литературы к утверждению идеалов нового мира. Что же касается того, как и кем и на какой литературе осуществляется эту свою социальную миссию, то здесь при первом же взгляде обнаруживаются глубокие различия.

Повторю то, о чем уже доводилось писать.

20—30-е годы: затмевает другие подходы, становится преобладающим пафос преодоления в деревне с помощью социалистического города всего отсталого, темного, косного, индивидуалистического, собственнического, что вступало в противоречие с задачами строительства новой жизни.

60—70-е годы: выходит на первый план пафос сохранения в качестве непреходящего достоинства социалистического общества всего ценного в традициях деревни — своеобразного национального уклада, близости к природе, трудовых навыков, народной морали.

Эта смена акцентов происходила в литературе на протяжении 50-х годов и в полной мере дала себя знать в следующее десятилетие. К этому вели литературу «Районные будни» В. Овечкина, последней «программой» которых была мысль о «чувстве хозяина», о необходимости подлинной заинтересованности сельского труженика в решении всех своих дел. Ее, эту смену акцентов, обозначили и обуславливали собой «Деревенский дневник» Е. Дороша и «Капля росы» В. Солоухина, «Войди в каждый дом» Е. Мальцева и «Память земли» В. Фоманко. Могучий импульс для движения в этом направлении литература получила с

⁵ Сергей Залыгин. Избранные произведения в 2-х тт. М. «Художественная литература». 1973, т. 1, стр. 9.

⁶ Шестой съезд писателей СССР. 21 — 25 июня 1976 г. Стенографический отчет. М. «Советский писатель». 1978, стр. 574—575.

выходом второй книги «Поднятой целины» М. Шолохова.

Смена этапов в литературе происходит постепенно. Чаще всего эту смену нельзя обозначить какой-то одной наиболее приметной вехой. Тем не менее можно констатировать, что с начала 60-х годов наша деревенская проза претерпела довольно заметную внутреннюю перестройку. Резко отслоилась и ушла в социологию, в деловую публицистику специальная сельскохозяйственная проблематика. Отнюдь не исчезла совсем, но несколько потеснилась, приобрела новые черты, обратилась прежде всего к исследованию истории колхозной деревни непосредственно социальная, по художественным своим качествам объективно-эпическая проза. И засверкала яркими красками, выдвинулась на стрежень литературного процесса так называемая лирическая линия — проза Василия Белова и Евгения Носова, Валентина Распутина и Гранта Матевосяна...

Книги, появившиеся в пору социалистического преобразования деревни, в подавляющем большинстве случаев создавались, как уже сказано, писателями — крестьянами по социальному происхождению, по начальному жизненному опыту. Но удивительное дело: деревенская жизнь изображалась в этих книгах во многом как бы извне, с точки зрения обновленного революцией, ушедшего вперед социалистического города. Наша современная лирическая проза, напротив, достигает поразительной органичности в воссоздании мироощущения сельского труженика, его взгляда на жизнь, на мир, на все происходящее вокруг. В этом отношении лирическая проза последних лет оказывается куда более «крестьянской» по своей сути, чем носившая это название литература 20-х годов. Ощущение прошедшей смены точки зрения усиливается тем, что субъектом этого мировосприятия, проще говоря, тем центральным героем, чьими глазами писатель смотрит на мир, чаще всего выступает человек старшего поколения, во всяком случае тот, кто является носителем традиционного уклада деревенской жизни.

Давно отмечено, что в повестях и рассказах писателей подобного склада перед нами предстает прежде всего частная жизнь крестьянина, сосредоточенная в стенах его дома. Читая такие произведения, мы не ощущаем — или почти не ощущаем — нарочитой отъединенности героев от окру-

жающего мира, но получается так, что им нет особой необходимости заглядывать в правление колхоза, в контору совхоза, в какие-то районные организации, выступать в своей четко обозначенной профессиональной функции. Так строится повествование в «Привычном деле» В. Белова, «Последнем сроке» В. Распутина, в большинстве рассказов Е. Носова.

Является ли внимание к частной жизни человека особенностью только деревенской прозы? Нет, разумеется. Точно так же перестали совпадать друг с другом, как это было прежде, производственная тема и тема рабочего класса: появился целый ряд произведений, где жизнь рабочего раскрывается вне каких-либо производственных коллизий. «Московские повести» Ю. Трифонова обозначили собой тематическое направление, связанное с раскрытием частной жизни интеллигента-горожанина.

Так уж водится, что выигрыш в одном часто несет с собой проигрыш в чем-то другом. Сосредоточив внимание на малом поле исследования, лирическая проза сумела с замечательной рельефностью передать позитивные стороны деревенского уклада, вылепить характеры сельских тружеников, людей высокой народной морали, вынесших на своих плечах неисчислимые испытания. Но в ряде случаев подобный взгляд на жизнь, не дополненный, не скорректированный никаким иным мировосприятием, обрывается ограниченностью кругозора, ведет к определенным идейным смещениям. Не смог, например, избежать этой опасности в повести «Прощание с Матёрой» В. Распутин. При всем незаурядном таланте писателя оказалось невозможным нарисовать сложную, противоречивую картину движения жизни, драматического столкновения старого и нового, глядя на проблему вынужденного переселения людей только оттуда, из дома старухи Дарьи, с улиц и погостов обреченной на исчезновение Матёры.

3

Откроем два очень разных по жанру, по объему, по авторскому стилю произведения. Первое из них — рассказ азербайджанского писателя Рустама Ибрагимбекова «Деловая поездка».

«В небольшом селении недалеко от Марзов... семья местного учителя, скончавшегося в прошлом году, собирала в Баку сына — высокого, ладного парня с ясными

современным решительным выражением лица и уверенными движениями».

Зачем собирается в столицу республики высокий, ладный парень Энвер, почему хлопочут вокруг него мать, дед, сестры? О, это целая история, которая вскоре становится известной читателю. Лет десять назад отец Энвера приехал в Баку на курсы усовершенствования учителей. Привез с собой все свои сбережения — восемь тысяч рублей старыми, надеясь со временем найти в городе жилье и работу. Эти деньги у него выпросил в долг некий Агамейти Байрамов — и обманул, не отдал долга ни тогда, ни позднее, хотя робкий сельский интеллигент много раз специально ездил за этим в Баку. И вот теперь Энвер решил во что бы то ни стало выполнить завет покойного отца.

«— Душу из него вышу, но через три-четыре дня вернусь с деньгами...»

— Не все так просто в городе, сынок, — сказал дед, — там не очень-то потребуешь... Отец твой поверил ему на слово. А закон слов не признает».

Несколько часов тряской езды на автобусе — и Энвер в городе. Первым делом он нашел своего односельчанина Гамида, который когда-то решил «временно» побыть в Баку, да так и работает там с тех пор милиционером.

«— Безднажное дело, — сказал он, продолжая вертеть палкой, — никаких доказательств... И давность большая...»

— Доказательства, законы, давность, — усмехаясь, сказал Энвер, — а совесть, честь, правда — такие вещи здесь никого не интересуют? Или и вправду в городе только бессердечные жулики живут?»

Хмурый, неулыбающийся, ежеминутно готовый дать кому-то отпор Энвер бродит по городу со своим тяжелым чемоданом, ищет мошенника Байрамова. Он обращается ко всем только на «ты», грубит, ни за что ни про что накричал на приветливого старичка, который указал ему дорогу. На удивленный вопрос, что он ему плохого сделал, Энвер ответил:

«— Ты ничего не сделал, отец, — но сам воздух в этом городе такой, что все, кто живут здесь, отравляются злобой и хитростью».

Опыт немногих часов, проведенных в городе, не так уже мал. Энвер побывал у сына Байрамова, познакомился с городской девушкой Томой, съездил с ней на съемки фильма, посмотрел, как веселится моло-

дежь в загородном ресторане. Здесь он крепко «перебрал», приревновал Тому к ее приятелям, убежал, кому-то опять нагрубил, проснулся утром с головной болью и багровыми подтеками на лице. Энвер еще больше уверился в том, что «каждый должен жить там, где родился». «Можно жить в городе всю жизнь, устроиться на работу, завести знакомых, но это будет не твой город, не твоя работа и не твои знакомые...»

Наконец цель деловой поездки достигнута. Энвер ударил жалкого старика, обманувшего его отца. «Он смотрел на распластанное на полу... тело Байрамова, ждущее побоев, дрожащее от страха, и у него не было никакого желания приблизиться к нему». Однако Энвер все-таки подошел, «вытер кровь с его лица. Вытирая ее, он почувствовал на его щеках слезы и вдруг, навалившись на Байрамова, заплакал сам...»

Через полчаса Энвер был на площади перед «Азнефтью», где ловко управлял потоками машин его земляк. «Энвер перешел площадь и приблизился к кругу, в котором стоял Гамид. Тот удивленно посмотрел на его распухшее лицо.

— Отведи меня в пекарню, — сказал Энвер. — Я временно останусь в городе...» (А Гамид, надо сказать, до этого уговаривал Энвера поработать в пекарне.)

Теперь откроем ненадолго роман литовского писателя Витаутаса Бубниса «Цветение несеяной ржи». Это последняя часть трилогии, куда вошли также романы «Жаждающая земля» и «Три дня в августе».

Главный герой романа Антанас Петрушонис в свое время воевал, вернулся в родную деревню. Жизнь тогда «походила на муравейник после грозы». «Проснулась от зимней спячки деревня, столетиями сосавшая лапу. Всполюшилась, забегала. Взрослым детям стало тесно в одной избе с родителями».

Занесло в город и Антанаса Петрушониса. Жил в общезжитии, слесарил на заводе. Женился на бойкой Казюне, тоже уехавшей из деревни. Промчались годы: скоро можно справлять серебряную свадьбу. А радости мало. Алексюс — сын от брошенной в деревне Эяны — пошел по кривым тропкам, отбыл срок в колонии. По нелепой случайности сторожить его пришлось «законному» сыну, Викторасу. Еще беда: пока Викторас служил в армии, ушла из дому, стала жить с другим Дейманте, его жена.

Редкими праздниками стали для Антанаса свидания с внучкой Ренатой.

Четверть века в городе, а не даёт покоя, неотступно живет с ним и в нем когда-то покинутая, теперь уже и не существующая деревня. «Наверняка не только он, Антанас Петрушонис, оглядывался назад. Вместе с распуганными аистами люди покидали родные избы, ольшаники, пашни. А глаза все искали что-то, оставленное там...»

Антанас не смог работать на заводе, стал строителем. Все-таки целый день на воздухе. «И что самое главное — здесь в тот же самый день ты мог быть и бетонщиком, и столяром, и строипальщиком... Как когда-то: сам пашешь, сеешь, сам плуг чинишь...» Однажды проснулся Антанас как от наваждения: где-то рядом заливался петух. Оказалось, привез петуха из деревни сосед-дворник. Долго пел петух на балконе, пока дворникова дочка его чем-то не отравила. Глянет Антанас утром на небо — и первая мысль о том, как там, в деревне, пахнут или сеют. Откроет местную газету — глаз невольно отыскивает в сводке строчку родного когда-то района.

Завел Антанас дачу, ковыряется там по воскресеньям, благо есть машина. «Очень редко удается тебе вот так забыться и почувствовать доброту земли. А ты ведь надеялся, что этот огород заменит тебе родную деревню, из которой ты так легко ушел, и лишь потом, гораздо позже понял, что в душе чего-то не хватает, что образовавшуюся пустоту нечем заполнить и она все растет и растет». «Горбатого могила исправит, качает головой Антанас Петрушонис. Таскай этот горб весь свой век и не спрячешь его, если б даже захотел...»

Тысячи километров разделяют Вильнюс и Баку. Даже в переводе на другой язык нестираема печать национального своеобразия, лежащая на произведениях литовского и азербайджанского писателей. А волнует их в данном случае — лишь как бы с разных концов — один и тот же социально-психологический узел, завязанный в нашем веке истории.

Стоит Полярная звезда
Над нашим миром древним.
Деревне — снятся города,
А городам —
Деревня.

В. Фирсов.

70, 60, 50, 40 процентов сельского населения... Мелькают цифры в окошечке счетчика, отмечающего неостановимый процесс

урбанизации страны. И за этими цифрами — десятки миллионов горожан, хранящих в своих паспортах, в графе «место рождения», буквально всю сельскую топонимику Советского Союза. Естественно, топонимику уже вчерашнего, а не сегодняшнего дня: бесчисленное множество названий бывших деревень будет жить лишь до той поры, пока живы владельцы этих паспортов.

В 20—30-е годы литература, как мы видели, отображала массовое передвижение людей из деревень на стройки и в большие города, но отображала еще «в целом», самым широким планом, не глядя в психологические подробности изменений, происходивших в этих людях. «Всякий ехал народ; и старый, и молодой, и семейный, и бездомный,—что-то сотрясло его, сдвинуло из исконных, отцами еще обогретых мест,—куда?» (А. Малышкин, «Люди из захоласти»). «Они вылезали из вагонов, серые в потемках, и все на одно лицо; шапки на них стояли стоймя, и бороды еще бывали смяты сном» (Л. Леонов, «Соть»). «Приехал сезонником, землекопом, деньгу сколотить. Первые дни тосковал. Степь — но чужая. Звезды — но чужие. А работа громадная. Понемногу привык. Стал разбираться. Стал бригадиром» (В. Катаев, «Время, вперед!»). И мы знаем: движение человеческих масс из деревни в город воспринималось — и отображалось — как путь из тьмы к свету, как освобождение человека из тяжелейшего плена земли, выход его на неоглядные просторы труда, творчества, борьбы.

Иной предстает коллизия «город — деревня» в современной литературе. Круто изменилась эмоциональная оценка деревни. Перестал выглядеть однозначно-позитивным социальным явлением город. Урбанизация оказалась процессом необычайно сложным и противоречивым, несущим человеку в одно и то же время и благо, и зло, и приобретения, и невозвратимые потери. Прекрасно выразил драматизм этой ситуации в нескольких поэтических строчках Николай Рубцов:

Мужал я под грохот «МАЗов»
На твердой рабочей земле...
Но хочется как-то сразу
Жить в городе и в селе.

Ах, город село таранит!
Ах, что-то пойдет на слом!
Меня все терзают грани
Меж городом и селом...

Почему терзают? Как терзают? Каким видит деревенский житель город, как он себя чувствует, становясь горожанином? Все это

получило необычайно широкое и многообразное отражение в советской литературе 60—70-х годов. И не только в литературе, но и в кино, театре, изобразительном искусстве. Мало того: не только у нас, но и в литературе и искусстве других социалистических стран.

«Коренная проблема миграции,— говорила на одной из творческих дискуссий социолог В. Переведенцев,— это проблема социально-психологической адаптации переселенцев из села к условиям города, проблема преобразования сельского человека в горожанина... Сельский человек в городе — вопрос чрезвычайно для нашей страны важный, большой и большой. Ведь ежегодно из села в город переселяется около четырех миллионов человек. И почти каждый из них должен пройти болезненный процесс ресоциализации, то есть разрушения старой, сельской личности и воссоздания на ее обломках новой, городской. Говоря языком специалистов, это проблема маргинального (промежуточного) человека, маргинальной личности. Человек отрывается от одной социальной среды и не успевает еще войти в другую. Это трудный период в жизни человека, обычно период некоторой деморализации»⁷.

Проблемам социально-психологической перестройки личности и посвящены затронутые выше произведения Р. Ибрагимбекова и В. Бубниса. В самой начальной точке этого процесса находится азербайджанец Энвер, демонстрируя обычно свойственную маргинальной личности повышенную недоверчивость, угловатость, агрессивность. И несет свою «промежуточность» как незаживающую рану, как беду литовец Антанас Петрушонис, неспособный избавиться от тяги к земле, от чувства вины перед покинутой им деревней.

Мы как-то не обращаем внимания на то, что болезненность промежуточного состояния между двумя социальными укладами остро переживают сами писатели. А ведь строки Н. Рубцова «меня все терзают грани меж городом и селом» — это не просто поэтическая метафора. И не красного словца ради признался однажды В. Шукшин, что он чувствует себя в весьма неудобном положении человека, у которого одна нога на берегу, а другая в пляшущей на воде лодке.

⁷ «Литературное обозрение», 1978, № 5, стр. 22.

Не отсюда ли идут и негативные явления, давно зафиксированные нашей критикой?

Резкий контраст между бытом, образом жизни некоторых литераторов и консервативными тенденциями в их творчестве. Крестьянская ностальгия, сопровождаемая несколько педалированным подчеркиванием своего социального положения, а порой и национальной принадлежности. Отмеченные еще великим сатириком «идиллические приседания»⁸ перед народом, практически отождествляемым с крестьянской его частью. Склонность видеть лишь негативные стороны урбанизации и научно-технического прогресса. Стремление к истокам, поиски точки опоры в недрах патриархального уклада. Сумма этических идей, восходящая к консервативным течениям философской мысли...

Суровые социологи 20-х годов заявили бы, что перед нами миропонимание крестьянства, при этом крестьянства, так сказать, деклассированного, потерявшего собственную почву. И быть может, в этом жестком социологическом определении содержалась бы немалая доля истины.

4

Любое подлинно художественное произведение так или иначе является социальным по своему содержанию, позволяет судить о каких-то отразившихся в нем моментах жизни данного общества. Но именно «так или иначе», поскольку это социальное содержание может быть непосредственным, явным, открытым невооруженному глазу или опосредованным, приглушенным, выявляемым при критическом анализе книги лишь в последнем счете.

Легко припомнить значительные произведения эпического характера, где речь идет о становлении колхозного строя, об испытаниях, выпавших на долю тружеников села в военные годы. И много сложнее назвать романы и повести, раскрывающие сегодняшшний день колхозной и совхозной деревни, те процессы, которые на наших глазах делают неузнаваемыми древнейшие на земле трудовые профессии.

60-е годы оказались «урожайнее» на непосредственно социальную деревенскую прозу, чем 70-е. Тогда появились романы «Войди в каждый дом» Е. Мальцева, «Па-

⁸ М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в 20-ти тт. М. «Художественная литература». 1968, т. 6, стр. 265.

мять земли» В. Фоменко, «Кончина» и «Поденка — век короткий» В. Тендрякова, «В стране синеокой» Н. Шундика, «Деревня на перепутье» И. Авижюса. В 1965 году опубликованы «Липяги» С. Крутилина — «записки сельского учителя», яркая художественная летопись жизни старинного русского села. 1966 годом датирована блистательная повесть Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары!», ставшая одной из самых приметных вех общесоюзного литературного процесса.

Нельзя сказать, что непосредственно социальная линия деревенской прозы в 70-е годы сошла на нет. Бесспорно, однако, что заметных произведений подобного плана в последнее время стало значительно меньше. Тем важнее попытки писателей вслушаться в биение пульса современной деревни, двинуться дальше по традиционной для нашей литературы дороге социального анализа.

«Последний срок» — назвал свою повесть В. Распутин. «Последний поклон» — книга воспоминаний и размыслений другого писателя-сибиряка, В. Астафьева. Ныне к этим названиям добавилась повесть Ю. Гончарова «Последняя жатва», опубликованная в 1978 году в воронежском журнале «Подъем». Общее между этими произведениями — пристальное внимание писателей к чему-то «последнему», безвозвратно уходящему, острая боль прощания с дорогими сердцу героями, неизбежная при таком прощании грустная, элегическая тональность. Но дальше начинаются различия. Это книги о разных временах, разных явлениях действительности, каждая из них несет на себе печать неповторимой авторской индивидуальности, решает свою, особую идейно-творческую задачу.

В сельском хозяйстве страны непосредственно занято 27 миллионов человек. Из них 4 миллиона 429 тысяч, то есть каждый шестой, — механизаторы. Нет надобности говорить о значении этой быстро растущей части сельских тружеников. Целиком и полностью им передано главное — хлебное поле страны, без них немислима ни одна другая отрасль сельскохозяйственного производства. О том, как живет, как трудится, как чувствует себя один из этих четырех миллионов механизаторов, и рассказывает читателю новая повесть Юрия Гончарова.

«Он был неречистый человек, не умел словами выражать свои добрые чувства к людям», — говорится в повести о рабочем

человеке, станочнике из колхозной мастерской. Вот такие — «неречистые», но работающие, совестливые, добрые к людям — ближе всего автору книги. Таков и главный герой повести комбайнер колхоза «Сила» Петр Васильевич Махоткин.

Фронт. Ранения. Возвращение в разоренную войной родную Бобылевку. Три десятка лет работы при машинах и на машинах — под палящим солнцем, в непролазную грязь, в обжигающий мороз. Недавно похоронил жену, с которой прожил все эти поначалу безмерно тяжкие, потом более счастливые и светлые годы. Теперь с ним дочка Люба, у которой не задалась жизнь с нахальным, арапистым Володькой Гудошниковым, да двое внучат, радующих деда своим щебетаньем, жадным ребячьим интересом к окружающему миру.

Повесть Ю. Гончарова не только о том, как томился Петр Васильевич Махоткин в больнице, невольно перебирая в памяти прожитые годы, как он работал в поле, не ведая, что это его последняя жатва. Здесь есть другие герои, другие сюжетные ответвления, позволяющие нам полнее ощутить жизнь сегодняшнего колхозного села. Но главным успехом автора остается все же образ крестьянина новой формации, нерасторжимо соединяющего в себе лучшие традиции старой деревни с многообразной социалистической новью.

«Машинное земледелие» — это то, без чего Петр Васильевич не может представить себе работы на земле. Его руки так же уверенно управляют с металлическими деталями, как его деды и прадеды управлялись с нехитрой ременной сбруей. И когда он видит на железнодорожной станции присланный колхозу новенький «Колос», этот миг переживается комбайнером как самый светлый душевный праздник. «Он созерцал и наслаждался молча... Машина действительно была хороша — и сама по себе, и еще тем, что это был не просто комбайн, и его, Петра Васильевича комбайн, и это рождало к нему уже какие-то особые добрые чувства... Еще даже не прикоснувшись к нему ни разу рукой, Петр Васильевич уже принял его сердцем, любил его хозяйской любовью».

Не становятся ли шумящие, чадающие бензиновой гарью машины между человеком и природой, не разрушают ли они существовавшую с незапамятных времен поэзию крестьянского труда? Нет, сами по себе машины тут ни при чем. Все дело в том, как

относиться и к этим машинам и к этому труду. Ночью, лежа возле теплого, наработавшегося за день комбайна, Петр Васильевич сливается душой со всем этим огромным, залитым лунным светом миром, слышит, как при полном безветрии тихо шелестит раскрывающий спелые колосья ячмень. «Петру Васильевичу никогда не скучно было одному в полях. Он и не чувствовал себя в одиночестве. Машина была для него таким же живым организмом, как и он сам».

Сидя у костра в безмолвной ночи, с особым чувством вспоминает Махоткин, с чего начиналась после войны колхозная жизнь, сколько пришлось вынести на первых порах. «Ничем это не передать, как и солдатские дни и ночи на войне,— это надо только на себе вынести, на своих плечах, терпением и силою своего духа одолеть...» Вспомнилась Петру Васильевичу встреченная на одной из прифронтовых дорог оборванная бабка, которая днем и ночью поддерживала нужный людям огонь. Пришла в голову мысль: «Каждый был тогда таким костром и от каждого из тех дней и лет есть сейчас, в нынешних днях, свет и тепло». «Сердце Петра Васильевича толнулось от волнения. С этой мыслью ему открывался какой-то совсем новый взгляд и на него самого, на весь тридцатилетний его труд и на всю его жизнь, которую он всегда считал самой простой и обыкновенной, не отмеченной ничем значительным».

1978 годом датирован новый, четвертый роман из известного цикла произведений Федора Абрамова «Братья и сестры». Перед нами приполярное архангельское Пекашино 70-х годов, знакомые его жители, работающие теперь, правда, в совхозе, отделением которого стал бывший пекашинский колхоз. И на всем, о чем повествуется в романе «Дом», лежит отсвет пережитого пекашинцами вместе со всей страной в военные и первые послевоенные годы. Это прошлое тоже горит негасимым костром, добрасывая свои искры до сегодняшнего дня.

«Не приведи бог,— думает Лиза Пряслина,— еще раз пережить голод, который они пережили в войну и после войны, не приведи бог, чтобы еще раз вернулись те страшные времена, когда ребята всю зиму, сбившись в кучу, отсиживались на печи. И все-таки, все-таки... Никогда у них, у Пряслиных, не было столько счастья и радости, как в те далекие незабываемые дни». «Но толь-

ко ли одна она со сладким замиранием сердца ворошила в своей памяти то далекое прошлое? А старухи, вдовы солдатские, бедаги старые, из которых еще и поныне выходит война?.. О чем говорят-толкуют? О чем чаще всего вспоминают? А о том, как жили да робили в войну и после войны... Вспоминали, охали, обливались горючей слезой, но и дивились. Дивились себе, своим силам, дивились той праведной и святой жизни, которой они тогда жили».

Можно во всем положиться на Петра Васильевича Махоткина, на Михаила и Лизу Пряслиных, на Егора Дымшакова из романа Г. Мальцева «Войди в каждый дом», на Та-набая Бакасова из повести Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары!». Они, если надо, возьмутся за самое трудное дело, сделают его на совесть, никого не подведут. Потому что каждый из них был в суровую пору костром для людей и «от каждого из тех дней и лет есть сейчас, в нынешних днях, свет и тепло». Но как передать это их святое отношение к общему делу тем, кто не прошел школы тяжелейших испытаний? Как добиться, чтобы не гасло в людях понимание великого социального смысла их обыкновенного, будто бы ничем не примечательного труда? Эти вопросы писатели задают себе и нам, встревоженные тем, что они подчас видят, убежденные в том, что здесь есть решаемая обществом, но не разгаданная до конца сложнейшая социальная проблема.

Богато живут ныне пекашинцы. Что ни год, поднимаются в деревне новые дома. Почти у всех ковры, городская мебель, все, что положено для уважающего себя человека. А вокруг деревни — горькие, бьющие в глаза приметы запустения. Сведены могучие пекашинские боры, обмелели загубленные молевым сплавом речки, заросли кустарником былые покосы, списаны как уже не существующие почти все созданные трудом десятков поколений крестьян дорожные северные пашни — пожни. Дохнет каждую весну из-за бескормицы немалая часть пекашинского скота, совхоз приносит государству каждый год четвертьмиллионные убытки. И для большинства пекашинцев все это в порядке вещей.

Не любят в деревне Михаила, говорит другому брату, Петру, Лиза Пряслина. И в ответ на его удивление поясняет: «А за работу. Больно на работу жаден. Житья людям не дает». И потому еще, что «народ другой стал. Не хотим рвать себя как

преже, все легкую жизнь ищут. Раньше ведь как робили? До упаду. Руки грабли не держат — веревкой к рукам привяжи да гребни. А теперь как в городе: семь часиков на лугу потыркались — к избе. А нет — плати втридорога... — Лиза помолчала и закончила: — Так, так теперь у нас... Раньше людей работа мучила, а теперь люди работу мучают...»

Ревут на окраине деревни непоеные и не кормленные телята, оставленные Тонькой-телятницей («Да, вот какие пошли ноне работницы! Скотину бросила, а сама в город в загул — на свадьбу к подружке!»). Борька, сын Егорши, загонял до упаду совхозных лошадей, но попробуй найди на подлеща управу («Теперека не старые времена все-то командовать»). Плохи дела с сенокосом: встал поперек дела проклятый Петров день («Бутылка-то, вишь, до чего довела. Страда, а у нас вся деревня в лежку»). И даже аккуратнейший, старательный в работе Виктор Нетесов без зазрения совести гоняет в самую жару по поже трaktor, выворачивает плугом мертвую глину, хороня под ней вместе с тонким слоем почвы одну из последних пекашинских пашен («Я приказ выполняю, так что не по тому адресу критика»).

Страдает от нерадивого, бессовестного отношения многих людей к делу и Петр Васильевич Махоткин в «Последней жатве». То это приехавшие на уборку из города бывшие односельчане, думающие лишь о том, как бы урвать побольше. То свой же бобылевец, бывший зять Володька Гудошников, рьяно добивающийся звонкой славы. «Червь тщеславия уже прочно поселился в нем, рос, точил его изнутри и требовал, требовал себе пищи...» Прорвался Володька ко второму секретарю райкома, отобрал при его содействии у Петра Васильевича новенький «Колос» и гоняет его без жалости, целясь на первое место в сводке, на «почет в районном, а может — и в областном масштабе...».

Мучается непосильными для него вопросами Михаил Пряслин, ищет ответы на одолевающие его бесчисленные «почему». И в конце концов приходит к выводу, что все беды пекашинцев упираются в негодного управляющего отделением совхоза Антона Таборского. «За сорок два года он усек твердо: каков поп, таков и приход. В самые худородные, в самые тугие времена Лукашин поворот колхозу дал. А почему? А потому что твердо на ногах стоял, потому что не гнулся, как лоза, при всяком ветришке

сверху, не был кнопкой, которую надавливали — и запела».

С Михаила невелик спрос. Он сам признается, что думать для него — «чистое наказание». Но сюда же, к давно известной и давно скорректированной временем исходной «программе» овечкинских очерков, похоже, склоняется и сам автор. Написали мужики коллективную жалобу на Таборского. Приехала комиссия, разобралась в его безобразиях. Дали Таборскому другую должность в районе — кстати, с повышением. Управляющим отделением назначили того самого Виктора Нетесова, который, ссылаясь на указание начальства, сгубил поле. И будто бы с этой переменной Пекашино оказалось на пороге новой жизни.

Повесть Ю. Гончарова не претендует на решение затронутых в ней социальных проблем. Но, во всяком случае, она свободна от иллюзии, что «все дело в председателях». На немногих страницах, отведенных председателю колхоза «Сила» Василию Федоровичу, мы видим человека опытного, мудрого — и усталого. «Усталость не от работы, не от самих дел, за которые он отвечает, за которые с него спрос. Сами дела не могут так утомлять, они интересны, от них даже бодрость и новые силы, когда что-то выходит, получается. Усталость в нем оттого, что рядом с хорошей, радующей работой немало и такого, что тормозит и нарушает планы, подчас даже ставит их, а то и весь колхоз, в критическое положение». «А сколько вокруг просто лени, всякого нерадения, расхлябанности, разгильдяйства, такого, с чем Василию Федоровичу приходится непрерывно и беспощадно каждый день воевать, потому что иначе нельзя, иначе и хорошая работа погибнет, сойдет насмарку, не принесет никакого проку. Вот куда тратится львиная доля его энергии, нервов, здоровья. А вовсе не годы виноваты, не трудности председательской должности».

Нет простых ответов на вопросы, которые задает обществу неостановимая, движимая противоречиями жизнь. И нет конца поиску, который бедет, отражая эти противоречия, наша литература, чутко улавливающая человеческие, нравственно-психологические проявления возникающих социальных коллизий.

5

Подход к миру природы в произведениях 20—40-х и 60—70-х годов (если говорить, конечно, о главных тенденциях) настолько

различен, что перед нами будто бы не одна, а две совершенно разные литературы. Между тем и тот и этот подходы вполне объяснимы процессами развития страны, формирования общественного сознания.

Особую роль играла природа в эпосе революции, эпосе социалистического преобразования. В полном соответствии с законами эпического искусства беспощадное южное солнце палило спасающееся от врагов пестрое воинство Кожуха («Железный поток» А. Серафимовича), свирепый буран выметал щебенку и цемент из тачек идущей на рекорд бригады бетонщиков («Время, вперед!» В. Катаева), «восстание реки» грозило разрушить результаты многомесячного труда на стройках первой пятилетки («Соть» Л. Леонова, «Гидроцентральный» М. Шагинян). Природа, как правило, заявляла о себе грозными аномалиями, вливающимися в бушевание иной, социальной стихии.

Подобный характер изображения природы определялся, разумеется, не просто законами эстетики. Литература отражала особенности общественного сознания той поры, доминантами которого были преодоление всех и всяческих преград на пути социалистической нови, и изменение, преобразование всего сущего в мире — и природного и человеческого. «Это все лес, прорва лесу... — говорилось в леоновской «Соти», — стоит, гниет, сохнет. В нем водятся грибы, медведи, пустынные черти, все — кроме разума и воли». И в высшей степени характерное: «...сырья на тышу лет...»

В повести «Обратный билет» Д. Гранин вспоминает о робких попытках отца приохотить его к своему лесному делу. Но «в то время модны были другие специальности, я перебирал самые, как мне казалось, нужные, перспективные: электротехника, автоматизация, гидростанции. Нас пленяли цифры, размах, термины: верхний бьеф, пиковые нагрузки, кавитация, разрывная мощность, сети и системы... Ажурные высоковольтные опоры казались нам красивей, чем сосны и березы. Рассчитывать опоры было сложно — анкерные опоры, несущие, переходные; деревья же были просты, однообразны и ничего не стоили. Реки надо было — покорить, обуздать, усмирить, запрячь. У реки, у леса был один-единственный смысл: служить человеку. Ни о каком другом смысле мы не догадывались, в расчет не брали... Мы, инженеры, — благодетели человечества, наше дело осветить мир, обеспечить его энергией. И мы это соверши-

ли, взрывая и кроша, превращая реки в тихие ленивые запруды. Иначе было нельзя. Неправильно было только то, что мы ничего не жалели...»

Крутой поворот в понимании взаимоотношений человека и природы обозначил собой роман Л. Леонова «Русский лес» (1953). Он не просто отразил зарождавшиеся изменения в общественном сознании, но и стал могучим катализатором этих изменений, в немалой степени содействовал осознанию обществом кровной необходимости нового, разумного, поистине человеческого отношения к миру природы.

Прошло немного лет, и проблемы, поставленные с таким блеском в знаменитой лекции героя леоновского романа, приобрели острейшее всемирное звучание. В число важнейших наук выдвинулась экология, рассматривающая жизнедеятельность человека в неразрывной связи с окружающей его средой. Лавиной обрушились на читателя книги-предупреждения, книги-прогнозы, говорящие о конечности земных ресурсов, о чрезвычайных опасностях, угрожающих человеку вместе с уроном, наносимым им самим земле и воде, атмосфере и климату, растительному и животному миру.

Возникла необходимость широкого международного сотрудничества в решении глобальных экологических проблем. Получил особое значение вопрос: какая из существующих социальных систем способна успешнее справиться с противоречиями, которые несет с собой ускорившийся научно-технический прогресс? Мы убеждены в том, что обеспечить подлинную гармонию отношений между человеком и природой может только социализм. Но ясно, что эта гармония не приходит сама собой. Она достигается в борьбе с отжившими представлениями и привычками, в преодолении множества возникающих на этом пути препятствий и трудностей, в поисках наиболее оптимальных путей и пределов воздействия на сложнейшие кругообороты природных процессов.

Можно было бы написать целую книгу о практическом участии советских писателей в борьбе за разумное хозяйствование на земле, за правильное использование доставшихся нам величайших природных богатств. Главами этой книги стали бы, в частности, решение проблем Байкала, споры вокруг проекта Нижнеобской ГЭС, многолетние битвы за сохранение сибирского кедр, вы-

ступления в защиту Волги и Днепра, Азовского и Аральского морей...

Велико значение этой непосредственной общественной деятельности наших писателей. Но, естественно, еще важнее то, что они пишут в своих романах и повестях, пьесах и стихотворениях. А книги, где так или иначе затрагиваются отношения человека и природы, стали неотъемлемой частью современного литературного процесса. Вспомним хотя бы «Камыши» Э. Ставского, «Белого Бима, Черное Ухо» Г. Тропопольского, «На тихом плесе» Ю. Гончарова, «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева, «Озеро беглой воды» А. Ткаченко, «Гулкую параллель» В. Колыхалова, «День и час» В. Марченко, «Когда киты уходят» Ю. Рытхэу, «Белугу» А. Шадрина, «Царь-рыбу» В. Астафьева... Десять произведений — лишь малая часть того, что появилось в современной русской прозе. А сколько таких книг пишется и печатается на языках других народов страны!

Я не ставлю своей задачей дать подробный анализ нашей, условно говоря, «экологической» прозы. Это задача особая. Единственное, что представляется возможным, — высказать свое понимание внутренней логики идущих здесь творческих поисков.

На протяжении тысячелетий складывался и существовал особый, первоначальный тип взаимодействия человека и природы, имеющих свои экономические, социальные, духовные основания. Человек еще не выделял себя из природы, выступал во всей своей жизнедеятельности ее неотъемлемой частью. Разрушенное неумолимым ходом истории, это естественно-природное бытие человека тем не менее доплеснулось какими-то каплями до нашего времени. И характерная особенность современной литературы — пристальное внимание к этому отблеску минувшего, в котором, быть может, есть что-то очень важное и для нашего будущего.

«Ноги сами несли его, и он перестал ощущать сам себя, слился со снегом и солнцем, с голубым, безнадежно далеким небом, со всеми запахами и звуками предвечной весны...» Это из «Привычного дела» В. Белова, где Иван Африканович представляет собой тип именно такого «природного» человека. «Как всякий туземец, он не умел отделять себя от бытия земли и воды, дождей и лесов, туманов и солнца, не ставил себя около и не возвышал над, а жил в простом, естественном и нераздельном слиянии с этим миром...» Это о мужичке-бродяге Саэоне из

повести Е. Носова «И уплывают пароходы, и остаются берега». Таковы же отношения с природой у Акима из «Царь-рыбы» В. Астафьева, у старого Момуна и рыбаков-нивхов из повестей Ч. Айтматова «Белый пароход» и «Пегий пес, бегущий краем моря».

Писатели далеки от умиления всеми чертами природы подобных героев, показывающих себя (главным образом в социальной сфере) порой удивительно пассивными или беспомощными. Совсем не «образцы для подражания» и Иван Африканович, и Момун, и Савоня, и Аким. Одно лишь бесспорно несет в себе свет эстетического идеала — вот это их «простое, естественное и нераздельное слияние» с миром солнца и звезд, дождей и ветров, со всем, что живет и растет на древней нашей земле.

При всей привлекательности этой детской, первобытной слиянности природного и человеческого она принадлежит прошлому. Какая-то новая органическая связь этих раздвоившихся частей единого целого — достояние будущего. Пока же мы живем в эпоху резких диссонансов между человеком и природой, кричащих сбоев в процессах, на отладку которых в предшествующей истории земли понадобились сотни тысяч, если не миллионы лет. И литература исследует эти диссонансы, отражает противоречивую поступь экономического и научного прогресса, где каждый шаг вперед — и достижения и потери, и благо и зло.

Для обличения браконьеров существуют газеты, для наказания — суды. Писатели, разумеется, ставят перед собой и читателями иные, более сложные и многообразные, социальные, психологические, нравственные проблемы. Что это такое вообще — потребительское отношение к природе? Чем объясняется его живучесть и в условиях нового социального строя? С какими нравственными потерями оно связано? Что стоит за всеми известными нам вариантами гибельного вторжения человека в мир природы? Какой уровень нравственного воспитания, духовной культуры требуется человеку для осознания его долга перед всем сущим? Что движет людьми, находящими в себе мужество воевать за общенародное достояние, подчас не щадя самой жизни?.. Вопросы, вопросы, и главные из них — вопросы сохранения не столько окружающей среды, сколько совести, достоинства, чести, духовности, человечности самого человека. «Мне кажется, — говорил по этому поводу Чингиз Айтматов, — что литература должна под-

нять свой голос не только вообще в защиту природы, но проявить особую заботу о том морально-психологическом комплексе человеческой души, который связан с восприятием природы. Литература должна этим заниматься — это ее долг, ее миссия»⁹.

Давний диалог Ч. Айтматова и Л. Новиченко, откуда взяты приведенные только что строки, был назван «Неизбежность гармонии». К этому зовет общество в целом и каждого человека в отдельности наша литература, отлично понимая, сколь труден путь к искомой гармонии, сколь много надо потрудиться, чтобы действительно сделать всеобщим достойным позицию поэта:

В основном бору,
В березовой роще,
Где так многогранно желанье жить,
Мне, сильному, только добрей и
проще
И человечней хочется быть.

Птицы взвиваются из-под ног,
Зайцы срываются со всех ног.
А я никого не трогаю:
Лугами, лесами, как добрый бог,
Иду своей дорогою.

А. Яшин.

* * *

Состоялась Всесоюзная творческая конференция в Алма-Ате: «Осуществление аграрной политики КПСС и задачи современной литературы в изображении тружеников советского села». Проведено выездное заседание секретариата правления Союза писателей РСФСР в Костроме, посвященное теме «Нечерноземье и современная российская литература». Сотни литераторов участвовали в этих приметных событиях минувшего лета, десятки писателей и критиков высказали свои суждения о том, как связана литература с жизнью села, что нужно сделать,

⁹ «Литературная газета», 1 января 1973 года.

чтобы эта связь была еще более крепкой, действенной, органичной.

Особенность нашего времени, ярко проявившаяся на этих обсуждениях, — широкое, творческое, не формальное и уж тем более не вульгарное понимание возможностей и задач художественной литературы. Как и можно было ожидать, многие ораторы, в том числе сами писатели, сетовали на недостаточное внимание литературы к современности, к сегодняшним делам и заботам сельских тружеников. Но при этом никоим образом не подвергалась сомнению правомерность любых других подходов к сельской теме, отвечающих жизненному опыту, интересам, творческой индивидуальности писателя.

В письме участников Всесоюзной творческой конференции товарищу Л. И. Брежневу говорилось: «Решения июльского Пленума ЦК КПСС (1978 г.), Ваша, дорогой Леонид Ильич, замечательная книга «Целина», борьба сельских тружеников за осуществление указаний партии — вот что дает нам, художникам слова, надежные, выверенные практикой ориентиры для глубокого исследования жизни советского села. Мы хорошо понимаем, что, заботливо сохраняя лучшие трудовые и нравственные традиции, накопленные вековым опытом крестьянства, надо приумножать их качественно новыми традициями, которые рождены опытом социалистического строительства, коренного обновления села, характерными для условий зрелого социализма».

Все заботы тружеников села — заботы нашей литературы. Но главной ее заботой был и остается сам этот труженик, человек «святой и грешный», продолжающий дело бесчисленных поколений крестьян, живущий по-новому, мечтающий о жизни еще более светлой и праздничной.



М. ЭПШТЕЙН, Е. ЮКИНА



ОБРАЗЫ ДЕТСТВА

Кто-то из мыслителей сказал: по мере того как человечество взрослеет, оно молодеет. И высот своих оно достигнет тогда, когда обретет счастливую легкость детства, его свободу от житейских нужд, его доверчивость и слиянность с миром. Но для этого нужно увидеть в детстве не превзойденную ступень развития, а всегда привлекательный образец, источник духовного обновления. Если взглянуть с этой точки зрения на прогресс человечества, то недавний общеизвестный факт — объявление 1979 года Международным годом ребенка — покажется глубоко закономерным, в нем обнаружится растущее значение детства для современной культуры. И представляется актуальным именно сейчас, в год, посвященный детям, проследить основные контуры детской темы в литературе: исторические тенденции, национальные традиции, современные проблемы.

В автобиографии «Поэзия и правда» Гёте вспоминает, что во времена его детства (а родился он в 1749 году) не было книг, специально написанных о детях и для детей, — между тем ко времени написания автобиографии (1811—1833) таких книг появилось уже немало. Почему же именно в этот исторический промежуток (вторая половина XVIII — начало XIX в.) возникла детская литература и каковы причины ее обособления от «нормальной», взрослой словесности?

Для того чтобы мыслить о детстве, нужно вырасти из него, почувствовать бремя иного возраста. Само понятие детства как самостоятельной стадии духовного развития могло возникнуть только на почве сентиментально-романтического умозрения. Еще классицизм бесконечно чужд поэзии детства — его интересует всеобщее, образцовое в людях, и детство предстает как возрастное отклонение от нормы (не-зрелость), так же как

сумасшествие — психическое отклонение от нормы (не-разумие). У просветителей намечается интерес к детству, но скорее прозаический, воспитательный, чем поэтический: в своих демократических устремлениях они стали писать не только для третьего сословия, выводя литературу за пределы аристократического, избранного круга, но и для детей (низших в возрастной иерархии), видя в них благодатную почву, на которой могут взойти достойные плоды разумности и добронравия. Именно просветители впервые стали издавать литературу для детей (в России это был Н. И. Новиков), где вполне «взрослое» научное и нравственное содержание излагалось в доступной дидактической, иллюстративной форме. Но только романтизм почувствовал детство не как служебно-подготовительную фазу возрастного развития, но как драгоценный мир в себе, глубина и прелесть которого притягивает взрослых людей. Все отношения между возрастными как бы перевернулись в романтической психологии и эстетике: если раньше детство воспринималось как недостаточная степень развития, то теперь, напротив, взрослость предстала как ущербная пора, утратившая непосредственность и чистоту детства. Это вообще был типичный для романтиков ход мышления: подобный же переворот они совершили в области исторической, высоко оценив фольклор — младенческий лепет народов, к которому до них никто всерьез не прислушивался. Получилось так, что среди первых произведений, полюбившихся детям и свободных от просветительской назидательности, были сборники сказок (Арнима и Брентано, братьев Гримм, Хауфа, Андерсена и других), по сюжетам и стилю более или менее прямо восходящих к народному творчеству. Детство человечества и детство личности одновре-

менно получили права гражданства в литературе.

Коренной переворот, произведенный романтиками, не только определил новые формы литературы для детей, но и ввел тему детства в литературу для взрослых. Наша статья посвящена как раз этому второму аспекту — детству как художественной теме, а не читательской аудитории.

В России образ детства наделяется глубокой значимостью у романтичнеешего из писателей — Лермонтова. Для Пушкина в силу классичности его мирозерцания детство, как и старость, есть просто момент в круговороте времен: грустна, но одновременно и утешительна их смена. «Младенца ль милого ласкаю, уже я думаю: прости! Тебе я место уступаю: мне время тлеть, тебе цвести». Для Лермонтова невозможно это уравновешенное прятие будущего и прошлого, это добросердечное приветствие юных всходов на истлевающем прахе отцов. Лермонтовское время не вращается по кругу, но движется неуклонно по прямой, вызывая тоску о ничем не возместимых утратах. Мотив раннего постарения и увядания души сопряжен с элегическим воспоминанием о детстве, которое представляется зыбким цветущим островком посреди пустынного моря жизни («Как часто, пестрою толпою окружен...»). У Пушкина душевное расположение каждого возраста соответствует его физическому состоянию: «блажен, кто смолоду был молод» и т. д. — у Лермонтова душевное постарение опережает физический возраст, и это трагическое несоответствие требует столь же резкого порыва назад, в утраченную гармонию детства. В творчестве Лермонтова совершается то внезапное и чрезвычайное повзросление человека, которое дано пережить столь остро только в молодости: Байрону — в Англии, Леопарди — в Италии. С лирическими героями их поэзии произошло как бы раздвоение личности: в тот момент, когда они почувствовали себя старше, они захотели стать моложе — постарение души и определило тягу к младенчеству. Таково свойство саморефлексии вообще: чем дальше она отчуждает свой предмет, тем безудержнее и безуспешнее к нему стремится. Тема детства вошла в русскую литературу как признак интенсивного самосознания личности и нации, отделившихся от своих стихийных, бессознательных истоков — и обернувшихся к ним. Может быть, не случайно, что интерес к детству отчетли-

вее всего выражен у тех русских писателей, которые наиболее преданы идее старины, почвы, патриархального уклада: у Аксакова, Достоевского, Толстого, Бунина... Поэзия прошлого вообще имеет неоценимое значение для развития личности и нации, отнюдь не меньшее, чем фантазия о будущем. Любовь к прошлому придает самозамкнутость и самоценность прожитой жизни, выступающей уже не как средство для настоящего, но как цель в себе; сберегая прошлое, личность тем самым сохраняет непрерывность своего развития как личности, целостность духовного бытия.

Ни одна тема не входит в литературу случайно и обособленно — она меняет всю ее органическую ткань, требует жанровой и стилиевой перестройки. В известном смысле детство, как самый дальний предел индивидуального прошлого, образует в литературе ту зону эпического сознания, которая была во многом размыта вторжением романа с его активной ориентацией на новое, настоящее. М. М. Бахтин считал определяющим признаком эпоса «далекой образ», устремленность к прошлому и идеализацию его. Начиная с эпохи Возрождения эпос стал стремительно разрушаться, уступая место роману, обращенному в современность и, как правило, трактующему глубокий конфликт яркой личности и косной среды. Но в романтизме, где этот конфликт достигает кульминации, вдруг происходит некое самоотрицание, вернее самоуглубление личности, благодаря чему снова делается возможным эпос — правда, уже на основе индивидуального, а не национального прошлого. Личность, достигшая высшей остроты самосознания, ищет в своем прошлом нечто противоположное одинокому, разорванному настоящему — детство и становится темой нового, если так можно выразиться, индивидуального эпоса о бытии личности в гармонии с собой и с миром. Так через напряженнейшую, трагическую лирику утраченного детства, лирику Лермонтова и других романтиков, открывается выход к спокойному, почти идиллическому повествованию о «дорогом, незабвенном» детстве — жанру, ставшему каноническим в литературе середины XIX века и достигшему вершины в «Детстве» Л. Толстого и «Детских годах Багрова внука» С. Т. Аксакова.

Давно признано, что уже в первой повести Л. Толстого сделаны многие из тех художественных открытий, которые впоследствии создали ему славу великого эпика

и психолога. Но в какой степени эти открытия предопределены самим содержанием повести — мировосприятием ребенка? Не есть ли знаменитая «диалектика души», раскрываемая Толстым в персонажах, тот первичный, наиболее зыбкий и подвижный слой внутреннего бытия, который прозрачнее всего выражен в детях? Писатели до Толстого — Гоголь, Тургенев, Гончаров — как правило, ориентировались на тип взрослого человека с его сформированной, устойчивой индивидуальностью. Толстой первый в русской литературе взломал эти жесткие контуры «характера» и открыл за ними текучее, незастывающее вещество души — обнажил вечно детское, неготовое, что в глубине своей сохраняет всякий человек. Вот первая глава «Детства»: учитель Карл Иваныч хлопает мух над головой маленького Николеньки, и тот, обиженный пренебрежением к себе, думает, какой противный человек Карл Иваныч! «И халат, и шапочка, и кисточка — какие противные!» Но через минуту в голосе учителя слышится столько доброты и участия, что «теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты». Внутренняя подвижность чувства, легко переходящего от отрицания к утверждению, от целого к частному, — типичнейшая примета детства. И когда впоследствии Наташа Ростова будет определять Пьера как «синего» и «квадратного», а Анна Каренина почувствует начавшееся отвращение к мужу по впечатлению от его ушей, то в этих чрезвычайно «толстовских» подробностях будет сквозить та слитность, «слипчивость» мировосприятия («синэстезия», «ассоциативность»), которая изначально и естественно присуща детской душе. В самых любимых, наиболее близких Толстому персонажах обязательно есть что-то детское (Пьер, Наташа), самые же нелюбимые — те, что утратили живость и восприимчивость детства, утвердились во взрослых стереотипах мышления (Берг, Друбецкой и другие).

Эпичность толстовского творчества тоже во многом обусловлена проникновением в глубины детского сознания, где все пронизано всем. В «Детстве» нет никакого определенного сюжета, ведомого частными интересами персонажа, линией его «персональной» судьбы. Детство не подчиняется «линии», оно живет разнонаправленно, многомерно, жадно соприкасаясь со всем, что его окружает. Из детской, где господствует

Карл Иваныч, мы попадаем вслед за Николенькой в гостиную, к татам, затем в кабинет, к отцу, потом в классы, на охоту, на игры, на танцы, знакомимся с юрдивым, с княгиней Корнаковой и т. д. Тут отсутствует целенаправленная последовательность действий, характерная для романа, — скорее действие разбросано вширь, расходится радиусами от центра, куда помещен пыгливый ко всему Николенька; и в результате возникает та же эпическая картина, что и в «Войне и мире», только несравненно меньшего масштаба. Детство по природе своей центробежно, рассеянно, всеотзывчиво — такова и эпопея, которая смотрит на мир глазами народов-детей (пребывающих во младенчестве).

Не случайно именно у Толстого впервые в русской литературе выразились психологические особенности ребенка и одновременно — народа как единого лица. Преодоление Толстым стереотипа «взрослого индивида» шло сразу в двух направлениях: от взрослого — к детскому, от индивидуально — к общенародному. Толстой настойчиво возвращает своих героев к стихийной, природной первооснове их существования — потому-то детство и народ (начала всех начал) оказываются для него подлинными и переичными реальностями, над которыми нарастают выдуманные мифы взрослого сознания: миф о разуме, по законам которого будто бы устроена действительность; миф о личности, волей которой будто бы управляется история. Весь очистительный и разоблачительный пафос толстовского творчества («срывание всех и всяческих масок») направлен как раз против лжи обособленного, рассудочного, престижно-элитарного существования, которое самоуверенно попирает правду бесконечно подвижного целого; против всех этих малых дробей (возводящих себя в высокую степень и оттого еще более умяляющихся), на которые дробится целое. Вообще критика рассудочно-эгоистического от лица детского, наивного (в частности, прием остранения — введение образа профана, по-детски все воспринимающего) — это то, в чем Толстой сохраняет преемственность от руссоистски окрашенного романтизма; а диалектика сознательного и бессознательного, взрослого и детского в душе человека — это то, в чем Толстой превосходит романтиков и делает величайший шаг к новому искусству, искусству XX века.

Толстовские традиции очень ощутимы в мировой литературе нашего столетия, изоб-

ражающей инфантильное сознание, например у Пруста и Фолкнера, но у них момент бессознательного выступает во всей своей чистоте, лишаясь критического соотнесения с миром прозаически-сознательным. У Пруста постоянно накладываются друг на друга образы детства и сновидения — так что мир предстает как бы вдвойне размытым, погруженным в зыбкую ткань метафорических ассоциаций и полувоспоминаний-полугрез — это сознание еще не вполне родившееся, «остановившееся в нерешительности на пороге форм и времен». Между детским и сонным состояниями души есть глубочайшее родство: в обоих «я» не отделяется от мира, внутреннее от внешнего — закономерно, что младенец большую часть времени проводит во сне, отчего так трудно вспомнить человеку свои первые годы, так же трудно, как вспомнить сон после пробуждения. То, что у Толстого составляет подспудную, хотя и самую чувствительную ткань душевной жизни — бессознательное, у Пруста извлекается из-под спуда и разворачивается на всем протяжении его огромного повествования как единственно достоверная реальность; вещи не затвердевают, не обретают резкости, они даны в негущенном состоянии — как испарения, «выдыхания» души. Этот шаг художественной эволюции очень типичен для XX века. Если продолжить и развить лермонтовскую метафору: детство — блаженный остров посреди пустынного океана, то у Толстого детство — это уже скорее сам океан, на поверхности которого плавают замкнутые островки взрослого сознания; у Пруста же почти не остается и самих островков — они уходят в разверзшуюся пучину.

В XX веке детство из конкретной темы литературы все более превращается во всеобщий угол зрения. Романтики приходили к детству, ища спасения в его отдаленности, «нездешности»; спустя сто лет писатели стали исходить из детства как из ближайшей и естественнейшей предпосылки творчества. Происходит тотальная инфантилизация поэтического языка. Вот что писал Ю. Тынянов о Пастернаке в статье «Промежуток»: «Своеобразие языка Пастернака в том, что его трудный язык точнее точного, — это интимный разговор, разговор в детской. (Детская нужна Пастернаку в стихах для того же, для чего она была нужна Льву Толстому в прозе.)». В творчестве писателей зарубежных и отечественных (А. Белого, Б. Пастернака, А. Платонова,

Ю. Олеши и других) продолжается та революция в изображении мира глазами ребенка, которая была начата в русской литературе Л. Толстым. Собственно, это явление не узколитературное, но общехудожественное. Вся живопись XX века — Пикассо, Шагал, Кандинский, Матисс, Модильяни — многим обязана «наиву» детства как «поворота зрения» (Тынянов): исчезает прямая перспектива, предполагавшая некую ограниченную и резко индивидуализированную (взрослую) точку восприятия, и воцаряется то смешение разных планов и проекций бытия, которое свойственно детству. На детских рисунках сразу видно и то, что было вчера, и то, что будет завтра, и мышь размером превосходит дом, в котором она прогрызла щелку. Точно то же мы видим на картинах Пикассо, где ноги бегущего человека парят и за ним, и впереди него; на картинах Шагала, где за мордой грустной лошади прячется маленькая деревенская улочка. Качели отразились в трюмо — но ведь это значит, что «к качелям бежит трюмо» (Пастернак): относительность точки отсчета, о которой учит новейшая физическая теория, хорошо знакома каждому ребенку. В «Детстве Люверс» Пастернака вещи даны на каких-то дрожащих и расплывающихся гранях своих, в них нет даже четкости прустовских ассоциативных сцеплений — тут не что-то связано с чем-то, а все со всем, без ограничения, «чем случайней, тем вернее». Детский размыт усугубляется еще болезненным, так же как у Пруста — сновидческим. Люверс болеет, лампы вспухают и лопаются у нее над головой, потолок обматывает пространство марлей. Болезнь имеет какое-то привилегированное отношение к детству — Пастернак находит в ней новый симптом той открытости, текучести, стихийности, которую Толстой искал в душе народной, а Пруст — в душе грезящей. Болезнь разбивает сложившуюся форму тела и души, ослабляет, возвращает к незавершенности, позволяет окунуться в зародышевую субстанцию жизни — и Люверс, подобно многим детям, не противится, но отдается болезни, испытывает сладость ненапряженного существования в сплошной слитности с миром, незащищенности от него (что, собственно, на языке взрослых и называется болезнью). Ребенка постоянно подвигают к чему-то: к учению, вниманию, послушанию, терпению; болезнь же возвращает ему все права детства, теплую опеку и близость родителей, помогает скинуть оковы насильст-

венной взрослости — стать собой. Поэзия болезни входит в ряд тех же облагороженных романтизмом отклонений от «классической» нормы, что и младенчество, сон.

Еще более крайнюю, уже предельную форму инфантилизация всего образа действительности приобретает у Фолкнера — в той части «Шума и ярости», где повествование ведется от лица Бенджи, idiotически отставшего в развитии тридцатитрехлетнего мужчины, чье восприятие — на уровне трехлетнего ребенка. Бенджи настолько наглухо замкнут в глубинах своего существа, что не имеет выхода к людям. Все способы облегчить свою душу, отделаться от всезахватывающих подсознательных влечений — путем самосознания или общения — исключены для Бенджи, и все его существование есть невысказанная мука и мука невысказанности.

Образ Бенджи служит как бы иронической демонстрацией романтического идеала в действии: вот он — осуществленный древний призыв «будьте как дети». Уделом такого бытия, по Фолкнеру, становится «шум и ярость»: преисполненная внутренней ярости, необузданной стихийности душа, выражающая себя вонне пустым, нечленораздельным шумом. В общем, неповзрослевшее, вернее, переросшее себя детство оказывается столь же ущербным, как и утратившая детство взрослость, воплощенная в образе старшего брата Бенджи, обывательски благоразумного Джейсона. Вся трагическая напряженность романа — в разорванности тех полюсов, которые должны были бы совместиться в живой душе: полюсов детской непосредственности и взрослой искусственности.

В фолкнеровском образе детства, деградировавшего в безумие, романтическая традиция, доведенная до логического предела, отпадает и критикует себя.

Романтическая концепция детства начинает пересматриваться уже в XIX веке, глубже всего — у Достоевского. Казалось бы, Достоевский доводит до крайнего патетического напряжения вполне романтический образ невинного, безгрешного детства, когда устами Ивана Карамазова отвергает всю мировую гармонию, если куплена она ценою хотя бы одной слезинки ребенка. Тема детских страданий не нова была к тому времени в литературе: и Гюго в «Отверженных» и Диккенс в «Оливере Твисте» изображали кульминацию социальной и всякой прочей несправедливости именно в бедстви-

ях ни в чем не повинного ребенка. Образ «Маленького человека», чьи незаслуженные страдания вызывают горячее чувство протеста, — этот образ, чрезвычайно популярный в литературе критического реализма, получал особую убедительность, если человек оказывался маленьким в прямом значении слова — ребенком. Но у Достоевского дети не просто обижены судьбою, не просто жертвы всеобщей несправедливости — они жертвы избирательной и сладострастной жестокости, которую детство и привлекает к себе особенно. «...есть особенное свойство у многих в человечестве — это любовь к истязанию детей, но одних детей... Тут именно незащищенность-то этих созданий и соблазняет мучителей, ангельская доверчивость дитяти, которому некуда деться и не к кому идти, — вот это-то и расплаивает гадкую кровь истязателя». Детство у Достоевского окружено ореолом не умиления, но похотливых страстей: родители истязают свою пятилетнюю дочь и запирают на ночь в отхожее место, генерал затравливает охотничьими псами дворового мальчика, Свидригайлов и Ставрогин совращают малолетних девочек... Главное же — ребенок не остается святым мучеником, в нем пробуждается собственная безудержная склонность ко злу. Вспомним последний сон Свидригайлова, где является ему маленькая девочка, убежавшая от дурных родителей, и в ответ на отечески нежную заботу о себе пытается соблазнить его. Есть что-то гнетущее страшное в том, как черты гиблого, закоренелого зверзрата проступают в облике крохотной девчушки. Вещи перерождаются в своей основе, все отношения переворачиваются: зло, посеянное Свидригайловым в детских душах, теперь преследует и настигает его самого — после этого-то сна Свидригайлов и кончает с собой. Или — уже не во сне — озлобленный мальчик Илюша Снегирев, который забрасывает камнями ни в чем не повинного перед ним Алешу Карамазова. Опять все переворачивается: не взрослый мучит невинное дитя, а мальчик, разъяренный бездействием доброго Алеши, бросает ему камень в спину, потом в лицо и наконец, озлившись, «как зверенок», впиивается ему зубами в палец. Это специфически детская, отчаянная и бессмысленная жестокость, которая никак не объяснима характером данного человека вообще. В «Легенде о Тиле Уленшпигеле» Шарля де Костера рассказывается о детстве будущего короля-инквизитора Филиппа — он сизмальства любил

мучить все живое, издевался над животными, насекомыми. Но это характер, который с возрастом не изменится, только обширнее проявит себя, жестокость к насекомым распространится на людей. У Достоевского же дети чисты какою-то особою, неповторимой чистотою, но и жестоки своею нерассуждающей жестокостью. «...порознь ангелы божии, а вместе, особенно в школах, весьма часто безжалостны», — говорит капитан Снегирев о школьниках, травивших его сына. Ребенок у Достоевского — и традиционный христианский символ святости и существо демоническое, готовое попать все христианские святыни. В нем абсолютнее, чем во взрослом, выражены полюса человеческой нравственности — божественное и сатанинское. Вот Лиза Хохлакова, сама почти еще ребенок, рисует перед Алешей воображаемую картину, как она с наслаждением распинала бы младенца, обрезала ему пальчики, а сама при этом кушала бы компотик. Это двузначный образ: тут ребенок выступает в ипостаси мученика и мучителя, распинаемого и распинающего. Высший идеал Достоевского — это взрослый, сохранивший в себе черты детской невинности, непосредственности, но прибавивший к ним опыт нравственного сознания. Лишь добрый авторитет и старшинство Алеши перерождают Илюшу и прочих мальчиков, обращая их от отчаянной, истребительной вражды к взаимному умилению, братству и чувству общей судьбы. Точно так же в «Идиоте» злые дети, дразнившие Мари, примиряются вокруг нее и делают лучшими ее друзьями по душевному почину князя Мышкина, который «сам совершенный ребенок», но только по-взрослому умудренный в отличении добра от зла.

Ребенок донравствен, он, по выражению Достоевского, яблока еще не съел, добра и зла не различает, потому-то он абсолютно добр и абсолютно зол одновременно — имморален. В XX веке у некоторых западных писателей эта трактовка часто заостряется в сторону а н т и моральности детства: двузначность снова сменяется однозначностью, но уже противоположного свойства.

Уильям Голдинг показал в «Повелителе мух», как легко ребенок утрачивает привитые ему извне правила нравственности и превращается в существо дикое и разнузданное, поклоняющееся свиной голове, и в ее образе — самому Вельзевулу, «повелителю мух». Заметим, что робинзонада детей **закачивается** прямо противоположно тому,

чем кончались приключения самого Робинзона на необитаемом острове. Очугившись вне общества, он собственными силами реконструирует его практические и моральные заповеди и создает вполне зрелую человеческую цивилизацию, приобщая к ней и местного дикаря Пятницу. Дети же у Голдинга, напротив, сами деградируют до дикерского состояния. Голдинг спорит как с просветительской, так и с романтической «робинзонадой». Герой Шатобриана, оказавшись среди дикой природы, не только не задумывает переделки ее, но с радостью стряхивает с себя последние узы цивилизации, сам становится Пятницей, чувствует себя как бы дитятей, только рожденным и не знающим ветхих условностей. Голдинг же берет в человечестве самое близкое природе — детство и поселяет его поглубже в природу, в окружении океана, на том же необитаемом острове; в итоге же получается не только не осуществление, но прямое отрицание человеческого в человеке.

В западном искусстве XX века вообще популярен мотив дегуманизации детства. Получается, что ребенок не есть полный, начальный, высший человек, как думали романтики, а не-человек, некая чужеродная и даже враждебная человечеству, как бы инопланетная цивилизация. Симптоматичны рассказы Р. Брэдбери «Вельд» и «Урочный час», где дети с планомерной жестокостью убивают своих родителей. Интерес к детям хорошо согласуется с эстетикой таинственного и ужасного. XX век с особенной остротой осознал одинокое бытие человека в космосе, среди чуждых и непроницаемых для него форм материи. У Лема появляется Солярис, мыслящий океан, намерения которого в отношении человека страшны и неясны. Хичкок снимает фильм «Птицы», где с методичной и пугающей последовательностью показывает нападение на людей птиц, имеющих свой, противоположный человеческому разум. Среди всех этих бесчисленных форм инеположной нам жизни (пауки, муравьи, метеориты, кристаллы, все невообразимые выходцы чуждого пространства и времени) дети, может быть, страшнее всего, ибо они порождены нами, вроде бы всецело зависят от нас, но по внутреннему складу совершенно для нас непроницаемы. О чем думают дети — этого мы никогда настоящему не узнаем, потому что они не выражают себя на нашем языке, они как бы иному миру принадлежат, и тем больше,

чем сами они меньше. У Брэдбери дети, играющие в странную игру под названием «вторжение», не принимают в свою компанию никого старше девяти лет — это уже «предатели», «взрослые», они переняли «человеческий» склад мышления. Родителям непонятно, с чем это так увлеченно возятся дети, но постепенно их приготовления начинают внушать настоящий страх. Кьеркегор говорил, что невинность всегда чего-то страшится. Взрослые как раз и оказываются невинными перед лицом что-то знающих и упорно делающих детей. И весь парадокс современного положения человека в мире заключается в том, что если раньше он считал себя царем природы и свысока, хотя и с умилением поглядывал на всяких там букашек, копошащихся в пыли, на все эти низшие формы разума, то теперь он достаточно много знает обо всех этих букашках, чтобы почувствовать некую тайную последовательность и умысел в их действиях — и вот уже он растерянно топчется вокруг своего недавнего трона, ожидая подвоха и нападения с любой стороны. Ведь именно благодаря культуре он выболтал миру все свои намеренья, сделал себя вполне ясным и прозрачным, тогда как прочая тварь и все немое время-пространство крепко хранит про себя свою тайну. У Брэдбери дети как раз заняты чем-то очень своим, скрытым, а в результате инопланетная цивилизация вторгается в жизнь человечества и завоевывает власть через детей, через их воображение, не поддающееся разгадке. «...они всё не могли придумать, как заставить Землю врасплох и как найти помощников», — говорит маленькая девочка о своих новых друзьях. «Не удивительно. Мы ведь очень сильные», — засмеялась мать... «А потом в один прекрасный день... они подумали о детях!.. взрослые вечно заняты, они не заглядывают под розовые кусты и не шарят в траве». Инопланетная цивилизация у Брэдбери оказывается чем-то вроде метафоры детства, которое столь же таинственно и непредсказуемо в своих замыслах, столь же коварно и безжалостно в своих деяниях, как если бы прилетело с неизвестной планеты или приплыло бы с острова, где не ступала нога человека. Если верна пословица «где тонко, там и рвется», то прорваться вся богатая и уплотненная ткань человеческой морали и культуры может именно в детях, с детского-то бунта и начнется всемирный катаклизм — с человечности, извратившейся в своих основах; а в прорыв, образован-

ный детства, бросятся затем львы, муравьи, птицы и прочая вся природа, которая поглотит и затянет человека.

Не случайно, что в последнее время на Западе огромной популярностью стала пользоваться серия произведений (в основном киноискусства, но и литературы тоже), повествующих о вселении дьявола в тело и душу ребенка или в чрево беременной женщины. «Ребенок Розмари» Р. Поланского и роман У. Блатти «Изгоняющий дьявола», по которому был снят знаменитый фильм, положили начало целому потоку фильмов, развивающих тему детского сатанизма. Если романтики умилялись детским годам Христа и вспоминали его вечно «будьте как дети», то нынешние западные художники склонны вкладывать в образ ребенка миф о пришествии Антихриста (Ричард Доннер, «Предзнаменование»). Кажется, что в определенной части западной культуры тема детства уже прошла по крайней мере один цикл своего развития — от романтической умиленности к мистическому страху и трепету, от освящения к проклятию, от идиллии к фильму «ужасов».

Образы, созданные Л. Толстым и Достоевским, принадлежат основным линиям становления детской темы в мировой литературе. Но в русской литературе, как и во всякой другой, сложилась своя, национально окрашенный образ детства, для которого специфическим можно считать углубленный интерес к обжитому миру природы и вещей. Заинателем этой традиции был С. Т. Аксаков, а продолжателями — Бунин, А. Н. Толстой, Пришвин, Катаев, Паустовский...

Достаточно сравнить названия глав в «Детстве» Л. Толстого и «Детских годах Багрова-внука» С. Т. Аксакова, чтобы почувствовать разницу между социально-психологическим и, условно говоря, натурно-колористическим образами детства. В одном случае — обилие портретов, в другом — пейзажей. У Толстого: «Учитель Карл Иваныч», «Маман», «Папá», «Охота», «Игры», «Что-то вроде первой любви», «Разлука», «Ивины», «Горе». У Аксакова: «Дорога до Парашина», «Парашино», «Зимняя дорога в Багрово», «Багрово зимой», «Первая весна в деревне», «Летняя поездка в Чурасово». Главный интерес толстовского Николаенки — люди и отношения между ними. Для аксаковского Сережи на первом плане выступает, напротив, природа:

времена года и места проживания составляют для него самые существенные стороны жизни. Географические названия столь же характерны для аксаковской повести, как для толстовской — фамилии и имени; деление на главы в одном случае определяется переездом героя на новое место, в другом — знакомством с новым лицом. Самое актуальное для Николенки — это процесс социализации, тогда как мир Сережи кажется незаселенным, словно мы путешествуем по глухим местам, где человек остается наедине с природой (родители — ее часть). Знаменательно, что героем своего «Детства» Толстой выводит десятилетнего мальчика, Аксаков же повествует о жизни Багрова-внука до девяти лет — дальше, по его словам, начинается отрочество. Это разница не просто словоупотреблений, но целых художественных концепций детства. Внутренняя жизнь Сережи Багрова настолько ясна и прозрачна, не отягощена сознанием собственной отдельности и значимости, что в ней четко и легко обрисовываются контуры внешнего мира — вещей, каковы они есть. Ребенок — это человек до грехопадения, тот человек, который нарицал имена всем вещам и животным, приходившим к нему, — и прелесть аксаковского повествования именно в том, что мир вещей и природы дан здесь в той незамутненности, какую позволяет только младенческое видение.

До Аксакова, пожалуй, только Гоголь был столь же внимателен к вещам. Но у Гоголя еще грандиозно разрастаются и порабощают себе человека — они призваны означать еще подобие людей, омертвелость их душ. У Аксакова же вещи соразмерны человеку — как бы оживлены, согреты его присутствием. У Гоголя — «мертвые души», у Аксакова — живые вещи; и разница эта во многом обусловлена тем, что в одном случае предметность характеризует застывший, отвердевший мир взрослого человека, типа», а в другом случае — сочувствие и овлеченность ребенка во все, что его окружает. Радость разжигания костра; жалость крошечному слепому щенку; прелесть созерцания разноцветных камушков на берегу — тут каждый предмет вызывает соответственное ему воодушевление. Вообще премущественный интерес к вещам, а не к людям обычно кажется нравственно предодательным, и есть лишь одна пора, когда а привилегия вещей оправдана, — младенчество, устанавливающее с ними не утилитарный, но магический контакт. Вещи в

младенчестве — это особенно добрые, послушные, расположенные к нам души, свободные от человеческой раздражительности, раздвоенности, неискренности — и у Аксакова впервые, быть может, во всей русской литературе раскрыта теплота и родственность взаимоотношений человека и вещи. Сережа столь же чувствителен к малейшим оттенкам и граням в облике незнакомых ему вещей, столь же внимательно и трепетно знакомится с ними, как Николенка — с незнакомыми людьми. Вот описание того, как горит лучина: «...обгоревший, обуглившийся конец лучины то загибался крючком в сторону, то падал, треща, и звеня, и ломаясь; иногда вдруг лучина начинала шипеть, и струйка серого дыма начинала бить, как струйка воды из фонтанчика, вправо или влево... Всё это меня очень занимало, и мне было досадно, когда принесли дорожную свечу и погасили лучину». Так обстоятельно и самоценно, без всякого этического или психологического вывода, с проникновением в чистую поэтическую форму вещей может воспринимать мир только ребенок... или художник. Бунин говорил однажды, что ему очень хочется описать мокрую веревочку от самовара — не сам самовар и не того, кто его подает, а одну только мокрую веревочку. Эта пристальная «узость» взгляда естественно присуща ребенку, воспринимающему мир по малым частям, но наделяющему каждую из них величиной, достоинством и самоценностью целого. Как ни странно это может показаться, но эстетизм, любование вещью как таковой, трактуемое обычно как свойство высокообразованного и даже упадочного сознания, вовсе не чуждо младенчеству, которому важна не скрытая причина и предназначение вещи, но ее данность — вид, форма, цвет. Лишь впоследствии взрослый опыт научит ребенка, что значима функциональная нагрузка вещи, ее «польза», что внешность может быть ложной, обманчивой и нужно копать в глубь и корень явлений — но вначале он доверяет видимому и любит его, как бы следуя парадоксальному изречению О. Уайльда о том, что глубоко судить о вещи нужно по ее поверхности, «тайна мира — в видимом, а не сокровенном». Не обусловлено ли возрастание эстетизма в некоторых направлениях искусства XX века именно возвращением к младенческому (внеэтическому и неутилитарному) видению мира? Опыт некоторых крупных русских писателей — Бунина, отчасти Олеси и Катаева — убеждает в этом.

То, с какой свежестью и блеском выглядит вещный мир в их произведениях, во многом связано с их углубленным интересом к детскому восприятию.

Есть еще одно общее свойство у произведений о детстве, созданных в русле аксаковской традиции, — определить его можно как чувство родины. У Аксакова это чувство бодрое и умиленное, у Бунина (в «Жизни Арсеньева») — трагическое, сопряженное с пожизненной утратой родины, но так или иначе эта кровная связь с землей, с природой, с предками существенна для обоих гораздо более, чем связь с современниками. Горизонтальные связи (со средой, со временем) в младенчестве слабее связей вертикальных (с родовым наследием, с почвой, на которой растешь), и потому изначальное чувство родины обычно сопровождается сладостным, хотя и грустным чувством одиночества. Нет вокруг людей — есть только бесконечные «глубина неба, даль полей». Бунин пишет о детстве: «...все же люди были, какая-то жизнь все же шла... Почему же остался в моей памяти только минуты полного одиночества?» Именно в них, в этих минутах, выразилась сокровенная сущность детства, которую можно определить словами Бунина: «Какая благословенная пустыньность!» Чувствуешь себя одним-единственным на целом свете — а как иначе можно себя чувствовать, выйдя в одиночку из неведомой тьмы и тесноты в пустой, распахнутый земной простор; но именно благодаря одиночеству особенно крепко и навсегда роднишься с тем немногим, единственным, что тебя окружает: с этой степью, этим косягом, этой линией горизонта, подобной которой не встретишь больше нигде.

Что же специфически русского есть во всем этом литературном образе детства: в преимущественном внимании к вещам, в близости к природе, в особом чувстве места своего на земле, в одиночестве и пустынности? Очевидно, что это усадебное, деревенское детство, воссозданное с тонкостью мироощущения, свойственной XIX веку, — эти условия не повторились ни в одной другой стране, ведь в Европе XIX век проходил под знаком города и буржуазного уклада жизни, а предшествующие, «аристократические» века вовсе не знали интереса к детству. Поэтому ни в одной другой национальной литературе нет жанра «аксаковской повести о детстве», нет такого ощущения родственности человека с вещами, обжитыми предками, с землей, сужденной на-

век, — все это совершенно отсутствует в образе «буржуазного», или «городского», детства, типичный облик которого воссоздает Диккенс в «Оливере Твисте»: маленький, жалкий человек, со всех сторон шпыняемый взрослыми, весь в синяках от физических и моральных ушибов; человек, сдавленный огромной массой чуждых, неродных людей, среди которых он затерялся. А если это детство сравнительно благополучное, как в «Давиде Копперфильде», то оно все-таки страшно тягучестью и однообразием будней, вызволить из которых может только повзросление и право распоряжаться собой. Казенная школа, где муштруют учеников, подгоняя их под заданный стандарт; холодный дом, где жестоко следят за благонаравием сына, за тем, чтобы он вел себя, как взрослый, аккуратный, добропорядочный джентльмен, лишенный эмоций, — детство в таких условиях оказывается не только перелицованной взрослостью, но гораздо ущербнее, чем настоящая взрослость, которая по крайней мере сознательно следует тем своим излюбленным догмам, которые насильственно вколачивают в ребенка.

В «Дневнике писателя» Достоевского есть рассуждение, озаглавленное «Земля и дети», — о том, как страшно и уродливо детство, лишенное произрастания на своей земле. «У миллионов нищих земли нет, во Франции особенно, где слишком уж и без того малоземельно, — вот им и негде родить детей, они и принуждены родить в подвалах, и не детей, а Гаврошей, из которых половина не может назвать своего отца, а еще половина так, может, и матери. Дети должны родиться на земле, а не на мостовой... Можно жить потом на мостовой, но родиться и в с х о д и т ь нация, в огромном большинстве своем, должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут». Эта мысль запечатлена почти во всех русских книгах о детстве — как дворянском (Аксаков, Бунин), так и крестьянском (Некрасов, Никитин). Детство есть начало жизни, но тогда и все в нем и вокруг него должно начинаться с начала, а значит — с земли, с ее запахов, с ее цветов. Счастье и своеобразие России Достоевский видит в том, что здесь на всех детей земли хватит, а значит, есть и духовное обеспечение всего будущего человечества запасом первых, органических, животворящих впечатлений. Ничего не может быть роднее восприятию ребенка, чем явления, детские в самой осно-

ве своей, не сделанные специально игрушки, но восход и закат солнца, полет жука, молчание полей — все то, что уже лежит в бездне его бессознательной памяти...

Среди детских воспоминаний Аксакова, Толстого, Лескова, Бунина игрушки занимают ничтожное место: ведь это подделки, за которыми скрывается натужное усилие технического разума подменить природу, это как бы троянский конь, за которым прячется взрослый мир, стремясь незаметно ворваться в обитель детства и покорить ее. Игрушки изобретаются для детей, но изобретаются взрослыми; все эти шарики, паровозы, автомобили, совки, пистолеты — все упрощенные подобия индустриальной цивилизации. Правильным геометризмом и заданной функциональностью своих форм игрушки уже включают ребенка в систему утилитарных и технических идей: шарик — катать, совок — копать, пистолет — стрелять, но что делать с жуком или с озером — этого никто не подскажет, тут непредусмотренное общение равных в своей самобытности существ... «...все молчит, только порой загудит, угрюмо зажужжит запутавшийся в колосьях хлебный рыжий жучок. Я освобождаю его и с жадностью, с удивлением разглядываю: что это такое, кто он, этот рыжий жук, где он живет, куда и зачем летел, что он думает и чувствует?» Крохотный, минутный эпизод — но сколько чувств и познаний в нем заключено благодаря тому, что живое соприкоснулось с живым. Оливеру Твисту одна бы такая минута с жуком — и он бы воистину приобщился к детству. Но Оливер о жуке и не думает (это изначально, природа — уже вне его духовной досягаемости), ему и об игрушке приходится мечтать, попавшему с рождения в рабочий дом, где механика — самая настоящая, не игрушечная, скорее фабричная.

Оливер Твист — не единственный вариант детства, выросшего на мостовой. Вот, казалось бы, противоположный пример: маленький Жан-Поль, выросший под благополучным семейным кровом, — автобиографический образ книги Сартра «Слова». Конечно, наличие или отсутствие домашнего крова, крыши над головой — вопрос очень важный, разделяющий бедность и богатство; но не менее важен вопрос о том, есть ли живая почва под ногами, — тут детство разделяется на здоровое и больное, естественное и сконструированное. Жан-Поль живет в полном буржуазном достатке. Оливер Твист нищенствует, как люмпен-пролетарий; но и

Жан-Поль тоже может быть причислен к детям, которые, по словам Достоевского, выросли на мостовой. Только вымощена она не булыжником, не асфальтом, а мощными блоками интеллектуальных понятий. «Платоник в силу обстоятельств, я шел от знания к предмету: идея казалась мне материальней самой вещи, потому что первой давалась мне в руки и давалась как сама вещь. Мир впервые открылся мне через книги, разжеванный, классифицированный, разграфленный, осмысленный... Вот откуда взялся во мне тот идеализм, на борьбу с которым я ухлопал три десятилетия». Для Сартра собственное детство, которое он называет типически буржуазным, полно ужасной неестественности: суть его составляют слова (отсюда название книги), употребляемые в двух функциях: чтения и письма (названия двух ее разделов). Ребенок лишен собственной опоры в реальном мире — за него все делают другие, он искусственно отгорожен от действительности и погружен в мир чистых вымыслов. Такова сартровская концепция, усматривающая в детстве питательную почву буржуазного «идеалистического» мировоззрения, которое долго придется преодолевать, дабы в зрелости обрести наконец мужественное соприкосновение с реальностью. Но Сартр постоянно впадает в противоречие с собой: борясь с идеализмом, он отрицает и то, что может служить изначальным его опровержением, — материально данную и этически закрепленную необходимость, связующую сына с отцом. Чувство наследственной полнокровности бытия, что так превосходно выражено у Бунина: «...разве не радость чувствовать свою связь, соучастие с отцами и братьями нашими, други и сродники?..» — это чувство природных и родовых корней как раз и дает человеку возможность погрузиться в плоть мира и тем самым не допустить увлечения призраками идеализирующего сознания. Но это чувство решительно противно Сартру: одним из самых освободительных фактов своей биографии он считает раннюю смерть отца, «Хороших отцов не бывает — таков закон; мужчины тут ни при чем — прогнали узы отцовства. Сделать ребенка — к вашим услугам; иметь детей — за какие грехи? Останься мой отец в живых, он довел бы на мне всей своей тяжестью и раздавил бы меня. По счастью, я лишился его в младенчестве. В толпе Энеев, несущих на плечах своих Анхизов, я странствую в одиночку и ненавижу производителей, всю жизнь не-

зримо сидящих на шее родных детей». Стоило ли тратить тридцать лет жизни на борьбу с детским идеализмом, чтобы в конце концов с радостью обрезать ту пуповину, благодаря которой детство является чем-то большим, чем «чтение» и «письмо», чем-то несводимым к «книге» — бытием в недрах бытия, действительностью превыше «слов». Когда Сартру было уже тридцать лет, то есть борьба с идеализмом успешно закончилась, его «друзья удивлялись: «Можно подумать, что у вас не было ни родителей, ни детства»... мне это льстило». Какой странный «не-идеализм» — ощущение себя ни в чем не укорененным, пришедшим ниоткуда! Герой сартровской автобиографии, как и автор ее, — дитя мостовой, сложенной из интеллектуального материала, того, что заменяет в новейшей Европе грубые камни прошлого, среди которых ютились дети XIX века — французский Гаврош, английский Оливер. Сартровский персонаж сохраняет в себе при материальной достаточности все черты духовного люмпен-пролетария, и прежде всего — идеализм свободы, основанной на неукорененности, беспочвенности. Половина из этих бедных Гаврошей не знает своего отца, писал Достоевский о детях французских пролетариев. Жан-Поль Сартр и не хочет его знать — он мог бы с достоинством сказать о себе, что не выброшен на мостовую, но сам выбрал ее.

От европейского варианта безотцовщины заметно отличается американский. Гекльберри Финн, герой знаменитых книг Марка Твена, такой же беспризорный выкидыш неблагополучного семейства, как и Оливер Твист. Но вот разница: Оливер, намыкавшись, с умилением и благодарностью принимает чистый домашний уют и родительское попечение, какое предлагает ему мистер Браунлоу; Гек же всячески отбодряется от забот вдовы Дуглас и тети Салли, которые поочередно собираются его усыновить и воспитывать. «Мне у нее в доме жилось неважно: уж очень она донимала всякими порядками и приличиями — просто невозможно было терпеть. В конце концов я взял да и удрал. Надел опять свои старые лохмотья... радуюсь вольному житью». Если англичанин Диккенс поэтизирует семейную идиллию детства, то американец Марк Твен — романтику странствий и приключений, радость бездомности. Для героев Диккенса «холодный дом» невыносим потому, что он холодный, утративший теплоту

родства и воздвигнутый на фундаменте деловой целесообразности; для героев Марка Твена даже и родной кров невыносим, потому что это дом, замкнутое пространство, слишком тесное для их дерзкой предприимчивости. Если Оливер не может без слез умиления и жалости вспомнить о своей умершей матери, то Гек своего живого отца люто ненавидит и желает ему кончины. Там, где для Оливера — утрата почвы и ужас бездомности, там для Гекльберри — обретение дороги и радость скитальчества, влечение в даль необозримой страны. Детство Тома Сойера и Гекльберри Финна по-своему не менее счастливо, чем детство Николеньки Иртеньева и Сережи Багрова, только строится оно на противоположных основаниях: у русских детей — на глубоком чувстве земли, рода и дома, у американских — на полной свободе действия и фантазии.

Эту разницу легко проследить по отношению к вещам: для Багрова они интересны сами по себе — формой, свойствами, проявлениями; для Тома же Сойера важно прежде всего их применение и меновая стоимость. Дохлая кошка меняется на синий билетик и бычий пузырь; стеклянная пробка от графина — на право красить забор и т. п. Тут важна количественная и целевая характеристика вещи, а не ее физическое устройство, «натура». Вещь лишается своей предметной данности, неподвижности, чувственно значимого присутствия — размыкается вовне, превращается в товар, пускается в свободный оборот. Американский мальчик меньше старается понять действительность такой, какова она есть, и больше пытается ее изменить, пересоздать в соответствии со своим желанием и выдумкой. Тут не глубина созерцания, но целенаправленность действия. Тому Сойеру, как и бунинскому Арсеньеву, приходится иметь дело с жуком — такова, видимо, особенность детства, что миру насекомых, самых малых из живых существ, принадлежит в нем важное место. Но Том не задается вопросом «что такое этот жук?», его вопрос — «что с ним можно сделать?». Марк Твен подробно описывает проделки Тома и пуделя с жуком — возню, укусы, игру, причем собственный мир жука, что он значит сам для себя и почему живет, нисколько не интересует ни автора книги, ни ее героя. Та же разница и в первых любовных переживаниях: Николенька дрожит, млеет, пугается сам себя, ревнует ко всем окружающим и

еще неизвестно к кому, а Том, влюбившись в Бекки, тут же на уроке пишет ей на доске «я тебя люблю», а на перемене скрепляет «помолвку» быстрым поцелуем. Кажется, что у твеновских героев все их поступки не опосредованы внутренним переживанием, тогда как у толстовского переживание часто перегорает внутри, не дойдя до внешнего выражения — поступка. Толстовский герой душевно подвижнее любого взрослого, в нем не прервана связь с бессознательным, с колышущимся морем тайных, невыразимых ощущений. Твенский герой внешне, в поведении подвижнее любого взрослого, для него нет преград, установленных законом или приличием, он прирожденный нонконформист. «Парадоксы поведения» у твеновских мальчиков выражены не менее ярко, чем у толстовского — «диалектика души»: в обоих обозначены выходы за пределы «взрослой индивидуальности», хотя и в разных направлениях. Николенька и Сережа более чувствительны, а Том и Гек более деятельны, чем обычные взрослые, и оба эти качества, одинаково обаятельные, суть проявления детской органичности, живой и чистой природы. Так уже с детства, а может быть особенно ярко именно в нем, начинается различие национальных психологических типов. Притом и русский и американский варианты одинаково отличаются от европейского, где во многом уже утрачено чувство почвы, но не обретено чувство дороги, где разрыв родства и потеря дома болезненны, а не радостны, где фантазия играет раскованно и смело, но остается запертой в теснине ума, не прорываясь в реальность (как у сартровского Жан-Поля или у манновского Тонию Крегера). В общем, все почвенные, родственные и домашние узы, столь пленительные и определяющие для русского детства, оказываются трагически надорванными и распавшимися в европейском мире, для американского же подростка, вдохновляемого новизной, исторической необремененностью собственной страны, сам распад этих уз полон соблазна и, отрезая прошлое, увлекает в неизвестное будущее. Вслед за Марком Твеном и другие американские писатели — Хемингуэй (в рассказах о Нике Адамсе), Фолкнер, Т. Вулф («Взгляни на дом свой, ангел»), Сэлинджер («Над пропастью во ржи») и прочие — подчеркивают в детстве силу естественности, но не созерцательной, а действенной, нетерпимой к жалости, отвергающей конформизм, вызы-

скующей активного, волевого самоутверждения на нехоженных путях огромной страны.

Тема детства в советской литературе — разговор особый; в нашей статье, посвященной мировой литературе, мы, естественно, сможем коснуться только отдельных аспектов большой темы (к сожалению, размеры статьи не позволяют нам обратиться, скажем, к огромному разделу современной литературы — произведениям для детей).

В советской литературе тема детства изначально была наделена особым художественным и нравственным значением. Поиски человеческого в человеке, стремление открыть коренные и непреходящие ценности бытия — все это сомкнулось в образе ребенка, ставшего одним из главных положительных героев всей советской литературы. Знаменательна развязка шолоховского «Тихого Дона»: Григорий Мелехов, опустошенный классовой борьбой, где он постоянно занимал враждебные самому себе позиции, возвращается в родной хутор — и сын, плохо его узнающий, слабо откликающийся на его ласки, больше всего напоминает ему о поломанной и уже обреченной жизни, в которой крестьянину не суждено воссоединиться с землей, а отцу со своим сыном.

Образ сиротства, часто возникающий у Шолохова (и в «Донских рассказах» и в «Судьбе человека»), символизирует коллизии в судьбах целой страны, рвущей со своим родовым прошлым: история, вторгаясь в жизни людей, отчуждает их от почвы, в которой они веками были укоренены, — от земли, от семьи. Такова роль войны в судьбах Мишатки, Ванюшки и других шолоховских детей: они вырастают вне того целого, куда ребенок обычно чувствует себя тесно включенным, — вне домашних традиций, вне прочного быта, вне круговой семейной поруки. В «Судьбе человека» чудо восстановленной родовой связи состоит в том, что обрели друг друга два одиноких человека, для которых сиротство стало трагическим шагом на пути к новому, сотворенному сыновству и отцовству.

С иной точки зрения подходит к этой теме Макаренко. Его беспризорников исторические коллизии выбросили из семейных гнезд на каменные мостовые. Особенность макаренковского подхода к детям — и в его педагогической практике и в литературе — состояла в попытке заменить разорванные

связи человека со своим прошлым связями с окружающим его коллективом сверстников. Это другой путь замены сыновства и отцовства — не усыновлением, а братством. Советская литература в 20—30-е годы напряженно исследует возможности замены семьи обществом: как может ребенок развиться в полноценного человека без ощущения своей зависимости от чего-то единственного, абсолютного, предсущего. С низвержением власти прошлого всецело детерминирующим фактором становится настоящее, тогда как суть морали состоит в приверженности чему-то абсолютному, пребывающему — как род всегда пребывает в своих порождениях. В «Педагогической поэме» Макаренко показано, какие труднейшие проблемы ставит «бессемейное воспитание», бросающее ребенка в мир подвижных общественных отношений, прежде чем он успевает сформироваться как родовое существо. Зато у ребенка, воспитанного обществом, не возникает впоследствии и значительных трений с ним. В России XIX века существовал резкий зазор между жизнью ребенка в дворянской семье — привольной, ласковой, доверительной — и жизнью взрослого в обществе, где он сталкивался с бессердечием, формализмом, казенностью. Толстой в автобиографической трилогии показывает, как Николенька постепенно вступает из безмятежного мира детства во взрослый мир, где ему приходится уже чувствовать себя чуждым, ненужным — стыдиться себя. В целом про русскую литературу можно сказать, что ребенок в ней живет идилично, взрослый — трагически. У Макаренко — наоборот. Трагично детство, лишенное своих крепких, оберегающих устоев, детство, проведенное среди чужих людей, хотя бы и доброжелательных, но не любящих в тебе единственного, своего. Зато постепенно, через усвоение норм коллективной жизни, из таких детей вырастают вполне здоровые члены общества, чувствующие себя в нем вполне своими, разделяющие его идеи и цели. У Макаренко человек идет от трагического детства к безболезненной, «бесконфликтной», общественно полезной зрелости путем, прямо противоположным Николеньке Иртеньеву. Своеобразие макаренковских беспризорников (в отличие, например, от диккенсовских) в том, что их оторванность от родовых устоев не исключительное явление, вступающее в противоречие с нравственными нормами общества, а явление массовое, в котором выражает

себя дух самого послереволюционного общества, порвавшего со своим прошлым. Поэтому-то не через возвращение в лоно семьи, как у Диккенса, а через непосредственное подключение к коллективу они становятся полноправными членами общества.

Ослабление родового уклада резко повлияло и на другой аспект детской тематики в литературе — приключенческий. В русской литературе XIX века не было ничего подобного твеновским повестям о Томе Сойере и Геке Финне: эти образы родились на специфически американской почве, где царит дух бродяжничества и вольного предпринимательства, не принятый в Старом Свете. Если ребенок и бродяжничает в русской литературе, как автобиографический герой Горького, то не от счастливого, а глубоко ущемленного и поправленного детства. Благополучные же дети пользовались любовью и лаской своих семейств и лишь изредка строили планы романтического бегства в Америку, где их ожидала бы вольная жизнь твеновских озорников («Мальчики» Чехова). В советской литературе 20—30-х годов все большее место занимает повествование твеновского типа — о мальчиках-сорванцах, неуемных в своей предприимчивости, дерзких, раскованных, отважных. Аксаковский герой открыто признается в своей детской трусости — такому мальчику не нашлось бы места на страницах гайдаровских произведений, во всяком случае среди положительных персонажей. Для Серрежи Багрова главными и нравственно определяющими были такие качества, как доброта, кротость, чувствительность, любовь к родителям. Для гайдаровского Тимура или катаевского Гаврика все это маловажно, а подчас даже и презираемо, как и для Гекльберри Финна. Главное — боевитость, отвага, жажда неизведанного, готовность к любым испытаниям. Достаточно сравнить два основных детских образа катаевской повести «Белеет парус одинокий», чтобы заметить разницу между интеллигентным мальчиком Петей Бачеем, воспитанным в строгих и добрых традициях старого типа, и Гавриком, решительным и задорным отпрыском одесских улиц. Все обаяние и моральный приоритет на стороне Гаврика, которому Петя учится подражать, хотя и не умеет делать это достаточно хорошо: мешают семейные предрассудки, страх за родителей.

Твеновские мальчики «говорили друг другу, что скорее согласились бы сделаться в один год разбойниками в Шервудском лесу

чем президентами Соединенных Штатов на всю жизнь». Отличие советской приключенческой повести от американской в том, что Тимура, Гаврика, героев А. Фадеева, В. Каверина и других не увлекает разбойничья вольница, они не противостоят взрослому как классу, не оспаривают всех законов здравого рассудка. Обаяние и преимущество этих мальчиков перед сверстниками именно в их ранней взрослости, сознательности, рассудительности. Если у писателей XIX века (А. Толстого, Достоевского) лучшие взрослые персонажи наделены детскостью, то у писателей 20—30-х годов XX века самые положительные детские персонажи поражают взрослостью. «Вы ужасный ребенок» — в устах Алеши Карамазова это величайший комплимент; новая же эпоха рассуждает иначе: «Не такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой» («Двенадцать» Блока). Романтический идеал «невинного детства» опровергается в советской литературе 20—30-х годов, так же как и в современной ей западной, но с противоположных позиций. С точки зрения фрейдизма, дитя вовсе не невинно, поскольку оно заключает в себе все антисоциальные влечения, которые во взрослом человеке проявляются в злых и разрушительных наклонностях, в извращениях полового чувства. Фрейд, впервые исследовав детскую сексуальность, опроверг романтические вымыслы об ангелизме ребенка и создал основу для нового мифа о детском демонизме. В противоположность Фрейдю крупнейший советский психолог 20—30-х годов Л. С. Выготский рассматривал ребенка как существо глубоко социальное, каждое психическое движение которого имеет аналог в социальной коммуникации с партнером, представляя собой как бы «интериоризированную» речь. В сущности, психологическая концепция Выготского есть теоретическое обоснование и научная параллель тем образам взрослого, сознательного и общественно вовлеченного детства, которые становятся популярны в первые десятилетия советской литературы — у Макаренко, Гайдара, Катаева и других.

Уже в 40—50-е годы в произведениях Пришвина, Паустовского возникает иной образ детства, скорее сентиментальный, чем героический. Ребенок тут окружен реальностью природы и атмосферой сказки, и в нем любовно отмечены и освящены как раз черты наивности, высокой простоты, **детскости. Начиная с Пришвина, природа игра-**

ет все более активную роль в повествовании о детях, которые раньше изображались почти исключительно в рамках общества, коллектива. Надо сказать, что и в американской литературе — у Хемингуэя, Фолкнера, Т. Вулфа — образ детства нерасторжимо сплавляется с образом природы; в этом можно усмотреть почвенническую тенденцию, противостоящую всеобщей урбанизации литературы в первые десятилетия XX века. Но характерно, что у Фолкнера, как отчасти и у Хемингуэя, подросток включается в переживание природы преимущественно через охоту. В пришвинской и вообще русской традиции — предстояние природы ребенку в ином аспекте — не животном, а неорганическом и растительном. Вспомним «Корабельную чашу», «Осудареву дорогу», рассказы. Природа здесь добрая, распахнутая, в которой ребенок чувствует себя растворенным, принятым без остатка, тогда как в американской традиции природа — скорее арена для состязания воли и испытания жизнеспособности. Вспомним «Моби Дика» Мелвилла или «Любовь к жизни» Дж. Лондона, где человек сталкивается с хищной волей зверя, и сравним эти и подобные сюжеты с «Записками охотника» Тургенева, где от самой охоты, то есть борьбы не на жизнь, а на смерть, не остается ровным счетом ничего — охотничий мотив растворяется в пейзажном, в рассеянном и прекраснотушном созерцании природы; охота похожа скорее на прогулку, удовольствие которой состоит в слиянии с природой, а не в победе над ней.

Для советской литературы последних лет чрезвычайно характерен образ ребенка в рамках семейного портрета. Может быть, первый опыт такого рода проделала Вера Панова еще в середине 50-х годов в повести «Серезжа», принятой тогда с несколько удивляющей теперь восторженностью. Серезжа не совершает никаких подвигов, не помогает взрослым в труде и боях, не приносит никакой общественной пользы — он играет во дворе, собирает марки и нелепым образом делает себе татуировку, все эти заботы и события затрагивают очень тесный семейный круг и ничего не значат за его пределами. Но сама теснота этих отношений, то, что мама для Серезжи просто мама, душевно близкое, сопереживающее существо, — все это было ново в середине 50-х и оказалось очень важно для последующих десятилетий.

Но естественно, что это не простое воз-

рождение того типа детства, которое пленяет нас в повествованиях Аксакова и Бунина. Аксаковский Сережа жил в родовом поместье своих предков, через все окружающие вещи он впитывал в себя дух старины — родители были только ближним, передним планом этой отступающей в непроглядную глубь наследственности. У пановского Сережи все вещи новые, фабричные, точно такие же, как и у его сверстников, и живет он в таком же доме, и едва ли он знает что-либо про своих прадедов, про их судьбы в России — у него есть только мама. И вот этой замкнутостью родовых отношений на самых близких людях — матери и отце — очень многое объясняется в современном детстве и его литературных воплощениях.

К концу 60-х — началу 70-х проблема взаимосвязи родителей и детей глубоко укоренилась в литературе, став в каком-то смысле ее нравственным центром. Отчасти это обусловлено тем, что писатели среднего поколения, творчески наиболее продуктивные, к этому времени окончательно выросли из «звездных мальчиков» и сами стали отцами, обрели новый жизненный опыт, потребовавший художественного воплощения. Но главное — повзрослело само общество, ощущающее себя в конце 50-х очень юным, безоглядно устремленным в будущее. Из литературы конца 60 — начала 70-х годов постепенно исчезает романтика скитальчества, странничества, неустроенности, гриновские «алые паруса» и хемингуэвские «мужчины без женщин», их заменяет поэзия домашнего очага. Показательна в этом смысле эволюция Ю. Казакова: в недавно вышедшей книге его избранных рассказов только два помечены 70-ми годами и оба — о детстве, о доме. Пятнадцать — двадцать лет назад Казаков любил писать о бродягах, гонимых неведомо куда ветром странничества, о прелести и опасностях кочевой жизни. «Хорошо ехать ночью в поезде!.. Стучат колеса, и ты едешь навстречу новому, неизвестному...» — это из старого рассказа «Легкая жизнь». А в новом, «Свечечке», Казаков с гою же приподнятою интонацией провозглашает: «Это, малыш, понимаешь, хорошо, когда есть у тебя дом, в котором ты вырос». Тяга к оседлости, укорененности столь велика, что казаковскому лирическому герою, у которого есть свой дом, не хватает отцовского, дедовского дома — далекого родства. Именно сын и пробуждает в нем тягу к предкам: ведь сам он, дав жизнь Алеше,

становится в их ряд и может почувствовать своего отца как себя, и деда как отца своего отца — важно само это чувство отцовства, столь меняющее человека. В отцовстве по-новому проявляется себя чувство рода: некогда уязвленное и почти отринутое, оно теперь восстановилось, но стало очень личностным и обращенным скорее вперед, чем назад, — к детям, а не предкам. Ребенок становится нравственным центром семьи, в нем — надежда на приобщение к такой истине в ее истоках, которая раньше черпалась в заветах старины. И потому у отца к ребенку такое же отношение духовной зависимости и пиетета, как прежде — у ребенка к отцу. Герой Казакова в детстве не имел своего духовного и физического пристанища, он воспитывался не семьей, а войной; отсюда — жадное внимание к своему ребенку, к его опыту, наиболее первичному, являющемуся как бы исконный лик рода, который нельзя уже разглядеть в прошлом, во мгле немирных времен. Исторический опыт сиротства, который нельзя вычестить из современности, сказывается в том, что полнота и святость родовой жизни ощутима скорее в детях, чем в дедах, отнятых драмами минувших десятилетий.

Читая последние рассказы Казакова «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал», временами испытываешь радостное узнавание: уж не вернулась ли к нам спустя почти два столетия, претерпев множество отрицаний и превращений, та самая первичная, романтическая интуиция детства, которая и ввела эту тему в литературу? У Казакова, у Ч. Айтматова в «Белом пароходе», в повестях и рассказах Н. Дубова, Т. Пулатова детство снова восстановлено в преимуществе перед взрослостью, снова открыта в нем напутствующая святость и чистота. Казаков знает сам, к какой великой и древней традиции приобщается, и не стесняется писать об этом: «И опять с тоской думал, что ты мудрее меня, что ты знаешь нечто такое, что и я знал когда-то, а теперь забыл, забыл... Что и все-то на свете сотворено затем только, чтобы на него взглянули глаза ребенка! Что царствие божие принадлежит тебе! Не теперь сказаны эти слова, но, значит, и тысячи лет назад ощущалось загадочное превосходство детей? Что же возвышало их над нами? Невинность или некое высшее знание, пропадающее с возрастом?» Кажется, весь комплекс романтических мотивов воспроизведен у Казакова: и невинность младенца, и его превосходство над взрос-

лым, и невозможность вновь обрести его взгляд на мир, и даже то, что, когда он сладко улыбается во сне, его «ангелы забавляют». Но есть и нечто другое, чего не знал романтизм, и это можно определить как отцовское многострадальное, тяжелое чувство: не экстагическое умиление перед детством, но и сопереживание его болям, его необъяснимым и незаслуженным обидам, его особой чувствительности. Ребенок у Казакова — существо невинное, чистое, но в то же время и глубоко страдающее, горько плачущее во сне; этого не ведает романтизм, отчужденно любующийся детством как чем-то недостижимым и безоговорочно счастливым. Именно эта «потусторонность» детства и привела некоторых западных писателей к абсолютному «выверту» романтического восторга: в ребенке стали видеть что-то демоническое, дистанция умиления перешла в дистанцию ужаса. Внутри романтизма как бы жила уже возможность inferнальных и «экзорцистских» трактовок детства: наделив его чертами неземными, сверхъестественными, романтизм создал предпосылку для того отчужденного страха перед детьми, который так пронзает нас в произведениях Брэдбери, где детство фигурирует именно как иная, почти инопланетная форма разума, жестоко истребляющая цивилизацию взрослых. В современной советской литературе детство, выступая нравственно сильным и чистым (о чем по-особому проникновенно и красноречиво говорит нам собственно детская советская литература, творчество таких ее мастеров, как Чуковский и Маршак, Михалков и Барто, Алексин и Прилежаева и многие другие), не является лишь предметом любования и томления — оно прямо участвует в жизни взрослых. Взрослые не тоскуют по детству (прошедшему, иллюзорному) — они гуляют, играют, всерьез общаются с живыми детьми, причем своими, кровными, с которыми их связывает родительская забота. Этого чувства нет у Лермонтова, жадно вспоминаявшего о своем, уже призрачном детстве; и показательно, что Руссо, впервые возведший детство в предмет культа, сам был начисто лишен отцовских чувств по отношению к своим многочисленным отпрыскам, о чем откровенно рассказывает в «Исповеди». Романтизму во-

обще свойственно влечение к отвлеченному — не удивительно, что, прославляя детство, он чужд родительской нежности и теплоты к нему, скорее это ностальгия преждевременно состарившегося юноши, его тоска по самому себе — утраченному. В современной советской литературе, прошедшей опыт военного сиротства, отцовство ценится как никогда высоко, причем оно раскрывается прежде всего как способность духовного сближения с сыном, соучастия в его жизни. Взрослый воспитывает ребенка — и воспитывается им, впитывает черты его детскости, учится у него быть радостным, быть добрым, быть живым. И в ребенке раскрывается встречное движение к взрослому, его горькое, но неизбежное возмужание, трагедия постоянно утрачиваемой любви и непосредственности — на этом прямом соприкосновении сыновней и отцовской души и строится рассказ Казакова «Во сне ты горько плакал». Сначала Алеша противостоит взрослому, их беспричинной возрастной тоске, под влиянием которой друг героя, бодрый и деятельный человек, кончает с собой, — нет, в мире Алеши все хорошо, гармонично, радостно, и отец светлеет душой при взгляде на сына. Но и другой опыт дано ему пережить: горько плачет во сне его сын, содрогаясь от какой-то необъяснимой печали, а наутро во взгляде его уже есть что-то недетское, страдальческое, отчего впопугу заплакать и отцу. В этой отеческой, выстраданной сопричастности детству, в ощущении нераздельной с ним судьбы — необходимая правда, стоящая выше и отчужденного любования детством и отчужденного страха перед ним.

Проследив становление детской темы в литературе, мы с уверенностью можем заключить, что эта тема не изолированная и не периферийная — в ней сталкиваются глобальные исторические и психологические концепции человека, в ней запечатлены существенные черты художественных исканий двух последних столетий. Все это позволяет оценить акцию ЮНЕСКО, посвятившей 1979 год детям, не как поверхностно-просветительское мероприятие, но как заметную веху в развитии духовной культуры человечества.



ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

И. Фрннберг. Взлетные площадки стиха.— **Виктор Широков.** «Тихо сказано громкое слово».

ПОЛИТИКА И НАУКА

Григорий Резниченко. «Бог моторов». — **Игорь Мотяшов.** Рожденные под одним солнцем.— **В. Буганов.** Народные истоки утопического социализма в России.

Литература и искусство

ВЗЛЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ СТИХА

Николай Старшинов. Милая мельница. Стихотворения. Поэма. М. «Советская Россия». 1978. 301 стр.

Марк Лисянский. Города, города... Новые стихи. М. «Советский писатель». 1978. 142 стр.

Николай Доризо. Пока деревья есть на свете. Книга лирики. М. «Современник». 1978. 224 стр.

Яков Козловский. Две музы — две сестры. М. «Советская Россия». 1978. 352 стр.

Озарение, подъем, крылатость — вот слова, с полным на то основанием производимые, когда речь идет о поэзии.

Но значит ли это, что она рождается только на горных высотах, что житейская проза чужда ей? Отнюдь...

Вспомним пушкинские строки:

Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю
Слугу, несущего мне утром чашку чаю...
Иду в гостиную; там слышу разговор
О близких выборах, о сахарном заводе...

Поэтической смелостью дышат строки, в которых запечатлена повседневность, строки, свободные при этом от мелочного описательства и скороговорки, исполненные внутреннего смысла, сосредоточенности, глубины.

Смелость эта присутствует в изображении Державиним «Жизни Званской», в картинах петербургской и деревенской жизни, нарисованных Некрасовым, в готовности Маяковского охватить своими строками насущные, узловые коллизии быстротекущих строительных лет — в разговоре ли с фининспектором, в монологе ли рабочего, вселившегося в новую квартиру.

Эта драгоценная способность — находить

стартовую площадку для взлета воображения, чувства, ума в самой гуще земной, в реальности, вошедшей в судьбы множества людей,— заявляет о себе на разные лады в творчестве наших поэтов-современников. Мы ясно видим, как плотно соединяются в их стихах достоверность житейского опыта, почерпнутого на дорогах жизни, и напряженность нравственных, гражданских исканий. Жажда общения, осмысления пережитого и предстоящего сообщает поэтическому слову ту особенную — оперенную, высокую напряженность, которая дает ему добрую власть над сердцами.

Перед нами книги поэтов, которые пишут уже не один десяток лет, имеют каждый свой круг читателей и, пройдя через войну, продолжают образное постижение жизни. Разнородны грани действительности, отражаемые в этих сборниках, несхожи по строю чувств, по складу мышления, по звуку голоса и поэтические характеры, здесь выступающие. А вместе с тем их объединяет прочность, устойчивость связей с современностью. Основой душевного подъема для поэтов, здесь поименованных, как и для их собратьев, также способных нахо-

дить поэзию в пластах повседневности, оказывается подчас обиходный факт, вдруг ставший приметным, значительным.

Вот Николай Старшинов в «Песне о пехоте», — кстати сказать, написанной примерно три десятилетия спустя после того, как произошли события, раскрываемые в стихотворении, — вспоминает подробности фронтового дня, дождливого, непогожего, когда «уже и артиллерия отстала, и самолеты нынче не взлетят. В болотной жиже повязали танки...». Тут и наступает черед пехоты: «...просуши портянки, перемотай обмотки — и вперед!» Мы понимаем — совершается подвиг, а сопутствуют ему сухие портянки, аккуратно подвернутые обмотки... Стих здесь деловит и погружен в скромнейшие заботы пехотинца.

Еще стихотворение, где слышен голос того же лирического героя (чья биография совпадает с биографией самого поэта). Оно написано в патетическом ключе. «Солдаты мы. И это наша слава» — так начинается, а завершается обобщением, естественным и уверенным: «А нам судьбу России доверяли, и кажется, что мы не подвели».

В первом из приведенных стихотворений при всей его видимой «заземленности» нет и малой доли бытовой приниженности; второе, дышащее торжественностью и гордым достоинством, начисто свободно от риторических «украшений». Связь обыденного и возвышенного здесь естественна и необходима, подтверждена человеческими судьбами и реальными делами. Старшинов может начать стихотворение описанием зеленых ракетных огней, полоснувших по бледным лицам бойцов, «практичным» советом — «пониже голову пригни», а завершить свой рассказ строгими и высокими словами: «Никто не крикнул: «За Россию!..», а шли и гибли за нее». Всего лишь четырнадцать строк понадобилось поэту, чтобы передать и напряженность очередного дня боев и огромность цели, стоящей перед бойцами. Да, передний край был отличной школой поэтического мастерства, он приучал будущих мастеров стиха сквозь текущую повседневность видеть, различать непреходящее, долговременное!

Способность эта пригодилась поэтам-фронтовикам в последующие, строительные годы. Одна из интереснейших и поучительнейших глав истории советской поэзии должна рассказать о том, как юноши, начавшие свой путь боевыми, походными строками, находили, осваивали мотивы,

выдвигаемые возвращением к миру и созиданию; поворот этот совершался не просто, на различный манер, но был внутренне оправдан и принес добрые плоды: ведь личные побуждения здесь совпадали с потребностями времени. Тому свидетельством книги Михаила Луконина и Юлии Друниной, Семена Гудзенко и Александра Межирова, их товарищей-ровесников, в том числе и тех, о которых здесь идет речь.

И Николай Старшинов нашел свою, особенную формулу-образ для определения просторного мира, им обживаемого и восплаемого. Он написал однажды:

Земля — моя большая кладовая,
Мой стол рабочий и моя кровать.

Снова мы замечаем, что именно дерзость, размахистость воображения побудили поэта обратиться к характеристике самой что ни на есть житейской, поставить нашу планету рядом с предметами домашнего обихода, сделать их эмблемами спокойной уверенности, душевной устойчивости. А этим строкам предшествуют другие, звонко-возбужденные строки — о той жизненной энергии, что наполняет «глаза друзей и трели птичьих птах!».

Родившийся в Москве и в ней живущий Старшинов, по его собственному признанию, не может забыть тех лет своего детства и отрочества, что были проведены в сельской местности. Он пишет об этом и в своем кратком прозаическом вступлении к книге и в одном из стихотворений 60-х годов.

Сдержанное сообщение «живу я в Москве. Но душой никогда не расстаюсь с деревней» в стихах вырастает, как говорится, в крик души:

—Вода, трава, деревья,
Я все же вас умею понимать.
Я не родной — приемный сын деревни,
Но я люблю ее, как любят мать.

Приемных и коренных сыновей деревни, живущих в городах, становится все больше год от году — процесс, идущий издавна (вспомним почтительно М. В. Ломоносова!), а в наше время особенно расширяющийся и ставший острым конфликтом прозы такого чуткого, пронизательного писателя, как В. Шукшин. Глубинный и необратимый сдвиг не мог не иметь своим следствием и расширение лирического кругозора, решительное преодоление «территориальных рамок». Все чаще перемежаются в книгах поэтов проспекты и просеки (ведь

так и был назван сборник, вышедший лет пятнадцать тому назад)... Вот и Старшинов, с гордостью заявляющий, «что, мол, косить, что, мол, пахать могу», и с нежностью вспоминающий, как «пекли картошку в голубой золе! И ночевали мы на сеновале, и к речке убежали на заре»,— он же в многострочном стихотворении, которое можно было бы назвать и короткой поэмой — «Гвардии рядовой»,— с уверенным достоинством открывает и заключает свою речь словами, в которых автобиографические данные звучат присягой, обещанием, характеристикой жизненного пути героя: «Я родился в городе Москве».

Это признание звучит тем веселей, что за ним следуют, его подкрепляют красноречиво-предметные подробности, живописующие быт, судьбу московского мальчика, подростка, юноши: тополя Тверского бульвара, ветры, гуляющие по столичным улицам и площадям, неприметный двухэтажный дом в переулке — вот лишь немногие звенья того исполинского целого, к которому принадлежит и сам поэт. Повторяющаяся строка звучит так сильно и четко благодаря тому, что она поддержана, подкреплена полностью впечатлений поэта, сугубо личными и вместе с тем доступными каждому, кто любит и знает столицу.

Щедро насыщая строку предметными наблюдениями, Старшинов прорывается сквозь них, чтобы сказать о том, что волнует его более всего,— о человеке. Побудничному деловиты строфы, рассказывающие об очередном приезде в сельские края: «Печь пуста. Чулан совсем забит. Я один, как сыч, здесь обитаю. Постигаю деревенский быт. До ночи работаю. Читаю». Значит, постижение деревенского быта — такая цель, сюда приведшая поэта? Но дочитав стихи, пойдем, что заботят его не сами по себе подробности обстановки. Нет той, которая была сердцем, жизненным центром жилища,— вот в чем дело, вот что мучительно и горько. «...Была у бабушки душа, и уютно было в этом доме»,— объясняет Старшинов, и эти, как всегда у него бывает, произнесенные без всякой аффектации и нажима печальные слова — истинный нерв стиха.

Так бывает и в других, притом наиболее сильных стихотворениях Старшинова. Он, к примеру, может обстоятельно описать нетопленный чулан, в котором приходилось ночевать, «комод с диваном старым», в котором, «как гитары, пружины стонут и

поют», сообщить, «как в ночи копытом стучит корова за стеной. Как писк свой поднимают мыши», и, погрузив сперва читателя в эту гущу заурадных подробностей, затем стремительно все преобразить — убрать стены, ощутить удары Пегасовых копыт и, наконец, с торжеством воскликнуть:

А что мне значит писк мышиный
И вся их глупая возня,
Когда поэзии вершины
Вдали сверкают для меня!

Повышенная, напряженная выразительность — неперемное качество стихового слова. А решения здесь возможны и даже обязательны неповторяющиеся, и каждый поэт призван участвовать в общем движении своими особенными открытиями, соответствующими направлению его творчества.

Так и книга Николая Старшинова, складывавшаяся годами, нет, десятилетиями, вместила путь поэта, протянувшийся от войны к миру и из деревни в город, путь, на любом из этапов которого шла работа осмысления, переживания простейших вещей и событий, выявлялась сокрытая в них поэзия.

Совсем иначе составлен сборник Марка Лисянского «Города, города...». Сюда включены стихи лишь недавнего времени, притом путевые, по преимуществу «уводящие» поэта из Москвы, о которой он обычно пишет любовно и увлеченно. Перед нами, как считает издательство, «своеобразное лирическое путешествие по нашей земле». И точно: Лисянский вводит в свои стихи Воркуту и Норильск, малый городок Тында и рыжие скалы Коктебеля. Немало доброго сулят знакомства с этими краями. Отправляясь в путь, Лисянский уже знает, какие дела и судьбы стоят за этими звонкими именами. Оказавшись, к примеру, в Воркуте, он вспоминает об угле, что послышался в годы войны с берегов Печоры в Ленинград, о том, что Ладога для шахтеров варгашерских стала «в те дни передовой», так как «был уголь словно хлеб солдату-городу». Отрицать познавательную ценность таких стихов невозможно, и, однако, сообщение здесь, увы, не соединено с переживанием: мы не видим, насколько глубоки след, оставленный этой встречей в памяти поэта.

И в тех случаях, когда читаешь рассуждения о том, что, дескать, «мы шагаем в ногу с ветром, и с веком — широки шаги», когда сообщается, что «километр за километром мы отбираем у тайги»,— становится

заметной непрочность, приблизительность стиха. Поэт здесь выступает собирателем, накопителем сведений, которые безусловно имеют информационный интерес, но остаются за пределами творческой биографии, не вплавлены в образную систему, создаваемую поэтом.

Относительная ценность такого рода строк особенно ощутима при сопоставлении их с соседними, написанными, как говорил Владимир Луговской, не от локтя, а от плеча, то есть во весь размах поэтических возможностей. Поэт достигает успеха, когда, отказываясь от аккуратных описаний и риторики, создает строки, в которых наблюдения рождают живой, одухотворенный образ.

На одной из страниц сборника внимание читателей привлекает метафора «корабль судьбы моей...». Слова возвышенные, романтического звучания. Но по-настоящему воспринимаются они лишь в контексте. А суть в том, что предшествующие строки рассказывают, как «во все края земли от пирсов Николаева уходят корабли»; Николаев, город кораблестроителей, стал для Лисянского таким же истоком, началом жизни, как для Старшинова — московская улочка, дедовская пашня, и он с неподдельным, рождающим встречный отзыв чувством может сказать, что с этих же ступеней «сошел — и не заблудится!» корабль его собственной жизни.

Звонкое сравнение подкреплено вереницей живых, реальных фактов, которые не просто «воспроизводятся» поэтом, но обогащены непосредственным чувством. Это не только впечатление от встречи с теми местами, где проходила юность, где были написаны первые стихи и вспыхивали первые увлечения... Когда Лисянский восклицает: «Дышу я тобой, Николаев», — это признание в любви поддержано образами плотными, трехмерными, «материализующими» настроения поэта. Здесь и сумрак акаций, и хлебосольно накрытые столы с брынзой, бычками, и пенсионеры, что «режутся под вишней в домино...». Милый, уютный быт... Но его безмятежная налаженность не становится конечным пределом для поэта, не ограничивает душевного зренья. Он улавливает дыхание действительности, и еще раз удостоверяешься в том, как важно поэту быть чутким и отзывчивым, как много дает ему способность различать и оценивать по достоинству события, свидетелем которых он оказывается. Те самые пожилые, выпавшие на отдых люди, что, как правило, поси-

живают под тенистыми деревьями или единым строем по широкой идут мостовой, они — «ветераны второй мировой. На груди — ордена и медали, в горле слезы и слезы из глаз...». Вдруг выступило наружу главное в их судьбе — общей и каждого из них в отдельности, — фронтовое прошлое, навсегда определившее, наполнившее их жизнь великим историческим и нравственным смыслом.

Нечаянные, негаданные глубины открывает время внимательным, зорким глазом. Отнюдь не склонный вообще толковать о волшебстве и колдовстве, Лисянский признается: «И города мне кажется сказкой, недавно придуманной мной». Нет, никаких потусторонних чудес мы не найдем в этой книге: свои поэтические образы Лисянский черпает в общении с достоверными фактами. Но все же налицо желание поэта подчеркнуть, оттенить незаурядность и «сказочность» событий, вторгающихся в его жизнь, крепко ему запомнившихся. Таким событием может быть спуск со ступеней очередного корабля в родном Николаеве или шествие героев-фронтовиков.

Душевное напряжение дает себя знать и в «беседе» поэта с рябиной, стоящей под его окном, и в описании — нет, переживания! — прогулки по осеннему лесу. Лисянскому не понадобилось ездить в далекие страны и поражать нас экзотическими пейзажами: они оказались тут же, по соседству — привычные, хорошо известные. Но ему удалось разглядеть поэзию в неброском обличье, прикоснуться к ней, произошла вспышка, обернувшаяся проликиновым словом, родилось стихотворение, запечатлевшее и прелесть милой, родной природы и остроту душевного отзвука. Существо подобных состояний передает М. Лисянский в одном из ключевых стихотворений книги, воссоздавая час, миг вдохновения, которое «огонь ответный высекает и озаряет синеву, мой этот век и век соседний, дорожку-стежку и большак...».

Именно душевный подъем, одухотворенный словесный строй есть неперемное условие успеха поэтической книги вне зависимости от того, как она сложена, охватывает ли многолетний труд поэта или вводит нас в круг его новейших поисков. Внутренняя одухотворенность — определяющее качество и книги Н. Старшинова, осветившей всю его жизнь, и книги М. Лисянского, которая отразила тягу поэта к странствиям.

В том же ряду — книга Николая Доризо

«Пока деревья есть на свете». Вся она пронизана, просвечена темой, завладевшей воображением поэта. Тема эта — утверждение доброты, сердечной заботы о людях. Впрочем, не только о людях... Первое же стихотворение открывается строками: «Сказал мне кандидат наук: зимой ли, вешнюю порою, прикосновеенья добрых рук деревья чувствуют корою». Так в круг тех, кто нуждается в добром отношении, с порога втягиваются и существа, считающиеся неодушевленными, но как бы получающие душу. Да и сам поэт расширяет свои возможности, получает доступ к тем граням жизни, что ранее оставались для него неясными. Увидев пострадавшую березу, он понял, «что такое значит нечеловеческая боль» — привычное, притупившееся от частого употребления слово получило новый, острый смысл.

А далее о необходимости доброты уже напоминает встреча с лосенком, что забрел ненароком в поселок и доверчиво идет навстречу людям... Но разве можно одним штрихом дать исчерпывающую характеристику понятию, чувству, нравственной силе, поистине неисчерпаемой, бесконечно разнообразной, неотрывной от условий и обстоятельств исторических, общественных, душевных! Добро и зло борются на протяжении всего пути, пройденного человечеством, и борьба их познается в бесчисленных коллизиях, выдвигаемых развитием социальных отношений. Дабы волотить вечную тему в ее меняющихся обликах, необходимы собственный опыт, собственные открытия.

Николай Доризо и добивается самостоятельности в своем старании защитить, утвердить доброту, столь нужную нашему переломному веку, жестоко атакуемую и решительно наступающую. Иногда он и не произносит заветного слова, но нетрудно заметить, что оно живет в его сердце, когда поэт ведет речь о своей вере в разум человека, о народном подвиге, живой отзвук которого, память «гремит грозней набата и от войны нас бережет», о том, «что флаг расцветный взошел над миром на века». Это стихотворение программное, исходное, а развернутое в нем кредо затем получает выражение в строфах, по-разному сложенных и интонированных. Здесь и стихи, подобные ранее приведенному, говорящему о боли, которую испытывают деревья. Здесь и размышления — то ли о доброй зависти поэта к наивным и мудрым обитателям диких ле-

сов, умеющим читать закрытую для нас книгу природы, то ли о том, что «в нас что-то не стареет никогда, и, может, потому страшна нам старость».

Здесь и стихи иного настроения, в которых Н. Доризо уже не рассуждает, а рассказывает, знакомит нас с привлекшими его внимание людьми, и характеристика этих людей — неопровержимое свидетельство любовного и требовательного отношения поэта к жизни. Бабушка, ушедшая на свидание — ведь ей сорок всего! — изображена с доброй улыбкой, а в соседнем стихотворении «Сватовство», казалось бы, тоже написанном в «жанристской», бытовой манере, слышится негодование, презрение к тем, кто способен любить по указке и строить счастье по шаргалке.

Естествен у Николая Доризо переход к космосу, куда в ракете поплыл, к великой радости поэта, томик стихов, захваченный, как он пишет, космонавтом Николаевым. Поистине — завидный взлет, восхитительное событие! Но поэт охвачен тревогой: «Как мне добиться соответствия моих стихов с той высотой?» Лишь на первый взгляд может показаться парадоксальным то, что стихи, заслуживающие «высотной» оценки, насыщены пестротой земных дел, упований, надежд. И видишь, как на пользу идет поэту обращение к сюжетам и судьбам, за которыми — жизнь, повседневные заботы великого множества людей.

Изобразить во весь рост, во всем их скромном величии солдатских прачек весны сорок пятого года — вчерашних школьниц, маминых дочек, смякнутых «с жесткой солдатской одежды кровавую потную глину большого похода», или сказать сочувственное, сердечное слово о седых матерях-одиночках, «любящих своих нарядных дочек всей судьбой несбывшейся своей», или разглядеть на промелькнувшем за окнами поезда неброском полустанке Минутка людей, там живущих — любящих, работающих, заслуживающих уважения и внимания, — это ли не высокая задача поэта?

Творческое намерение, так отчетливо выраженное в стихах одических, где господствует размышление, или стихах элегических, где властвует переживание, оказывается как бы растворенным, «спрятанным» в стихах балладных, где преобладает движение судеб и событий. И тем не менее стихи Н. Доризо при всем их жанровом разнообразии внутренне программны, скреплены единством тематики. Даже в «Балладе о ко-

роле», где выступает бывший маршал французской республики, ставший шведским монархом, поэт восславляет вольнолюбие, столь дорогое его сердцу. Он, в частности, подмечает такую подробность: на плече Бернадота при последнем с ним прощании многие могли прочесть «слова былой татуировки: смерть королям, смерть королям!». Наколка, сделанная под крышей дымной таверны, может быть, в тот вечер, когда санкюлоты Парижа праздновали взятие Бастилии, десятилетия спустя напомнила о грозной неодолимости народного тяготения к свободе.

Для советской поэзии обращение к прошлому ради истолкования настоящего — постоянный и увлекательный труд. У Якова Козловского свои любимые герои минувших лет — его печалит трагическая кончина Грибоедова, восхищает несравненная отвага Лермонтова, который, бросая вызов царскому двору, как пишет Я. Козловский, твердо знал, что «он хоть завтра в перестрелку, хоть в кандалы, на эшафот, но только с совестью на сделку — казни иль милуй — не пойдет...». Уважительно повторяя выпешдший из употребления термин «изыщная словесность» и приводя строку из «Толкового словаря» В. Даля — «Изыщество — союз истины и добра», Козловский напоминает, «что в храм изыщности словесной дорогой доблестной и честной входить талантам суждено». В подкрепление этой неоспоримой истины поэт обращается не только к великим художникам былых веков, навсегда остающимся со своими потомками, но и к тем художникам, что еще недавно разделяли наши повседневные хлопоты, за просто дружили и работали с нами. «Был смел, как подобает офицеру, был честен, как поэту надлежит» — вот справедливые и точные слова, посвященные Михаилу Луконину, одному из тех замечательных мастеров стиха, что чувствовали себя в огне боев работниками, создателями и оставались бойцами, фронтовиками в дни ими завоеванного мира...

И здесь следует сказать о том, как построена книга Я. Козловского «Две музы — две сестры». В ней плодотворно взаимодействует муза оригинального поэтического творчества и муза перевода. Они и в самом деле сродни одна другой: в большей части стихов Козловского мы находим тот же круг мотивов, что и в стихах поэтов, им переводимых. Здесь получает развитие традиция, прочно укоренившаяся в русской

поэзии: обращение к Кавказу, красоте его горных хребтов и ущелий, благородству горских нравов и обычаев. Нынешний день горцев, освобожденных от былой замкнутости и разъединенности социалистической революцией, становится основой создания образов, в которых фантазия и быт, житейская проза и высокая поэтичность сплетены тесно и органично. Козловский в одном из своих оригинальных стихотворений каждую строфу завершает повторяющейся строкой — «Старая песня: любовь и Кавказ». Энергия этой давней и вечно юной песни живет и в оригинальных его стихотворениях и в переводах, самый отбор которых подтверждает постоянство творческих пристрастий поэта. В стихотворениях Я. Козловского мы находим и «биографическое» объяснение той внутренней близости, которая связывает его с поэтами, чьи стихи он переводит. «Мы познакомились на фронте, молоденькие офицеры», — вспоминает Козловский о первых встречах с Кайсыном Кулиевым. «Мы на конях: я и седой аварец. Проснулись птицы в утреннем лесу» — так начинает он рассказ о своей поездке с патриархом аварской поэзии Гамзатом Цадасой. И еще один виток памяти, еще один путевой набросок: «В непокорном когда-то ауле ждет меня и сегодня ночлег. Я живу здесь как равный меж равных, ем хлеб-соль и сижу у огня...» Эти достоверные записи передают с документальной точностью реальность сердечных отношений между работниками стиха.

Право же, когда будет написана история сближения многоязычных советских литератур, в ней заметное место займет глава, рассказывающая о том, какие прекрасные плоды принесла дружба Николая Тихонова с Георгием Леонидзе, или Маргариты Алигер с Леонидом Первомайским, или Александра Прокофьева с Андреем Малышко, или Александра Межирова и Давида Самойлова с Юстином Марцинкявичюсом, или Елены Николаевской с Мустаем Каримом и так далее. Сами стихи, что запечатлели общность дум и чувств, преодолевшую барьеры разноязычия, занимают приметное место в современной советской поэзии.

Книга Я. Козловского — одно из доказательств ценности и глубины той творческой и человеческой близости, которая определяет взаимодействие братских поэзий Советской страны. Я. Козловский рассказал о тех будничных трудах, усилиях, что позволили ему войти в мир горской поэзии, по-

нять и освоить ее, передать обаяние поэтов весьма несхожих, но близких по характеру восприятия жизни и ее истолкованию. В постоянно, хоть и разнородно, действующих силах сцепления, во встречном притяжении творческих замыслов мы снова различаем движение, ведущее через пласты повседневности к широким поэтическим обобщениям, к образности, насыщенной озарениями и открытиями.

Переведа стихи своих горских друзей, Я. Козловский позволил читателю убедиться в том, что и эти ярко самобытные поэты, чьи образные истолкования и воплощения жизни сугубо индивидуальны, вместе с тем едины в своей способности осваивать новые и новые слои повседневности, находя в них основу для создания образов высокой поэтической напряженности. Книга переводов и оригинальных стихов Я. Козловского, подобно книгам его товарищей, стала еще одним доказательством умения нашей поэзии чувствовать очарование и важность тех с виду незамысловатых явлений, которые лишь ожидают пристального, острого взора, чтобы стать плотью, «материей» стиха, «горю-

чим» для взлета воображения. Конечно, относительность подобных сравнений очевидна; ведь авиационная техника и художественное творчество живут по разным законам. Но вспомним, как далеки бывают друг от друга в житейской практике звенья единой метафоры и как подчас много значит их дерзкое сопряжение! Когда, к примеру, Константин Ваншенкин, в течение ряда лет изобретательно и естественно обрисовывающий в своем стихе черты и черточки, проселки и магистрали любимой им жизни, скажем, в «Песенке о московской окраине» ставит в двух соседних строках микро- и макровеличины — «И вновь шесть скворечников, и вновь простор земной», — видишь в подобном сопряжении столь разномастных планов и сугубо индивидуальное настроение поэта, и принцип, пришедшийся по душе мастерам нашей поэзии.

Бытие, просвечивающее сквозь быт, — это соединение уже многое дало нашему стиху. Без сомнения, оно и в будущем обернется свежими, непредвиденными прозрениями и находками.

И. ГРИНБЕРГ.



«ТИХО СКАЗАНО ГРОМКОЕ СЛОВО»

Лев Озеров. Стихотворения. М. «Художественная литература». 1978. 333 стр.

Лев Озеров. За кадром. Книга лирики. М. «Советский писатель». 1978. 174 стр.

Почти одновременно вышли в свет две книги стихотворений Льва Озерова. Одна как бы итоговая, пополнившая собой популярную серию «Библиотека советской поэзии». Вторая новая, вобравшая стихи последних трех-четырёх лет.

Имя Льва Озерова давно известно широкому читателю. Поэт, переводчик, критик, литературовед, редактор — любой из этих творческих профессий с лихвой хватило бы на иную литературную судьбу. Но Озеров неутомим. И сегодня, уже отметив шестидесятилетие, он полон новых планов. И все-таки Лев Озеров прежде всего поэт. В предисловии к книге «Стихотворения» автор четко сформулировал свое писательское кредо: «Живу стихом, через стих познаю мир и себя. Как санитарные и пожарные машины, стихи идут на красный свет. Идут вперед статей, переводов, работы педагога... Для меня поэзия — не вид, не жанр литературы, а голос сильной влюбленности... поэзия — влюбленность. Но поэзия — и ответственность. За человека.

Перед временем. Перед будущим, хотя и неведомым, но предвкусимым».

Лев Озеров пришел в литературу в начале 30-х годов (его первая книга стихов «Приднепровье» вышла в свет за год до Великой Отечественной войны). И читателю избранного сегодня открываются приметы времени, аромат эпохи, направление творческих поисков поэта.

Поэт достойно и мужественно разделит судьбу своего поколения в грозные годы. Война вошла и в его стихи. Пусть в книге «Стихотворения» непосредственно о войне стихов немного, отзыв Великой Отечественной ощутим и в самых последних произведениях, как, скажем, в послании «Александру Межирову» или стихотворении «Говорят погибшие...».

Его пристрастия сформировались рано и устойчивы по сей день. Это раздумья о возвышенном и прекрасном, исследование природы любви и раскрытие любви к природе, это, наконец, взаимоотношения человека и искусства...

Многие стихи избранного широко популярны. Отдельные строки из них стали афоризмами, зажили своей отдельной жизнью. Например, «поэзия — горячий цех», «разделенное горе — полгоря, разделенное счастье — два счастья», «талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». Кстати, последних строк в избранном нет. Поэт вообще жестко ограничила себя задачей представить различные и не всегда заметные поверхностному взгляду грани творчества...

В 1951 году Лев Озеров написал стихотворение «Среди желаний славы и покоя...». Оно не фигурировало, по-моему, в критических работах, посвященных поэту, тем охотнее позволю себе процитировать его полностью:

Среди желаний славы и покоя,
Здоровья и достатка — есть одно
Простое, необъятное такое
И с каждым днем моим сопряжено.

Оно куда сильнее желанья славы,
Ведь нет его — и славы тоже нет.
Что без него покой?! Одни забавы,
И то на зорьке беспечальных лет.

Желать здоровья? Доброе желанье.
Достатка? Что же, нет позора в том.
Но их назвав, не цель существованья,
А только средство к жизни назовем.

Среди страстей, что больше всех в почете,
Среди желаний, сильных с давних дней,
Оно — желанье быть всегда в работе —
Равно любви, а может, и сильней.

Эти строки, написанные в 1951 году, входят отклик в позднейших размышлениях поэта: «Когда работаю, я плохо верю в смерть... Работа делает меня бессмертным...» В лучших стихотворениях Л. Озерова лирический герой и поэт существуют слитно, и тем больше наше доверие к поэтическому слову.

Книга «За кадром» еще один «новый поворот» (одна из предыдущих книг символически называлась «Дороги новый поворот») на поэтическом пути Л. Озерова. Развивая устойчивые мотивы его поэзии, «За кадром» начисто разрушает бытующее подчас представление об Л. Озерове как о поэте только традиционном, приверженце так называемой тихой лирики. Естественность никогда не означала тихости. Как заметил сам Л. Озеров по другому поводу: «Тихо сказано громкое слово» (разрядка

моя.— В. Ш.). Подспудную полемику поэта с теми, кто намерен зачислить его в разряд «тихих» лириков, мы находим и в отдельных строках («Нет, не стремился я к покою...»), и в заключительном стихотворении новой книги, озаглавленном «Вместо послесловия», и в общем ее пафосе.

О стихотворении, замыкающем сборник, хотелось бы сказать чуть подробнее: в нем не только жизнь автора, но и судьба целого поколения. Первые же строки стихотворения определяют общее его звучание: «Товарищ мне сказал: «Ведь ты за кадром...» С сочувствием, а может быть, желая меня поддеть. Ну что же — промолчу. Нет, мой любезный, лучше я отвечу».

И ритмическое движение стиха постепенно втягивает нас в панораму удивительно емкой человеческой жизни. «Мирный, тихий с виду» лирический герой стихотворения (сам поэт, конечно же) с большим чувством человеческого достоинства рассказывает о своей рабочей «арсенальской» юности, о трагической гибели близких в войну, о горестной утрате отца... Традиционный ямб как бы подчеркивает нравственную основу произведения. За контурами стихотворения отчетливо виден облик поэта, резко индивидуального в своих пристрастиях...

Новая книга лирики Л. Озерова хорошо выстроена. Его стихи вообще тяготеют к цикличности. Свойство это, правда, порой обращается и против автора, ибо отдельно взятое стихотворение, вырванное из цикла, из контекста, звучит иногда приглушеннее, слабее, становится только зарисовкой, наброском. К слову сказать, географо-этнографические циклы в книгах Л. Озерова мне кажутся размытыми, они менее освещены внутренним светом, в них слабее передана работа души, ее тревога и неуспокоенность, стремление поэта раздвинуть «звучанье души до звучанья органа».

Но это частные замечания. Читатель получил две большие работы серьезного поэта. И обе выполнены в строгом соответствии с собственным законом поэта и ладом его души:

Я не придумываю, я не сочиняю.
Пишу себя, веду перо по краю —
Своей судьбы, стараясь поточней
Определить течение этих дней.

Виктор ШИРОКОВ.



Политика и наука

«БОГ МОТОРОВ»

Феликс Чуев. Стечкин. («Жизнь замечательных людей») М. «Молодая гвардия». 1978. 256 стр.

На склоне лет академик Стечкин говорил: «Ученых у нас много, а Королев один». Слова эти, пожалуй, можно отнести и к личности самого Бориса Сергеевича. XX век славится множеством выдающихся имен ученых и воистину революционными их подвигами в науке. Но Стечкин был и остается одним из тех, может быть немногих, чье имя долго еще будет интересовать и волновать нашу общественность и особенно науку. К такому выводу невольно приходишь по прочтении книги Феликса Чуева «Стечкин».

На долю Бориса Сергеевича Стечкина, особенно в начале жизни, выпало сложное, нелегкое и одновременно героическое время. Оно было насыщено преобразующими жизнь идеями Великого Октября, романтикой и драмой борьбы по переустройству общества, подвигами на фронтах гражданской войны, трудовым подъемом в годы восстановления разрушенного хозяйства и создания новой индустриальной мощи первого социалистического государства.

К началу Октября Борису Стечкину исполнилось 26 лет. Он был технически зрелым специалистом и легко ориентировался в избранной специальности, проявил незаурядные инженерные способности, работая в лаборатории по военным изобретениям Н. Лебедева. Однако тогда он еще недостаточно хорошо разобрался в политической ситуации и не сразу разделил идеи, которые несли России большевики. Мир царя и капиталистов рушился, трещали по швам прежние устои и привычки, на смену старому обществу шло новое. Сознание инженера Стечкина, правда формально не дипломированного (диплом в МВТУ он защитил в 1918 году), крепко еще удерживало отпечаток прошлого: как-никак он был отпрыском столбового дворянства, окончил по настоянию матери, женщины с сильным характером (отец оставил семью, когда Борису было три года), Орловский кадетский корпус имени Бахтина. Не исключено, что именно это привело его к событию, которого он, будучи человеком честным, никогда не отрицал. В разгар московского белогвардейского мятежа Борис Стечкин вместе с инженером Леонидом

Курчевским оказался на контрреволюционном броневике. «К пониманию Октября и Советской власти,— пишет Ф. Чуев,— Стечкин пришел не сразу». Но когда он сознательно пришел к этому пониманию, когда принял народную власть, он ни разу не изменил ей и всю свою жизнь посвятил развитию и упрочению науки. Даже тогда, когда Стечкина необоснованно привлекли к судебному процессу по делу Промпартии и отмерили ему три года заключения (через год его освободили, а затем полностью реабилитировали), он ни одной мыслью своей не замутил идеи Октября, а упорно работал, совершенствуя отечественную науку.

Судя по всему, автору нетрудно было впасть в одну из крайностей, рассказывая о Борисе Сергеевиче Стечкине: либо писать его удивительную биографию, либо «теоретизировать», рассказывая о его научном пути и подвижничестве в науке. Автор не пошел ни по первому, ни по второму пути. Он показал нам Стечкина в науке и науку в Стечкине. Это лейтмотив всего повествования, дающий выход как биографической хронике, так и повседневному, постоянному научному поиску, коим одержим был всю жизнь Б. С. Стечкин. Уже в 30-е годы он создал свою школу теории авиационных двигателей. Но ученый (я об этом можно только сожалеть) не хотел, или временем не располагал, или не любил переводить в монографии и книги результаты своих многочисленных исследований, свои теоретические выводы, которые многократно им же подтверждались в эксперименте. После решения какой-нибудь задачи, особенно по механике, Борис Сергеевич обычно спешил поделиться новостью с сотрудниками. Те, в свою очередь, говорили ему: «Написать бы куда-нибудь надо». А он отмахивался: «Это несущественно». «После его смерти,— находим мы в книге,— только профессором И. А. Варшавским обнаружено две с половиной тысячи «несущественных» неопубликованных страниц, на многие десятилетия определяющих развитие научной мысли и техники. А ведь это только незначительная часть наследия Б. С. Стечкина». Да, есть над чем задуматься.

маться ныне живущим его ученикам и последователям. Ко многому еще не прикасалась рука исследователя и в бывшем Институте двигателей АН СССР, и в филиале этого института в МАДИ.

В 1929 году вышел в свет капитальный труд Бориса Сергеевича Стечкина «Теория воздушно-реактивных двигателей». Единственный, пожалуй, труд, как отмечает автор, в напечатанном виде. Ученый, решив однажды теоретическую задачу, в дальнейшем терял к ней интерес. Его волновали новые проблемы. Многие, знавшие профессора, а затем академика, относят это к недостаткам его характера.

С момента публикации «Теории ВРД» прошли годы и десятилетия. Лишь время может определить подлинную ценность научной идеи. То, к чему стремился Стечкин, ныне стало главенствующим в развитии авиации. Теперь мы не мыслим себе жизни без воздушно-реактивных самолетов. И в этом высшая оценка трудов и предвидения академика Стечкина, удостоенного в 1961 году звания Героя Социалистического Труда.

Многие страницы книги посвящены Стечкину — ученому, теоретику, немало Стечкину — инженеру, экспериментатору. Автор в связи с этим предоставляет слово ученикам и соратникам академика.

Профессор В. В. Уваров: «Стечкин больше инженер, чем ученый. Он умел и руками поработать, эксперименты ставить. Помешала ли ему инженерная деятельность? Для науки — да».

Профессор Г. С. Скубачевский: «Борис Сергеевич был ученым в полном смысле этого слова, потому что умел из груды материала выбирать самое новое, самое интересное. Считаю, что инженерная деятельность не только не мешала ему, но и давала новые мысли... Не правы те, кто считает Стечкина больше инженером, чем ученым...».

Академик В. П. Глушко: «Что главное в Стечкине? Это настоящий ученый... Нельзя сказать, что он больше теоретик. Он создал теорию и тем сразу вписал себя в ряды крупных ученых, но он, я бы сказал, больше внимания уделял экспериментированию, и в этом отношении у него можно было и поучиться».

Из многочисленных высказываний по этому поводу, а все их привести здесь невозможно, наиболее точны, на мой взгляд, слова В. П. Глушко. Стечкин был крупным ученым, умевшим, пожалуй, как никто

другой, а может быть, немногие, экспериментировать, исследовать, производить расчеты. Такой метод с годами становился важным и неотъемлемым в работе ученых многих направлений и давал науке быстрый и оригинальный выход в производственную сферу.

Сам Борис Сергеевич нередко говорил: «Я инженер-механик». Он был блистательным, превосходным математиком, расчетчиком, исследователем. Свою научную деятельность Стечкин сам разделял на два этапа: первый, до 1943 года, избрал в себя научно-исследовательскую и педагогическую работу; второй, после 1943 года, по возвращении Бориса Сергеевича из Казани, где он пробыл шесть лет, был посвящен научно-технической и инженерной работе. После войны окружающие часто слышали от ученого: «Наука мне мешает изобретать». В чем именно? Ф. Чуев предлагает объяснение: «...в том смысле, что любое техническое предложение он подвергал жесточайшему всестороннему научному анализу на основании всех существующих законов и нередко без дальнейших разработок доказывал абсурдность или нецелесообразность изобретения, иногда и своего собственного».

Стечкин был незаурядным человеком, и ему везло на хороших людей. Туполев и Чаплыгин, Лялька и Микулин, Ветчинкин и Архангельский, Чудаков и Королев — это лишь несколько из десятков и сотен имен известных советских ученых, с которыми имел счастье общаться и работать академик Стечкин. Его окружало множество учеников. Борис Сергеевич всем и каждому был доступен. И его самого везде принимали с распростертыми объятиями. Стечкин был на редкость радушен и общителен, хотя его и не обошли сложности жизни. Не всегда умея постоять за себя, он настойчиво боролся за других, упорно отстаивал оригинальные идеи, потому что был Ученым с большой буквы. В книге читатель найдет тому немало примеров и подтверждений.

Вскоре после войны академик Е. А. Чудаков вместе с инженером И. Л. Варшавским разработали новый двигатель для подводных лодок, который работал на перекиси водорода. Варшавского, занимавшего в институте должность начальника отдела жидкостно-реактивных двигателей, Стечкин знал с 1945 года. Институт подчинялся Академии артиллерийских наук, а Борис Сергеевич был ее действительным

членом и интересовался новыми работами по этому двигателю. Некоторые ученые новую идею не поддержали и даже выступили против. Стечкин увиделся с Варшавским и сказал: «Делайте свой двигатель, он будет работать!» Мотор изготовили. Но на испытаниях он взорвался. Конструкторов пригласил в Кремль И. В. Сталин. На вопрос: «Сколько вам нужно времени, товарищ Чудаков, чтобы сделать новый двигатель?» — кто-то из министров поспешил ответить: «Шесть месяцев». «Даю вам две недели», — заключил Сталин. Может показаться удивительным, но мотор за две недели не только создали, но и испытали. Консультировал работы по этому двигателю профессор, член-корреспондент АН СССР Стечкин.

Теория и расчет поршневых двигателей занимали Бориса Сергеевича всю жизнь. Он заложил основы, а потом — теорию лопаточных машин и реактивных двигателей. Вместе с Л. Курчевским ученый разрабатывал первое реактивное оружие, ему принадлежат фундаментальные работы в области механики, газодинамики и теплотехники, он создал теорию прочности и вибропрочности.

Всем известны слова В. И. Ленина о том, что познанию нет предела. Ничто из добытого людьми не лежит спрессованным грузом. Знания дополняются, пересматриваются, уточняются. Таким был путь в науке и академика Стечкина. Он очень много сделал в двигателестроении. Дополнил, пересмотрел, уточнил столько научных положений и выводов, предложил и внедрил столько новых идей, что все их перечислить не представляется возможным. В зарубежной литературе советского академика не называли иначе как «бог моторов». Он оставался им до конца дней своих. Сколько было случаев! Испытывался новый мотор, дела не идут, что-то не ладится, все нервничают. Посылают кого-нибудь за «доктором». И он всегда и безотказно приезжал. Походит, послушает, посмотрит чертежи, подежурит у испытательного стенда — и «рецепт» готов. Бывало, не сразу давал ответ, уезжал домой и через день-другой звонил. Никто из стечкинского окружения не помнит, чтобы Борис Сергеевич не установил диагноз «болезни» того или иного двигателя. В авиационном моторостроении его считали «кристаллизационным центром». «...к нему отовсюду стремились, — пишет автор, — одаренные молодые

специалисты, и вокруг него, закоперщика идей, сложилось мощное, серьезное, государственное дело». «Все мотористы Советского Союза — и прошедшего времени и настоящего, — говорил академик А. М. Люлька, — даже те, кто не учился у Стечкина, — все обязаны Стечкину».

В последние годы жизни Борис Сергеевич возглавлял Институт двигателей АН СССР, который он создал, но который потом, к сожалению многих, был распущен, работал в комиссии по газовым турбинам, научным руководителем отдела в КБ С. П. Королева. Почти до последних дней своих не расставался он с педагогической деятельностью, преподавал в МВТУ, МАИ, Военно-воздушной академии имени Жуковского, МАДИ.

На разных этапах жизни, как показывает автор, судьба была благосклонна к Стечкину, но он в то же время никогда не был ее баловнем, о чисто административном росте не заботился, слава и почести его не волновали. А мог бы, наверное, пользуясь поддержкой своего дяди, «отца русской авиации» Н. Е. Жуковского, у которого учился и под чьим руководством начинал свой путь как ученый, сделать головокружительную карьеру, обеспечить себе и семье благополучие и жизненный комфорт. Но Борис Сергеевич довольствовался немногим, жил весьма скромно. Многие годы с постоянно разрастающейся семьей — сначала были дети, потом внуки пошли — он занимал две, правда большие, комнаты в коммунальной квартире на первом этаже старого двухэтажного особняка в Кривокольном переулке на Арбате. Находился он здесь и когда был профессором и когда стал членкором и академиком. Работал и спал Стечкин в большой комнате, в отгороженном книжными шкафами закутке. Он был неприхотлив к домашней обстановке, вещам значения не придавал, предпочитал книги. «Я помню молодого Стечкина. Он всегда ходил с какой-нибудь книгой, — говорил на его 60-летию А. Н. Туполев. — Но это были не романы (на чтение их у него не хватало времени. — Г. Р.), а либо «Термодинамика» Шюлле, либо («Паровые и газовые турбины». — Г. Р.) Стодола. При этом одну и ту же книгу он мог носить, изучать и анализировать по нескольку месяцев». И многие тогда знали: если Борис Стечкин носит такую-то книгу, значит, он занимается в это время каким-то конкретным вопросом. Дома и на рабо-

те Борис Сергеевич вел себя сдержанно. «в обиходе никто не слышал от него никаких требований или капризов,— читаем в книге,— не было повышенного тона ни к жене, ни к детям... Все могли заниматься чем угодно, разговаривать — он работал; к нему приходили студенты, аспиранты». Нервных людей Стечкин не понимал и не любил, считал их скорее распущенными, чем нервными. «Он был в непонятном теперь смысле очень воспитанным человеком,— вспоминает его племянница Е. Я. Хвостова.— Внутренне воспитан».

Были у Стечкина увлечения: от мотоцикла, азросаней, автомобиля — до бильярда, тенниса и охоты. Он жил не суетной, но очень напряженной жизнью, изо дня

в день обогащая отечественную науку новыми открытиями.

Седой, статный, незлобивый, отзывчивый, Стечкин и в конце жизни привлекал к себе внимание многих людей кипучей энергией и прежним, если не большим, чем в молодые и зрелые годы, запасом идей, которыми он всегда охотно делился со своими учениками. Борис Сергеевич навсегда вошел в отечественную науку Большим Человеком.

Увлечись Стечкиным непросто. Но влюбившись однажды — сохранишь это чувство надолго. Такое впечатление остается от новой книги Феликса Чуева о добром и умном человеке науки.

Григорий РЕЗНИЧЕНКО.



РОЖДЕННЫЕ ПОД ОДНИМ СОЛНЦЕМ

В. Крючков. Пусть всегда будет солнце! Книга-репортаж о Международном детском фестивале в СССР. М. «Молодая гвардия». 1979. 159 стр.

Книга посвящена одному из важных событий, предшествовавших Международному году ребенка, — Международному детскому фестивалю, который два года назад проходил в Москве и Артеке. Кажется, само детство планеты пришло на крымский берег, чтобы заявить о своей силе, энергии, талантливости, о своих мечтах и надеждах и о своих нерешенных пока проблемах.

Действенная программа борьбы за мирное и счастливое будущее всех детей прозвучала в обращенных к участникам фестиваля словах Л. И. Брежнева и Т. Живкова, Я. Кадара и Тон Дык Тханга, Ю. Цеденбала, а также Генерального секретаря ООН К. Вальдхайма, президента Всемирной федерации женщин Ф. Браун, Генерального секретаря Всемирного Совета Мира Р. Чандры.

«Пусть всегда будет солнце!» — этот призыв четырехлетнего мальчика стал девизом фестиваля, ибо сами дети, не сговариваясь, неизменно изображают солнце как символ жизни и радости. На вопрос, что бы ты сделал, если бы стал волшебником, английский подросток Джон Кросс — один из многих участников фестиваля, чьи сокровенные желания и мысли записал автор книги-репортажа В. Крючков, — ответил, что заставил бы солнце светить круглые сутки.

Прекрасны мечты детей. Они добры и

бескорыстны. Но когда Клетус, подросток из Зимбабве, мечтает употребить могучие силы волшебства на покупку еды и одежды для своих родителей, сердце сжимается болью и наполняется гневом против тех, кто, обрекая миллионы людей на нищету, украл у мальчишки мечту, подрезал ей крылья.

Потрясающие в своей искренности рассказы юных посланцев планеты облекают зримой плотью страшные цифры, приводимые в книге: ежедневно на земле умирает от голода 50 тысяч детей. И в то же время в расчете на одного новорожденного в мире расходуется более 3 тысяч долларов на гонку вооружений. Вот «приданое», которым встречает капитализм каждого, кто приходит в мир.

Палестинец Мохамед Хасан приехал на фестиваль с юга Ливана — там столько лет, сколько он себя помнит, живет в изгнании его семья. Хасан мечтает, чтобы у него была родина. О счастье жить на родной земле, учиться на родном языке мечтает и маленький Шипаку Сахария, который родился в Намибии, но живет с родителями в Анголе, куда они бежали, спасаясь от южноафриканских расистов.

Председатель Союза колумбийских пионеров Амалия Поссо говорила на фестивале, что из каждой тысячи маленьких колумбийцев лишь 276 оканчивают началь-

ную школу. Двенадцатилетний Фольке Шпид из ФРГ рассказал, как пионеры города Мюльхайм однажды пришли к бургомистру, сказали ему о нуждах ребят и подарили будильник, чтобы бургомистр, просыпаясь, вспоминал, «что в городе есть дети». «У нас распространено такое слово «шлисселькиндер»,— говорил Петер Либед из Западного Берлина.— Это про тех, кого родители оставляют одних дома и запирают на ключ». Горькие слова Фольке и Петера напомнили мне напечатанные в одном западногерманском журнале фотографии объявлений. Объявления эти были написаны разными шрифтами и от имени различных учреждений и организаций — полиции, домовладельцев, церкви, школьного управления, магистрата,— только суть и тон их были целеустремленно единообразными: «Игра в футбол и катание на роликах строго запрещены», «Игры детей в подъездах и во дворе не разрешаются. Родители несут ответственность за своих детей», «Пребывание посторонних на церковной территории, особенно игра в мяч и катание на велосипеде, строжайше запрещено!», «Игры детей во дворе, вестибюлях и на лестницах в интересах всех квартиросъемщиков запрещены», «Пребывание детей на этом дворе запрещено!», «Здесь не общественная площадка для игр» и так далее.

Двенадцатилетняя мексиканка Андреса Рекасенс сказала, что, будь она волшебницей, непременно учредила бы в своей стране законы, охраняющие детей. Не удивительно, что многие делегаты фестиваля, впервые попав в Советский Союз, чувствовали себя Алисами, приехавшими из капиталистического Зазеркалья с его «перевернутыми» отношениями и порядками, в стражу действительных чудес, сбывшихся и каждодневно осуществляемых мечтаний. Поэтому знаменательно, что на проходившей в рамках фестиваля конференции руководителей детских и молодежных организаций председатель Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина, секретарь ЦК ВЛКСМ А. В. Федулова напомнила, что новая Конституция СССР «уделяет специальное внимание детям, как ни одна Конституция мира, наделяя их правами на знания, физическое и духовное развитие, на возмож-

ность пользоваться благами общества и заботой взрослых».

Уже в аэропорту Шереметьево костариканца Хосе Паоло Гуттиереса поразила надпись на ветровом стекле ожидавшего ребят автобуса — «Осторожно: дети!». А затем удивительные открытия в мире, созданном для детей в СССР, следовали одно за другим... Внимательно наблюдали юные участники фестиваля и взрослую жизнь нашей страны. Эндрю Венемору из Новой Зеландии признался, что его «удивило большое количество подъемных кранов на стройках. Если люди много строят, значит, дела идут хорошо, нет безработицы». «Самое интересное в метро — это пассажиры,— считает гостя Москвы гречанка Ирина Дзанавара.— Они улыбаются. Никто не курит. Люди читают». «В Советском Союзе мы с удивлением узнали,— сказала римлянка Паула Купилло,— что молодым специалистам вместе с дипломом вручают направление на работу, оплачивают дорогу до места назначения,— для нас, итальянцев, это звучит как фантастическая музыка».

Взрослая ответственность за судьбы планеты рождается в душах ее маленьких граждан — это с убедительностью показано в книге-репортаже о фестивале. «Меня спрашивали: «А что могут сделать дети для укрепления мира?» — говорят юный американец Эрик Маккаси.— Я отвечал, что сами по себе дети ничего не могут сделать в этом мире без взрослых, но ведь когда-то и мы станем взрослыми». Но и нынешние дети, как доказал их фестиваль, способны сделать немало. «Голос каждого из вас похож на колокольчик, но ваши голоса вместе могут стать колоколом, который способен разбудить человечество»,— сказала участникам фестиваля Гладис Марин, генеральный секретарь Коммунистической молодежи Чили.

«Пусть всегда будет солнце!» — книга-документ. Запечатленные здесь, сопровождаемые многими фотоснимками голоса юных и взрослых участников, организаторов, гостей фестиваля делают всемирный форум детей достоянием широкой общественности, приглашают каждого читателя к продолжению заинтересованного, волнующего разговора, побуждают к действию.

Игорь МОТЯШОВ.



НАРОДНЫЕ ИСТОКИ УТОПИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА В РОССИИ

А. И. Клибанов. Народная социальная утопия в России. Период феодализма. М. «Наука». 1977. 335 стр.

А. И. Клибанов. Народная социальная утопия в России. XIX век. М. «Наука». 1978. 342 стр.

Мысль о народе как творце истории — одно из краеугольных положений марксистско-ленинской теории. Именно трудом народных масс во все эпохи создавались материальные ценности, развивалось и крепло государство; они же явились движущей силой революционных выступлений против эксплуататоров. Столь же велика роль социальных низов и в развитии культуры, самосознания, мировоззрения, хотя здесь она, конечно, нередко проявляется более приглушенно, скрытно по сравнению с влиянием господствующих классов, чья идеология представляет собой господствующую духовную силу общества. «В каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую. Но в каждой нации есть также культура буржуазная (а в большинстве еще черносотенная и клерикальная) — притом не в виде только «элементов», а в виде господствующей культуры» — эти слова В. И. Ленина, высказанные им применительно к капитализму, в немалой степени относятся и к предыдущим антагонистическим формациям.

Уровень общественного сознания народных масс, их идеологических воззрений в дооктябрьской России — вопрос, представляющий отнюдь не только чисто академический интерес. Он теснейшим образом связан с проблемой зрелости классового сознания угнетенных масс — участников народных движений феодальной эпохи, позже революционного, освободительного движения XIX — начала XX века — и, наконец, вопроса о степени подготовленности трудового народа к великим революционным битвам начала XX века, исторической обусловленности и закономерности самих этих революций. Известно, что в писаниях многих зарубежных советологов Октябрьская революция, положившая начало переходу человечества от капитализма к социализму, тенденциозно изображается некой «исторической случайностью». Эти фальси-

фикации нередко пытаются подкрепить рассуждениями о крайней отсталости России, ее народа накануне революций и задолго до них, в частности о «примитивном уровне сознания» русских рабочих и крестьян.

А. Клибанов в своих работах неоднократно отмечал, что русские социально-утопические учения XIX века нельзя считать продуктом только чужеземного влияния (идей Сен-Симона, Оуэна, Фурье и других), результатом деятельности только образованных людей. Русская социально-утопическая мысль уходит своими корнями в далекое прошлое. Здесь и сочинения безымянных и известных народных утопистов, и различные легенды (о Беловодье, «земном рае» и т. д.), и зачаточные, неразвитые формы социально-политической организации эпохи крестьянских войн, и многочисленные «общезиельства», устраивавшиеся на основах раннехристианских общинных идеалов (равенства членов, общности имущества), и многие другие. Эта комплексная и исключительной важности проблема, по словам автора, — «перспективная область историко-философского исследования, восполняющего наше познание народа как творца истории».

А. Клибанов считает этот вопрос составной частью более широкой проблемы форм идеологической борьбы народных масс, и с ним нельзя не согласиться. «Народная социальная утопия, — пишет он, — позволяет судить о том, какими в народном сознании являлись представления о конечных целях борьбы с господствующим классом и орудиями его власти — государством и церковью, каким должен быть общественный строй, наиболее отвечающий удовлетворению материальных и духовных интересов народа». Народную утопию автор правомерно называет «явлением духовной культуры, обошедшим народы, страны, века»; тем самым «народная социальная утопия в России есть и фрагмент всеобщей истории социально-утопических движений и учений».

Истоки народной социальной утопии А. Клибанов выявляет уже в Древней (Киевской) Руси. Он рассматривает так назы-

литарный и утопизм коммунистический (в духе средневекового еретического коммунизма)». Подобные идеи Косой не только проповедовал, но и пытался осуществить на практике — в общине его единомышленников было введено совместное пользование имуществом. Примером для участников «коммуны» Феодосия Косого служило апостольское христианство. Рассказывая о «практике потребительского коммунизма», введенного в общине Феодосия Косого, автор придает его «Новому учению» значение идеологического переворота: впервые не какая-то внешняя сила (бог, небо), а сам человек, обладатель «духовного разума», выступает как сила, устраняющая Кривду и устанавливающая Правду справедливости и братства на земле. Идеи Феодосия Косого оказали большое влияние на развитие религиозного вольнодумства в последующее время.

Рассматривая эпоху социальных потрясений и мощных народных движений XVII—XVIII веков, А. Клибанов особо останавливается на таком сложном историческом явлении, каким явился раскол — массовый разрыв крестьянства с господствующей церковью. Идеологию староверческого движения он считает антифеодальной и ставит в ряд с идеологией участников городских движений и крестьянских восстаний и войн.

Очень интересны страницы, посвященные анализу не только взглядов и требований участников этих движений, но и попыток осуществить их в реальной жизни. Таковы, например, организация законодательной и исполнительной власти, военной и судебной администрации, социальная и национальная политика участников восстания 1705—1706 годов в Астрахани. Она, по словам автора, представляла собой «вызов в сей системе крепостнического насилия и гнета». В районе восстания возникла своего рода федерация самоуправляющихся коммун во главе с Астраханью, где решающее слово принадлежало трудовому народу. Автор не без оснований проводит параллель между этим восстанием и городскими коммунами в Западной Европе эпохи феодализма. Подобное устройство — «опыт социальной утопии», как и многие другие попытки участников городских восстаний и крестьянских войн вести жизнь на освобожденных от царской власти территориях на началах добра, справедливости, равенства (например, по примеру казацкой общины, крестьянско-го «мира»). В тесной связи с идеологией на-

родных восстаний А. Клибанов рассматривает и антифеодальные религиозно-опозиционные движения XVII—XVIII веков, выявляет в их идеологии социально-утопические аспекты, моменты, учения (Квирия Кульман в конце XVII века, Евфимий, А. Еленский во второй половине XVIII века, трудовые сообщества староверов, Китежская и Беловодская социально-утопические легенды). Все они в той или иной форме и мере были направлены против крепостнической действительности. Народная социально-утопическая мысль и социальная практика этого времени поднимаются на новую ступень (например, прорыв в отдельных случаях религиозной оболочки, как это было, скажем, в проповеди купца-старовера В. Каржавина в середине XVIII века или в «Благовести свободы» Еленского конца того же столетия). Важным моментом, который отмечается в книге, является то, что народные социально-утопические идеи оказали заметное влияние на творчество выдающихся деятелей русского Просвещения — А. Н. Радищева, Г. Сковороды, Я. П. Козельского и других.

Во вступительной главе второй книги автор характеризует идеологию крестьянских движений первых шести десятилетий XIX века. Он показывает неразрывную связь народных социально-утопических представлений с практикой социальной борьбы народных низов. Рассматривая многие конкретные движения крестьян этого времени, А. Клибанов отмечает, что в их рамках развивалась и народная утопическая мысль (стремления к лучшей жизни, к лучшему ее устройству по сравнению с окружающей действительностью): в ряде случаев их участники на практике пытались провести в жизнь новые формы общежития свободных и равноправных людей. Эти опыты, попытки были особенно характерны именно для XIX века, который стал «временем наибольшего распространения русской народной утопии и обогащения ее социального содержания». В самом деле, в начале столетия Савелий Капустин основывает молочноводскую коммуну; затем следуют крестьянские ассоциации Ивана Петрова в Пошехонье (Ярославская губерния), Антипа Яковлева на Плесовой стороне Костромской губернии, Николая Попова («Любовь братства» в той же губернии), Михаила Попова («Общее упование», Саратовская, Шемахинская, или Бакинская, Енисейская губернии), Ивана Григорьева («Союзное братство», Самарская губерния) и це-

лый ряд других в различных местах Российской империи. Эти «организации народной утопии» автор считает «устойчивым и постоянно возобновлявшимся социальным явлением».

Помимо практических опытов народная социальная утопия представлена и мыслителями-утопистами, выступившими с критикой современного им общественного строя, крепостничества (до крестьянской реформы 1861 года) или его пережитков в пореформенное время. Прежде всего это Федор Подшивалов, написавший сочинение «Новый Свет и законы его» (первая половина XIX века), и Тимофей Бондарев с его «Трудолюбием и туеядством» (последняя треть столетия). В их сочинениях ясно слышится голос крестьянского антифеодального протеста. Так, например, Федор Подшивалов мечтал о переходе человечества от «Старого света» к «Новому свету» с его идеальным жизненным строем, счастьем всех людей; «...человек,— писал он,— родится совсем не для того, чтобы он мучился или кто бы его мучил, а человек единственно для того родился, дабы он украшал природу и землю...» Тимофей Бондарев призывал организовать жизнь согласно «первородному закону» — чтобы все люди жили «трудом рук своих»: весь мир, или, точнее, «новый мир», «новую землю и новое небо», он хотел бы видеть как «единодушную и единосердечную артель».

Автор рецензируемых книг отнюдь не закрывает глаза на неоднородность, сложность состава народных социальных утопи-

стов, неоднозначный характер их деятельности. «В кругу народных утопистов,— подчеркивает он,— были потенциальные монтаньяры, и потенциальные жирондисты, и потенциальные представители «болота» (то есть и левые, и правые, и умеренные.— В. Б.). Мы и исследовали историю народной социальной утопии не как сплошной поток, а в изгибах и противоречиях ее реального исторического пути».

Как видим, книги А. Клибанова рисуют широкое полотно развития народных социально-утопических представлений. Автор блестяще, на мой взгляд, показывает народные истоки утопического социализма в России. У нас, как и в Западной Европе, утопический социализм был результатом творчества не только отдельных передовых представителей общественно-политической мысли, философов и писателей, публицистов и социологов. В исследовании, и в этом большая заслуга автора, выявляются глубокие исторические корни, народные основы социалистической мысли в России. «Социалистические мечтания», стремления к социальной справедливости народные массы пронесли через столетия феодализма и капитализма — вплоть до той поры, когда в союзе с рабочим классом, под его руководством трудовое крестьянство осуществило свои вековые мечты об обществе свободных и равных, которое стало возможным после Октября 1917 года.

В. БУТАНОВ,
доктор исторических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



ОПОЛЧЕНИЕ НА ЗАЩИТЕ МОСКВЫ. Документы и материалы о формировании и боевых действиях Московского народного ополчения в июле 1941 — январе 1942 г. М. «Московский рабочий». 1978. 408 стр.

В трудные, тревожные дни 1941 года, когда фашистские дивизии рвались к Москве, вместе с бойцами Красной Армии на защиту родины встали и сами москвичи. В этой книге широко представлены документы вечности, свидетельствующие о высоком патриотизме советских людей, об их мужестве и героизме. Важное место среди публикуемых материалов занимают постановления собраний и митингов рабочих, служащих, интеллигенции предприятий и учреждений, заявления и письма добровольцев. Эти человеческие документы нельзя читать без волнения.

«Считаю великой честью защищать наше отечество, быть в рядах РККА,— говорится в заявлении А. Вахмина, написанном 26 июня 1941 года и обращенном в партком Московского института инженеров транспорта.— В первый день мобилизации к 12 час. дня я уже был в райвоенкомате для назначения меня в часть... добровольцем. Отдам все свои силы, опыт на защиту нашей любимой родины, за партию Ленина».

История ополчения Москвы началась 4 июля 1941 года, когда Государственный Комитет Обороны постановил провести добровольную мобилизацию трудящихся Москвы и Московской области в дивизии народного ополчения. Основную массу добровольцев (около 65 процентов) составляли рабочие, прежде всего рабочие крупнейших заводов. В ополчение вступали группами, целыми семьями. Так, в книге названа славная семья москвичей Корзинкиных. Профессор Георгий Корзинкин, автор многих научных работ по рыбоводству, вступил в рабочий батальон рядовым бойцом и в короткий срок овладел ручным пулеметом и метанием гранат. Рядом с отцом встал его сын Сергей. Жена профессора записалась в батальон медицинской сестрой.

Чтобы представить себе размах формирования ополчения, достаточно сказать, что его дивизии, по существу, образовали две армии (32-ю, 33-ю и частично 24-ю). Обучение добровольцев проходило в военных лагерях, в том числе в Лужках под Серпу-

ховом, при Подольском пехотном училище. За короткий срок в училище было подготовлено 6 тысяч коммунистов и комсомольцев, которые отправились на Западный фронт.

13 октября 1941 года собрание партийного актива Москвы приняло решение мобилизовать «всю Московскую партийную организацию, всех коммунистов и всех трудящихся Москвы на отпор немецко-фашистским захватчикам, на организацию победы». К 15 ноября в народное ополчение, в отряды истребителей танков и рабочие батальоны вступило около 130 тысяч человек. Значительную часть бойцов ополчения составляли коммунисты. Душой и создателем ополчения были партийные организации, МК и МГК ВКП(б). Огромную организаторскую работу вели секретарь ЦК, МК и МГК А. С. Щербаков, секретари столичных райкомов партии.

Как известно, 30 сентября началось «генеральное» наступление гитлеровских армий на Москву: враг атаковал войска Брянского и Юго-Западного, а 2 октября войска Западного и Резервного фронтов. Ополченцы самоотверженно сражались и в окружении, нанося врагу большой урон в живой силе и технике. Своим сопротивлением они сковали крупные силы врага, задержав их продвижение к Москве. Публикуемые документы свидетельствуют о массовом героизме ополченцев в тяжелых октябрьских боях 1941 года с превосходящими силами врага.

Части народного ополчения сыграли немалую роль в обороне Москвы. 12 ополченческих дивизий, принимавших участие в боях в октябре 1941 года, составляли примерно восьмую часть боевых сил Западного, Резервного, Калининского и Брянского фронтов. Г. К. Жуков не раз обращался к вопросу о Московском народном ополчении, давая его боевым действиям самую высокую оценку.

К началу контрнаступления советских войск под Москвой ополченческие дивизии уже с номерами кадровых дивизий находились в первых эшелонах советских войск. После окончания Московской битвы бывшие дивизии народного ополчения продолжали победный путь, сражаясь в крупнейших битвах Великой Отечественной войны. Десять из ополченческих дивизий получили почетные наименования освобожденных

ими городов и форсированных рек, ряд дивизий был удостоен звания гвардейских...

Рецензируемый сборник — первая тематическая публикация о создании и боевом пути московского ополчения. Он также ценен тем, что из включенных в него 239 документов 202 опубликованы и вводятся в научный оборот впервые. Несомненно книга будет полезной как для исследователя, так и для широких кругов читателей.

Д. Панков.

Подольск.



АЛЕКСАНДР ЛЕСИН. Узел. Стихи. Симферополь. «Таврия». 1978. 110 стр.

Еще шла война, а в Москве, выпущенная издательством «Молодая гвардия», заявила о себе «Солдатская песня» — первая книга фронтовых поэтов, куда вошли и стихи старшего лейтенанта А. Лесина.

Писать А. Лесин начал со школьной скамьи. Но первые публикации появились во фронтовых газетах — он ушел на войну добровольцем. Там, в артиллерийском гуде, выковывались ритмы его стихотворений.

Теперь у поэта около двух десятков книг, и в этот четкий бойцовский строй встала новая книга — «Узел». Да, тутим узлом переплелись в ней бой и труд, день вчерашний и день сегодняшний. Но о чем бы ни писал А. Лесин, его позиция, позиция бойца, остается неизменной. Гражданственность его творчества совершенно естественна: пафос публицистики, интимная лирика, бытовые зарисовки образуют настолько прочное единство, что достоверность описываемого не вызывает и тени сомнения.

Стержнем книги А. Лесина является цикл стихотворений, объединенных заголовком «Зайцева гора». Гора эта действительно существует, она находится в 268 километрах от Москвы по Варшавскому шоссе. Сейчас на ней Музей боевой славы и монумент в память о тяжелых, кровопролитных боях 50-й армии в весенние месяцы 1942 года. Поэт, участник этих боев под Фомином (село возле Зайцевой горы), осмысливая происходившие в то время события, приходит к выводу:

У кого — Сталинград,
У кого — Севастополь,
У нас —
Фомино.

Подвиг советского народа тем и велик, что он не был мгновенной вспышкой, нося массовый характер, состоял из огромного количества личных подвигов, совершавшихся ежедневно на протяжении четырех лет войны. Во всех стихотворениях А. Лесина прослеживаются эти крепчайшие связи между частицей и целым, между личностью и обществом. Он пишет о Пушкине и перебрасывает мост в современность: «...Ленина рука, свое развертывая знамя, напишет четко, на века: „Из искры

возгорится пламя!“»; он пишет о Чехове, сажающем сад на пустыре в Аутке, и делает вывод: «Когда б вот так сумел бы каждый взрастить по одному кусту, земля проснулась бы однажды вся в шумной зелени, в цветущем». Сердцу поэта близки и дороги подлинны герои, чья жизнь — подвиг, потому и закономерны в книге стихи о Николае Островском, Мусе Джалиле, о героях севастопольской трагедии и об их правнуках, повторивших подвиг предков.

...Вот полка, на которой стоят книги А. Лесина. Можно взять любую из них — и на вас пахнет горьковатым дымком солдатского костра, к которому примешивается запах махорки и выгоревшего артиллерийского пороха — им частенько в непогоду разжигали эти костры. Но строки из книг не только память — они и напоминание. И не утратила своего пронзительного смысла строка Маяковского: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо...» Эти слова могли бы стать эпиграфом к творчеству А. Лесина.

Вл. Карпек.



ЛЮДМИЛА ОЛЗОЕВА. Серебряная гроза. Стихи. Улан-Удэ. Бурятское книжное издательство. 1978. 119 стр.

«Серебряная гроза» — первая книга поэтессы Людмилы Олзоевой. В книге стихи на самые разные темы: о родном Байкале, людях Прибайкалья, природе, творчестве, любви. Предметы поэтического внимания молодого автора разнообразны. Это и жизнь ее отца, которого она с детства помнит склоненным над корректурой и которого называет «чернорабочим слова», и рост родного города, и Пушкин, и расстрел Федерико Гарсиа Лорки, и многотрудная судьба сибирской старухи...

«Говорить — это значит за все отвечать» — так формулирует свое отношение к слову Людмила Олзоева. Подобной творческой установке в лучших ее стихах отвечает лаконизм, сочетающийся с искренностью и строгостью к себе. В книге «Серебряная гроза» рядом со стихами, в которых фиксируется мгновенное, непосредственное впечатление, читатель находит стихи, как бы подводящие итог пережитого.

Особенно удачны у Людмилы Олзоевой стихи о природе. «Природа — часть моей души» — так начинается одно из стихотворений сборника. Читатель находит у поэтессы немало тончайших соответствий между состоянием души и природой, которая, заметим особо, в стихах Л. Олзоевой никогда не противостоит цивилизации. У поэтессы в понятие «природа» входит очень многое, чуть ли не весь окружающий ее мир. В стихах ее явственно ощутимо тесное единство природы, искусства и человеческой деятельности в целом. Поэтесса воспринимает природу как живое олицетворение гармонии, преемственности всего доброго и мудрого. «Я вижу, я помню и

медом из сот природы — я памяти соты неполно», — пишет она в одном из стихотворений.

Значительное место в сборнике занимают стихи о любви. В них наряду с радостным ощущением чуда есть и строгая сосредоточенность, и напряженная работа мысли. Перед читателем предстает образ нашей современницы, чуткой ко всему происходящему в мире, гордой и женственной.

О чем бы ни писала Л. Олзоева, ей не изменяет способность постоянного радостного узнавания мира, чувство благодарности к людям, времени, самой жизни, которая открывается перед молодой поэтессой в своем неисчерпаемом богатстве. А в поэзия благодарности, испытываемая по отношению к жизни и миру, по-видимому, неразрывно связана с чувством ответственности и долга, с уважением к слову и трудными поисками точности.

Т. Николаева.



КОНСТАНТИН ЩЕРБАКОВ. Проверка на деле. М. «Московский рабочий». 1979. 208 стр.

Люди и их дело, становление личности, формирование нравственного потенциала в процессе труда... — так определяется сквозную тему своей книги Константин Щербаков. Тема обширная, в современном искусстве одна из самых животрепещущих, в многочисленных дискуссиях последних лет «обстрелянная» с разных точек зрения и открывшая множество новых, малоизученных проблем. Часто ее загоняли в коридоры НТР, где сужался ее горизонт. Константин Щербаков, поставив так широко вопрос — люди и дело, во многом возвращает ей глубокое, здоровое дыхание. Он идет от человека — его души, его страсти, мировоззрения, культуры, нравственных принципов к поступку, делу, труду.

Открывается книга статьей о творчестве Василия Шукшина, вся жизнь которого видится критику как всепоглощающий труд, высокое горение художника, стремящегося добраться к высшему своему духовному пределу. В таком постоянном напряжении есть и мука и счастье.

Понять шукшинских героев Константин Щербаков пытается через их дело. Он пишет: «У большинства героев Шукшина оно было и есть, реальное, нелегкое и небросовое. Но вот делаешь его, очень толково делаешь, а не хватает чего-то. Одухотворенности? Вдохновения? Свободного полета души? Вот такого бы дела, чтоб все это — с ним, для него, в нем... И устремленности героев Шукшина к добру, красоте, правде — это для них, трудовых людей, в сущности, устремленности к делу, в котором добро, красота, правда сошлись бы, соединились нерасторжимо. К делу, которое может стать смыслом жизни, а не только средством заработка и даже не только способом принести окружающим посильную пользу». Эта важная мысль для понимания многих характеров Шукшина подкрепляет-

ся убедительным анализом рассказов писателя.

В книгу «Проверка на деле» вошли статьи и очерки, написанные за последние десять — пятнадцать лет. В них автор обращается к самым различным жанрам и видам искусства. Его внимание в первую очередь привлечено к тем произведениям литературы, театра, кино, актерского и режиссерского мастерства, которые в последнее время явились зримым событием культурной жизни страны. Четко определенная тема книги позволила Константину Щербакову под своим углом зрения рассмотреть произведения, зачастую далекие друг от друга и по тематике и по художественному уровню. В сборнике идет речь о прозе Ч. Айтматова, В. Быкова, В. Шукшина, Ю. Семенова; о фильмах В. Мотыля «Белое солнце пустыни», С. Кулиша «Мертвый сезон», А. Михалкова-Кончаловского «Дядя Ваня»; о спектаклях театров «Современник», МХАТа, имени Ленинского комсомола; о пьесах А. Салынского, А. Арбузова, К. Симонова... Это неполный перечень. К тому же удачно и к месту приводит автор свои интервью с В. Астафьевым, О. Табаковым, А. Гончаровым, О. Жаковым, Б. Бабочкиным — плод журналистской работы в газете «Комсомольская правда».

Правда, не все материалы автор сумел выдержать на уровне, который сам себе задал лучшими работами. И потому рядом с интересным и эмоциональным анализом ряда книг и спектаклей сосуществует вялый, какой-то благодушно-поверхностный разговор о творчестве В. Липатова, о фильме С. Герасимова «Дочки-матери».

Главным достоинством книги Константина Щербакова, как мне кажется, является ее постоянная внутренняя ориентированность на жизненные проблемы, на духовные потребности и запросы современника. Это основная традиция русской, советской критики — соизмерение жизни и искусства, проверка искусства жизнью, и в книге влияние этой традиции на автора ощущается сильно. И еще. О чем бы критик ни говорил — о пьесе ли А. Салынского «Долгожданный», поставленной на сцене Театра имени Маяковского, о «Святая святых» И. Друцэ, о героях ли прозы Айтматова или Шукшина. — он помнит о своем читателе, ему несет нравственно-психологический опыт и итог пережитого, зывая к уму и сердцу собеседника, к его чести и благородству.

Владимир Кувацын.



ВИКТОР РОМАНЕНКО. Тревожная радость. Очерк. М. «Советский писатель». 1978. 286 стр.

Виктор Романенко — литературовед и критик, нишующий на украинском и русском языках, известен читателю книгами «Чехов и наука», «Признание таланта», публикациями по эстетике. Выступая в «Тревожной радости» как прозаик, он не поступился опытом, знаниями, искусством критика и

вдумчивого исследователя. Правомерность слияния науки с художественной прозой в книге особенно рельефно выявляется в главоких и поэтичных высказываниях Константина Паустовского, с которым автору посчастливилось общаться в Ялте и которому посвящен очерк «Великий щедрый пейзаж».

Очень примечателен, на мой взгляд, этюд о роли природы в развитии эстетического чувства. Творчество К. Паустовского, так же как и других мастеров (и прежде всего Михайла Пришвина), показывает, насколько обогащают видение художника точные научные знания.

Лучшие страницы книги не только увлеченно отстаивают нерасторжимость поэзии и знания, но и сами служат убедительным подтверждением этому. Начав с лирических пейзажей «малой родины» (ближней и дальней округи родной Мерефы), автор затем переносит читателя в Подмосковье и в Крым, многие уголки Украины, в Ленинград и в Москву. И повсюду он улавливает неповторимое, прекрасное, долгое, а то и навсегда западающее в самую душу. «В десятых числах октября — необыкновенной прозрачности день. Совсем тютчевский, как бы хрустальный. Один из прощальных дней бабьего лета. Время только еще перевалило за полдень. И вот при ярком-ярком солнце где-то на западе довольно высоко над горизонтом стояла луна — ясно очерченная, матово-лучистая, лишь слегка на ущербе. Как она подчеркивала эту бездонную лучезарность неба! И свет ее, благодаря которому она сама была видна, был тем самым, серебристо-призрачным, не закатным светом».

Но завороченность пейзажем не заслоняет аналитического осмысления увиденного, а настойчивые и страстные призывы к охране окружающей среды не отдают дежурными наизданиями, оболочивающими природу уныло-серой пеленой. Книга В. Романенко современна не только по мысли, но и в своей истинной поэтичности. Автор сознает, что любовь к природе, к ее неброской, но проникающей в самое сердце красе дерева или травинки тысячами нитей связана с прошлым, настоящим и будущим: «...силой творческого воображения мы способны удерживать распадающуюся связь времен и поколений. Вот так однажды подумалось вдруг: кто же это моими глазами так жадно всматривается в голубеющую ширь? Неужели кто-нибудь из павших здесь бойцов? Я даже вздрогнул при этой мысли... Ему тогда, наверно, было меньше лет, чем мне сейчас... Он торопливо докуривал махорочку, ждал боевого приказа и смотрел, все смотрел в эти дали... Для него самого и его товарищей это был последний пейзаж Родины...»

О литературе и эстетике, о писателях В. Романенко пишет свободно и уверенно. Тут он в своей давней стихии. И чисто литературоведческие рассуждения яснее высвечивают художественные описания. С

наибольшей полнотой это проявилось в очерке о Паустовском.

В век НТР немало говорят и пишут о некой «второразрядности» искусства, возможности которого якобы ограничены по сравнению с гигантскими перспективами науки и техники. Автор настойчиво спорит с этими утверждениями. Искусство незаменимо в обширнейших сферах жизни, духовных и нравственных исканиях.

Книга В. Романенко не во всем безупречна. Опираясь данными науки, автор иной раз поддается искусству поверхностно-сенсационных прогнозов, пусть и облеченных в форму «научных мечтаний». Автор, живущий в небольшом городе под Харьковом, также все еще безоговорочно умиленным тоном пишет о сизо-темной голубке. А вот в городах с миллионным населением безудержное покровительство «ничейным голубям» уже обернулось ощутимым вредом. Поэтому нужно быть предельно диалектичным и осмотровым в суждениях об охране природы.

Но это частные, к тому же легко поправимые просмотры в интересной и доброй книге. Живописание природы в полной мере удастся автору. Что же до изображения родной Мерефы и ее округи, то тут невольно вспоминается одно из наблюдений самого В. Романенко над творчеством Константина Паустовского: «Он как бы умышленно бросает нам кадр за кадром с картинами такой захватывающей красоты и силы, чтобы вызвать в нас ощущение неутоленного и неутолимого голода. Хочется ехать, спешить в места, описанные Паустовским, чтобы видеть их так, как видел он сам!»

Киминев.

С. Рыбак.



ДЖ. ХОКИНС. Кроме Стоунхенджа. М. «Мир». 1977. 267 стр.

«Поразительно! Непонятно!» — так и хочется воскликнуть при чтении книги известного американского астронома Дж. Хокинса «Кроме Стоунхенджа». Толчок удивлению дает прежде всего сам Стоунхендж. Это, как доказал Хокинс, обсерватория, а может быть, еще и каменный, для астрономических вычислений, компьютер древних обитателей Англии. Создали же обсерваторию люди «примитивной» энеолитической культуры. Они издали волокна многотонные глыбы, без всяких теодолитов ювелирно ориентировали их по сложной схеме, и это уникальное строительство длилось свыше полутысячи лет! Иначе говоря, поколений двадцать, а то и больше, в едином устремлении возводили то, без чего люди прекрасно обходились до Стоунхенджа и много веков после...

Как все это понять?

Но тут хотя бы очевидна цель — люди вели точные наблюдения за Луной и Солнцем. В этом смысле Стоунхендж не уникален: во многих районах земного шара обнаружены схожие, только более простые сооружения древних (их описанию Хокинс уделяет много места). Почему в те века

строительство обсерваторий получило такой приоритет — уже иной вопрос, мы его вслед за автором коснемся позже.

А пока — загадка загадок — Наска! С самолета обширные участки этого южноперуанского нагорья выглядят так. Вообразите довольно сложный чертеж. Вообразите далее, что в схему идеально прямых линий и геометрических фигур кое-где вкраплены изящные рисунки то кондора, то обезьяны, то паука. Теперь представьте, что «ватманом» была голая пустыня, что каждая, порой многокилометровая линия прочерчивалась отнюдь не рейсфедером (с трассы убирался камень; этого было достаточно, чтобы резко выделить линию). И вот когда мы все это представим, когда вспомним, что чертеж возник тысячелетия назад, то невольно берет оторопь: кому и зачем потребовалась вся эта грандиозная, украшенная рисунками, лишь с воздуха обозримая схема?!

Долгое время ученые придерживались мнения, что это особый инструмент наблюдения за светилами, быть может астрономический календарь. Однако тщательные исследования столь видного астроархеолога, каким является Хокинс, похоже, вдребезги разбили эту гипотезу. Не все, правда, согласны с таким выводом, но тайна «чертежей Наска» после его работ не рассеялась, а сгустилась. Если эти схемы не инструмент исследований, не календарь, то что же?

Над этим глубоко задумывается и Хокинс. Его книга написана строго и одновременно очень раскованно. Строго, даже педантично там, где излагается фактический материал, ведется его анализ, оценивается вывод; все это сочетается с мягким юмором и чисто литературным блеском иных описаний. Нигде не впадая в сухой академизм, который так часто отождествляется с «истинной ученостью», вместе с тем нигде не поступаясь критериями и требованиями науки, Дж. Хокинс широко, умно и свободно размышляет о тайнах истории, особенностях Древних мировоззрений, духовной ориентации былых цивилизаций. Отнюдь не все в этих размышлениях бесспорно, но интересно все. Нельзя не согласиться с автором, что интересы и знания древних были куда глубже, чем мы обычно предполагаем. Их «непрактичная» подчас ориентация представляется нам загадочной, даже бессмысленной только потому, что мы не можем понять, какой была возбудившая ее «шкала ценностей». Здесь допустима такая аналогия. На что столетия подряд так щедро расточали свою энергию поколения буддистов или христиан? На повсеместное возведение храмов... Нерациональная, с нашей точки зрения, даже нелепая, но понятная трата сил. А вот в устремления тех же строителей Наска мы так проникнуть не можем — отсюда наше безмерное удивление перед их результатом. Проникнем со временем, надо думать. Тогда, с открытием духовных иномиров, и загадка развеется.

Д. Биленкин.



Е. А. РЫДЗЕВСКАЯ. Древняя Русь и Скандинавия в IX—XIV вв. (Материалы и исследования). М. «Наука». 1978. 240 стр.

Публикация ранее неизвестного научного наследия крупного ученого всегда событие. Таким событием несомненно стало издание трудов Елены Александровны Рыдзевской — первой советской исследовательницы-скандинавистки. Радуется, что результаты ее деятельности теперь, почти через сорок лет после смерти автора в осажденном Ленинграде, будут доступны всем интересующимся средневековой историей и культурой Восточной и Северной Европы.

В личности и творчестве Е. Рыдзевской нас поражает не только ее блестящая эрудиция, знание полутора десятков древних и современных языков: она была ученицей таких замечательных русских ученых, как Ф. Браун, С. Платонов, А. Шахматов. Поражает другое — ее целеустремленность, самозабвенность, страстность ученого-исследователя, все душевные силы которого десятилетиями отдавались любимому делу. Творческое наследие Е. Рыдзевской невелико по объему, но работы ее и сегодня не утратили свежести выводов и глубины научной мысли. Это, по сути дела, первые не только в нашей, но и в международной историографии исследования, где так называемый норманнский вопрос, на протяжении столетий вызывавший ожесточенные дискуссии, зачастую уводивший спорящих в сторону от строго научного подхода, был подвергнут тщательному, объективному и всестороннему анализу.

В статье «О ролях варягов в Древней Руси» автор намечает пути к созданию из мозаики отдельных, подчас разрозненных фактов целостной картины взаимоотношений Руси и Скандинавии и ставит ряд задач, без решения которых немислимо рассмотрение проблемы на современном уровне. Это прежде всего глубокое осознание того, что «нельзя заниматься норманнским вопросом без самих норманнов», без учета особенностей истории и культуры скандинавских стран. Критический обзор основных положений норманистов приводит исследовательницу к выводу о том, что образование древнерусского государства — «результат местного социально-экономического развития, а не какого бы то ни было решающего воздействия извне».

Подход ее на редкость современен: лишь тщательное, скрупулезное исследование всего комплекса источников по данной теме позволяет прийти к обоснованным выводам. Отсюда обширная «Россия» исландских памятников письменности. Саги, географические сочинения, хроники, жития, рунические надписи — все включается в сферу ее интересов. Из россыпи скандинавских источников автор выбирает крупицы сведений о Восточной Европе, переводит их на русский язык, изучает характер источников и степень их достоверности. И лишь затем рождается само исследование.

Настаивая на тезисе о несамостоятельности древнерусской государственности и куль-

туры, норманисты использовали разнообразные факты, привлекая данные археологии, истории, языкознания, фольклористики, топонимики. Е. Рыдзевская последовательно и методично анализирует и сопоставляет источники по каждому отдельно взятому вопросу, но ее выводы в корне расходятся с утверждениями норманистов.

По их мнению, Старая Ладога — центр и опорный пункт скандинавской колонизации в Восточной Европе. Да, скандинавы были в Старой Ладоге, пишет автор, более того, временами они управляли ею, но лишь как наместники новгородского князя, собиравшие там дань. Название Русь, с точки зрения норманистов, скандинавского происхождения, а значит, заявляют они, скандинавским было и древнерусское государство. Суммировав многочисленные топонимы с корнями рус-, рос-, Е. Рыдзевская убедительно показывает тяготение наиболее древних из них к югу России и более позднее, часто вторичное происхождение их на севере.

Книгу завершает исследование, над которым Е. Рыдзевская работала много лет вплоть до конца жизни. — «К вопросу об устных преданиях в составе древнейшей русской летописи». Один за другим она рассматривает те сюжеты «Повести временных лет», которые, как считают норманисты, заимствованы из древнескандинавской литературы или отражают скандинавское влияние на Русь. Каждое сказание, пишет автор, имеет свою неповторимую историю, свои истоки в русской, византийской, восточной или скандинавских литературах. Но Е. Рыдзевская идет дальше: она останавливается на вопросе, выделяются ли они как нечто особое, резко характерное по своим чертам, по своей тематике и идеологии среди других преданий летописи. И становится очевидной несостоятельность утверждений о скандинавском происхождении сказаний: собственно варяжский элемент неуловим, неотделим от местного, исконно русского.

Бережно изданные труды Е. Рыдзевской — серьезный вклад в отечественную науку, шаг на пути познания древнейшего периода истории нашей страны.

Е. Мельникова.



Б. И. ДОДОНОВ. Эмоция как ценность. М. Поляиздат. 1978. 272 стр.

Наука немало сделала для выявления природы и роли эмоций, чувств. Чтобы сказать о них что-то новое, нужны свежий взгляд, неожиданная расстановка акцентов. Именно самобытность выдвинутой автором концепции позволяет ему высветить некоторые часто оставшиеся в тени особенности эмоциональной жизни человека.

Ученые обычно подчеркивают сигнальную и оценочную роли эмоций, их значение в мотивировке, а также в энергетическом обеспечении любой деятельности. Но эмоции не только сопутствуют любой активности, не только «обслуживают» потреб-

ности организма, но сами являются потребностью. Людям присуща «жажда эмоционального насыщения» — здесь можно усмотреть аналогию с мысленным движением. Эмоции направлены на осуществление приспособительных действий, но в то же время и сами по себе представляют жизненную необходимость. Недостаточная двигательная активность вызывает неприятное ощущение мускульного голодания. Точно так же тягостен эмоциональный голод, и человек ищет ситуации, возбуждающих эмоции. Порою лучше неприятное переживание, чем отсутствие всяких переживаний. Вообще для организма желательно не однообразное сохранение положительных эмоциональных состояний, а мозаика сменяющих друг друга эмоций, имеющих нужную интенсивность.

Вот этот акцент на ценности самих эмоциональных переживаний и явился найденной автором «наблюдательной точкой». Он показал, что для разных людей существуют разные категории наиболее желанных переживаний. Выявление того спектра эмоций, к которым стремится человек, глубочайше характеризует его индивидуальность и потому служит инструментом проникновения в сокровенные истоки мотивов человека, порою скрытых от него самого.

Сформировавшиеся у данного человека наряду с целевыми установками установки на определенные комплексы «желанных эмоций» служат важной составляющей и направленной личности. Эти эмоции Б. Додонов делит на десять групп: альтруистические, коммуникативные, пугнические (от латинского *pugna* — борьба), гностические (познавательные), глорические (связанные с потребностью в самоутверждении, славе), романтические, эстетические и другие. Автор особенно подробно останавливается на гностических эмоциях. Он опирается здесь на известное высказывание В. И. Ленина о том, что «без человеческих эмоций» никогда не бывало, нет и быть не может человеческого *искания истины*. Наиболее ценные для личности комплексы эмоций становятся мотивом деятельности, влияют на формирование склонностей, определяют круг интересов, мечты, предпочтение, отдаваемое тем или иным воспоминаниям (раздел, в котором рассматриваются мечты, интересы и воспоминания, написан увлекательно и тонко).

Критерий «наиболее желанного для человека комплекса эмоциональных переживаний» позволил автору выделить ряд типов личности. Он рассматривает «общую эмоциональную направленность» (ОЭН) как ведущую характеристику, которая взаимодействует с другими чертами индивидуума и, не препятствуя переживанию всего богатства других эмоций, своеобразно окрашивает их. Таким образом, личностный тип в трактовке Б. Додонova — это определенный вариант объединения стремлений личности вокруг самого сильного из них.

Читателю интересно следить за движением авторской мысли. Б. Додонов широко

привлекает примеры из классической и современной литературы, которые органически входят в текст книги.

Несмотря на дискуссионность некоторых выводов автора, его подход к проблеме выделения личностных типов несомненно методологически плодотворен.

А. Аук.

★

П. А. ГОЛУБ. Большевики и армия в трех революциях. М. Политиздат. 320 стр.

Если численность вооруженных сил в рабовладельческих государствах редко превышала 100 тысяч (лишь в Римской империи она поднималась до 250—350 тысяч), если феодальные армии, как правило, достигали не более 50—60 тысяч, то численность буржуазных армий резко увеличилась и перед первой мировой войной только в России составила почти миллион 400 тысяч человек. К 1917 году 14 русских армий протянулись фронтом почти на три тысячи верст.

Приводя эти цифры, автор отмечает, что рост аппарата насилия в эксплуататорском обществе не случаен и в обстановке всеобщего кризиса капиталистической системы в конечном счете ускоряет созревание условий для перехода к социализму. Подавляя революционное и национально-освободительное движение с помощью все более разбухающей военной машины, буржуазия помимо своего желания обучает эксплуатируемые массы, одетые в солдатские шинели, владеть оружием. Империализм, таким образом, невольно способствует формированию классового сознания военных и одновременно создает объективные условия для углубления раскола армии, перехода ее передовых отрядов на сторону народа.

Однако опыт истории показал, что эта задача не может решаться стихийно. Для завоевания демократического большинства армии и объединения прогрессивно настроенных солдат и матросов вокруг пролетариата как гегемона революции необходима повседневная, тщательно законспирированная агитационно-пропагандистская и организаторская работа среди солдат, в большинстве своем выходцев из крестьян. Эту титаническую работу проделала ленинская партия, взяв курс на интенсивное создание в воинских частях большевистских ячеек.

Важнейшей предпосылкой успеха большевиков в борьбе за армию стала разработка В. И. Лениным стройной военной программы пролетариата в социалистической революции. К несомненным достоинствам рецензируемой книги относится дан-

ная автором широкая панорама последовательной, многогранной деятельности партии большевиков, направленной к превращению ленинской военной программы в жизнь, глубокий анализ стратегии и тактики большевиков в сложнейших перипетиях классовых битв.

Проанализировав обоснованный В. И. Лениным состав революционной армии и принципы ее формирования, автор отмечает, что на каждом этапе революции с изменением расстановки движущих сил изменяется и состав революционной армии. Правильный учет этого фактора, как свидетельствует исторический опыт, имеет большое значение для обеспечения боеспособности революционной армии. Игнорирование его неизбежно приводит к подрыву позиций революционных классов, а в ряде случаев и к их поражению.

По ленинскому плану к началу вооруженного восстания партия должна была вести за собой не только подавляющую часть рабочих, но и большинство солдат. «Армия сознательного пролетариата сольется тогда с красными отрядами российского войска...» — пророчески писал великий вождь революции в 1905 году. Расчет этого блестяще подтвердился на практике в октябрьские дни 1917 года, когда РСДРП(б) сумела создать огромный перевес сил на решающих участках и привести их в боевую готовность. «Мы идем в бой,— заявляли балтийские моряки в воззвании «К угнетенным всех стран»,— не во имя исполнения договоров наших правителей с союзниками, опутывающих цепями руки русской свободы. Мы исполняем верховное веление нашего революционного сознания».

Вместе с тем, как подчеркивается в книге, революционные классы нуждаются в вооруженной силе не только для победы революции, но и для защиты ее завоеваний, поскольку эксплуататорские классы после утраты власти неизбежно стремятся к вооруженной реставрации старых порядков.

В современных условиях, когда империализм широко применяет военную силу для подавления борьбы угнетенных классов и откровенно делает ставку на военно-диктаторские методы господства, глубокое осмысление международного значения опыта работы ленинской партии среди солдатских масс в ходе трех российских революций становится актуальной практической задачей братских коммунистических партий, передовых революционных и национально-освободительных движений капиталистических и развивающихся стран.

А. Смольяков.

кандидат исторических наук.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Критические заметки по национальному вопросу.— О праве наций на самоопределение.— О национальной гордости великороссов. 111 стр. Цена 15 к.

В. И. Ленин. Социализм и религия.— Об отношении рабочей партии к религии. 24 стр. Цена 3 к.

Возрастание руководящей роли КПСС в строительстве социализма и коммунизма. Сборник. 296 стр. Цена 1 р. 40 к.

К. Дмитриук. С крестом и трезубцем. Публицистические очерки. 224 стр. Цена 45 к.

Ф. Ермаш. Экран революции (60 лет советского кино). 191 стр. Цена 65 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

О. Берггольц. Стихи и поэмы. 436 стр. Цена 3 р. 10 к.

Б. Василевский. Весна на железной дороге. Повести. 391 стр. Цена 1 р. 40 к.

Д. Затонский. В наше время. Книга о зарубежных литературах. 431 стр. Цена 1 р. 30 к.

В. Конечный. Вчерашние заботы. Путевые дневники и повесть в них. 423 стр. Цена 1 р. 70 к.

М. Симашко. Искушение дабира. Исторический роман. 208 стр. Цена 60 к.

В. Субботин. Роман от первого лица. 750 стр. Цена 2 р. 40 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Аль-Маарри. Стихотворения. Перевод с арабского. 183 стр. Цена 90 к.

Х. Гулям. Избранное. Стихотворения, баллады, поэмы. Перевод с узбекского. 222 стр. Цена 1 р. 20 к.

Э. Иллеш. Избранное. Сборник рассказов, повестей и пес. Перевод с венгерского. 366 стр. Цена 2 р. 10 к.

А. Рюносэ. Избранное. Сборник рассказов. Перевод с японского. 287 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. Сельвинский. Избранная лирика. 269 стр. Цена 1 р. 20 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

К. Аюпян. Дорога верности. Стихи. Перевод с армянского. 110 стр. Цена 35 к.

П. Андреев. Повесть о моем друге. 304 стр. Цена 1 р. 70 к.

Е. Виттлин. Наставление начальнику, клиенту, графоману, по личной жизни, на первый раз. Перевод с польского. 127 стр. Цена 55 к.

Зарубежный детектив. 400 стр. Цена 3 р.

Е. Исаев. Жизнь прожить... Поэмы. 222 стр. Цена 2 р. 10 к.

А. Якубовский. Нивлянский бык. Повести и рассказы. 303 стр. Цена 85 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Блок, С. Есенин, В. Маяковский. Избранное. Предисловие С. Наровчатова. Составитель С. Коваленко. («Библиотека мировой литературы для детей». Т. 20) 735 стр. Цена 2 р.

В. Даль. Старик годовик. Сказки, загадки, пословицы, игры. Составление и предисловие И. Халтурина. 83 стр. Цена 2 р. 20 к.

Л. Кассиль. Рассказы разных лет. Предисловие А. Алексина. 191 стр. Цена 75 к.

Ш. Руставели. Витязь в тигровой шкуре. Поэма. Обработка Н. Заболотского. 223 стр. Цена 55 к.

«ПРОГРЕСС»

А. Беднар. Дом 4, корпус «В». Роман в новеллах. Перевод со словацкого. 351 стр. Цена 2 р. 60 к.

М. Вальзер. Избранное. Браки в Филиппбурге.— По ту сторону любви. Романы.— Рассказы. Перевод с немецкого. 463 стр. Цена 3 р.

Д. Попеску. Избранное. Перевод с румынского. 399 стр. Цена 2 р. 80 к.

И. Швейда. Авария. Роман. Перевод с чешского. 383 стр. Цена 2 р. 40 к.

«ИСКУССТВО»

М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. Составитель С. Бочаров. 423 стр. Цена 2 р.

Жанры кино. Сборник статей. Ответственный редактор В. Фомин. 319 стр. Цена 1 р. 60 к.

Теория эстетического воспитания. Коллективная монография. Ответственные редакторы Н. Киященко и Н. Лейзеров. 255 стр. Цена 1 р. 30 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

О. Вацнетис. Письмена ветвей. Избранные стихи и поэмы. Перевод с латышского. Рига. «Лиезма». 254 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. Думбадзе. Закон вечности. Роман.— Рассказы. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани». 363 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Тажигаев. Былое. Стихи и поэмы. Перевод с казахского. Алма-Ата. «Жазушы». 361 стр. Цена 1 р. 40 к.

Р. Тамарина. Надежда. Стихи. Алма-Ата. 102 стр. Цена 40 к.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1979 ГОД

Встреча в Вене: **Виталий Кобыш**. Крутые ступени; **Геврих Боровик**. Размышления в пресс-центре. IX—192.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Анатолий Аваньев. Годы без войны. Роман. Книга вторая. I—3; II—11.

Михаил Аичаров. Самшитовый лес. Роман. IX—9; X—5.

Рустам Валеев. Земля городов. Роман. VIII—18.

Феодосий Видрашку. Не найдется ли у вас розового слона с голубыми ушами? Рассказ. I—116.

Иосиф Герасимов. Предел возможного. Роман. XI—5; XII—7.

Владимир Гоник. Восемь шагов по прямой. Рассказ. VII—152.

Николай Задорнов. Хэда. Роман. IV—79; V—133; VI—73.

Иозеф Кадец. Виола. История, почти забытая. Перевела с чешского Т. Миронова. VIII—164.

Герман Кант. Остановка в пути. Роман. Перевели с немецкого И. Каринцева и С. Шлапоберская. IX—123; X—162; XI—93; XII—127.

Лазарь Карелин. Сейсмический пояс. Повесть. VII—10.

Р. Киреев. Победитель. Роман. VI—5; VII—56.

Мария Колесникова. Наш уважаемый слесарь. Повесть. X—98.

Юлий Крелин. На что жалуетесь, доктор? Повесть. I—137; II—181.

Вл. Лидия. Страницы полдня. VI—40.

Нина Макарова. Короткие рассказы: На уроке...; Карманный фонарик; Там, вдали... IV—112.

Юрий Нагибин. Два рассказа: Замолчавшая весна; Лунный свет. III—106.

Александр Рекемчук. Нежный возраст. Роман. IV—5; V—12.

Джон Стейнбек. Заблудившийся автобус. Роман. Перевел с английского В. Гольшев. III—121; IV—125; V—158.

Владимир Тедряков. Расплата. Повесть. III—6.

Марина Цветаева. Повесть о Сонечке. Часть вторая. Публикация и предисловие Анны Саакянц. XII—68.

СТИХИ И ПОЭМЫ

Татьяна Андропова. Возвращение. Стихи. VI—182.

Микола Бажан. Памятник Лесе Украинке

в Саскатуне. Стихотворение. Перевел с украинского Лев Озеров. IX—4.

М. Басманов. Закат. Стихи. VI—187.

Юрий Белаш. Ракета. Стихи. II—206.

Виктор Боков. У памятника Ленину. Стихи. XI—3.

Петрусь Бровка. Веков далеких отголосок... Стихи. Авторизованный перевод с белорусского Якова Хелемского. III—100.

Константин Ваншенкин. Из книги «Поздние яблоки». Стихи. XII—3.

Петр Вегин. Время—пламя. Стихи. VI—35.

Евг. Винокуров. Из цикла «Мифы». IX—7; XII—119.

Ирина Волобуева. Их было тринадцать. Стихотворение. III—118.

Антал Гидаш. Друзья-поэты. Стихи. Перевели с венгерского Л. Мартынов и Натэлла Горская. XII—124.

Николай Глазков. Магаданская область. Стихи. II—176.

Денис Гловер. Бессмертный Ленин. Стихи. Перевел с английского Александр Големба. IV—119.

Юлия Друнина. Из новых стихов. III—3.

Владимир Жуков. Новые стихи. II—9.

Вера Игельницкая. Та женщина. Стихи. III—119.

Из румынской поэзии: **Тудор Аргези**, **Вирджил Теодореску**. Перевели Н. Матвеева, Иван Киуру, Вадим Сикорский. VII—170.

Из украинской поэзии: **Микола Нагнибеда**, **Михайло Стельмах**, **Дмитро Павлычко** (перевел Юрий Саенко), **Микола Бажан** (перевел Яков Хелемский), **Леонид Первотомийский** (перевел Яков Хелемский), **Любомир Дмитерко** (перевел Юрий Саенко). II—3.

Миклай Казаков. Мое слово. Стихи. Перевел с марийского А. Смольников. VI—3.

Мустай Карим. Не бросай огонь, Прометей! Трагедия в шести картинах. Перевел с башкирского Александр Межиров. I—64.

Иван Киуру. В Сибири. Стихотворение. II—208.

Юрий Кузнецов. Тайна Гоголя. Стихи. VI—70.

Борис Кувяев. Июньское утро. Стихи. II—179.

Л. Лавлянский. В столетии суровом. Стихи. VII—3.

Майские строфы: **Михаил Касаткин**, **Мих. Найдич**, **Александр Волян**, **Юрий Беличенко**, **Н. Рудой**, **Иван Савельев**, **Петр**

Нефедов, Леонид Манзуркии, А. Коваль-Волков, Лев Кривошеев. V — 3.

Эдуардас Межелайтис. Из цикла «Индийский орнамент». Перевел с литовского Л. Миль. XI — 84.

А. Межиров. Из новой книги. Стихи. VII — 147.

Молодые голоса: Алексей Смирнов, Владимир Вишневский, Аркадий Петров, Елена Алексеева, Мария Арбатова, Евг. Блажеевский, Зоя Велихова, Юрий Трифонов, Тамара Гарина, Наталья Грачева, Л. Григорьева, Лорина Дымова, Марина Лесовая, Виктор Гофман, Г. Кружков, Е. Муравина, Наталия Слатина, Н. Стрижевская, Олег Хлебников, Ольга Чугай, Ободияв Шамхалов (перевели с аварского Юрий Кушак, Яков Серпин), Виктор Широков, Лев Котюков, Изумруд Кулиева, Александр Щуплов. VIII — 3.

Александр Москвитин. Воспоминание о песне. Стихи. XI — 82.

Владимир Моценок. Из лирической тетради. VI — 68.

Юрий Окуев. Теплоход «Илья Сельвинский». Стихотворение. X — 161.

Борис Олейник. Из цикла «Седое солнце мое». Перевел с украинского Лев Смирнов. X — 96.

Людмила Олзоева. Смородиновый куст. Стихи. IX — 121.

Николай Перовский. Уборка. Стихи. IV — 76.

Валерий Прохвацилов. Старинный сюжет. Стихи. XI — 91.

Юрий Разумовский. Новые стихи. X — 90.

Владимир Савельев. В полете тратит силы Вдохновение. Стихи. VII — 53.

Наталья Сидорина. Три стихотворения. VI — 38.

Борис Слуцкий. Новые стихи. V — 129.

Стихи Василия Ковалева. Вступление Василия Федорова. XII — 121.

Стихи поэтов Чехословакии Вилем Завада, Донат Шайнер, Карел Боушек, Милослав Флорьян, Олдрих Рафай. Войтех Мигалик. Перевели с чешского Игорь Инов, Вера Игельницкая, Виктор Бокков, Ю. Шкарина, М. Михайлов и со словацкого Е. Аронович. VIII — 158.

Александр Файнберг. Одиннадцатиметровый штрафной удар. Стихи. XII — 66.

Александр Челюков. В себя вбирая небо. Стихи. VII — 168.

Феликс Чуев. Из новой книги. Стихи. XI — 86.

Сергей Шерванский. Из цикла «Феодосийские сонеты». VII — 150.

Вадим Шефнер. Притча о дереве. Стихи. X — 93.

Владимир Шленский. Рисуйте, дети, на асфальте! Отрывок из «Сегодняшней поэмы». VI — 188.

Николай Шумаков. В Кашине. Стихи. XI — 89.

Степан Щипачев. Опять весна. Стихи. IV — 3.—Играет оркестр. Стихи. X — 3.

Геворг Эмян. Из лирики. Перевели с армянского Марк Рыжков, Е. Николаевская, В. Солоухин. VII — 6.

Набережные Челны

Равиль Бухараев. Метафоры КамАЗа. Стихотворение. VI — 189.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. Левин. Жестокий расцвет. IV — 170.

Надежда Маркова. «Батраки» Мариуса Гонтье. Вместо послесловия — Юрий Жуков. IX — 225.

Евгений Носков. На орловском направлении. V — 194.

В. И. Чуйков. Миссия в Китае. Записки военного советника. XI — 183; XII — 179.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

Владлен Кузнецов. Эта «гуманная» нейтронная бомба... VII — 226.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Владимир Карпов. Вспоминая Овечкина... IX — 207.

ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий Азаров. Диалог. Заметки о Бенджамине Споке и о современных проблемах воспитания. IX — 212; X — 228.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Валерий Джалаговия. Зеленоград: штрихи к портрету города. XI — 221.

Альфред Коц. Командировка на Западный БАМ. Записки инженера. III — 183.

Владимир Успенский. Морские ворота БАМа. VI — 190.

Ю. Черниченко. Отпуск с Будвитисом. VII — 173.

В МИРЕ НАУКИ

Д. Биленкин, В. Левин. В поисках «экологического сознания». I — 210.

И. Забелин. Помпей гениального ума. «Размышления натуралиста» В. И. Вернадского и современная наука. IV — 192.

Б. Кузнецов. Сходящиеся параллели. Еще об Эйнштейне и Достоевском. III — 224.

А. Малинов. 160 минут и... вся жизнь. Послесловие академика В. А. Амбарцумяна. X — 239.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Всеволод Овчинников. Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах. IV — 211; V — 210; VI — 212.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Ольга Берггольц. Звезда умрет — сияние мчится... Публикация Марии Берггольц. IV — 167.

Александр Блок и его неизданные письма. Публикация, вступительная статья и комментарии В. П. Енишерлова. IV — 146.

Ксения Некрасова. Баллада о прекрасном. Стихи. Публикация Л. Е. Рубинштейна. III — 181.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Михаил Арлазоров. Жизнь и дела конструктора Исаева. VII — 201.

В. Архангельский. Тридцать минут у Ленина. VIII — 211.

Из наследия Розы Люксембург. Подготовил к печати М. Кораллов. I — 225.

Николай Самвелян. Судьба просветителя. II — 209.

Рафаил Хигерович. Бойцов не оплакивают. II — 214; III — 196.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ануар Алимжанов. Веление времени. VII — 237.

Восьмидесятилетие Леонида Леонова. Николай Гихонов: «...на всю жизнь талантливый»; Пауль Куусберг: Исследователь глубин человеческой души (перевела с эстонского В. Рубер); Театр Леонова. V — 248.

Вл. Гусев. Преемственность. Из наблюдений над жизнью классической традиции. X — 251.

К. М. Долгов. Надежность критерия. Эстетика Гальвано дела Вольпе. XI — 249.

А. Коган. Воспоминаний взрывчатая зона. Из наблюдений над фронтовой поэзией. IV — 250.

В. Косолапов. Жить и действовать. Заметки о книжной серии «Пламенные революционеры». IX — 243.

Юрий Кузьменко. В конце века. Советская литература: годы восьмидесятые—девяностые. I — 240.— Меж городом и селом. XII — 227.

Ал. Михайлов. Этюды о поэзии. V — 261.

В. Непомнящий. Предназначение. VI — 236.

Александр Панков. Решения, которые мы принимаем. XI — 233.

Е. Старикова. Память. I — 257.

Д. Тевекелян. День зяблоти. III — 236.

В. Турбин. Связь времен. Серия «Литературные памятники». Заметки. VIII — 241.

Адольф Урбан. Зовем эту землю своею. Размышления о репутации стиха. IX — 253.

М. Храпченко. Пути взаимообогащения социалистических культур. II — 253.

А. Шнейдер. Его величество факт. Заметки архивиста. VII — 247.

М. Эпштейн, Е. Юкина. Образы детства. XII — 242.

К 150-летию со дня рождения

Микаэла Налбандяна

Вардгес Петросян. Биография страданий и надежд. XI — 244.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

А. Анастасьев. Своей дорогой (Афанасий Салынский. Драммы и комедии). III — 267.

Григорий Бакланов. Меридианы (Сильва Капутикян. Меридианы карты и души). X — 270.

С. Белов. О людях и машинах, или Канарейка Курта Воннегута (Курт Воннегут. Бойня номер пять, или Крестовый поход детей. Колыбель для кошки. Завтрак для чемпионов, или Прощай, черный понедельник. Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер, или Не мечите бисера перед свиньями. Романы). X — 273.

А. Бочаров. За живой мыслью (Лев Аннинский. Тридцатые—семидесятые. Лев

Аннинский. Зеркало экрана). I — 272.— Бойцовский темперамент (Лев Якименко. Городок. Роман). IX — 266.

Ирина Винокурова. «...лицу под видимостью — душу» (Новелла Матвеева. Река. Стихи). IV — 269.

Эрнст Геври. Судьбы западногерманской литературы (В. Стеженский, Л. Черная. Литературная борьба в ФРГ. Поиски. Противоречия. Проблемы). III — 270.

И. Гринберг. Взлетные площадки стиха (Николай Старшинов. Милая мельница. Стихотворения. Поэма. Марк Лисянский. Города, города... Новые стихи. Николай Доризо. Пока деревья есть на свете. Книга лирики. Яков Козловский. Две музы — две сестры). XII — 258.

Ю. Гусев. Талант, разбуженный революцией (Антал Гидаш. Чтоб хлынул свет. Стихи). XI — 273.

Дм. Иванов. Устремленность критической мысли (Василий Новиков. Советская литература на современном этапе. Юрий Андреев. В поисках закономерностей. О современном литературном развитии). VI — 254.

В. Камянов. Вблизи и за горизонтом (Е. Сидоров. Время, писатель, стиль (О советской прозе наших дней). XI — 268.

Виктор Кочетков. Алексей Кулаковский — поэт и просветитель (Алексей Кулаковский. Песня якута. Стихи и поэмы). II — 275.

М. Кузнецов. Почему мы не можем не писать о войне... (Алесь Адамович. Избранные произведения в двух томах. А. Адамович, Я. Брыль, В. Колесник. Я из огненной деревни...). V — 269.

В. Кулешов. Грани познания (Кирилл Пигарев. Ф. И. Тютчев и его время. В. Н. Касаткина. Поэзия Ф. И. Тютчева). VII — 260.

Валентин Курбатов. Единство интонации (Василий Росляков. Повесть. Рассказы). VII — 255.

Л. Лаванский. Цена истины (Виталий Семиин. Нагрудный знак «ОСТ». Роман Повесть. Рассказы). IV — 262.

Л. Лазарев. «А мы с тобой, брат, из пехоты...» (Вячеслав Кондратьев. Сашка. Повесть). VIII — 264.

Алла Марченко. Сад и дом Визмы Белшевич (Визма Белшевич. Апрельский дождь. Избранное). X — 268.

Дм. Молдавский. Мера ответственности (С. Юткевич. Модели политического кино. А. Февральский. Пути к синтезу. 20 режиссерских биографий). VII — 263.

В. Пискунов. Достоинство критики (Феликс Кузнецов. Живой источник. Феликс Кузнецов. Самая кровная связь. Судьбы деревни в современной прозе. Феликс Кузнецов. За все в ответе. Нравственные искания в современной прозе и методология критики). VIII — 269.

Шараф Рашидов. Трудовой подвиг в белую ночь (Вадим Кожевников. Белая ночь. Маленькая повесть). IV — 258.

Вадим Сикорский. Беловой вариант (Римма Казакова. Набело. Стихи). III — 265

А. Скориво. Тяжелый труд войны (Константин Симонов. Мы не увидимся с тобой... (Из записок Лопатина). Повесть). II — 268.

Ю. Смелков. Три путешествия Леннарта Мери (Леннарт Мери. Мост в белое безмолвие). VI — 257.

Марк Соболев. Последняя книга Сергея Орлова (Сергей Орлов. Костры. Стихи). VIII — 262.— Старый воин (Алексей Сулков. Собрание сочинений в четырех томах. Том 1. Стихотворения. 1925—1945. Маленькие поэмы. Том 2. Стихотворения. 1946—1974. Песни. Избранные переводы). XI — 266.

И. Соловьева. Без особых происшествий (Владимир Маканин. Портрет и вокруг. Роман). II — 271.

В. Тендряков. Возвращение поэта (Воспоминания об А. Твардовском. Сборник). VI — 262.

Галина Трефилова. В поисках судьбы (Анатолий Ткаченко. Четвертая скорость. Повесть). III — 259.

Сергей Чупринин. Школа долга (Борис Слуцкий. Время моих ровесников. Стихотворения. Борис Слуцкий. Неоконченные споры. Стихи). V — 274.

Ахмед Шамов. Личная жизнь делового человека (Валерий Гейдеко. Личная жизнь директора. Роман). X — 265.

Ирина Шевелева. Возмужание (Игорь Шклярский. Лодка. Игорь Шклярский. Неназванная сила). VI — 259.

Виктор Широков. «Тихо сказано громкое слово» (Лев Озеров. Стихотворения. Лев Озеров. За кадром. Книга лирики). XII — 264.

М. Шнейдер. Китай: классика и современность (Н. Т. Федоренко. Древние памятники китайской литературы). VIII — 273.

Владислав Шошин. Поэзия интернационализма (Николай Тихонов. Избранное. В двух томах). VII — 257.

Юрий Яковлев. Исповедь поэта (Агния Барто. Записки детского поэта). IX — 270.

Политика и наука

Н. Агаджаян, А. Катков. Современный человек и сердце (Г. И. Косицкий. Цивилизация и сердце). IX — 276.

А. Биленкин. НТР, человек и мышление (Н. Моисеев. Слово о научно-технической революции). X — 279.

Иг. Бубнов. Родство духа и близость форм (Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке). III — 273.

В. Буганов. Народные истоки утопического социализма в России (А. И. Клибанов. Народная социальная утопия в России. Период феодализма. А. И. Клибанов. Народная социальная утопия в России. XIX век). XII — 271.

Феодосий Видрашк. Поэма о Челнах (Р. К. Беляев. Подвиг на Каме). IV — 274.

Эрнст Геяри. Техника «промывания мозгов» (М. Степанов. «Синао» — «промывание мозгов»). VI — 272.

Лев Гинзбург. В предрассветный час

(Григорий Вайс. Утром после войны... Очерки). VIII — 278.

И. Григулевич. Пропагандистская машина США буксует (К. А. Хачатуров. Идеологическая экспансия США в Латинской Америке. Доктрины, формы и методы пропаганды США). IX — 272.

А. Давыдов. Труд — праздник (И. Е. Ворожейкин. Летопись трудового героизма. Краткая история социалистического соревнования в СССР, 1917—1977 гг.). VII — 266.

Дмитрий Жуков. Из глубины тысячелетий (Н. Р. Гусева. Индуизм. История формирования. Культурная практика). IV — 278.

Ю. Каграманов. Между валгаллой и пригородным поездом (О некоторых книгах «новых философов»). VI — 264.

В. Карпушин, Я. Поварков. «Китайская карта» в политике Вашингтона (В. В. Кузьмин. Китай в стратегии американского империализма). V — 278.— Обреченный мир (Юрий Жуков. Общество без будущего. Заметки публициста). VIII — 275.

В. Косолапов. Духовный мир и культура зрелого социализма (Духовный мир развитого социалистического общества. 1977. Культура развитого социализма. Некоторые вопросы теории и истории. 1978). VII — 273.

Владимир Ломейко. Какова судьба человечества? (Г. Х. Шахназаров. Социалистическая судьба человечества). VII — 269.— Уроки Кампучии (Кампучия: от трагедии к возрождению). X — 277.

И. Луначарская. Хирург о детях (Станислав Долецкий. Мысли в пути). VI — 276.

Григорий Медвinsky. Высокая душа (Альберт Швейцер. Письма из Ламбарене). VII — 276.

Игорь Мотяшов. Рожденные под одним солнцем (В. Крючков. Пусть всегда будет солнце! Книга-репортаж о Международном детском фестивале в СССР). XII — 269.

Н. Мор. От войны к миру (Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 9. Июнь 1920 — январь 1921). XI — 277.

А. Нуйкин. Серая проказа кича (Е. Карцева. Кич, или Торжество пошлости. Е. Н. Карцева. «Массовая культура» в США и проблема личности). II — 278.

В. Пашуто. У истоков древнерусского права (Я. Н. Цапов. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI—XIII вв.). VIII — 280.

В. Перцов. К познанию души человеческой (Ю. А. Александровский. Глазами психиатра). II — 282.

Григорий Резниченко. «Бог моторов» (Феликс Чувев. Стечкин). XII — 266.

В. Семенов. Вечно живое учение (П. Н. Федосеев. Марксизм в XX веке. Маркс, Энгельс, Ленин и современность). I — 276.

П. Черкасов. Конец двуглавого орла (Г. З. Иоффе. Крах российской монархической контрреволюции). IV — 276.

Н. Эйдельман. Первая книга о Дашковой (Л. Я. Лозинская. Во главе двух академий). IX — 275.

КОРОТКО О КНИГАХ

Н. Макарова.—Вениамин Шалагинов. Кафа. Роман. Юрий Ляхов.—Натан Злотников. Морозное облако. Книга стихов. С. Смольницкий.—А. Коган. Стихи и судьбы. Фронтальная тема в советской поэзии. Евг. Долматовский.—Николай Добронравов. Вечная тревога. Стихи. Е. Горбунова.—Альгимантас Бучис. Роман и современность. Становление и развитие литовского советского романа. А. Шифман.—М. Е. Шнейдер. Русская классика в Китае. Переводы. Оценки Творческого освоения. В. Френкель.—И. В. Курчатова. Ядерную энергию — на благо человечества. С. Десятков.—Владимир Осипов. Британия глазами русского. И. Дрейцер.—Э. Г. Цыганкова. У истоков дизайна (Машины и стили). I — 280.

Э. Сергеева.—Виктор Близнац. Молчун. Повести. Александр Каменский.—Александр Письменный. Рукотворное море. Рассказы. Н. Жегалов.—Валентин Сидоров. На вершинах (Творческая биография Н. Рериха, рассказанная им самим и его современниками). И. Дубашинский.—Л. В. Сидорченко. Байрон и национально-освободительное движение на Балканах («Восточные повести»). Б. Марушкин.—С. Пожарская. От 18 июля 1936 — долгий путь. II — 284.

А. Окладников.—Р. Г. Скрынников. Борис Годунов. Б. Розен.—Александр Гангнус. Тайна земных катастроф (Несколько вступлений к теме геопрогноза). О. Добровольский.—Н. П. Колпакова. Песни и люди. О русской народной песне. Т. Кохман.—Галактион Табидзе. Стихотворения. Виктор Гончаров.—Марина Тарасова. Световой день. Стихи и поэма. Светлана Соложенкина.—Марат Картамзов. Полярный снег. Стихи. И. Меттер.—Леонид Рахманов. Люди—народ интересный. В. Комиссаров.—Федор Колуницев. Утро, день, вечер. Роман. А. Журавлев.—Уроки Чили. В. Пронин.—З. И. Кирнозе. Французский роман XX века. Евгений Новиков.—Поэзия Новой Зеландии. III — 280.

Е. Полякова.—Сим. Дрейден. Спектакли. Роли. Судьбы (Театральные очерки и портреты). В. Парыгин.—Г. Бровман. Труд, герой, литература. Очерки и размышления о русской советской художественной прозе. С. Овчинникова.—Алексей Файко. Записки старого театрального. Ю. Смелков.—Ю. Айхенвальд. Остужев. Василий Субботин.—Вацлав Михальский. Печка. Повесть. Вацлав Михальский. Короткие рассказы. В. Френкель.—А. С. Компанец. Симметрия в микро- и макромире. И. Подольская.—Вл. Орлов. Гамаюн. Жизнь Александра Блока. IV — 282.

Владимир Карпов.—Михаил Котов, Владимир Ласковский. Курган. Семен Фрейлих.—Борис Павленок. Вернись к юности. Повесть. В. Цыбин.—Владимир Шленский. Планета, улица, любовь... Стихи. Дм. Молдавский.—Александр Дымшиц. Любовь моя, Армения! А. Немировский.—И. В. Шталь. Поэзия Гая Валерия

Катулла. В. Косолапов.—Р. В. Стрельников. Империя кривых зеркал. Телевидение в идеологической экспансии империализма. V — 283.

Б. Ряховский.—Н. Самвелян. Московии таинственный посол. Роман. Н. Самвелян. Казачий разъезд. Роман. Юрий Щеглов.—В. Золотухин. На Исток-речушку, к детству моему. Повести. Людмила Зака.—Н. И. Дикушина. Октябрь и новые пути литературы. А. Майкапар.—Л. Бернштайн. Музыка — всем. Н. Макарова.—Эм. Миндлин. Не дом, но мир. Повесть об Александре Коллонтай. Иг. Бубнов.—Александр Левиков. Люди дела. Р. Баландин.—Т. И. Алексеева. Географическая среда и биология человека. Ю. Михайлов.—США — Западная Европа: партнерство и соперничество. VI — 280.

Л. Иванов.—Геннадий Фиш. Здравствуй, Дания! Норвегия рядом. Отшельник Атлантики. У шведов (Скандинавские встречи). Геннадий Фиш. Встречи в Суоми. Наталья Капиева.—Владимир Огнев. Красные яблоки. Повесть. Лев Озеров.—Михаил Ласков. Зоревая вахта. И. Соловьева.—В. Виленкин. О Владимире Ивановиче Немировиче-Данченко. Лев Разгон.—Джанны Родари. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй. В. Лобачев.—А. Н. Лук. Психология творчества. В. Зорькин.—В. С. Нерсисянц. Сократ. Тамара Невская.—Игорь Чутко. Красные самолеты. А. Гельфман.—М. Иовчук, И. Курбатова. Пелеханов. VII — 280.

А. Алексеев.—Сергей Марков. Летопись. Г. Койранская.—Вл. Савицкий. Солнечный зайчик на старой стене. Григорий Поженян.—Виктор Федотов. Миг. Книга стихов. Григорий Левин.—Лев Квитко. Избранное. Стихи. Жизнь и творчество Льва Квитко. И. Дубашинский.—Д. Урнов, М. Урнов. Литература и движение времени. Анна Илупина.—Феликс Розинер. Токката жизни. VIII — 283.

И. Гринберг.—Юрий Окланский. Повесть о маленьком солдате. Н. Михайловская.—Марк Гроссман. Камень-обманка. Роман. Ст. Золотцев.—Вадим Рабинович. В каждом дереве скрипка. Стихи. Сергей Львов.—А. Каменский. Рыцарский подвиг. Книга о скульпторе Анне Голубкиной. Вл. Котовсков.—Тодор Павлов. Избранные труды по эстетике. Георгий Степанидин.—Н. Б. Биккенин. Социалистическая идеология. Г. Резниченко.—Михаил Арлазоров. Артем Микоян. Вл. Гаков.—Лоуренс Д. Куше. Бермудский треугольник: мифы и реальность. П. Черкасов.—Д. М. Проэктор. Пути Европы. IX — 281.

А. Ясенов.—Лазарь Карелин. Избранное. Г. Петрова.—Драгослав Михаилович. Венок Петрии. И. Лапин.—Ким Селихов. Всегда в строю. Это случилось у моря. Ю. Рытов.—Э. С. Шейнис. Солдаты революции (Девять портретов). А. Иглицкий.—Техника дезинформации и обмана. А. Майкапар.—Л. Ройзман. Орган в

истории русской музыкальной культуры. X — 283.

Ксения Бродер.— А. Борщаговский. Не чужие. Рассказы. Татьяна Комиссарова.— Болот Боотур. Пробуждение. Роман. Светлана Соложенкина.— Александр Кушнер. Голос. Стихотворения. Лидия Григорьева.— Сергей Мнацакянц. Снежная книга. Стихи. Эр. Хандира.— М. О. Чудакова. Поэтика Михаил-Зощенко. Юрий Домбровский.— Григорий Анисимов. Живые краски Апшерона. Марис Лиепа.— К. М. Сергеев. Сборник. Б. Исаев.— Юрий Юров. Кто раз увидел. Вадим Монохов.— А. Г. Ковалев. Коллектив и социально-психологические проблемы руководства. XI — 281.

Д. Панков— Ополчение на защите Москвы. В. Л. Карпекко.— Александр Ле-

син. Узел. Стихи. Т. Николаева.— Людмила Олзоева. Серебряная гроза. Стихи. Владимир Куницын.— Константин Щербаков. Проверка на деле. С. Рыбак.— Виктор Романенко. Тревожная радость. Очерки. Д. Биленкин.— Дж. Хокинс. Кроме Стоунхенджа. Е. Мельникова.— Е. А. Рыдзевская. Древняя Русь и Скандинавия в IX—XIV вв. (Материалы и исследования). А. Лук.— Б. И. Додонов. Эмоция как ценность. А. Смольников.— П. А. Голуб. Большевики и армия в трех революциях. XII — 275.

Книжные новинки: I — 288; II — 288; III — 288; IV — 288; V — 288; VI — 287; VII — 288; VIII — 288; IX — 288; X — 288; XI — 288; XII — 282.

Памяти Константина Симонова. IX — 3.



Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Вирашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 28/IX 1979 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 6/XI 1979 г.
A 14262. Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 печ. л.)
Тираж 271.000 экз. Зак. 3341

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак.

Цена 70 коп.

70636